

Крича о борениях света и тьмы,
Фырча на «поэзию грез»,
Какие проблемы поставили мы?
Какой разрешили вопрос?

Да и какое решение дашь,
Если давненько для нас
Красный редакторский карандаш
Страшней равнодушия масс?

Отсюда в поэзии робкая статья
И только о том и орем,
Кому из нас председателем стать,
Кому секретарем,

А там уж, как на крылатом коне,
Летим на палочке вскачь:
— Бессмертие — дескать, положено мне,
Ибо я — помзамнач.

Поэт! Раба в себе обуздай,
Дыши озоном планет.
Любовь народа — твоя звезда,
Высшего ордена нет.

В Коммуну эпоху свою торопя,
Не спрашивай: «Где тут брод?»
И пусть редактор боится тебя,
Ибо ты сам — народ!

1958

А. М. Ларина

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В декабре 1938 года я возвращалась в московскую следственную тюрьму после того, как уже в течение полутора лет находилась в ссылке в Астрахани, различных этапных и следственных тюрьмах и, наконец, в лагере для членов семей так называемых врагов народа в городе Томске, где я вторично была арестована и отправлена в тюрьму.

В то время многих жен крупных военных и политических деятелей вновь вызывали из лагерей в Москву — не для того, чтобы облегчить их участь, напротив, с целью ухудшить ее и тем самым уничтожить лишних свидетелей действительно совершаемых преступлений. Примерно одновременно со мной были вызваны в Москву жены Гамарника, Тухачевского, Уборевича, жена второго секретаря Ленинградского обкома партии Чудова, работавшего при Кирове, — Людмила Кузьминична Шапошникова. Все они впоследствии были расстреляны. Томский лагерь был моим первым лагерем заключения. До своего вторичного ареста я пробыла там всего лишь несколько месяцев, там мне пришлось пережить «бухаринский процесс» и расстрел Николая Ивановича. Именно там, где нас собрали вместе в большом количестве, я особенно остро почувствовала трагедию того времени и стала, несмотря на ужас переживаемого лично, в большей степени воспринимать ее как трагедию Советской страны. В томском лагере было около четырех тысяч жен «изменников Родины». Этот лагерь был не единственным, а одним из многих такого типа.

Мужскую часть человечества в нем представляли тюремные надзиратели в черных шинелях, пересчитывавшие нас каждое утро, и ассенизатор «дядя Кака», прозванный так двухлетним мальчиком Юрой, заключенным в лагерь вместе с матерью. У всех нас, очень разных — по моральным и интеллектуальным качествам, по прежнему положению своих мужей и их биографиям (были жены старых революционеров Шляпникова, Бела Куна, жены военных — И. Э. Якира, его младшего брата — тоже расстрелянного, сестры М. Н. Тухачевского, жены руководящих партийных и советских работников союзных республик, председателей колхозов, просто колхозников, председателей сельсоветов, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде) — был общий эквивалент, определивший путь в этот лагерь: жены «врагов народа», как правило, не знающее исключений, никогда ими не бывших. Но мы именовались ЧСИРы — члены семьи изменников Родины. Большинство ЧСИРов в представлении лагерного начальства обладало, я бы сказала, абстрактными «вражескими» качествами, так как оно, начальство, само не понимало, что творится в стране. Приходил этап за этапом. Народ становился сам себе врагом.

Но когда лагерное начальство, в большинстве своем серое и малограмотное, сталкивалось с женами бывших известных руководителей, то они представлялись ему как действительные враги. На всю жизнь остался в моей памяти эпизод, когда на второй день после моего прибытия в лагерь собрали «обыкновенных» ЧСИРов в круг перед бараками, поставили меня и жену Якира в центр круга, и начальник, приехавший из ГУЛАГа (Главное Управление лагерей), крикнул во весь голос: «Видите этих женщин, это жены з л е й ш и х врагов наро-

да; они помогали врагам народа в их предательской деятельности, а здесь, видите ли, они еще фыркают, все им не нравится, все им не так». Да мы и фыркнуть-то не успели, хотя нравиться там никому не могло. Мы были даже относительно довольны, что после долгого мучительного этапа и пересыльных тюрем наконец (как мы думали) добрались до места назначения.

С яростью прокричавший эти страшные слова здоровый, краснощекий, самодовольный начальник направился к воротам Томской тюрьмы. Заключенные в ужасе расходились. Были и такие, которые стали нас сторониться, но большинство негодовали. Потрясенные, мы не могли сдвинуться с места — было такое ощущение, будто нас пропустили сквозь строй. Так и стояли мы в оцепенении на сорокаградусном морозе, пока кто-то не отвел нас в барак, в наш холодный угол у окна, обросшего толстыми махрами снега. Двухэтажные нары были битком набиты женщинами. Ночь — сплошное мучение: мало кому удавалось устроиться свободно, почти все лежали на боку, а когда хотелось переменить положение, надо было будить соседку, чтобы перевернуться одновременно, и начиналась цепная реакция всеобщего пробуждения.

В этот день барак походил на разворошенный улей. Все взволнованно обсуждали случившееся. Иные злобствовали: «Вот, натворили эти бухарины и якиры, а наши мужья и мы из-за них страдаем». Остальные ругали начальника из ГУЛАГа и многие советовали писать жалобу в Москву, но мы понимали, что это бесполезно. Ночь мы не спали, сидели на краю нар (места наши «заросли» спящими человеческими телами) — не только спать, даже жить в тот момент не хотелось. Мы тихо разговаривали под сладкий храп уснувших женщин.

11 июня 1937 года Якир был расстрелян. 20 сентября его жена и четырнадцатилетний сын были арестованы в Астрахани, где они находились в ссылке. Сарра Лазаревна Якир и без того была еле живая. Я была арестована там же в один день с ними.

Теперь шел декабрь 1937 года — мне еще предстояло пережить расстрел Николая Ивановича, и я в напряжении ждала. Переписка была запрещена. Позже нам разрешили написать одно-единственное письмо с просьбой прислать теплые вещи и сообщением о возможности отправлять нам раз в месяц продуктовые посылки; но подтверждать письмом получение посылок не разрешили.

Уже под утро мы разбудили своих соседей, чтобы те уступили нам места поспать, и только успели задремать, как началась поверка. Мы выстраивались в ряд, и дежурный надзиратель, молодой парень, начинал перекличку:

— Хвамилия, и. о., год рождения, статья, срок; хвамилия, и. о., год рождения, статья, срок...

И женщины покорно отвечали:

— ЧСИР — 8 лет, ЧСИР — 8 лет (изредка 5).

ЧСИР — звучало менее оскорбительно, чем «член семьи изменника Родины», а для малограмотных — их было меньшинство, но немало — и вовсе ничего не значило. Они с трудом запоминали свое клеймо.

Подойдя ко мне, надзиратель с особым задором выкрикнул:

— А ну-ка, хвамилию?!

— Ларина, — ответила я: так у меня было записано в документах, по делу я проходила под двумя фамилиями, но этого я еще не знала. В этапе почему-то мою фамилию не спрашивали, ее, по-видимому, вписали уже в лагере.

— Ларина?! — закричал надзиратель, — а шпиёнскую молчишь?!

Нетрудно было догадаться, что означает «шпиёнская», и я ответила:

— Бухарина. Но она такая же шпиёнская, как твоя китайская.

Все испуганно замерли. Стоящая рядом Сарра Лазаревна Якир толкнула меня в бок.

— В карцер, что ль, захотела, в карцер? Не побывала еще — побудешь.

Так прошли первые дни в томском лагере. В карцер, однако, меня не посадили.

Утром мы с Саррой Лазаревной вышли из затхлого барака в зону, чтобы отвлечься от своих мыслей, подышать воздухом. В морозной дымке светило ма-

линово-кровавое сибирское солнце («К войне такое солнце», — говорили женщины) и чуть румянило снег, который у самого забора, куда не ступала нога человека, потому что ходить туда было запрещено, сохранял свою девственную чистоту. По углам забора, наскоро сколоченного из горбыля, стояли вышки, откуда следили за нами дежурные конвоиры (их называли еще стрелками), и если чуть ближе подойти к забору, тотчас раздавался крик: «Стой! Кто идет?» Дорога, ведущая от убогих бараков к кухне, стала единственным маршрутом и всегда была полна женщин. На лицах многих лежала печать недоумения, испуга и страдания. Шутя, мы называли эту дорогу Невским проспектом (среди нас было много ленинградцев) или «главная улица в панике бешеной». Чтобы не замерзнуть, носились по ней толпы несчастных, прикрывая, чем могли, свое тело. Большинство — в рваных телогрейках, холодных бутсах. Те, кто был арестован летом, прикрывались лагерными суконными одеялами, заменявшими юбки или платки. Завидев издали, меня подозвала Людмила Кузьминична Шапошникова. Она знала моих родителей и меня еще с детства. Блондинка с зеленоватыми глазами и приятной добродушной улыбкой, Людмила Кузьминична и в лагере сохранила свое прежнее обаяние. Вопреки изнеженной внешности, скрывающей уже немолодой возраст, она была человеком волевым и с мужеством ожидала надвигавшиеся новые беды. Старый член партии, как в те годы говорили, «выдвиженка из работников», когда-то она ведала в Ленинграде парфюмерной промышленностью и вместе с женой Молотова П. С. Жемчужиной побывала в Америке, где они были приняты Рузвельтом. В те годы за границу ездили редко, так что это событие осело в памяти. В лагере Людмилу Кузьминичну любили, она пользовалась авторитетом у ЧСИРов, ее избрали на самый ответственный пост — заведовать кухней (никакого производства в томском лагере не было).

Людмила Кузьминична предупредила меня:

— Будь очень осторожна, ничего не говори о том, что творится в стране, молчи о Николае Ивановиче. Обстановка тут мерзкая, вчера ты сама могла в этом убедиться. Развито доноительство. Таскают на допросы в 3-ю (следственную) часть. Многие гнусные бабы вызывают на провокационные разговоры, пытаясь заработать обещанную свободу. Время очень тяжелое, а тебе надо быть особенно осторожной. Тебе надо жить! А вот о себе я могу сказать — думаю, что мои дни сочтены¹. Меня в живых не оставят.

— То есть как сочтены? Вы же свои восемь лет получили, — наивно возразила я.

— Это еще не все, будет продолжение.

Шапошникова рассказала, что ее уже вызывали на допросы в лагере и, наверное, отправят снова в Москву. Я ничего не могла понять.

— Почему? — спрашивала я. — Почему?

— Знаю много, вот почему, — ответила Людмила Кузьминична, оглядываясь по сторонам, нет ли кого-нибудь рядом, но кругом никого не было, никого. «Ленинградка, — подумала я, — близко стоявшая к тем, кто работал с Кировым. Сама говорит — знает много. Ближайшие товарищи Кирова, как они объясняли случившееся, что они думали?» Разве можно было упустить такой случай, разве можно было удержаться и не спросить, и я решилась.

— Людмила Кузьминична! Как все случилось с Сергеем Мироновичем, что вы об этом знаете? Там у вас в Ленинграде говорили же, наверно, знали больше?

— Ах, вот что ты захотела знать!

Покраснев, взволнованная и растерянная, она долго смотрела на меня.

— Что за вопросы ты задаешь, разве можно об этом говорить! — наконец произнесла она.

— Я думаю, нам можно, Людмила Кузьминична, н а м можно!

— Да мне-то все равно умирать, а тебе ведь жить надо. Я не за себя боюсь, за тебя. Хотя... молчать ты умеешь, молчать, как могила?

Как же было не обещать молчать, и она поверила.

¹ После своего освобождения я узнала, что Л. К. Шапошникова была вторично судима и расстреляна. Ее муж Михаил Семенович Чудов расстрелян в 1937 году.

— Зиновьеву Киров был не нужен. С самого верха это идет, по указанию «хозяина». — Именно так она выразилась. — Это поняли многие ленинградские товарищи после выстрела, понимал и Чудов.

Хоть к этому времени я тоже понимала, что Зиновьеву гибель Кирова не была нужна, у меня в голове бродило несколько возможных версий. Когда я уже была арестована, в Астраханской тюрьме (ни в коем случае не в момент убийства) я додумывалась и до самого страшного. Но когда эти мысли, даже еще лишь предположения, начинавшие созревать, подтвердились, я только и смогла произнести:

— Страшно!

— Страшно? — повторила Людмила Кузьминична. — А почему убийство Сергея Мироновича страшнее всех остальных убийств? Это еще легкая смерть — убийство из-за угла, Киров погиб не как враг народа, не как шпион и мучений не испытал. А убийство Бухарина разве будет менее страшным? Не думай об этом, тебе еще много страшного придется пережить.

— Но через кого он действовал? — спросила я.

— Этого я тебе не скажу, это покажет время. — И Людмила Кузьминична, переменяв тему разговора, стала вспоминать то лето, когда мы вместе отдыхали в Крыму, в Мухалатке, я с отцом, она с Чудовым. Людмила Кузьминична вспомнила, к моему удивлению, и несколько моих стихотворных строчек того лета, посвященных Чудову:

Что за чудо, что за чудо,
К нам приехал дядя Чудов.
Дядя — Чудов монастырь,
Ленинградский богатырь.

Мне тогда было пятнадцать лет. Чудов был высокий, широкоплечий, могучий человек. «Илья Муромец», — звала я его шутя.

— Вот богатырь, богатырь, а сдули, как соломинку.

Людмила Кузьминична смахнула слезу. И мы расстались, чтобы не привлекать внимания окружающих.

В лагере женщины изнывали и от ужасающих условий, и от безделья. Производство там не было организовано. Книг и газет не давали. Позже многим прислали в посылках нитки для вязания и вышивания. Особенно отличались украинки, их рукоделие было достойно художественных выставок.

Наиболее оживленным местом стала площадка возле кухни. Там кипела работа: выносили бочки с баландой и кашей, пилили и кололи дрова, жужжала пила и стучал топор. Особенной ловкостью отличалась живая остроглазая Таня Извекова, бывшая жена Лазаря Шацкого, организатора комсомола, любимого, авторитетного, интеллектуального вождя комсомолки первых лет Революции. На морозе со звоном падали из-под топора поленья. Вокруг работающих всегда собирался народ на подмогу. Оптимисты приносили радостные «параши» (слухи — на лагерном жаргоне): к Новому году будет амнистия, к 1 Мая — амнистия, а уж ко дню рождения Сталина — обязательно.

Навсегда осталась в памяти рабочая кухня Дина. Она была среди нас исключением. По отношению к ней была совершена двойная несправедливость. Дина не только не была женой «изменника Родины», но к моменту ареста вообще не была замужем. Женщина невероятных размеров, бывшая одесская грузчица, Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж занимал потом высокий пост в каком-то городе. Он никогда не сообщал ей о себе. Дина была гордая женщина, она не разыскивала своего супруга и растила детей, не получая от отца ни гроша. Не хлопотала она и о расторжении брака. Это обстоятельство и загнало Дину в капкан. Никакие объяснения на следствии не помогли.

В Томске Дина была использована как тягловая сила — она заменяла лошадь. Мы получали продукты из Томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку,

капусту, крупу и мясные туши — такие тощие, будто эту несчастную скотину специально для нас и растили.

Нашу завкухней Л. К. Шапошникову бросало то в жар, то в холод: она не знала, как накормить всех нас такими продуктами — капуста и картошка были мороженые. Но ее организаторские способности проявились и здесь. Однажды она пришла к нам в барак и сказала:

— Девчата! — так она называла всех женщин независимо от возраста. — Я придумала вот что: из этого мяса все равно ничего хорошего не выйдет, будет баланда с мороженной картошкой без всякого навара. Давайте, пока морозы, соберем эти туши за неделю и к воскресенью сготовим настоящий мясной суп и даже по котлете, может быть, выйдет. Согласны?

— Согласны, согласны! — закричали все хором. Так поступили и в других бараках, их было, кажется, восемь. В воскресенье мы действительно получили хороший суп и по маленькой котлете. Но приготовить такой обед, как выяснилось, было очень сложно, и, несмотря на огромное количество свободных рук, работа оказалась трудновыполнимой: кухня не смогла вместить такого количества «поварих». И эксперимент не повторился, по крайней мере при мне.

Заметив еще издали Дину, которая за оглобли тянула нагруженную телегу, мы всегда кричали: «Дина едет! Дина едет!» — и бежали к воротам, чтобы помочь ей, подталкивая телегу сзади. Для того, чтобы компенсировать затрачиваемую Диной энергию, исчислявшуюся в лошадиных силах, лагерное начальство распорядилось давать нашей «лошади» двойной паек. К сожалению, паек был такой калорийности (а овес Дина, естественно, не употребляла), что и тройной бы не помог, если бы Людмила Кузьминична не подкармливала ее в кухне.

Но однажды в Дининой жизни случилась беда. В томский лагерь была заключена молодая женщина — Жилина, по прозвищу Кармен, потому что пела она хотя и не как Кармен в Большом театре, но людям, лишенным всяких положительных эмоций при избытке отрицательных, доставляла радость. Прошли слухи — а слухи в лагере очень любили, — что Кармен была лысая и носила парик. Не скажу, чтобы этот вопрос интересовал большинство из нас, но Дину он интересовал. Дина, конечно, не могла заподозрить, что у Кармен была фаршированная голова, как у градоначальника Плюща из «Истории одного города», и что после лагерного обеда она могла бы вкусно закусить. Она и знать не знала о существовании Салтыкова-Щедрина, просто была наша Дина очень любопытна. А любопытство от безделья усугубляется, и когда Кармен шла в своем лагерном одеянии — бутсах и залатанном бушлате б/у по «Невскому», неожиданно налетела Дина и сорвала парик с ее головы. Легким движением, одной рукой водрузив плачущую, с лысой, как колено, головой, Кармен на свою спину, а другой, размахивая париком, словно знаменем, Дина со звонким хохотом помчалась по дороге. Сейчас же подбежал надзиратель и заставил освободить Кармен. За озорство Дина была наказана пятью сутками карцера (холодное помещение, хлеб и вода). Когда надзиратель хотел повести ее в карцер, Дина решила воспользоваться своим единственным преимуществом — силой, стала сопротивляться, и маленький, щупленький надзиратель, вывернувший Дине руку назад, мгновенно оказался на Дининой спине. Так Дина под общий смех женщин донесла дежурного до карцера. Но отсутствие тягловой силы спасло ее, и на другой день она вновь впряглась в свою телегу.

Кроме того, что Дина не была ничьей женой, ни «врага народа», ни его друга, она отличалась от нас и тем, что была единственной, кому нравилось в лагере, и этим вызывала жалость. Так убого было ее существование на воле, к полно оно было заботами о детях, о хлебе насущном, так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не заключение, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней. Весна в тот год выдалась на редкость ранняя, за все двадцать лет моего пребывания в Сибири больше такой не было. Дина ставила свою телегу с упавшими на землю оглоблями под единственные три березы, которые росли в зоне возле кухни (впоследствии и их срубили). Их ветки уже не только набирали почки, но кое-

где разбросали нежное кружево чуть распустившихся бледно-зеленых молодых листочков. Как хороши были эти березки, возле которых толпились исстрадавшиеся, мрачные, обносившиеся, еще не все скинувшие свои грязные, серые телогрейки женщины, так они были хороши — на фоне обшарпанных низеньких барачных, затоптанной зоны, из которой, казалось, никогда не выберешься! Дина, закончив непродолжительную работу, ежедневно ложилась в своем лагерном одеянии на телегу под березой: в ботинках из свиной кожи на босу ногу, черной ситцевой юбке, замусоленной, непонятного цвета кофте (новую, доставшуюся ей, одной из немногих, телогрейку складывала вдвое, а то и вчетверо, и подкладывала под голову). Рядом всегда лежала темная матерчатая ушанка. Солнце уже припекало основательно, и на голове ушанка была не нужна. Но Дина заглядывала в будущее: зима впереди, да не одна, а целых восемь («Кто их знает, этих интеллигентов и неинтеллигентов, — пайку-то хлеба сперли», — рассказывала с возмущением Дина). Дине на кухне другую дадут, — видимо, думала та, которая украдала пайку, Дина голодная не останется. А вот шапку на кухне не дадут, и Дина предусмотрительно ее с собой таскала. Так все ее имущество с ней вместе на телеге лежало. В лагере вещи только обременяют: как этап — тащи их на себе. Но и без них несладко.

Я иногда присаживалась к Дине на телегу. Влекло меня к березкам, да хорошо, что Дина была молчалива, никогда не спрашивала, как я отношусь к прошедшему в марте процессу, и мне не приходилось ломать голову, не провокационный ли ведется разговор. Ловушки после процесса были расставлены повсюду, да и где мне разобраться, кто какой человек! Уберечься невозможно. А с Диной было легко.

Но вот однажды и Дина разговорилась:

— Что ходишь сюда, скажи, жалеешь меня, что ль? Не жалеи, не надо. Ты свою жизнь жалеи, а мне тут неплохо. Дети в детдоме, во-первых, сыты, — и она правой рукой загнула палец на левой, — во-вторых, одеты, — загнула второй, — в-третьих, обуты, — загнула третий палец.

— Ты даже по детям не скучаешь, Дина, и свободы тебе не жаль?!

— А какая там свобода! С утра до ночи в порту. Да я и детей почти не видела.

— А почему ты не училась, Дина?

— Почему не училась?.. Советская власть головы не дала, — рассмеявшись, ответила Дина. — Пробовала даже, не получилось. Я тебе еще раз скажу, не более за чужую свободу, более за свою. Не более за чужих детей. Если у тебя есть свои, более за них. А вот зачем ты себе мужа врага выбрала, такая дивчина? Он-то, говорят, настоящий враг. У-у-у — лютый враг!

А я-то думала, она не знает, кто я. Меня словно кипятком ошпарило. Я спрыгнула с телеги и хотела бежать. Я ничего не могла ей ответить!.. Но Дина задержала меня своей большой сильной рукой и сразу изменила тон разговора.

— Знаешь, разное о нем балакают: и что он шибко умный был, а это смерть — шибко умному быть; чуть больше моего надо — и хватило бы. Ну даже, что с самим Лениным работал, слыхала. Ну, может быть, это бабья брехня, но видать-то, наверное, видал его. Хоть разок видал, а? — спросила Дина с любопытством. И я за долгое время впервые улыбнулась.

— Не рассказывал он мне об этом, может, и видал разок, но кто с тобой балакает, Дина? Набалакаешься и в беду попадешь!

— Со мной-то кто? Да кто со мной говорить будет. Лежу здесь да слышу всякую болтовню, про то, про се...

Это был мой последний разговор с Диной, но до сих пор я ее вспоминаю.

Об этом разговоре я тогда решила рассказать своей любимице — Виктории Александровне Рудиной. Жена военного, она до ареста преподавала в школе русский язык и литературу. Сарра Лазаревна Якир и я познакомились с ней в

Свердловской пересылке, куда мы прибыли этапом из Астраханской тюрьмы через Саратовскую пересыльную, она же — из московской Бутырской.

Саратовский каземат показался мне пострашнее Петропавловской крепости, наверное, потому, что в Петропавловской я была с отцом в качестве посетителя музея, хотя, может быть, в двадцатые годы музей еще и не был открыт, а Ларину было разрешено туда пройти как бывшему узнику. Привел он меня в ту самую камеру, где сидел до революции 1905 года. Длинный коридор Саратовской тюрьмы с затхлым, потерявшим прозрачность дымным воздухом казался адом. Шум из камер еле-еле проникал сквозь толстые двери. Слышался только звон ключей, висевших на поясах у надзирателей, да грохот открываемых засовов. И надзиратели были там почему-то особенно злые. Но как ни тесно было в Саратовской пересылке, в камеру нас все-таки втолкнули. В одном лишь отношении было легче в пересыльных тюрьмах, чем в следственных, — мы ошибочно полагали, что судьба наша решена окончательно, и напряженность ожидания исчезала.

Свердловская же пересылка отличалась от других тем, что заключенные уже в камерах не помещались ни на нарах, ни под нарами, ни между нарами — поэтому нас поселили в коридоре. Коридор неширокий, светлый, так как «намордников» на окнах не было, и очень холодный. Расположились мы, я и Сарра Лазаревна Якир, на полу, постелив байковое одеяло Николая Ивановича, а более теплым, шерстяным якировским, — накрылись.

Рядом со мной лежала сумасшедшая ленинградка. Она то садилась и молча рвала свое черное зимнее пальто, раздирая его на мелкие ленточки, выщипывала ватин, то вдруг неожиданно поднимала крик на весь коридор: «Убили Сергея Мироновича, убили — все убили, все и сидим!», то порывисто вскакивала и, подбегая к замерзшему, покрытому инеем окну, как пушкинская Татьяна, хоть и не прелестным, а толстым, опухшим от холода и грязным пальцем, царапала с в о й «заветный вензель» — «С. М. К», Сергей Миронович Киров. После нескольких минут спокойствия, за которые она успевала исчеркать все окна, она начинала истерически кричать:

— Изверги, изверги, изверги, ведь это мы все убили товарища Кирова, нашего Мироныча. Все на одного! Спасайте, спасайте его!

К ночи она успокаивалась, ночью у нее было другое занятие, она вытаскивала из головы вшей, что не составляло никакого труда, в таком огромном количестве они у нее водились. Запустит руку в голову — и улов обеспечен. Вшами она посыпала мою голову, приговаривая: «Всем поровну, всем поровну, к коммунизму идем».

В коридоре Свердловской пересылки привлекла мое внимание древняя старушка. Она сидела спокойно, разглядывая всех внимательно с высоты своей старческой мудрости. Испещренная морщинами, как печеное яблоко, крохотная, высохшая, непонятно чистая для тюремных условий, в белоснежном кружевном чепчике, аккуратно сидевшем на ее голове, она и места-то занимала меньше всех. Я услышала ее голос впервые, когда она обратилась к лекпому (медбрат — обычно из бытовиков, устроившихся на «теплое» местечко, ничего в медицине не смысливший, но оказывавший легкую медицинскую помощь; уголовники чаще называли его «лекпом» для простоты произношения, не понимая значения слова).

— Сынок, ты бы мне что-нибудь от поясницы дал, — попросила старушка.

— А чего я тебе дам, когда тебе сто десять лет, что тебе поможет!

Все ахнули: неужто сто десять?

— Мне помогает, помогает, таблеточку дай, — просила старуха.

— На тебе аспирин, глотай, много он тебе поможет. Таблеточку ей дай!

— Правда, бабуля, тебе сто десять лет? — спросила я.

— Точно, точно, — сказал «лекпом», — я ее формуляр видел, она 1827 года рождения.

— Чего ж неправда, когда правда это, — подтвердила бабушка.

— Так ты при Пушкине жила?

— Это при том, что стихи писал? Сказывают, жила.

— Так за что тебя, бабуля, посадили?

— За что — не знаю. Следователь сказал, что я Евангелие читала, а там про Ленина плохо написано.

— Ну это ты что-то спутала, бабуля, не может быть.

— Это не я спутала, это он перепутал.

Бабушка за Ленина в Евангелии получила пять лет лагерей.

Свердловская пересылка запомнилась и тем, что баланда там была всегда с тараканами. Уж парочка обязательно попадалась в миске. Вот эти два обстоятельства — тараканья баланда и сумасшедшая ленинградка — положили начало моему знакомству и дружбе с Викторией Рудиной. Я увидела ее впервые, когда она, пробираясь через тесно лежащие в коридоре тела, подошла к запертой двери и энергично стала стучать в нее, требуя, чтобы пришел начальник тюрьмы. Наконец он явился. Она смотрела на него свысока и, как мне показалось, брезгливо оглядев его с ног до головы, сказала таким тоном, будто он был у нее в подчинении:

— Во-первых, уберите сумасшедшую, ее нужно лечить, а здесь она не дает спать и заражает вшами. Во-вторых, прекратите варить баланду с тараканами, так как полезность сих насекомых для человеческого организма еще не доказана. Поняли?

Начальник тюрьмы выслушал молча и ушел. К вечеру сумасшедшую увели. В обед тараканов стало меньше, они плавали в мисках далеко не у всех — наверно, их вылавливали в котле.

На следующий день меня, Якир и Викторию взяли на этап и отправили в томский лагерь. В Томске Виктория сапожничала, выпросив у начальства для этого необходимый инструмент. Барак, где она жила, находился напротив кухни, в самом людном месте. Когда потеплело, Виктория выбралась на воздух, устроившись у стенки, перед березками, чинить обувь. Высокая, худая и бледная, с воспаленными от недоедания и напряженной работы глазами, она сидела, ссутулившись, в своем старом, когда-то вишневого цвета пальто. Теперь оно выцвело и потерлось на тюремных нарах, это демисезонное пальто, в котором Виктория мерзла всю сибирскую зиму. Положив тряпку на колени, она ловко орудовала шилом и дратвой. К этому времени Виктория уже не справлялась одна и организовала школу сапожников. Все сошло благополучно. Ее школа не была превращена в «школку» и не была разгромлена как контрреволюционная организация. Но мастерство главного сапожника было непревзойденно. Все стремились отдать в починку обувь именно Виктории. Может быть, ее педагогический талант и помог быстро выучить несколько человек сапожничать, но, конечно же, не прекрасное знание литературы помогло ей самой овладеть этим ремеслом. Просто она умела отдавать себя людям. А в условиях, в которых мы жили, работа ее была нужна товарищам по несчастью.

Когда впоследствии Виктория была отправлена в ссылку, в Татарскую АССР, где преподавала русский язык и литературу, один из ее очень способных учеников, отлично окончивший школу, сдавал экзамены в Казанский университет и, не добрав одного балла, не поступил. Виктория объяснила это несправедливой случайностью. С риском для себя (ее могли подвергнуть вторичному аресту) она поехала в Казань к ректору университета. «Как вы нам надоели, мамаша!» — такими словами встретил ее ректор. «Я вам не мамаша, я его учительница, это мой блестящий ученик, но если я вам очень надоела, подымите трубку, позвоните в известные органы — я ссыльная, — сообщите, что я в Казани, и меня вновь арестуют». Ректор встал, пожал ей руку и сказал: «Не волнуйтесь, ваш ученик будет принят». Обещание свое он выполнил.

Когда я подошла к Виктории, взволнованная разговором с Диной, ее окружали женщины.

— Виктория, милоч, подшей сапоги, — просила жена колхозника и сама

бывшая колхозница из Рязанской области. — Сапоги отцовские. Сказал, пригодятся, мол, там, и вот какгодились, пропала бы без них. Ох, тяжело, — вздохнула она. — Сначала мужа арестовали, ночью и за мной приехали и отвезли в Рязанскую тюрьму. Открыли замок, завели в камеру, тут-то я и поняла — нет его, бога-то!

В томском лагере было шестьдесят женщин, арестованных с новорожденными детьми. Только один Юра был двухлетний. Я часто приходила к нему. Он жил вместе с матерью в «мамочном» бараке и напоминал мне моего Юру — был к тому времени, к весне 1938 года, такого же возраста и даже внешне чем-то на него походил.

Дети подрастали, и надо было их одеть. Людмила Кузьминична добилась, чтобы нам дали байки, и мы шили для детей одежду. Матерей мы звали по имени детей: Любочкина мама, Васькина мама, Ванькина мама. Ванькина тоже подошла к Виктории, чтобы отвести душу.

— Виктория, подумай, — рассказывает она, — подходит ко мне Тельманша (старшая надзирательница Тельман) и говорит: видишь, как Советская власть о детях заботится. Ты в тюрьме сидишь, а твоему Ваньке вон какой костюмчик сшили. И что, думаешь, я ей ответила? «А по мне, дали бы мне рогожу, завернула бы я своего Ваньку и пошла бы я домой, и не надо мне никакого вашего костюмчика». Семья-то была у нас одиннадцать человек: восемь детей, я с мужем и маменька с нами жила, я только Ваньку с собой взяла, остальные со старухой и Дунькой остались — ей шестнадцать, она старшая. Тельманша думает, мы хорошей жизни не видели. Сам-от, бывало, поедет в город, купит кило сахара на неделю, и ешь сколь хошь...

Виктория, взволнованная этим рассказом, ответила ей стихами:

Горя-то, горя-то сколько кругом,
Так что о собственном горе своем
Думать становится стыдно.

Но стыдно ли? Не те времена! Мне не было стыдно думать и о своем. И хоть гонишь от себя это «собственное», все равно мысли никак не дают покоя — терзают.

Некрасов писал о жестоких нравах крепостной России: «А по бокам-то все косточки русские... сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?» Но сколько тех косточек по сравнению с нашими. В бесчисленные пирамиды павших от расстрелов, голода и холода можно было бы их сложить. Что те слезы в сравнении со слезами наших женщин в лагере, оторванных от детей и мужей — униженных и безвинно уничтоженных. «Русские женщины»? Княгини Трубецкая, Волконская, покинувшие роскошную петербургскую жизнь и поехавшие на перекладных к своим мужьям-декабристам в Сибирь? Слов нет — подвиг! Тема для поэта! Но как они ехали? На шестерке лошадей, в шубах, в на диво слаженном возке, «сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги стлал». Да и к мужьям же ехали! Наши женщины — русские и нерусские — украинские, белорусские, грузинские¹, еврейские, польские, немецкие из Поволжья и бежавшие из фашистской Германии коммунистки — сотрудницы Коминтерна и др. (Сталин же — интернационалист!) — эти доставлялись этапом, в теплушках или «столыпинском», ну, а потом от станции до лагеря километры пешком, под конвоем с собаками-овчарками, обессиленные, еле тащившие свои жалкие пожитки — чемоданы или узлы — под окрики конвоя: «Шаг в сторону — стреляю без предупреждения!» или «Садись!» — хоть в снег, хоть в грязь, все равно садись! Да и не к мужьям же ехали! Хоть были среди нас такие мечтательницы, которые наивно надеялась, что

¹ Сталин не щадил и грузин, уж в национализме и семейственности его никак не упрекнешь. Вот тут-то он чист перед историей. Родственников своих, Сванидзе и Аллилуевых, обрек он на самоубийства, казни и лагеря. Привыкшие к мягкому, теплему климату, грузины первыми гибли на Севере. Расстреливали их в огромном количестве. В процентном отношении репрессированных к остальному населению едва ли не первое место им-то принадлежит. Да и по проклятьям, которые слали они вождю и даже матери его, подарившей грузинскому народу такого сына, тоже брали они в лагерях первенство. С грузинским темпераментом проклинали.

в том лагерном потустороннем мире их соединят с мужьями — теми, кто имел десять лет без права переписки, а значит — был расстрелян. Да и мне, если б к Николаю Ивановичу, тогда что мне та дорога!

Но я и надеяться не могла.

Некрасов писал про «Орину — мать солдатскую». Сын ее в долгой и тяжелой солдатчине умер от чахотки. И впрямь: «Мало слов, а горя реченька!». В суровые годы войны, на фронте тоже погибали наши сыновья и безмерно было горе матерей. Но сын-то погибал как герой, защищая Родину, а не безвинно проклят, Родина, тобой! Что же сказать о той, у кого сына увезли ночью в «черном вороне»?! Но даже этой страдальце могла бы позавидовать та мать, чей сын был известен не только знакомым, сослуживцам и соседям, а еще вчера был гордостью всего народа, а ныне выставлен на всеобщий позор. И не прочли мы еще поэмы об этой вечной душевной муке, безмерной подавленности и вечном вопросе в глазах: «А правда ли, и как это могло случиться?» И досталось многим, хоть ненадолго — не пережили — нести на себе этот тяжкий крест за опозоренного и уничтоженного сына.

Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна. Зато и проклинала страна его дружно. Я знала, что это такое, хоть была не матерью такого сына, а женой всенародно проклятого мужа. Всенародное проклятие, всенародное глумление — что может быть страшнее этого? Только смерть — спасение от такой муки!

Та, которую я встретила, была не «Орина — мать солдатская», а Мавра — мать маршальская, тоже простая крестьянская женщина. Я встретила с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни, в поезде Москва — Астрахань, в июне 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон (бесплацкартный, зато бесплатный) сотрудник НКВД, нарочито вежливо распрощавшийся со мной и как будто в насмешку пожелавший всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что «Военная Коллегия Верховного Суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела...», что «все обвиняемые признали себя виновными» и «приговор приведен в исполнение». В тот день погибли крупнейшие военачальники — Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Путна, Примаков. Начальник Политуправления Красной Армии Гамарник 31.V.1937 года покончил жизнь самоубийством¹.

Казалось, можно было уже перестать удивляться и все воспринимать как какой-то необъяснимый, роковой круговорот ужаса. Уже прошло два большевистских процесса — Зиновьева — Каменева, Радека — Пятакова. Уже покончил жизнь самоубийством М. П. Томский, арестованы А. И. Рыков и Н. И. Бухарин. Я уж не говорю о более ранних процессах, хотя тогда они не вызывали у меня никаких сомнений. Лишь осуждение Н. Н. Суханова на процессе меньшевиков в марте 1931 года заставило задуматься. Николай Николаевич Суханов — известный литератор, революционер, публицист, экономист, в прошлом меньшевик. Суханов довольно часто бывал на квартире моего отца, его беседы с Ю. Лариным нередко длились часами — и, я думаю, еще и потому, что он был увлечен моей матерью. Это вызывало во мне неприязнь к нему. Я ревностно оберегала интересы своего больного отца. И хотя к Суханову у меня было очень двойственное чувство, так как человек он был чрезвычайно интересный, побеждала во мне нелюбовь. Поэтому меня раздражали изысканные манеры Суханова, его европейский вид, габардиновое пальто, серая фетровая шляпа, пенсне. Уже в то вре-

¹ Об обстоятельствах самоубийства Я. Б. Гамарника мне рассказала его жена, с которой я была одновременно в Астраханской ссылке, а затем в одной камере Астраханской тюрьмы.

К заболевшему Я. Б. Гамарнику 31.V.37 г. пришел взволнованный В. К. Блюхер и посвятил его в имеющиеся против него, очевидно, и против остальных военачальников, расстрелянных 11.VI.37 г., клеветнические материалы. Сразу же после ухода Блюхера явились двое: управляющий делами Наркомата Обороны — Смородинов и один из заместителей Я. Б. Гамарника — Булин, опечатали сейф. Не успели они уйти, как раздался выстрел.

меня я любила, когда по квартире бегал жизнерадостный Бухарин, и его кожаная куртка часто валялась, небрежно брошенная, в кабинете отца.

В те годы меня больше всего привлекал рассказ Суханова о том, что шумный бракоразводный процесс его матери, приговоренной судом к тюремному заключению, послужил темой для драмы Л. Н. Толстого «Живой труп». Николай Николаевич рассказывал это со всеми подробностями, которых я, увы, не помню.

Его многотомные «Записки о революции» вызвали много споров, читались большевистской верхушкой в захлеб, и, несмотря на взгляды, с точки зрения большевизма неверные, признавалась их некоторая историческая ценность.

Все по тем же личным мотивам мне каждый раз хотелось чем-нибудь задеть Суханова, уязвить его. Однажды, заметив, что Суханов меньше слушает отца, увлеченно рассказывающего о новой архитектуре, о городах будущего, а больше смотрит на мать, я, чтобы отвлечь его взгляд от матери, во весь голос запела очень популярный в то время авиационный марш: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» Этим я только рассмешила все понявшего Суханова, который потом всегда свой приход начинал с этого марша, и рассердила ничего не понявшего отца. «Ты бестактна, — сказал он мне, — выйди из кабинета!»

Но однажды я больно задела Суханова, сыграв на известном историческом факте. В целях конспирации на квартире Суханова, в то время видного меньшевика, и его жены большевички Галины Константиновны Флаксерман решался вопрос о вооруженном восстании 1917 года.

Как-то я сказала Суханову:

— А все-таки, Николай Николаевич, вас здорово надули большевики в октябре 1917 года, решив в вашей квартире, в ваше отсутствие вопрос о восстании.

Возмущенный Суханов ответил:

— Надуть меня было абсолютно невозможно, да будет известно тебе и твоим родителям! Я нарочно ушел, чтобы дать возможность решить этот вопрос.

Я слышала высказывание Суханова незадолго до его ареста, что в последнее время он разделяет политику ВКП(б) и намеревается вступить в партию.

Николай Николаевич всегда открыто высказывал свои взгляды и тогда, когда не разделял большевистскую политику. Именно Суханов посеял во мне зерно сомнения в отношении процесса Союзного Бюро меньшевиков, и это сомнение после большевистских процессов превратилось в полную уверенность, что и предыдущие процессы — фальсификация.

Но, по-видимому, человеку от природы свойственно не переставать удивляться. Я, мало сказать, удивилась, я была потрясена новым судом и стала искать хоть какие-то объяснения.

В заговор против Советского государства, в связь с Гитлером поверить я никак не могла. Но так как репрессии достигли таких масштабов, что превращались уже во всенародное бедствие, я приписала расстрелянным военным благородную миссию: они, подумала я, решили убрать Сталина, чтобы прекратить репрессии, и провалились. И позже, в сентябре 1939 года, во внутренней тюрьме на Лубянке, один из следственных работников, Матусов, сказал мне:

— Вы же думали, что Якир и Тухачевский спасли бы вашего Бухарина. А мы работаем хорошо. Поэтому это не удалось!

И хотя такого заговора, т. е. против Сталина, по-видимому, не было, Сталин его боялся, в этом и есть, с моей точки зрения, причина гибели наших военных руководителей.

Я заглянула в газету через плечо соседа, чтобы своими глазами увидеть сообщение, но буквы запрыгали, я только и смогла прочесть: «Приговор приведен в исполнение».

Был теплый июньский день, я смотрела в окно и незаметно утирала слезы. Через окно виднелись обширные степи, зеленые перелески и ясное небо — чис-

тое-чистое, лишь на горизонте покрытое перистыми облаками. Только природа, только она казалась вечной и чистой. А кругом все расстрелы и расстрелы. Из прошедших по военному процессу я была знакома с Тухачевским, Якиром, Корком и Уборевичем. От этого было еще больней. А поезд мчал меня в незнакомую Астрахань, с каждой минутой отдаляя от родной Москвы, от годовалого сына. Я чувствовала себя одинокой среди посторонних людей, не понимавших моей трагедии.

И вдруг у противоположного окна я заметила старуху и женщину лет тридцати пяти, а с ними девочку-подростка. Они внимательно, как и я, прислушивались к читающим газету, к реакции окружающих. Лицо старухи своими чертами мне кого-то напоминало. Меня словно магнитом потянуло к ним. Я сорвалась с места и попросила пассажира, сидящего напротив них, поменяться со мной. Он согласился. Оставалось только объясниться. Я понимала, что в такой обстановке они не назовут себя прежде, чем я не объясню им, кто я. Но как сказать? Я же могла ошибиться в своих предположениях, что они — свои — теперь уже больше, чем родные. Я подошла вплотную к молодой женщине и очень тихо сказала: «Я — жена Николая Ивановича». Сначала я решила не называть фамилии; имя и отчество Бухарина были так же популярны, как и фамилия. Ну, а уж если не поймет, кто я, решила назвать фамилию. Но ответ последовал мгновенно: «А я — Михаила Николаевича».

Так я познакомилась с семьей Тухачевского: его матерью Маврой Петровной, женой Ниной Евгеньевной и дочерью Светланой.

Пассажиры бурно выражали свою ненависть к «предателям»:

— Да разве их зря осудят!

— Да не резон же, только урон!

Да на резон плевать, лишь бы убрать. Об этом свойстве главного убийцы разве мог народ знать? Следовательно, для Сталина резон был. Он действовал смело и уверенно, без риска проиграть. В этом он был не превзойден никем — ни в деспотизме, ни в коварстве, ни в зле и обмане.

— Сами же признались, сами! От улик никуда не уйдешь.

Народ волновался и безуспешно пытался что-нибудь понять.

— Да судил-то их кто: Блюхер, Буденный, Дыбенко! Вот почему-то их же не судят, а они судят!¹

А довод же, ничего не скажешь. Народ в тот миг не знал, что и Блюхер станет несколько позже «шпионом» и будет расстрелян, и Ворошилов станет кандидатом в английские шпионы и, как рассказал Хрущев на закрытом заседании XX съезда, не будет допускаться на все заседания Политбюро, а спрашивать разрешения, можно ли прийти.

— И что им только нужно было — и положение, и слава!

— И деньги не наши, — добавила какая-то женщина.

— Про Якира я не верю! — неожиданно смело заявил пассажир в вышитой украинской рубашке, сидевший недалеко от меня, весь покрасневший от волнения. — Хоть десять листов в этой газете напишите — не поверю, не поверю! Я Иону знал и воевал с ним, знаю, что он за человек. Фашистский наймит?! Абсурд, вранье! Да еврей же он, на черта ему нужны фашисты! Какие военные маневры под его руководством возле Киева прошли — мир таких не видел! Так это для того, чтобы обороноспособность нашу крепить, а не для того, чтобы...

— Ишь, гусь нашелся! — перебил его другой пассажир. — Якира защищает, он с Якиром воевал, а я, может, с Тухачевским воевал, другой с Корком или Уборевичем, так, значит, все ложь, все «липа»? А зачем это нужно таких военачальников невинных убивать, только врагам на руку!

¹ Членами суда были также и другие военачальники: командармы Шапошников, Белов, Алкснис, Каширин и комкор Горячев. Из них лишь Шапошников и Буденный остались в живых. Комкор Горячев покончил жизнь самоубийством в день суда над военными. Все остальные члены суда были расстреляны.

Присутствовали ли перечисленные военачальники на суде, или же их именами воспользовались для того, чтобы показать, что суд состоял из людей авторитетных, мне неизвестно.

Опять же довод! Но защитник Якира не унимался:

— Якир не Тухачевский — помещичий сынок, он-то всех, наверно, и зятянул, а Якира туда впутали.

И те, кто восхищался раньше их военным талантом, блестящими стратегическими способностями, героизмом и мужеством, те, кто под их руководством в огне гражданской войны отвоевывал Советскую власть и подавлял армии интервентов, те, кто им рукоплескал и кричал «Ура!», — теперь, обманутые и растерянные, яростно проклинали. Гибли авторитеты, рушилась вера, меркли светлые идеалы.

— Изверги, наймиты, изменники, пули им мало, четвертовать, повесить их надо было! Слишком легкая им смерть!

И тут же, среди разъяренных людей, сидела окаменевшая от горя и ужаса мать маршала Тухачевского. Как щедро была к нему природа, как оказалась безжалостна судьба! Необычайная одаренность, редкие полководческие способности, духовная красота сочетались с изумительными внешними данными.

Когда в детстве я впервые увидела Тухачевского, я не могла оторвать от него глаз. Так уставилась на него, разинув рот, что вызвала смех окружающих и добродушную улыбку Михаила Николаевича. «И дети любят красивое», — заметил отец.

Теперь я смотрела на его мать. Мертвенно-бледное лицо и дрожь больших, поработавших на своем веку рук выдавали ее волнение. Она сохранила следы былой красоты, и я улавливала черты, переданные ею сыну. Была она крупная, казалась еще крепкой и удивительно гордой даже в страдании, даже в унижении. Некрасов, словно на нее глядя, писал:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...

И тот, кто хоть раз ее видел, непременно со мной согласился бы. Гнев и проклятия в адрес ее сына ядовитыми стрелами вонзались в материнское сердце. Но ни одной слезы на людях она не проронила. Не причитала, как это бывает с крестьянскими женщинами, когда гибнут их дети — все равно какой смертью, — сраженные ли на фронте, умершие от болезни. Я не одну такую видела. Последнюю — мать В. Шукшина у его могилы. Обезумевшая от горя, опухшая от слез, хватаясь руками за холм из венков и цветов, она уже охрипшим голосом причитала: «Виноватая я, виноватая я, не замолила тебя, не замолила, виноватая я».

Мавра Петровна горя своего не могла высказать. Кто бы ей посочувствовал? Оно жгло ее изнутри. Ведь в тот день, когда нас свели трагические события 1937 года, она получила похоронку на сына — самую страшную, какая могла быть.

Но видела я Мавру Петровну и плачущей. Она пришла ко мне уже в Астрахани, после ареста жены Тухачевского — Нины Евгеньевны. Я и жена Якира почему-то были арестованы двумя неделями позже. Мавра Петровна хотела сделать передачу Нине Евгеньевне в Астраханскую тюрьму. Сказала: «Пишу плохо», — и попросила меня написать, что она передает. Напиши: «Ниночка. Передаю тебе лук, селедку и буханку хлеба». Я написала. Неожиданно Мавра Петровна разрыдалась и, положив голову мне на плечо, стала повторять: «Мишенька! Мишенька! Мишенька — сынок! Нет тебя больше, нет тебя больше!»

Тогда она еще не знала, да, может, никогда и не узнала, что еще два сына — Александр и Николай — тоже расстреляны только потому, что родила их та же Мавра, что и Михаила. Тогда она еще не знала, что и дочери ее были арестованы и осуждены на восемь лет лагерей. — двумя, Ольгой Николаевной и Марией Николаевной, я была в томском лагере. Третья сестра Михаила Николаевича, Софья Николаевна, тоже была репрессирована, выслана из Москвы и бес-

следно исчезла. Да и четвертой сестре, Елизавете Николаевне, пришлось пережить не меньше. Умерла Мавра Петровна в ссылке. Надо верить, придет время, тронет сердце поэта и Мавра Петровна. Прочтут и о ней.

Вот как далеко увели меня размышления о Некрасове. Не случайно так часто приходили мне на память именно его строки: с детства отец воспитывал меня на стихах Некрасова, любимого поэта многих революционеров.

Я ушла в своих воспоминаниях в более ранний период моих мытарств, и занесло меня в сторону от томского лагеря. А я-то ведь еще в Томске. Я уже писала, что в этом лагере в марте 1938 года мне пришлось пережить процесс. Если возможно оценить пережитое по степени тяжести, то несомненно месяцы следствия до ареста Бухарина — даже не процесс — были самыми невыносимыми. Тогда сознание еще не свыкло с ужасающими обвинениями в «дворцовом перевороте», терроре и против Сталина, и против Ленина в 1918 году, не свыкло со страшными и необъясненными не только для меня, но и для Николая Ивановича очными ставками, и не умрет в моей памяти тот выюжный февральский день 1937 года, когда я провожала в Кремле ослабевшего от голодовки Бухарина на знаменитый февральско-мартовский пленум 1937 года. Суд стал логическим завершением того, что зримо-явно началось для Николая Ивановича в августе 1936 года, когда на зиновьевском процессе были упомянуты имена Бухарина, Томского, Рыкова, Радека и других, но очень тонко, как теперь понятно, подготавливалось Сталиным сразу же после смерти Владимира Ильича.

Никакая самая богатая фантазия не могла вообразить, что внутрипартийные идейные разногласия будут представлены как бандитские преступления, хотя после 1929 года, после разгрома так называемой правой оппозиции, с тех пор как Бухарин перестал занимать руководящее положение в партии, он был всегда под сталинским прицелом и сталинским обстрелом, и это угнетало его. Сталин третировал Бухарина, внушая ему, что его бывшие ученики, которых начали называть унижительно «школка» и разогнали, отправив многих на работу вне Москвы, превратились в контрреволюционеров. Он натравливал на Бухарина отдел печати ЦК и редактора «Правды» Мехлиса, с которым у Бухарина бывали частые стычки. Сталин изредка позванивал Николаю Ивановичу, давал какие-либо указания редакции «Известий», например: Бухарину и Радеку обязательно написать «разгромные» статьи («разгромные» — так он выразился) об историке, революционере-большевике Михаиле Николаевиче Покровском. Он звонил и пробирал Бухарина за то, что в потоке славословий в его адрес автор одной статьи написал, что мать Сталина называла его Сосо.

— Это еще что такое за Сосо?! — вопрошал разгневанный Сталин. Непонятно, что его разозлило. Упоминание ли о матери, которой он никогда не оказывал внимания (как я слышала), или он считал, что и мать тоже должна была называть сына Отцом всех народов и Корифеем науки. Одновременно он «ласкал» Николая Ивановича, проявлял к нему «внимание». Произнес на банкете, устроенном для выпускников военных академий весной 1935 года, тост в честь Бухарина: «Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича, все мы его любим и знаем, а кто старое помянет, тому глаз вон!» Тост на банкете выпускников военных академий даже не за военного руководителя, а за штатского человека, и уже не руководителя партии, а за низвергнутого, но все еще любимого Бухарина! Выпили — и раздались бурные аплодисменты, как у нас говорят, переходящие в овацию. Бухарин растерялся от неожиданности. Сталин как бы измерял температуру отношения к Бухарину. Все было у него рассчитано, каждый шаг, нет, каждый сантиметр шага. Это теперь ясно, тогда этого никто, в том числе даже сам Бухарин, и не подозревал. Тост был воспринят как искренний, выражающий отношение Сталина к Бухарину.

Сталин звонил, чтобы поздравить Бухарина с хорошим докладом о поэзии на Первом съезде писателей летом 1934 года. Особенно ему понравилось высказывание о Демьяне Бедном, о том, что тому грозит опасность отстать от

времени. Однажды Сталин позвонил глубокой ночью, был нетрезв, поздравил Бухарина с женитьбой. Звонок разбудил нас. Я подошла к телефону и услышала три слова: «Сталин. Николая попросите!» — «Опять какая-нибудь неприятность», — сказал Николай Иванович и взволнованно взял трубку. Но оказалось, неприятности вовсе не было. Сталин сказал: «Николай, я тебя поздравляю! Ты и в этом меня переплюнул». Почему «и в этом» Н. И. не спросил, но в чем переплюнул, все-таки поинтересовался. «Хорошая жена, красивая жена, молодая — моложе моей Нади!» Он это говорил, когда Надежды Сергеевны Аллилуевой уже не было в живых. После таких выходов на следующий же день можно было ждать неприятности. Вся эта нервотрепка, к которой, я бы сказала, Н. И. до некоторой степени даже привык, — до августа 1936 года преодолевалась им благодаря присущей ему жизнерадостности. Начиная же с августа 1936 года, то есть с зиновьевского процесса, обвинения против Бухарина стали настолько страшны, что жизненные силы его иссякали на глазах.

Я была отправлена в лагерь до осуждения Бухарина. Я долго ждала процесса — целый год. Я понимала, что приговор будет смертным, другого не ждала и хотела скорейшего конца, чтобы прекратились мучения Николая Ивановича. Но у меня теплилась слабая надежда, что Бухарин уйдет из жизни гордо. Что он так же, как на февральско-мартовском пленуме 1937 года громко, на весь мир заявит: «Нет, нет, нет! Я лгать на себя не буду!» Эта надежда была ничем не обоснована и родилась только от большой любви к Николаю Ивановичу.

В лагере я уже хорошо понимала, что все обвиняемые, проходившие по процессу, признаются в преступлениях, которых они не могли совершить.

Обычно в лагере мы газет не получали. В первых числах марта 1938 года надзиратель принес газеты, в которых освещался процесс. «Почитайте, почитайте, кто вы есть!» — Он брезгливо и злобно посмотрел на меня, отдал газеты старосте барака, хлопнул дверью и вышел. Эта староста, по фамилии Земская (у меня ее фамилия и внешний вид ассоциировались всегда со змеей), конечно, тоже была чья-то жена, работала раньше в Ленинграде прокурором, а в лагере была осведомителем. Однажды, еще до процесса, Земская уже успела сделать мне неприятность тем, что сообщила в 3-ю часть о том, что у меня имеется книга со штампом «библиотека Н. И. Бухарина» и очень подозрительным названием «Опасные связи». Это была книга французского писателя и политического деятеля XVIII века Шодерло де Лакло, очень живо и остроумно написанный роман в письмах. Он был прекрасно издан в начале 30-х годов советским издательством «Academia». Трудно теперь сказать, почему именно эта книга оказалась у меня с собой. После доноса Земской мне был устроен персональный обыск, и старинный французский роман о светских озорниках забрали как контрреволюционный. Так мне объяснили, когда я обратилась в 3-ю часть с просьбой вернуть книгу.

Итак, нам принесли все газеты, освещавшие процесс, кроме той, где было опубликовано последнее слово Бухарина. Меня очень интересовало, простая ли это случайность, или за этим что-то кроется? Газеты в руки заключенным не давали, староста читала их вслух, сидя на верхних нарах, как раз напротив меня. Читая обвинительные заключения, она иногда отрывалась и поглядывала в мою сторону, чтобы потом донести, как я на все реагирую.

До процесса я думала, что более или менее психологически подготовлена к нему благодаря чтению предварительных показаний против Бухарина, которые присылались ему, когда Николай Иванович еще не был арестован, но уже находился под следствием. Но процесс по наглости и чудовищности обвинений превзошел все мои ожидания. Преступная фантазия его создателя (остальные были исполнителями) достигла апогея. Такого количества преступлений ни один преступник за свою жизнь не смог бы совершить не только потому, что не хватило бы жизни, но и потому, что он обязательно бы провалился на первых нескольких.

Шпионаж и вредительство; расчленение СССР и организация кулацких восстаний; связь с германскими фашистскими кругами, с германской разведкой, с японской разведкой; несбывшиеся террористические стремления убить Сталина;

убийство Кирова; террористический акт в 1918 году против Ленина, причем не просто совершенный правой эсеркой Каплан, а рука Каплан — это рука Бухарина; умерщвление давно не работавшего из-за болезни Менжинского, Куйбышева, Горького, даже попытка отравления Ежова...

После оглашения обвинительного заключения председатель Военной Коллегии Верховного Суда Ульрих опрашивал обвиняемых, признают ли они себя виновными. И только Крестинский, Николай Николаевич Крестинский¹, смог заявить:

— Не признаю.

У меня брызнули слезы. Это была минута просветления и гордости за него. Мне казалось, что я вижу его добродушное лицо с подслеповатыми, сильно близорукими глазами, в очках. И хотя отрицание вины длилось у Крестинского недолго — его заставили «признаться», т. е. лгать, — это обстоятельство явилось основательной трещиной в ходе процесса.

Сначала я слушала отчет о процессе сидя, потом, чтобы избежать взглядов любопытствующих женщин, легла на нары и накрыла одеялом голову. Я почувствовала сильную головную боль, из носа пошла кровь. Возле меня неотлучно была Сарра Лазаревна Якир. Она смачивала холодной водой полотенце, прикладывала его к моему носу и тихо говорила:

— Отупей, отупей, надо стараться ничего не воспринимать, бери с меня пример, я уже отупела!

Неожиданно Земская прервала чтение и властным голосом крикнула:

— Бухарина! Иди-ка мыть коридор, сегодня твоя очередь!

И очередь была не моя, и староста видела, в каком я положении, понимала, что мыть коридор я не смогу. Это сделано было нарочно, чтобы осведомительница могла доложить о моем отказе, что дополнило бы мою «контрреволюционную» характеристику.

— Не волнуйтесь, — заявила С. Л. Якир, — я за нее вымою.

И хоть сама была измучена, пошла мыть длинный грязный барачный коридор.

В то время и в таком состоянии, в каком я находилась, в бараке, где не меньше ста женщин устремляли на меня взгляды, когда я не могла взять газету в руки и вдуматься, произвести хотя бы элементарный анализ этого мерзкого судилища, все обвиняемые казались мне на одно лицо, все, кроме все-таки Крестинского. Николай Иванович выглядел в моих глазах гораздо униженнее, чем спустя много лет, когда я смогла сама прочесть судебный отчет и его последнее слово. В Томском лагере у меня были даже сомнения, действительно ли это был Бухарин, не подставное ли лицо, загримированное под Бухарина. Настолько чудовищными казались мне его признания, что если бы он высказал мне их наедине, я сочла бы его безумным. Многие тогда считали, что на процессе были подставные лица, и Бухарин тоже был не действительным Бухариным. Но мои первоначальные сомнения по мере чтения очень быстро рассеялись. Слишком хорошо я знала Николая Ивановича, чтобы не узнать и его стиль, и его характер. Подставные лица — это была бы слишком грубая и опасная фальшивка вообще, а по отношению к Бухарину в особенности. Да и сам ход процесса — наряду с признаниями стычки с Вышинским — делал неубедительным это предположение.

Спустя много лет, когда я вернулась в Москву, И. Г. Эренбург, присутствовавший на одном из заседаний процесса и сидевший близко от обвиняемых, подтвердил, что на процессе наверняка был Николай Иванович. Он же рассказал мне, что во время судебного заседания через определенные промежутки вре-

¹ Н. Н. Крестинский (1883—1938) — старый большевик, видный партийный и государственный деятель. Член партии с 1903 года. Участник революции 1905—1907 гг. На VI съезде РСДРП(б) избран членом ЦК. В Октябрьские дни — председатель Екатеринбургского ВРК. В период заключения Брестского мира примыкал к «левым коммунистам». В 1918—1922 гг. — нарком финансов РСФСР, одновременно в 1919—1921 гг. — секретарь ЦК РКП(б). С 1921 года на дипломатической и государственной работе. В 1919—1921 гг. — член Политбюро ЦК РКП(б). В 1927 году примыкал к троцкистской оппозиции, с которой порвал в 1928 году.

мени к Бухарину подходил охранник, уводил его, а через несколько минут снова приводил. Илья Григорьевич заподозрил, что на Николая Ивановича действовали какими-нибудь ослабляющими волю уколами, кроме Бухарина, больше никого не уводили.

— Может, потому, что больше остальных его-то и боялись, — заметил Илья Григорьевич.

Эренбург рассказывал, что билет на процесс дал ему Михаил Кольцов, со словами: «Сходите, Илья Григорьевич, посмотрите на своего дружка!» И произнесено это было, как показалось Эренбургу, враждебным тоном. Но Кольцов и сам не избежал той же участи.

Состав подсудимых меня поразил невероятно. И на первых двух большевистских процессах, по-видимому, тоже были обвиняемые, не связанные политической деятельностью, общими целями, оппозиционными настроениями ни с Каменевым и Зиновьевым, ни с Пятаковым, Радеком и Сокольниковым, но таких посторонних было намного меньше. По предыдущим процессам прошло много людей, работавших в различных учреждениях на ответственных постах, ранее исключенных, затем восстановленных в партии, бывших троцкистов, давно порвавших с Троцким.

Из принадлежавших к правой оппозиции по последнему процессу вместе с Бухариным проходил только Алексей Иванович Рыков. Томский сразу понял, что ничего не докажешь, потому что доказательства невиновности не нужны, и смог своей твердой рабочей рукой пустить себе пулю в висок. Когда я подумала о нем, мне представились эти крепкие широкие руки, запомнившиеся в тот час, когда Томский нес урну с прахом моего отца к Кремлевской стене.

Я воображала, что по процессу пройдут сторонники взглядов Бухарина: Д. Марецкий, А. Слепков, Я. Стэн, А. Зайцев, В. Астров, А. Айхенвальд, И. Кравель, Е. Цейтлин и другие. Те, кого к этому времени называли унизи-тельно «школка», и сам Бухарин, как робот, повторял на процессе это слово. Те, кого когда-то защищал от нападок Каменева — кто бы мог подумать — Молотов! «Такой «демократ», как т. Каменев, иначе не говорит о них, как свысока: Стецкие-Марецкие. Он иначе не может выразиться о той молодежи, которая вокруг партии и ее руководящих органов начинает подрастать, которая приносит нашей партии громаднейшую пользу...».

Но нет — сторонников бухаринских взглядов в 1928—1929 годах на процессе не было. Не было и Угланова, которого Сталин считал правей Бухарина, не было Фрумкина и т. д. Сторонники Бухарина во время брестских разногласий, якобы совершавшие вместе с Бухариным преступления, — В. В. Осинский, В. Н. Яковлева проходили по процессу как свидетели, почему-то не как обвиняемые. Зато с Бухариным вместе оказались «врачи-отравители», к политике никогда не имевшие отношения. Это были очень знающие врачи, среди них профессор Плетнев, широко известный у нас и за границей. Нужно было «сделать «правых». Кто же ими стал? Чудовищно, но одной из центральных фигур на процессе стал Ягода, бывший наркомвнудел, при котором был проведен процесс Зиновьева — Каменева и другие, небольшевистские процессы. Ягода, к которому Николай Иванович, кроме презрения и ненависти, никаких иных чувств в последнее время не питал. Бухарин считал, что Ягода разложился, забыл свое революционное прошлое, превратился в авантюриста, карьериста и чиновника. Ягода никогда не мог быть ни правым, ни левым, он всегда держался за свой пост, он строго выполнял указания «хозяина», не понимая, как последний его «отблагодарит»! Ни об одном из подлинных преступлений Ягоды на процессе не было сказано ни слова. Он был так же оклеветан, оболган, как и его жертвы.

Пожалуй, лишь один факт, рассказанный Ягодой на процессе и подтвержденный Рыковым и Бухариным, действительно имел место: когда в деревне в связи с коллективизацией начались крестьянские волнения и тяжелые известия с мест дошли до Рыкова и Бухарина, кажется, Алексей Иванович Рыков, а возможно, и Бухарин, обратились к Ягоде как к наркому внутренних дел за точными цифровыми данными о волнениях для доклада на Политбюро или, может

быть, на пленуме ЦК ВКП(б), в целях предупреждения дальнейшего их роста и для обоснования своей позиции. Лучше Ягоды этих данных никто не мог знать. Ягода никогда не был в правой оппозиции, но к нему обратился председатель Совнаркома, и он обязан был сообщить ему сведения. На процессе они фигурировали как тенденциозные. Ягода не рассчитал гири на весах; по-видимому, если б он не дал таких сведений, он бы получил только одобрение. Но этой оплошности Сталин ему не простил. О приведенном факте с Ягодой я знаю, так как присутствовала при разговорах об этом Н. И. Бухарина с Ю. Лариным.

Вторым «сделанным «правым», запомнившимся мне, был Акмаль Икрамов, секретарь ЦК Узбекистана. Икрамов тоже никогда в правой оппозиции не был. Более того, выступал против нее. Трудно сказать, какие потенциальные сторонники были у Николая Ивановича. Они наверняка были, но раз они своего мнения открыто не выражали, то знать об этом нам не дано. Калинин, например, однажды встретил Н. И. в Кремле (это было еще до XVI съезда ВКП(б)) и сказал ему: «Вы, Николай Иванович, правы на все двести, но полезней монолитности партии ничего нет. Время мы упустили, у нашего генерального секретаря слишком большая власть, остальное понимайте сами». Шверник также выражал сочувствие позиции Николая Ивановича, но только лично. А возможно, и Икрамов был молчаливым сторонником взглядов Николая Ивановича, хотя он и выступал против правой оппозиции. И Акмаль Икрамов, и Файзулла Ходжаев были удобны фальсификаторам тем, что у Акмаля Икрамова останавливался в Ташкенте Николай Иванович, когда проводил свой отпуск в горах Памира или Тянь-Шаня, тогда же он видел и Ф. Ходжаева.

Куда бы ни ступала бухаринская нога, она обязательно несла за собой «контрреволюцию». Но ташкентских встреч для этого не хватило, надо было придумать еще, и придумали. Подробней об этом эпизоде в дальнейшем. «Вербовка» Бухариным Икрамова так же невероятна, как невероятны лживые показания Икрамова в отношении самого себя — о вредительстве и т. д. Но не налгав на себя, не налжешь и на Бухарина, а этого от него, несомненно, требовали на следствии.

Никогда не были «правыми» упоминавшиеся на процессе Рудзутак, Енукидзе и многие другие, не разделявшие взглядов Бухарина, Рыкова, Томского в 1928—1930 годах.

Ужасающее впечатление произвел допрос Вышинского о годах, проведенных Бухариным за границей до революции. Получалось, что Бухарин жил в Западной Европе и Америке не как политический эмигрант, бежавший за границу от преследований царского правительства, когда провалились многие революционеры, которых в то время предал провокатор царской охраны Малиновский. Оказывается, цель пребывания Бухарина в Европе и Америке состояла в том, чтобы установить связь с полицейскими органами этих стран.

Мне уже и в то время было известно, что в эмиграции, кроме практического участия в рабочем движении, знакомства с Лениным, Бухарин много занимался, пополняя свое образование в Венском университете — слушал лекции Э. Бем-Баверка и Ф. Визера, буржуазных экономистов, представителей так называемой «австрийской школы» в политэкономии. Публиковал теоретические статьи с критикой теории ценности и прибыли — австрийской школы, отстаивая ортодоксальный марксизм. В Вене он написал книгу «Политическая экономия рантье», в которой яростно атаковал антимарксистские взгляды Э. Бем-Баверка, М. И. Туган-Барановского. В первые послереволюционные годы книга была издана в Советской России и была так же читаема в экономических учебных заведениях и в экономических кругах вообще, как популярная «Азбука коммунизма» на рабфаках. В Америке, где Н. И. активно участвовал в рабочем движении и редактировал газету «Новый мир», орган левых социалистов, его очень любили американские рабочие. После Октябрьской революции они изредка писали ему письма. В 1928 году представители типографских рабочих Нью-Йорка прислали в подарок Бухарину к сорокалетию длинную красную ленту, на которой по-английски были напечатаны посвященные Бухарину стихи. В ленту была за-

вернута, как тогда называли, самопишущая ручка в золотой, очень тонкой работы оправе. На закрежке ручки было мелко написано по-русски: «Н. И. Бухарин. Этой ручкой, Николай, врагов рабочего класса сражай!»

В странах, в которых Бухарин жил в эмиграции, его арестовывали за участие в рабочем движении, как, например, в Швеции, где привлекался по делу левого социалиста Хеглунда. Там, в Стокгольме, он жил под чужим именем — Мойша-Абе-Пинкус Довголевский. Это всем нам казавшееся забавным длинное имя сохранилось в моей памяти — до последнего времени, приходя к отцу, Николай Иванович так себя и называл. Звонил в дверь, не успеешь открыть, как уже слышится его заразительный смех: «Откройте, Мойша-Абе-Пинкус Довголевский пришел!»

В Австрии, которая находилась в союзе с Германией против России, Бухарин был арестован как иностранец по подозрению в шпионаже и диверсии, что было логичным с точки зрения австрийской полиции, не понимавшей, что русский большевик Бухарин не помощник царскому правительству. Однако в то время я еще не знала, а узнала значительно позже, что в Вене одновременно с Бухариным был и Сталин, и Бухарин помогал Сталину, не знавшему немецкого языка, в его работе над книгой по национальному вопросу.

Когда читали о том, как Вышинский допрашивал Бухарина о связи с полицейскими органами за границей, я не выдержала, сбросила с лица одеяло, села рядом с Саечкой (так я называла Сарру Лазаревну Якир, так ее называли в семье, которой больше у нее не было). Мне уже безразличны стали любопытные взгляды женщин, устремленные на меня. Я внимательно слушала этот удивительный для Бухарина диалог. Он, может быть, не страшнее остальных. Но врезался в память потому, что я почувствовала протест Бухарина. В интересах точности, цитирую этот эпизод по стенографическому отчету.

В ы ш и н с к и й: Может быть, предварительно мне можно задать два-три вопроса биографического порядка?

Б у х а р и н: Пожалуйста.

В ы ш и н с к и й: Вы в Австрии жили?

Б у х а р и н: Жил.

В ы ш и н с к и й: Долго?

Б у х а р и н: 1912—1913 годы.

В ы ш и н с к и й: У вас связи с австрийской полицией не было?

Б у х а р и н: Не было.

В ы ш и н с к и й: В Америке жили?

Б у х а р и н: Да.

В ы ш и н с к и й: Долго?

Б у х а р и н: Долго.

В ы ш и н с к и й: Сколько месяцев?

Б у х а р и н: Месяцев семь.

В ы ш и н с к и й: В Америке с полицией связаны не были?

Б у х а р и н: Никак абсолютно.

В ы ш и н с к и й: Из Америки в Россию вы ехали через...

Б у х а р и н: Через Японию.

В ы ш и н с к и й: Долго там пробыли?

Б у х а р и н: Неделю.

В ы ш и н с к и й: За эту неделю вас не завербовали?

Б у х а р и н: Если вам угодно задавать такие вопросы...

Б у х а р и н: Связь с австрийской полицией заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии.

Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме.

Эти издевательские вопросы Вышинский задавал в расчете на дешевый эффект, для воздействия на несведущих: вот ясно, шпион, скакал из стороны в сторону.

Стремясь еще больше унизить Бухарина, парализовать его волю, Вышинский не остановился даже перед тем, что с точки зрения элементарной логики такие вопросы не выдерживали никакой критики.

Если Бухарин обвинялся в том, что он якобы хотел свергнуть Советскую власть и реставрировать капитализм, спрашивается, для чего ему было в 1912—1913 годах связываться с австрийской полицией — для борьбы с царской Россией? Или с полицией американской и японской — в феврале 1917 года — для борьбы с Россией Керенского? Она и без того была капиталистической.

Угнетающее впечатление произвело на меня упоминание Бухариным о якобы происходивших контрреволюционных разговорах во время его пребывания в Париже в 1936 году с меньшевиком-эмигрантом Б. И. Николаевским. В Париже Бухарин был в служебной командировке и разговаривал с Николаевским по поручению Политбюро. Разговоры происходили в моем присутствии и носили чисто деловой, официальный характер (о Париже, о Николаевском, о процессе я еще расскажу).

Сейчас я написала о том, как я смогла воспринять процесс в условиях Томского лагеря, когда нервы были напряжены до предела, когда на слух трудно было все уловить, когда мне не было известно последнее слово Бухарина, когда временами мутился рассудок, и я уже действительно стала отупевать от нескончаемого потока информации о «преступлениях» Николая Ивановича и других обвиняемых, преступлениях, ничего общего не имевших с политической деятельностью. Все это походило на дешевый детектив.

Приговор к расстрелу я восприняла как запоздалое решение. Я себя заранее настроила так, что для меня Николай Иванович был расстрелян уже в день ареста. Да и сам он во время следствия меня к этому готовил. Исчезла напряженность ожидания, и сознание, что, наконец, кончились его мучения, принесло даже некоторое облегчение, но одновременно ввергло в подавленное состояние. Все окружающее померкло, стало для меня огромным, бездушным серым пятном. И удивительно было думать, что существует на земле жизнь, людское счастье и земные радости. И что мы здесь тоже как-никак живем и дышим, бесцельно толчемся мрачными толпами за этим мрачным забором с охранными вышками, по утрамбованной множеством ног единственной, короткой дороге — нашему «Невскому проспекту».

После процесса, закончившегося 13 марта 1938 года, я в основном лежала на нарах, ошеломленная ужасающим судилищем, ослабевшая от еще большего недоедания, чем обычно, так как и кусок хлеба в горло не шел. Немного оправившись, я стала появляться за пределами барака — в зоне. В этом лагере я была единственной женой, муж которой прошел по открытому процессу. Кроме меня, только жена И. Э. Якира знала о трагической судьбе мужа. Подавляющее большинство женщин ничего о мужьях не знали. И не все, но многие надеялись, что они живы, хотя на самом деле остались в живых считанные.

В те дни я особенно привлекала внимание окружающих. По-разному относились ко мне. Это зависело главным образом от политического развития, интеллектуального уровня, от того, как они до процесса воспринимали Бухарина, как близко они знали Николая Ивановича и некоторых других сопроцессников. Поэтому я чувствовала на себе злобные взгляды тех, кто принимал признания обвиняемых за чистую монету, верил в процесс. Таких, к сожалению, было немало. Но видела я и с болью смотревшие на меня глаза тех, кто все понимал, и страдание многих, кто знал Бухарина, да и не только его.

Жена одного украинского партийного работника подошла ко мне и сказала: «Что нос повесила! Бухарина история оправдает, а о наших мужьях никто никогда и не узнает».

За два дня до моего вторичного ареста, уже в лагере, мне приснился ужасающий сон, будто удав обвил мою шею и душит меня, а в его пасти — голова моего маленького сына, которого удав вот-вот проглотит. Я проснулась оттого, что С. Л. Якир толкала меня в бок, и, вероятно, от собственного крика, покрытая холодным потом.

— Проснись, что с тобой? — услышала я голос Саечки. Я рассказала ей свой сон.

— Вот ужас-то! Ведь и явь, как страшный сон, а тебе еще такие кошмары снятся. Опять что-нибудь случится! Хотя что еще может приключиться, кажется, все уже случилось, — сказала Саечка.

Утром об этом кошмарном сне я успела рассказать и Виктории. Ну, а днем пришел надзиратель и забрал меня и С. Л. Якир в карцер, там нам учинили обыск. На этот раз надзиратель решил отобрать фотографию моего ребенка, во время предыдущего обыска не отобранную.

— Кто это? — спросил он с такой злобой, будто обнаружил еще одного «заговорщика». С фотографии светились глазки моего одиннадцатимесячного малыша. Я его фотографировала после ареста Бухарина в надежде передать Николаю Ивановичу в тюрьму эту фотографию.

— Мой ребенок, — ответила я, чуя недоброе.

— Ах ты, сука, — заорал надзиратель, — еще щенка бухаринского с собой таскаешь!

На моих глазах он разорвал фотографию, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами.

Так уничтожил он, озлобленный чудовищной ложью, в которую он безусловно верил, фотографию моего ребенка, единственную оставшуюся мне радость — взглянуть на его изображение.

— Что вы делаете! — крикнула возмущенная Якир.

— А ты молчи, сволочь якировская, защитница!

Я, потрясенная, не проронила ни слова.

После обыска в карцере нас оставили лишь на одни сутки и отправили в барак.

— Вот тебе и удав, вот тебе и сон в руку!

Около часа, не больше, мы еще пробыли вместе с Саррой Лазаревной, и вновь явился надзиратель.

— Бухарина, собирайся с вещами!

— Куда? — спросила я.

— Куда, куда... Там узнаешь, куда!

Весть о том, что меня забирают, мгновенно разнеслась по лагерю. Многие вышли в зону, чтобы меня проводить. Я увидела издали грустную Людмилу Кузьминичну Шапошникову, огромную Дину, Викторину. С. Л. Якир проводила меня до самых ворот Томской тюрьмы, рыдая, поцеловала, и ворота, ведущие из нашей зоны в тюрьму, закрылись.

Так я рассталась с томским лагерем для жен «изменников Родины».

Из томского лагеря в сопровождении конвоира, одетого не по форме, а в обычный штатский костюм, в пассажирском вагоне третьего класса, я была направлена в новосибирскую следственную тюрьму. Там, в Новосибирске, в то время находился Третий (следственный) отдел Сиблага НКВД, где вели следствие по вновь созданным уже в лагере делам или доследствие по первому делу. Результат, как правило, был печальным: увеличение срока или расстрел. Перед отправкой из лагеря в этап меня недолго продержали в Томской тюрьме, где предупредили, что общение с пассажирами мне запрещается. В вагоне я почувствовала, что этот запрет никак меня не ущемлял: потребности в разговорах с пассажирами и так не было, между нами лежала пропасть, очевидно, всегда отделявшая мир за решеткой от мира за пределами тюрьмы. По крайней мере у меня было именно такое ощущение.

Никто из пассажиров не понимал моего положения, все были заняты своими разговорами и не обращали на меня внимания. Лишь один длиннородый старик пристально смотрел в мою сторону, на мое истощенное, бледное лицо, на лежавшую рядом шубку (в мае — не по сезону), полусгоревшую в дезинфекционных камерах этапных тюрем, на казавшийся по тем временам шикарным кожаный чемодан, привезенный Н. И. из Лондона в 1931 г., когда он был там на международном конгрессе по науке и технике.

Наконец, его безусловно озадачило мое молчание: даже с моим спутником-конвоиром, как ни странно, довольно интеллигентного вида, я не обмолвилась в течение длительного времени ни единым словом. Между тем его можно было принять и за моего друга, и за родственника, и за мужа. Сопровождающий относился с полным равнодушием к моему присутствию и тоже молчал. Старик же смотрел на меня, не отрывая глаз, что стало меня в конце концов раздражать, но я не могла избавиться от пристального взгляда и невольно тоже поглядывала в его сторону. Его огромная, длинная и широкая борода, лежащая на засаленном пиджаке, казалось, наделена была дополнительным зрением, особым чутьем и помогала видеть происходящее. Сопоставляя наблюдения, старик сделал для себя проницательные выводы. Выбрав удобный момент, в то время, когда мой спутник ненадолго отлучился, он не замедлил спросить меня, куда я еду. Именно этот вопрос должен был подтвердить его подозрения. Я ответила совсем недвусмысленно: «Куда везут, туда и еду». Когда я поинтересовалась этим в Томской тюрьме, то тюремщик, оформлявший мой этап, ответил: «Куда отвезут, туда и приедешь!» — излюбленный метод лагерной и тюремной администрации унижать человеческое достоинство заключенного, скрывая и то, чего вообще не требовали обстоятельства следствия.

Убедившись, что я заключенная, старик протянул мне кусок белого хлеба, сыр и яйца. Из-за сильного нервного возбуждения голода я не испытывала. Давно не виданная еда доставила мне лишь некоторое эстетическое наслаждение: каким ослепительно белым показался мне тот хлеб, будто такого я никогда не видела; сквозь гладкую и чистую скорлупку яйца мне виделось его содержимое — золотистый желток, запрятанный в плотную массу белка; ноздреватый, со слезинкой, швейцарский сыр, бледно-кремовый, цвета чайной розы, так и просился в рот. Но принять предложенный дар я отказалась. На еду я смотрела с полным равнодушием, лишь как на великолепно написанный натюрморт.

Знал бы старик, кто я, подумала я в ту минуту, возможно, не предложил бы мне и куска хлеба, а быть может, наоборот, поделился бы последним. Всякое бывало в моей жизни!

Позже и мой странный спутник, скорее это был не конвоир, а сотрудник Сиблага НКВД, которому было поручено доставить меня из Томска в Новосибирск, решил меня накормить. Он молча положил на мятой газетной бумаге (лучше сказать — бросил, как собаке) рядом со мной на сиденье пайку хлеба, соленую рыбу и даже кусок колбасы, которая никогда не входила в рацион заключенных. И к этой еде я также не прикоснулась.

Был май 1938 года. Прошло около двух месяцев после расстрела Николая Ивановича. Для себя я тоже ничего хорошего не ждала: сначала казалось маловероятным выжить восемь лет в лагере, а теперь я понимала, что последует еще более суровый приговор. Временами мной овладевало желание уйти из жизни. Казалось, это лучший выход из тупика, в котором я оказалась. Чувство, что зловещий круговорот событий засасывал меня в свою кровавую воронку все глубже и глубже, не покидало меня. В то же время у меня был серьезный стимул выжить: я обязана исполнить волю Николая Ивановича — передать его письмо-обращение «Будущему поколению руководителей партии», которое бережно хранила моя память. Но тогда я очень смутно представляла возможность осуществления его последнего желания и от этого приходила в отчаяние.

В те дни я любила засыпать, чтобы ничего не чувствовать; тем с большей силой обрушивалась на меня катастрофа после пробуждения.

Настроение омрачало и то, что в томском лагере я узнала от прибывшей

туда позже меня жены Ломова¹ — Наталии Григорьевны о судьбе своей матери, которой перед отъездом в астраханскую ссылку я оставила ребенка: в то время ей было уже за пятьдесят. Она и до своего ареста в 1938 г. была болезненная, перенесла тяжелую форму туберкулеза легких. С 1907 г. она участвовала в революционном движении. Впрочем, это мало отличало ее от многих репрессированных в то время. Ее не раз арестовывали и до революции. В Бутырской тюрьме она сидела в 1911 г., вторично оказалась в ней в 1938 г. Все-таки она выжила, моя мать, возвратилась из заключения настолько физически надломленной, что жизнь ее после освобождения из заключения и реабилитации, в течение 18 лет до дня смерти в 1973 г., превратилась в великое мучительное испытание, которое она, прикованная к постели, переносила героически. В январе 1938 г. она была арестована, сыну в момент ее ареста был год и восемь месяцев. Ребенка забрали в детский дом. Сведения эти были вполне достоверны, Наталия Григорьевна узнала об этом от отца Николая Ивановича — Ивана Гавриловича, встретившегося ей случайно. Он рассказал, что с трудом разыскал мальчика и что, несмотря на неоднократные просьбы и письмо, направленное им Сталину, внука ему не отдавали. В конце концов ребенка разрешили отдать деду, но лишь тогда, когда он серьезно заболел и, казалось, был уже безнадежен. Иван Гаврилович был стар и слаб, тяжело переживал гибель сына, и я понимала, что он не в силах ухаживать за внуком, да и не мог его материально содержать: пенсии его лишили сразу же после ареста Н. И., еще до моей высылки в Астрахань. Жив ли Иван Гаврилович, где мой сын — я не знала.

Лишь одна мысль приносила мне душевное облегчение: я радовалась, что вовремя умер отец; по возрасту рано, в сорок девять лет, зато не от сталинской пули, как это случилось с Николаем Ивановичем в таком же возрасте.

Разве могла я предположить, что наступит тот миг, когда раннюю смерть горячо любимого отца я буду рассматривать как некое благо и думать — хоть в этом мне в жизни повезло. Таковы гримасы истории, меняющие наш взгляд на мир.

В вагоне было много детей, со всех сторон слышалось: «мама», «папа»... Мой ребенок расстался со своим отцом, когда ему было десять с половиной месяцев, еще за месяц до того, удивительно рано, он осознанно называл отца «папа». «Папа» — было его первое слово.

«Торопится, — как-то заметил Николай Иванович, — скоро папой будет называть некого».

После ареста Николая Ивановича малыш ползал, искал отца, заглядывал под его письменный стол, под шкаф и звал: «Папа, папа». Детские голоса в вагоне обострили во мне материнские чувства, которые я всячески старалась приглушить. «Нас нет больше в жизни, ни меня, ни сына, — внушала я себе, — мы погибли вместе с Николаем Ивановичем». И хотя я слышала биение своего собственного сердца, от меня осталась лишь загадочная тень, напоминавшая о прошлом и, увы, дававшая возможность мыслить. А мысли были страшными. «Я мыслю, следовательно, я существую» — гласит изречение Декарта, предполагающее, что именно мышление есть основной признак жизни человеческой. Для меня эти два понятия «жить» и «существовать» потеряли свою адекватность. Я мыслила, но не жила, а влачила жалкое существование.

Утром поезд подъезжал к Новосибирску.

«Собирайтесь к выходу», — неожиданно объявил мой сопровождающий. Я накинула потрепанную шубку, конвоир против обыкновения взял мой чемодан.

¹ Ломов Георгий Ипполитович — профессиональный революционер, вошел в первый Совнарком как народный комиссар юстиции, член Ревкома во время восстания 1917 г. в Москве. Экономист-литератор. В первые послереволюционные годы — член президиума и заместитель председателя ВСНХ. Был арестован и расстрелян в 1937 г. Его жена Наталия Григорьевна прибыла в томский лагерь так же, как и я, со сроком — 8 лет заключения как член семьи «изменника Родины», затем тоже вновь была арестована в лагере и направлена в Бутырскую тюрьму, там мы опять встретились. Она обвинялась по одному делу с женой бывшего председателя Совнаркома РСФСР Сергея Ивановича Сырцова в намерении террористического покушения на Сталина. Во время следствия Н. Г. была жестоко избита, били по ребрам, я видела ее спину всю в ранах и синяках. После своего освобождения она умерла, как я слышала, от рака легких. Жена Сырцова расстреляна.

Мы вышли на платформу, прошли через маленький вокзал. Утро было теплое, но лил весенний дождь. Слышались мощные раскаты грома. Сверкающая молния ломаной линией разрезала нависшие тучи. Как всегда явления природы меня ободряли и внушали несбыточные мечты: «Может, Николай Иванович все-таки жив, не расстрелян», — с быстротой молнии пронеслась мысль и так же мгновенно потухла.

Мы подошли к небольшой легковой машине грязно-оливкового цвета, с брезентовым верхом. «Знаешь, куда везти?» — спросил шофера мой спутник. «Знаю, знаю», — ответил тот. «Поедешь один, я занят». Шофер вышел из машины, и тут только я разглядела его лицо. Встреча потрясла меня своей неожиданностью: это был тот самый шофер, который ранее обслуживал машину Роберта Индриковича Эйхе, в то время секретаря Запсибкрайкома. Эйхе присылал свою машину встречать Николая Ивановича.

Поскольку на моем тяжком пути произошла эта неожиданная и неприятная встреча с хорошо знакомым мне шофером, несколько отвлекусь от основной темы своего повествования и расскажу о поездке в Сибирь без конвоя, о своей счастливой поездке вместе с Николаем Ивановичем в августе 1935 года во время его отпуска.

Наша поездка в Сибирь преследовала две цели: моя дипломная работа в планово-экономическом институте «Технико-экономическое обоснование Кузнецкого металлургического комбината» была связана с Сибирью. Николаю Ивановичу хотелось свести меня с академиком Иваном Павловичем Бардиным, крупнейшим металлургом нашей страны, руководителем строительства, затем техническим директором Кузнецкого металлургического комбината. Бардин помог нам познакомиться с огромным комбинатом, представил обширный материал для моей работы. Затем мы съездили в Ленинск и Прокопьевск — шахтерские города, основные центры добычи угля в Кузнецком угольном бассейне. Николай Иванович вместе со мной спускался в шахты, беседовал с рабочими, которые встречали его аплодисментами.

Второй причиной, побудившей нас совершить эту поездку, было желание посмотреть Алтайский край, о красоте которого мы много слышали. И действительно, живописный край этот и сейчас живет в моей памяти. Необузданная река Катунь стремительно несла свои изумрудные воды, пробиваясь сквозь препятствия из нагроможденных замшелых камней к реке Бие, чтобы, слившись с ней, образовать великую Обь. Отвесные скалы, окаймлявшие берега Катунь, стояли как верные стражи и направляли реку по задуманному природой руслу. Сверкала от солнца снеговая вершина двуглавой горы Белухи, рядом — темно-зеленые, издали кажущиеся бархатными, поросшие кедровыми соснами горы, сказочно контрастирующие с ледниковой голубоватой белизной Белухи.

В ту пору, не знаю, как теперь, шоссейной дороги к Телецкому озеру не было. Кое-как мы пробирались на легковой машине мимо редких деревень. Заслышав шум машины, на дорогу выбегала гурьба ребятишек (русские — блондины с льняными головками, алтайские — как галчата, с иссиня-черными) с криком: «Покатай, покатай, дяденька!»

Николай Иванович просил шофера (шофер местный, не новосибирский) остановиться. Мы выходили из машины, вместо нас с шумом и визгом, отталкивая друг друга, — мест на всех не хватало — влезали дети. Доставив им удовольствие, мы вновь садились в машину, и так до следующей деревни, где повторялось то же самое. Поэтому только к ночи мы добрались до селения, где вынуждены были заночевать на полу, на грязном тряпье хозяев; ночью не могли уснуть из-за атаки клопов.

Ранним утром верхом на небольших выносливых горных лошадках мы отправились в дальнейший путь. Лошади пробирались вверх и вниз по отвесным горам, и мы еле удерживались в седлах.

Огромное Телецкое озеро лучами заката окрашивалось в золотисто-лило-

вый цвет, его крутые лесные берега прорезали многочисленные ущелья с низвергающимися водопадами, образуя небольшие речушки, впадающие в озеро. Здесь мы пробыли около недели. Нас приютили ленинградские ученые-орнитологи, бывшие там в научной экспедиции. Они предоставили нам одну из двух своих комнат, в которой мы разместились на ночлег (вместе с двумя охранниками, представленными к Николаю Ивановичу, — о них речь дальше) на полу, расстелив медвежьи шкуры.

Однажды, когда Николай Иванович беседовал с учеными на орнитологические темы, поражая их своими знаниями, дверь неожиданно открылась, и в комнату вошел пожилой алтаец. Он внимательно оглядывался по сторонам, пытаясь узнать, кто из присутствовавших Бухарин. На алтайце была надета телогрейка, вся залатанная, на ногах драная обувь, в одной руке он держал небольшой мешочек.

— Что вам угодно? — спросил один из орнитологов.

— Моя пришла твоя смотреть, — сказал алтаец, обращаясь к орнитологу в черной фетровой шляпе с большими полями, что, очевидно, и заставило гостя заподозрить в нем Бухарина. В его представлении Бухарин должен был быть обязательно в шляпе.

— Да, твоя смотреть, — повторил алтаец, глядя на орнитолога. — Я слышала, она приехала и в этой изба живет.

В своей речи он употреблял только женский род, со склонениями и спряжениями знаком тоже не был.

— Ну, раз «твоя» смотреть, так я не «она», — сказал, смеясь, орнитолог, — вот ты и угадай, где «она»?

— Не она? — удивился алтаец. Шляпы ни у кого, кроме орнитолога, не было, и это его совершенно обескуражило. Подумав, он посмотрел в сторону курившего трубку второго орнитолога и показал на него.

— Опять не «она», — сказал, смеясь, тот, что в шляпе, и решил помочь алтайцу опознать Бухарина. Оставались еще трое мужчин, в том числе два охранника.

— Вон тот, смотри! — И орнитолог в шляпе кивнул головой в сторону Бухарина.

— Это она? — удивился алтаец. — Твоя правду говорит?

Н. И. в сапогах, в спортивной куртке, в кепке, а вовсе не в шляпе, небольшого роста, не произвел на алтайца ожидаемого впечатления.

— Бухарин же большая, красивая, а эта что!

Раздался оглушительный хохот, дольше всех смеялись охранники. Наконец подал голос и Николай Иванович.

— Зачем же ты пришел меня смотреть, я же не невеста и, как видишь, не большой и не красивый, — полное разочарование...

Что такое «разочарование» алтаец не знал, но про невесту все понял.

— Моя не надо невеста, моя баба имей. Она тебе лепешка спекла. — И он протянул Николаю Ивановичу небольшой мешочек с лепешками. Они были испечены из первоклассной пшеничной муки и, надо сказать, мастерски. Николай Иванович стал угощать всех присутствующих, что обидело алтайца.

— Моя баба только тебе гостинца спекла, муки мало.

— Но за что мне такая честь? — спросил Бухарин.

— Что? Моя не поняла.

— Почему, — я спрашиваю, — твоя баба только мне лепешки испекла?

— А моя сказала: спеки гостинца Бухарина за то, что она людя любит.

— Народ, — пояснил орнитолог.

— Народ, народ. Да-да-да, — подтвердил алтаец.

— Ну как же вы теперь живете в колхозе? — спросил Бухарин.

— Сказал бы я тебе, да здесь людя много.

— Говори, говори, не бойся.

— Моя все сказала, и так моя понимай — как живем! Говорю, людя много, сказать нельзя.

Удовлетворив свое любопытство, алтаец направился к выходу. Мы все пошли провожать пришельца к озеру, на берегу была привязана его самодельная лодка — выдолбленное сиденье в куске отпиленного толстого ствола дерева. Алтаец простился с Бухариным (больше ни с кем): «Будь здорова, моя хорошая!» И отчалил.

Вечерело, в тишине слышался плеск воды и еще долго виден был удаляющийся силуэт алтайца.

Николай Иванович проводил свой отпуск, как обычно, погружаясь в природу. Жизнелюбие его проявлялось в полной мере. Он купался в холодных горных речках с плавающими льдинками, охотился на диких уток с плотов, плывущих по порожистой Катунь, что было вовсе небезопасно. Стрелял он метко, Утки падали на плот, и он прыгал от восторга. У монгольской границы, куда мы добирались на машине по Чуйскому тракту, Николай Иванович охотился на коз. Жили мы в те дни у пограничников, они умело коптили мясо. Вечером, после охоты, все вместе — двое охранников, шофер, пограничники и мы — ужинали у костра.

На Алтае много времени Н. И. отдавал живописи. Мне понравились и потому хорошо запомнились три из привезенных в Москву картин: «Водопад в горном ущелье», «Телецкое озеро» и «Река Катунь». Эти картины экспонировались на выставке в Третьяковской галерее в конце 1935 — начале 1936 г. Когда мы пришли на выставку, у своих полотен Н. И. встретил художника Юона. Работы Юону понравились. «Бросьте заниматься политикой, — сказал Константин Федорович Н. И., — политика ничего хорошего не сулит, занимайтесь живописью. Живопись — ваше призвание!» Запоздалый совет.

В Чемале, курортном месте, где был в то время дом отдыха ЦИКа, мы почти не жили, больше путешествовали. Но в последние дни нашего пребывания на Алтае «чрезвычайное» обстоятельство приковало Н. И. к Чемалу: он получил великолепный подарок от сторожа чемальского курятника — огромного филина. Из курятника исчезали куры, однажды ночью сторож выследил и поймал вора. Он покорила Н. И. необычно большим размером, красивым оперением, огромными, кирпичного цвета, глазами и удивительно мощным щелканьем. Н. И. решил во что бы то ни стало увезти филина в Москву. Он сам соорудил для него вольеру и, научившись щелкать, дразнил филина. Дуэт приводил филина в ярость, отчего он щелкал еще громче, а Н. И. заразительно смеялся. Сторож курятника сплел из прутьев большую корзину, в которой мы везли его в купе международного вагона. В Москве филин прожил у нас недолго. Негде было его держать, и некогда было с ним возиться. Кончилось тем, что филин был подарен детям Микояна, но Н. И. часто вспоминал его.

До поездки в Кузбасс и на Алтай и на обратном пути мы несколько дней жили у Эйхе, бывали у него на даче в окрестностях Новосибирска и на городской квартире. Судьба еще в 20-е годы забросила известного латышского революционера в Сибирь. Во время нашего пребывания там он был секретарем Запсибкрайкома и кандидатом в члены Политбюро. Роберт Индрикович! И теперь так ясно видится мне этот долговязый, сухощавый латыш, похожий на Дон-Кихота. На его всегда утомленном и казавшемся суровым лице нередко проглядывала удивительно добродушная и приятная улыбка. Как он был увлечен стройкой в Сибири и как был любим и популярен там! Мне хочется напомнить лишь об одном эпизоде из его биографии, завершившем его жизнь. В закрытом докладе на XX съезде партии Н. С. Хрущев огласил письмо Эйхе, написанное в тюрьме и найденное в архиве Сталина после его смерти. В этом письме Эйхе отрицал свою виновность в предъявленных ему обвинениях и сообщил о том, что он оговорил сам себя потому, что к нему применяли ужасающие пытки: били по больному позвоночнику. Мне запомнился еще один штрих в его письме: Эйхе напоминал Сталину и мотивировал свою невиновность, в частности, и тем, что он никогда не принадлежал ни к одной оппозиции. Даже на пороге смерти Эйхе не понимал, что обращается к своему убийце и что принадлежность к оппозиции ни в коей мере не доказывает причастность к преступлениям.

Увы, Эйхе был не одинок в этом заблуждении: сколько людей верили в Сталина, считали свою непринадлежность к оппозиции обстоятельством, оправдывавшим их в глазах палача.

Но в дни нашего пребывания в Новосибирске Николай Иванович, бывший не раз в оппозиции, не казался еще Эйхе страшным. Эйхе ездил с нами по городу, показывал новостройки — Красный проспект, центральную улицу города с большими многоэтажными современными зданиями. Мы вместе с Эйхе взбирались на плоскую крышу еще не достроенного Театра оперы и балета, откуда был виден Новосибирск. Эйхе предоставил в распоряжение Н. И. отдельный вагон (салон-вагон), от чего Н. И. упорно, но тщетно отказывался; таким вагоном он не пользовался и в бытность свою в Политбюро, считая передвижение в нем излишней роскошью. Эйхе убедил Н. И., что, совершая поездку в отдельном вагоне, мы никого не будем стеснять. С квартирами в то время было очень трудно, и мы действительно во время пребывания в Кузбассе жили в вагоне, стоявшем в тупике железнодорожной станции.

Два охранника и собака-овчарка также отправились с нами из Новосибирска в путешествие; сколько усилий ни прилагал Н. И., чтобы от них избавиться, это ему не удалось. В Москве у него в последние годы не было охраны. Единственный охранник — Рогов, выполнявший эту функцию в течение 10 лет, с 1919-го, после взрыва левоэсеровской бомбы в здании Московского Комитета партии в Леонтьевском переулке в то время, когда Бухарин должен был там делать доклад, — был отозван в 1929 году, после вывода Н. И. из Политбюро.

Эйхе объяснял необходимость охраны тем, что во время путешествия охранники будут умерять пыл Николая Ивановича. «С алтайской природой шутить нельзя, — говорил Эйхе, — вы не выберетесь из тайги, этих людей я специально подбирал, они знают край и будут служить вам проводниками». Роберт Индрикович сделал это действительно из добрых побуждений, учитывая отчаянный характер Н. И., опасаясь за его жизнь. Тем не менее Н. И. не исключал и того, что охрана была приставлена для наблюдения за ним, за его связями с людьми. Подозрительность Сталина всегда заставляла его так думать. Мне известно, например, что приезжавший к Бухарину не раз молодой секретарь Алтайского крайкома был арестован; предполагаю также, что наша поездка в Сибирь и пребывание у Эйхе были использованы против Роберта Индриковича.

Шофер был своим человеком в семье Эйхе, за обедом он всегда сидел за столом вместе с нами, принимал участие в разговорах, пользовался гостеприимством жены Эйхе (впоследствии разделившей судьбу мужа и тоже расстрелянной), ездил вдвоем с Н. И. на охоту, встречал нас в Новосибирске и провожал из Новосибирска. То, что в мае 1938 года меня встретил именно этот шофер, заставляет меня предположить, что, вероятно, когда он обслуживал машину Эйхе, он работал «по совместительству».

В Сибири мы были ровно за год до начала следствия. Каково же было мое изумление, когда, знакомясь с показаниями против Н. И., я прочла в них, что его поездка в Сибирь была совершена с целью провоцирования кулацких восстаний и отторжения Сибири от Советского Союза.

Как приятно было заглянуть в своих воспоминаниях в счастливое прошлое и как жутко оказаться вновь в Новосибирске под конвоем, зная, что Николая Ивановича больше нет. Какая радостная и счастливая была наша первая поездка и как ужасны дальнейшие сибирские мытарства, сколько воды утекло за такой короткий срок! Неизменной осталась лишь природа. Где-то, не так уж далеко по сибирским масштабам, Катунь так же несла свои изумрудные воды, так же сверкала на солнце гордая Белуха, а при закате, в торжественной тишине все светилось и играло золотисто-лиловыми красками Телецкое озеро («Фантастика, сказка, а не природа!» — повторял Н. И.), и где-то далеко, в глухом алтайском селении, по-прежнему жил тот колхозник, пришедший «смотреть» Н. И. и сказавший ему на прощание: «Будь здорова, моя хорошая».

Впрочем, в отношении этого колхозника-алтайца, по-видимому, я рисую все в радужных красках, вряд ли он продолжал жить в этом селении, — ему, надо

думать, припомнили тот день, когда он пришел «твоя смотреть» и от души угощал Н. И. лепешками. И не постигла ли, я думаю, такая же судьба двух ленинградских ученых-орнитологов, у которых мы жили на берегу Телецкого озера?

Не знаю, были ли охранники приставлены как осведомители, хотя оба они, казалось, за месяц нашей совместной жизни привязались к Николаю Ивановичу. Но служба превыше всего! Один из них в мои трудные дни совершил очень смелый и благородный поступок, который я могу объяснить только неизменившимся его отношением к Бухарину и после процесса. Но об этом дальше.

А пока приходится возвращаться к тяжелым воспоминаниям.

Итак, май 1938 года. Мы стояли напротив Новосибирского вокзала у машины — я и тот шофер, бывший шофер Эйхе, и смотрели друг другу в глаза: я с волнением и в полном недоумении, он, как мне показалось, с наглой самоуверенностью. Правда, грозовой ливень хлестал нам в лицо, и мне трудно было определить выражение его лица, — возможно, я ошибалась. Шофер молча открыл дверцу машины и жестом показал мне, чтобы я села рядом с ним. Мы двинулись в путь, приближаясь, пожалуй, к самому страшному «жилищу» в моей жизни. Проехав небольшое расстояние, шофер, вероятно, решил, что надо что-то сказать (все же мы старые знакомые), и он не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Филина вы довели в Москву благополучно?

Я была удивлена его вопросом при таких совсем необычных обстоятельствах, но нашлась, что ответить:

— Довезти-то мы его довели, но филина арестовали.

Шофер даже не улыбнулся. Поскольку заговорил первый он, и я решилась задать ему вопрос:

— Ну, а как Роберт Индрикович? Еще здоровствует или и его уже нет?

Шофер промолчал. О судьбе Эйхе к тому времени я ничего не знала, но уже слышала от женщин, прибывших в томский лагерь из Новосибирска, что там вели жестокие допросы, добиваясь показаний против Эйхе. Как я потом узнала, в 1937 году он был переведен из Новосибирска в Москву и назначен наркомземом вместо арестованных поочередно наркомов Яковлева и Чернова¹. Следовательно, Эйхе тогда в Новосибирске уже не было, а за перемещением с одной должности на другую в то время следовал арест. Так случилось и с Эйхе.

Машина остановилась у здания следственного отдела Сиблага НКВД. Гроза прекратилась, небо прояснилось. В небольшом тюремном дворике в подвальном помещении находился изолятор для подсудимых. Его плоская крыша, покрытая дерном, возвышалась над землей лишь на 10—15 сантиметров. Пожилой надзиратель провел меня по асфальтированной дорожке, ведущей под гору, в тюремный изолятор. Вся дождевая вода стекала в коридор изолятора, а из коридора — в камеры.

Надзиратель был в резиновых сапогах, я — в замшевых туфлях, ноги у меня промокли.

Изолятор был небольшой, на шесть камер, по три с каждой стороны коридорчика.

В моей камере могли бы поместиться четыре человека — две двухэтажные нары, между ними узенький проход, но для меня эта камера была одиночной. Двери оказались раскрыты. Маленькое зарешеченное окошко, скорее похожее на стеклянную щель под потолком, не давало дневного света; круглые сутки горела тусклая электрическая лампочка; в проеме между стеклами окошка бегала крыса, другая бегала по камере и, услышав наши шаги, шарахнулась с нар на пол, с пола на нары, исчезла и вновь появилась. Я стояла перед открытой дверью камеры, не решаясь ступить в нее. Даже надзиратель, казалось, был не-

¹ М. А. Чернов прошел по процессу вместе с Н. И.

сколько смущен тем, что ему пришлось бросить меня в эту яму. Он принес ведро, ржавую консервную банку и сказал:

— Отчерпывай отсель воду, а то сюды войти не можно.

Я скинула промокшие туфли, поставила их на верхние нары и, стоя по щиколотку в воде, принялась за работу. Наполняя ведро за ведром, я выливала воду в тюремный двор, пока не остались только маленькие лужицы в выбоинах каменного пола. Я взяла из вещей лишь теплый платок, и надзиратель унес чемодан в каптерку. Этот чемодан Н. И., исцарапанный и пожухлый, со следами раздавленных клопов внутри, хранится у меня и по сей день, как память о пережитом и как единственная сохранившаяся вещь, принадлежавшая когда-то Николаю Ивановичу.

Вычерпав воду, я вошла в камеру. Надзиратель запер дверь, загромыхал засов, щелкнул замок, звякнули ключи. Я стояла в оцепенении и не могла тронуться с места, но скоро пришла в себя: к этому времени я наконец научилась ничему не удивляться. Осмотревшись, я решила расположиться на левой верхней наре — наверху всегда суше. Камера была крайней, правая стенка, соприкасавшаяся с землей, была сырее левой, смежной с соседней камерой. Матрацев, даже набитых соломой, на нарах не было. Я постелила свою шубку, сложив ее вдвое так, чтобы одна половина служила подстилкой, другая одеялом; платок свернула и положила под голову. Казалось бы, устроилась со всеми возможными удобствами. Окошко-щель тоже было с левой стороны. Через него можно было увидеть весеннюю ярко-зеленую травку, растущую по неистоптанному краю тюремного дворика, а во время прогулки заключенных — ступни их ног. Стены камеры были покрыты толстым слоем зеленой плесени, по правой стенке бежали маленькие струйки воды и скапливались в трещинах и ямках разбухшей от сырости стены, отрываясь от нее, падали каплями на пол. И через равные промежутки времени слышалось: кап, кап, кап... Взобравшись на нары, я уснула. Надзиратель, заметив через глазок, что я сплю, разбудил меня и предупредил, что спать днем не положено. Я буркнула что-то в полусне и снова мгновенно уснула. Больше надзиратель меня не тревожил. Я проснулась, искусанная блохами, мучительно чесалось все тело. Пришлось спуститься вниз, раздеться догола, стряхивать блох с одежды, успевшей уже отсыреть (высушивать одежду пришлось теплом своего собственного тела).

В первый же вечер меня вызвали на допрос. Допрашивал сам начальник третьего отдела Сиблага НКВД Сквирский. Не помню, в каком он был чине, но ходили слухи, что он был направлен в Сиблаг с понижением в должности из Одесского НКВД, где был в числе руководящих работников. Спасаясь от дальнейшего падения, он отличался особенной жестокостью.

В небольшом кабинете я увидела человека лет 45—47, похожего на хищного зверя, поймавшего долгожданную добычу. Он сообщил, что допрашивает меня по указанию Москвы, и был, казалось, польщен поручением высокого начальства, что ясно читалось на его самодовольном и неприятном лице.

— Следствию достоверно известно, — заявил он, — что Бухарин через вас был связан с контрреволюционной организацией молодежи, вы были членом этой организации и связным между Бухариным и этой организацией. Назовите членов этой организации. Пока вы этого не сделаете, будете сидеть и гнить в подвале.

Я отрицала прежде всего, что Бухарин мог иметь отношение к контрреволюционной организации молодежи, если даже таковая и существовала, потому что он был революционер, а не контрреволюционер, по этой же причине и я не могла быть связной между этой организацией и Бухариным.

— Хамка! Контрреволюционная сволочь! — заорал Сквирский. — Даже теперь, после процесса, вы осмеливаетесь заявлять, что Бухарин не был контрреволюционером.

— Да, осмеливаюсь, но разговаривать с вами по этому поводу считаю бессмысленным.

— Вы еще скажете, что вообще не имели отношения к Бухарину?

— Нет, этого я как раз не скажу, но я была не связной между контрреволюционной организацией и Бухариным, а его женой.

— Вы были его женой? Нам достоверно известно, что ваш брак — фикция, прикрывающая контрреволюционные связи Бухарина с молодежью.

Я всего могла ждать. Что вот-вот этот Сквирский обвинит меня в том, что я занималась вредительством, что я террористка или еще что-либо в этом роде, но, что он объявит наш брак фиктивным и преследовавшим контрреволюционные цели, такого я и вообразить не могла. Это абсурдное обвинение меня особенно ошеломило, и я наивно попыталась опровергнуть это обвинение тем, что у нас есть ребенок.

— Это еще надо проверить, это еще надо доказать, от кого он у вас, этот ребенок!

В тот момент я была оскорблена этим бессмысленным, нелепым обвинением следователя больше, чем его грубой бранью («хамка», «контрреволюционная сволочь» и т. д.). Однако уже во время допроса я поняла, что разговариваю с человеком не только подлым, но и ограниченным, и мне стали безразличны его крикливые и глупые обвинения.

— Наглость какая! — орал Сквирский. — Осмелиться заявить, что Бухарин не был контрреволюционером! Нет места вам на советской земле! Расстрелять! Расстрелять! Расстрелять!

Я почувствовала безысходность своего положения, и это сделало меня смелой и решительной. Я смогла крикнуть с презрением и во весь голос:

— Это вам нет места на советской земле, а не мне! Это вам надо было бы сидеть за решеткой, а не мне! Расстреляйте меня хоть сейчас — я жить не хочу!

Я думала, что вот-вот этот изверг избьет меня или сотворит со мной что-то совершенно немыслимое. Но ничего такого не произошло; он с удивлением посмотрел своими злыми ястребиными глазами. Мы сразились на равных, и я была удовлетворена. Следователь смолк, и, казалось, я не ошиблась, уловив даже проблеск уважения ко мне. Он поднял телефонную трубку и равнодушно произнес два слова: «Уведите заключенную».

Пока конвоир не явился, Сквирский успел напомнить мне:

— Будете молчать, сгниете в этой камере!

А я успела ответить:

— Мне все равно.

Моросил дождь. Была поздняя ночь. По полу снова медленно ползли ручейки воды, и я поняла, что вычерпывание воды из камеры — сизифов труд.

После допроса я уже не чувствовала ни сил, ни желания подняться на верхние нары, и я улеглась на нижние — на голые доски, но казалось, что лежу на пуховой перине — только оттого, что не видела перед собой ястребиного лица следователя и что я достойно от него ушла.

А счастье, подумала я, понятие удивительно относительное. Бывают и в несчастье проблески счастья, жизнь все больше и больше убеждала меня в этом. Так, в ту минуту, лежа в камере на воображаемой перине, удовлетворенная своим поведением на допросе, душевным взрывом, бунтом, защитившим мое человеческое достоинство, я была счастлива.

Тишина в камере, нарушаемая равномерно падающими со стены на пол каплями и редким шуршанием «глазка» надзирателя, неожиданно привела меня в состояние неземного, сказочного блаженства. Я, как Алиса в Стране чудес, все падала и падала в глубокий колодец, но в отличие от нее знала, на какой широте и долготе я нахожусь и что я не в Австралии и не в Новой Зеландии, а в стране под названием Советский Союз, в стране диктатуры пролетариата, что в те дни означало: в стране абсолютной сталинской монархии. Мне не надо было, как Алисе, пояснять, что говорить о том, что думаешь, и думать, что говоришь, не одно и то же. Наш народ в то время хорошо усвоил: говорить, что думаешь, опасно, хотя у меня это не всегда получалось. Словом, о такой

Алисе, не в Стране чудес и не в Зазеркалье, а об Алисе при диктатуре пролетариата Льюис Кэрролл не успел написать.

После допроса я лежала неподвижно на нарах и вполголоса повторяла стихотворение Блока «Перед судом». Несколько строк его мне стали близки, потому что я подгоняла их под свою собственную ситуацию и часто вспоминала в камере. В ночь после допроса я бормотала, не нарушая тишины:

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала. —
Все-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Оставшись наедине со своими мыслями, я пыталась решить для себя вопрос: права или не права была мечта, что нам лгала? Нам, подразумевала я, — мне и Н. И. Ведь такого страшного конца ни он, ни тем более я не предвидели, следовательно, мечта лгала нам, и, конечно же, решила я, «мечта права, что нам лгала»: хотя и короткое время, но мы прожили счастливо.

В дни после процесса Зиновьева и Каменева, в августе 1936 года, Н. И. мучительно переживал за мою, как он говорил, загубленную жизнь и судьбу недавно родившегося сына. Я могла утешить Николая Ивановича лишь тем, что мне неизмеримо легче в эти тяжкие дни быть рядом и что я не жалею и никогда не пожалею о том, что соединила с ним свою жизнь. И теперь, спустя много лет после его гибели, я могу повторить то же. Возможно, тогда этими заверениями я еще больше растравляла его душу, и он, глядя на меня сквозь слезы, улыбался.

Не знаю, куда бы забрела я в своих воспоминаниях, если бы вдруг на мою ногу не вскочила крыса. Я вздрогнула, отдернула ногу, крыса шлепнулась на пол и мгновенно исчезла. Приученная Н. И. к животным, я не могу сказать, что мучительно боялась крыс, но внезапный ее прыжок мне на ногу вызвал мгновенный испуг и омерзение. Но вскоре я преодолела брезгливость, и крыса стала скрашивать мое одиночество. Ежедневно я кормила ее хлебом, чем удивляла тюремного надзирателя. Хлеб раздавали утром, моя пайка — пятисотка (500 гр.) обычно бывала с довеском, приколотым деревянной палочкой, довесок обязательно доставался крысе, остальной хлеб я мгновенно съедала. Так казалось мне сытнее, да и негде было хранить пайку. Крыса, чувствуя запах хлеба, тотчас выбегала из угла, становилась на задние лапки и просила хлеба. Я хорошо узнавала ее и могла заключить, что кормлю все одну и ту же крысу. Вторая — бегущая между стеклами окошка — так и не смогла проникнуть в камеру.

Первая ночь после допроса запомнилась еще тем, что я неожиданно услышала частое постукивание в стенку. Ни в Астраханской тюрьме, ни в этапных тюрьмах этим способом общения заключенные не пользовались. Я растерянно смотрела на стенку, стараясь понять, что мне сообщают и как ответить, напряженно думала, кто же мне об этом рассказывал. Наконец, забытое всплыло на поверхность сознания.

Давным-давно, лет за десять до того, как я очутилась в одиночной камере, тюремной азбуке перестукивания меня научил известный народоволец Николай Александрович Морозов. Более двадцати лет провел он в Шлиссельбургской, а потом в Петропавловской крепости, где последние месяцы находился одновременно с моим отцом. Осенью 1905 года революция освободила обоих узников.

В дальнейшем Морозова и Ларина связывали общие интересы в области астрономии и древней истории. Во второй половине 20-х годов издавался многотомный труд Морозова «Христос». В этот период Николай Александрович довольно часто приходил к отцу. К сожалению, я не могу передать содержание их бесед. Я не всегда при них присутствовала, кроме того, они были сложны для

моего детского восприятия. Помню только, как Морозов доказывал, что итальянцы и евреи имеют общие истоки происхождения, и, как он думал, это одна и та же нация; он по-своему объяснял разные языковые образования. Ларин это оспаривал. Морозов как ученый работал не только в области астрономии и истории, но и в области физики и химии. Многие его научные труды написаны в заключении.

Для меня Николай Александрович был личностью легендарной, потому что он вынес двадцатилетнее заключение, сохранив себя нравственно и физически. Что-то необычайно светлое виделось мне в его обаятельном облике. Морозову тогда было за семьдесят. Несмотря на длительное заключение, он не был дряхлым стариком: глубокие морщинки уже легли на его умное лицо, большой прекрасный лоб, но сквозь очки смотрели добрые, выразительные и не по возрасту молодые глаза. Я робела, когда видела его, терялась в его присутствии, но желание узнать, как он смог провести больше двадцати лет в заключении, в конце концов взяло верх, и я решилась с ним заговорить. Морозов рассказал мне о своем ощущении времени в заключении:

— Время в тюрьме проходит значительно быстрее, чем на воле, потому что мозг питается чрезвычайно однообразными впечатлениями, стираются грани лет, все сливается.

Он рассказывал также, что было время, когда ему разрешали работать — то ли на огороде, то ли на цветнике — точно не помню. Наконец, время проходило в научных занятиях, следовательно, для этого были созданы необходимые условия. С заключенными соседних камер Морозов общался перестукиванием. Вот это меня особенно заинтересовало, и я попросила его объяснить, как это делается. Николай Александрович взял со стола лист бумаги, разграфил его на шесть рядов: в каждый ряд, кроме последнего, записал в алфавитном порядке по шесть букв, на последний — шестой, осталось три буквы.

— Сначала, — объяснил Морозов, — надо простучать порядковый номер ряда. Затем, через интервал, порядковый номер буквы. Поняла? — спросил он.

— Поняла, — ответила я.

— Проверим, — сказал Морозов и, сжав руку в кулак, простучал о письменный стол одно-единственное короткое слово. Я не сразу смогла уловить, что это за слово. Пока я старалась понять первую букву, Морозов стучал уже вторую, затем третью, и я теряла связь букв. Лишь на третий или четвертый раз я радостно воскликнула: «Христос! Христос!»

На письменном столе отца, возле которого мы сидели, лежала только что изданная очередная толстая книга многотомного труда Морозова. По-видимому, Христос так занимал в то время его мысли, что и слово, которое он дал мне для проверки сообразительности, было то же — «Христос».

Закончив объяснение, Морозов заметил:

— Интересно, конечно, каким образом узники в царское время общались с заключенными соседних камер, и не только соседних — информация могла быть передана по цепочке. Но практически тебе это никогда не пригодится.

Пока я вспоминала все это, стенка безуспешно пыталась со мной связаться, а затем смолкла. И теперь настала моя очередь проявить инициативу. Чтобы восстановить тюремную азбуку в памяти, сначала я решила задачу, которую когда-то мне задал Морозов, и простучала кулаком о нары слово «Христос», затем, чтобы приобрести навык, несколько фраз.

Поздней ночью, когда надзиратель был менее бдителен и подремывал в коридоре, я отважилась постучать в соседнюю камеру. Так не сбывся прогноз народовольца Морозова: его объяснение имело не только ретроспективный интерес, но и пригодилось практически. Мне удалось выяснить, что в соседней камере четверо заключенных: три биолога, и четвертый, с которым я перестукивалась, — бывший сотрудник НКВД при Ягоде. Все четверо были вновь взяты под следствие из лагерей, а по первому приговору имели десять лет заключения. И фамилию, и занимаемую ранее должность мой сосед назвать отказался, но сообщил, что судим вторично, ожидает «вышку», приговор обжаловал, но надежды на его

отмену у него нет, поскольку при Ягоде он занимал ответственный пост. О себе я тоже никаких подробностей не рассказала, только передала, что сижу по статье «ЧСИР» и тоже вновь под следствием.

— О последнем процессе слышали? — неожиданно спросил ответственный сотрудник НКВД.

— Очень приблизительно, подробностей не знаю, — простучала я.

— Сволочи, убили Бухарина! — передал сосед.

У меня потемнело в глазах, и я почувствовала сильное сердцебиение. «Точно, стукач-осведомитель», — решила я. Подозрительным показалось, почему он упомянул только Бухарина. Почему же в первую очередь не Ягоду, который, казалось бы, должен был быть ему ближе? Наконец, он не упомянул и других обвиняемых. Я попросила его еще раз простучать последнюю фразу.

— Сволочи, убили Бухарина, — снова услышала я, и сомнения мои окончательно рассеялись. Каждая буква этой фразы точно гирями стучала мне в мозг. Выражение «убили», а не «расстреляли», казалось мне, еще больше подчеркивало бандитский характер судебного фарса, лишая его политической окраски. Надо было бы прекратить разговор, провокации я действительно боялась, но соблазн был слишком велик: этому способствовало и мое одиночество, и страстное желание узнать как можно больше.

— Кто же эти сволочи, убившие Бухарина? — решилась я спросить соседа. — Почему вы сожалеете только о нем и не вспомнили остальных осужденных — Рыкова, Раковского, Крестинского и других, наконец, почему не упомянули даже своего руководителя Ягоду?

Мой сосед, поняв, что о процессе я знаю больше, чем он предполагал, прежде чем ответить на мой вопрос, поинтересовался фамилией моего мужа. Этого я не открыла ему, хотя и передала, что мой муж тоже осужден по последнему процессу и расстрелян. Такое сообщение сделало собеседника более откровенным, и я услышала:

— Не обижайтесь, я упомянул только Бухарина потому, что еще с комсомольских лет любил его и считаю, что эта потеря невосполнима.

Что я-то и есть жена Бухарина, сосед не заподозрил, поэтому решил, что я обижена за своего, не упомянутого им мужа.

— Это вовсе не значит, — продолжал он, — что гибель остальных мне безразлична. Судьба Ягоды трагическая. Он старался противостоять террору и сдался под давлением главного преступника. Сволочи мы все, и Ягода, и я, и те, кто нас заменил. Мы стали преступниками, потому что не убили того, кто принудил нас и принуждает тех, кто нас сменил, идти на преступления. Мне осталось три дня жизни, и я не боюсь сказать: этот главный преступник — Сталин!

Нового он мне ничего не открыл, но разговор произвел на меня удручающее впечатление. Оставшуюся часть ночи я не могла уснуть. По-видимому, я зря заподозрила в своем соседе за стенкой осведомителя.

За несколько дней нашего знакомства я привязалась к этому обреченному на смерть человеку, знавшему цену процессам, сохранившему свое прежнее отношение к Н. И. Вечерами я прислушивалась к его четкому постукиванию в стенку и никак не могла воссоединить смертный приговор с мерным стуком его руки. И когда через несколько дней я услышала его последние слова: «Прощайте, приговор утвержден!» — я была потрясена.

Меня знобило, трясло, как в лихорадке. «То же будет и со мной», — думала я в те минуты.

Ушедший на расстрел сотрудник НКВД толкнул меня на размышления о Ягоде. Еще в томском лагере Софья Евсеевна Прокофьева, жена бывшего заместителя Ягоды — Прокофьева¹, рассказывала мне со слов мужа, что Сталин, рассерженный тем, что Ягода не добился признаний от Каменева и Зиновьева

¹ В томском лагере жены сотрудников НКВД, арестованных позднее Прокофьева, рассказывали, что Ежов вроде бы предлагал ему быть своим заместителем, но Прокофьев, сославшись на состояние здоровья, отказался. Он был назначен заместителем Ягоды в Наркомсвязь. После ареста Прокофьева даже не успели допросить — подойдя к кабинету следователя, он ударился головой о дверной косяк и упал замертво.

в убийстве Кирова на первом закрытом процессе в 1935 году¹, вызвал его к себе и сказал: «Плохо работаете, Генрих Григорьевич, мне уже достоверно известно («достоверно известно» — часто употребляемое следователями выражение, пользовался им и Сталин), что Киров был убит по заданию Зиновьева и Каменева, а вы до сих пор этого не можете доказать! Пытать их надо, чтобы они наконец правду сказали и раскрыли все свои связи». Ягода, рассказывая об этом Прокофьеву, разрыдался.

Софья Евсеевна рассказывала мне также, что Ягода безуспешно пытался противостоять репрессиям над бывшими меньшевиками. Некоторое подтверждение этому я обнаружила позже в стенограммах процесса: Вышинский предъявил Ягоде документ, приложенный к его следственному делу, изъятый из материалов НКВД. В документе сообщается (кем, не указано) о существовании меньшевистского центра за границей и якобы активной работе его в СССР. На этом документе была резолюция Ягоды: «Это давно не партия, и возиться с ней не стоит». На процессе Ягода оправдывал свою резолюцию тем, что он якобы «оберегал от провала и отводил удар от меньшевиков потому, что они находились в контакте с правыми».

Так как эта версия наверняка плод фантазии следствия, надо думать, что Ягода некоторое безуспешное противодействие репрессиям по отношению к бывшим меньшевикам действительно оказывал.

В моей памяти жили и другие эпизоды, связанные с Ягодой. Когда в середине двадцатых годов, возможно, ближе к концу, были репрессированы специалисты из старой интеллигенции, после революции лояльно работавшие в ВСНХ и Госплане, Ларин, усомнившись в справедливости их ареста, просил по телефону Ягоду прислать следственные дела, чтобы, ознакомившись с ними, приехать самому в ОГПУ к наркому и разобраться вместе. Я помню, как курьер привез пакеты за пятью сургучными печатями. Ознакомившись с делами, отец съездил в ОГПУ к Ягоде, и арестованные были освобождены.

В тридцатые годы такое не приснилось бы и в прекрасных снах, даже члены Политбюро не имели доступа в НКВД. В конце 1930-го или начале 1931 г. к Ларину обратился за помощью Сергей Владимирович Громан (в дальнейшем тоже арестованный), сын бывшего меньшевика Владимира Густавовича Громана, до ареста работавшего в Госплане и осужденного в марте 1931 года по процессу «Союзного бюро меньшевиков». Но в то время отец был уже бессилён ему помочь.

Одна деталь биографии Ягоды косвенным образом протянула нить к раздумьям о моем следствии и напомнила тяжелый эпизод, пережитый в недалеком прошлом. Ягода был связан родственными узами с Я. М. Свердловым — женат на его племяннице, дочери сестры. Тем не менее ему пришлось выполнить указание Сталина об аресте сына Свердлова — Андрея и его ближайшего товарища, сына известного революционера-большевика В. В. Осинского — Димы. На такой шаг Ягода никогда бы самостоятельно не пошел и инициатором в этом случае быть не мог. Оба молодых человека (им было в то время года 22—23) учились тогда в одной из военных академий и были хорошо мне знакомы. Их арест меня чрезвычайно взволновал: для всех в той среде, к которой мы принадлежали, это стало событием необъяснимым. Произошло это в 1934 или начале 1935 г., точно не помню.

Об аресте Димы и Андрея я рассказала Николаю Ивановичу, который был крайне удивлен и решил позвонить Сталину, чтобы выяснить причину. Со Сталиным удалось связаться сразу же. «Пусть, пусть посидят, — ответил он, — вольнодумцы они» (я не ошиблась, он выразился именно так, «вольнодумцы», а не вольнодумцы). На вопрос Н. И., в чем же выразилось их вольнодумство, Сталин ничего вразумительного не ответил. «Похоже, — сказал он, — что у них троцкистские взгляды». Сам факт ареста юношей и характер разговора Сталина

¹ На этом процессе Зиновьев и Каменев признали лишь свою моральную вину за убийство Кирова, поскольку им было заявлено, что Киров убит человеком, бывшим когда-то в оппозиции Зиновьева в Ленинграде.

с Н. И. напоминает эпизод далекого прошлого, связанный с царствованием императора Павла I, о чем как нельзя лучше говорит один сохранившийся с тех давних пор документ:

«Господин генерал от кавалерии фон-дер-Пален. По получении сего посадить в крепость прокурора военной коллегии Арсеньева, который обратился ко мне с просьбой о месте обер-прокурора в сенате и который, надо полагать, вольнодумец.

К вам благосклонный Павел».

Николай Иванович просил Сталина освободить юношей, не усмотрев в их «вольнодумстве» преступления, и грустно посмеивался над ответом Сталина: «вольнодумцы они». Полагая, что В. В. Осинский и сам мог говорить со Сталиным о своем сыне, Н. И., хотя и упоминал при разговоре сына Осинского, главным образом просил об освобождении Андрея Свердлова — его отец Яков Михайлович Свердлов скончался в 1919 г.

— Коба, я прошу за Якова Михайловича, в память о нем это надо сделать. Жаль мальчишек, арест их может только обозлить и загубить. Оба они способные, подающие надежды юноши.

— Я этими делами не занимаюсь, звони Ягоде, — раздраженно ответил Сталин и повесил трубку.

Звонить Ягоде Н. И. счел бессмысленным.

И Д. Осинский, и А. Свердлов вскоре были освобождены. К сожалению, эта история имела свое трагическое продолжение, о котором я тогда не знала. Но мысли об аресте Димы и Андрея, так взволновавшем меня когда-то, привели к печальным размышлениям относительно моего следствия: кого могли на вербовать следователи в так называемую контрреволюционную организацию молодежи? Конечно же, предположила я, именно они, Д. Осинский и А. Свердлов, станут ее главными действующими лицами.

И если в 1934 г. Д. Осинский и А. Свердлов были всего лишь «вольнодумцами», то кем же их могли сделать в 1938 г., в период повальных арестов? По-видимому, террористами, вредителями — изменниками Родины. Арестованный Валериан Валерианович Осинский, отец Димы, уже фигурировал на процессе Бухарина как свидетель обвинения, непонятно почему — не как обвиняемый. Он рассказывал об ужасающих, страшных преступлениях, якобы совершенных не только Бухариным, но и им самим. Это обстоятельство укрепило мое предположение, что Андрей и Дима вновь арестованы.

Одновременно с ними могли быть арестованы многие другие — дети репрессированных родителей. И по возрасту, и по своей биографии я к этой молодежи вполне подходила. Такую конструкцию своего так называемого дела я соорудила.

Мысли о моем следствии перемежались с размышлениями о Ягоде. Не потому, конечно, что долгие годы я носила мозеровские часы, подаренные когда-то Ягодой моей матери, давным-давно, еще в 1925 году, когда они одновременно лечились в Сухуми, и исчезнувшие в тюремных стенах.

Ягоду я мало знала и смутно помнила, кажется, только в детстве единственный раз его и видела, когда однажды в нашей квартире звучали торжественные аккорды бетховенской увертюры к «Эгмонту». Играла жена Ягоды Ида, худенькая, щупленькая, с острым личиком, похожая, как считали многие, знавшие Я. М. Свердлова, на своего известного дядю, а Ягода, опершись локтем о пианино, приложив ладонь к лицу, казавшийся грустным и задумчивым, слушал музыку.

Там, в камере, толчком к размышлениям о нем послужил осужденный на смерть сотрудник НКВД. Меня занимала не столько судьба Ягоды, сколько вопрос, в какой мере он сам был в ней повинен.

Одно воспоминание наплывало на другое, как я ни старалась их гнать от себя, чтобы постараться уснуть. Я не исключала, что следующий день снова принесет сражение со Скворским, — надо было экономить ничтожные силы. Я основательно продрогла от промозглой сырости на нижних нарах и наконец возвра-

тилась в ужасную реальность, почувствовав, что лежу не на воображаемой перине, а на жестких досках и до боли отлежала худые, костлявые бока. Пришлось напрячься и перебраться на верхние нары, на свою всегда спасающую шубку, свернуться клубком, чтобы согреть ледяные ноги. Но как только я сомкнула глаза, передо мной предстал образ мальчика, сына Ягоды. Он мне вспоминался не только в эту ночь в Новосибирском изоляторе, но не раз за мой долгий мучительный путь. Не потому, что я симпатизировала его отцу, у меня по отношению к нему было только чувство неприязни, тем не менее этот мальчик, восьмилетний Гарик, волновал мою душу и жил в моем воображении.

Вся семья Ягоды была срезана под корень, выкорчевана из жизни: старуха мать арестована, жена расстреляна, две его сестры одновременно со мной были в Астраханской ссылке и там арестованы; наконец, теща Ягоды, сестра Я. М. Свердлова, встретила меня в томском лагере и еще до моей отправки в Новосибирск была взята в этап — слухи ходили, что на Колыму, не исключено, что расстреляна — мало ли о чем мог поведать многознающий зять. Так мальчик остался без родных. У него были, правда, родственники со стороны Свердлова, отличавшегося от нас, «грешных», лишь тем, что Свердлов не дожил до 1937 года, который скорее всего преподнес бы ему тот же подарок, какой получили его ближайшие соратники и друзья. Тем с большей уверенностью можно об этом сказать, что тому, кто позже стал «отцом всех народов», известно было, как Свердлов относился к нему еще со времен Туруханской ссылки.

Так или иначе, родственники со стороны Свердлова о ребенке не позаботились, как это сделали, скажем, моя тетка, сестра моей матери, и ее муж, взявшие к себе моего сына, которого воспитывали до 1946 года, пока их самих не арестовали; тогда мой Юра снова оказался в детском доме. Впрочем, не будем слишком суровы. Андрей, сын Я. М. Свердлова, был «то тут, то там», — то в тюрьме, то на свободе. Остальные родственники тоже сидели, как на трясине. К тому же разве можно было забыть, что в ягодинских лапах несколько лет назад оказался и сам Андрей, а «царь-батюшка» его освободил? Сталин любил выглядеть добрым спасителем. Зачем же этим родственникам ягодинский сынок!

Но, оказавшись в томском лагере в одно время со мной, Софья Михайловна Свердлова (фамилия ее по мужу Авербах) беспокоилась о своем маленьком, оставшемся без родных внуке. Ей в виде исключения разрешили послать запрос о ребенке, сообщили его адрес и позволили написать ему. До своего исчезновения из томского лагеря она успела дважды получить ответы от внука. Я видела конверты с надписанным неуверенной детской рукой адресом и читала коротенькие душераздирающие строки:

«Дорогая бабушка, миленькая бабушка! Опять я не умер! Ты у меня осталась одна на свете, и я у тебя один. Если я не умру, когда вырасту большой, а ты станешь совсем старенькая, я буду работать и тебя кормить. Твой Гарик».

Второе письмо было еще короче:

«Дорогая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Твой внук».

О наших осиротевших детях в то время нам знать не было дозволено, переписка с родственниками была запрещена, и это письмо от ребенка, полученное в лагере, стало событием, но, увы, не радостным. Каждая думала о своем ребенке. Мы задавали себе вопрос: что же происходило с мальчиком? Многие, в том числе и я, сходились на том, что до такого состояния ребенка могли довести лишь специальными мерами. Так и мой Юра на втором году жизни был выцарапан из детского дома полутрупом. Для меня слова мальчика «опять я не умер» превратились в своего рода символ. В заключении, даже на фоне повседневной безысходности, были особые, невыносимо тяжкие моменты, когда, казалось бы, и выжить было невозможно, а я все-таки оставалась в живых. В тех случаях я повторяла слова маленького сына Ягоды: «Опять я не умер!»

Впечатление от коротеньких писем мальчика, по-детски, но так поразительно точно выразившего ужас, трагизм своего положения, не выветрилось из

моей памяти. По возвращении в Москву я пыталась узнать о дальнейшей его судьбе, но все мои старания оказались тщетными.

Ну а сам Ягода? Он исчез не бесследно, конец его известен, руки его в крови. Однако повинен он вовсе не в тех преступлениях, которые ему инкриминировались на процессе. Он виновен прежде всего в том, что пронес через все свои последние годы тайну сталинских преступлений и оказался их соучастником.

Три наркома возглавляли ОГПУ — НКВД — Ягода, Ежов, Берия. Ежов стал профессиональным бюрократом, ограниченным фанатиком, слепо верил в Сталина, беспрекословно подчинялся ему, он не был связан органически с большевиками ленинского поколения, и все уже катилось, как по рельсам, хотя и сам Ежов, как я слышала, под конец своей деятельности не выдерживал «ежовщины».

Берия — человек темной биографии и по своей вероломной психологии свой человек для Сталина.

Ягода отличался от них тем, что был профессиональным революционером, членом большевистской партии с 1907 года, следовательно, не из карьеристских побуждений в нее вступил. Но именно на его долю выпал жребий положить начало истреблению товарищей по партии. Эта акция далась ему не так легко. Но мощная сталинская бюрократическая машина засасывала его непреодолимым вихрем. Поэтому именно Ягода особенно ярко являет собой пример растления личности, духовного перерождения.

И все же я согласилась со своим соседом за стенкой, что Ягода был личностью трагической, пережившей душевную драму. Он падал медленно, внутренне сопротивляясь, и стал лишним для Сталина не только потому, что был свидетелем и соучастником его преступлений (с уничтожением Ягоды можно было бы еще повременить), но и потому, что он оказался непригодным для осуществления дальнейших сталинских грандиозных преступных планов. Трудно теперь отделить, какие преступления Сталин осуществил через Ягоду, какие — действуя за его спиной. Сомнения нет, что с Ежовым и Берия Сталину работать было удобнее.

Бухарин в последние годы относился к Ягоде как к разложившемуся чиновнику и карьеристу, позабывшему свое революционное прошлое. Его ненависть к Ягоде имела причину и чисто психологического характера. Ягода, как рассказывал мне Н. И., был одно время довольно в близких отношениях с Рыковым (что подтвердил и сам Ягода на процессе), оба они волжане: Рыков из Саратова, Ягода из Нижнего Новгорода; одно время и Рыков вел революционную работу в Нижнем, где пользовался большим авторитетом, там они и сблизились. Позже, когда Рыков был в зените славы, заменив Ленина на посту председателя Совнаркома, Ягода особенно дорожил его дружбой. Но, увы, Ягода принадлежал к числу тех друзей, о которых еще Некрасов писал: «...Я с ними последним делился, и не было дружбы нежней, но мой кошелек истощился, и нет моих милых друзей!»

В начале наметившихся разногласий Ягода, знавший лучше многих общую картину положения в деревне, скорее разделял взгляды Бухарина и Рыкова, чем Сталина, цену которому, надо думать, он тогда уже знал. Но как только он почувствовал, что положение оппозиции в Политбюро шатко, он к ней не примкнул. С тех пор Н. И. питал к Ягоде неприязнь и как-то в связи с этим рассказал мне интересный случай.

Летом 1935 г. Николай Иванович приехал к Горькому на дачу. На террасе за чаем сидели Алексей Максимович, его невестка — Наталия Алексеевна (в семье ее звали Тимоша), Н. И. и старик-приживалец, хиромант, кажется, приехавший вместе с Горьким из Италии. Через некоторое время пришел Ягода. Кстати, Ягода наезжал к Горькому довольно часто: он был увлечен невесткой Горького, вдовой его сына. Кроме того, он испытывал тяготение к самому Горькому как земляку. В Нижнем Новгороде Горький был близок семье Свердловых, усыновил старшего брата Я. М. Свердлова, Зиновия, не принявшего революцию и не вернувшегося в Советский Союз.

Итак, Ягода подсел к общему столу.

— Покажите вашу руку, Генрих Григорьевич, — попросил старик-хиромант. Ягода спокойно протянул руку. Старик недолго рассматривал линии на ладони, затем, брезгливо отбросив руку, сказал: «А вы знаете, Генрих Григорьевич, у вас рука преступника!» Ягода разволновался, покраснел, ответил ему, что хиромантия не наука, а пустое занятие, и вскоре уехал.

Самое примечательное в этом эпизоде, как считал Н. И., заключалось в том, что Горький пропустил сказанное мимо ушей, не сделал замечания старику за бестактность по отношению к Ягоде ни при нем, ни после его ухода.

Итак, он преступник? Да, конечно. Он жалкий трус? Безусловно! Его гибель нравственная произошла ранее физической. Но вряд ли даже кто-нибудь из храбрецов хотел бы оказаться на его месте и смог бы изменить положение. В конце 1931 года, после процесса «союзного бюро меньшевиков», Сталин, очевидно, желая спутать карты, сделал заместителем Ягоды Ивана Алексеевича Акулова, человека непреклонной воли, кристальной честности и огромного мужества, пользующегося особым уважением и доверием товарищей. Иван Алексеевич стал наводить порядок в НКВД и очень скоро пришелся не ко двору. Недолго пробыл он и на посту Прокурора СССР: был назначен Секретарем ЦИК СССР. В 1938 году он был расстрелян.

Еще не предъявлен Сталину счет истории за палаческих дел мастерство, составляющее существенную черту его преступной натуры; еще мало кто знает, какими изощренными методами он действовал, загоняя каждую жертву-палача в ею же оборудованные застенки. Так драматическая история Ягоды дала пищу для моих размышлений бессонной ночью в новосибирском изоляторе *.

Между тем утро уже подкралось, что никак не отразилось на освещении в камере: так же горела тусклая электрическая лампочка и ничуть не стало светлее, но в коридоре уже слышался шум, громыхание засовов, водили на оправку, разносили завтрак — синеватую ячневую кашу, политую каким-то противным жиром, долгожданную пайку и кипяток. Тотчас же прибежала крыса, схватила кусок хлеба и, удовлетворенная, быстро шмыгнула под нары. Пожилой надзиратель, заметивший через глазок, что я кормлю ее, вошел в камеру и добродушно проворчал:

— Пошто ты ее, девка, кормишь, разведешь их здесь столько, что житья от них не будет; тут до тебя женщина сидела, так от этой крысы визжала на весь изолятор, покою не давала, а тебе хоть бы что.

— Житья нет и с крысами, и без них — крысы ничего не меняют.

Надзиратель покачал головой и запер камеру.

Так текли дни — серые, безликие, одинаково беспросветные; надо было придумать хоть какое-то занятие, чтобы гнать от себя черные мысли. Я безуспешно пыталась добиться разрешения получать книги. Как-то, заметив в углу камеры на полу ржавый гвоздь, я нацарапала на нарах шахматную доску, из хлеба слепила шашки разной формы, чтобы играть за себя и за противника, но каждый раз ночью, когда я засыпала, крыса и мышьяная мелюзга, которую я в расчет не принимала, поедали мои шашки, и я в конце концов предпочла хлеб съедать. По утрам, как молитву, я повторяла заученное наизусть письмо Бухарина «Будущему поколению руководителей партии». Нельзя было забыть ни еди-

* Справка историка. А. М. Ларина только намечает основные контуры процесса перерождения профессионального революционера в чиновника, девизом которого стала личная преданность своему патрону. Покровителем Ягоды с начала двадцатых годов был Сталин. Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский относились к Ягоде отнюдь не однозначно. В состав коллегии ВЧК-ОГПУ (в 1922 году) Ягода был введен под давлением Сталина. Колебаний своим подопечным тот не прощал. Можно предположить поэтому, что именно колебания Ягоды по отношению к группе Бухарина в 1928 году сыграли роковую роль в его судьбе в дальнейшем. Вообще же проблема вывода органов государственной безопасности из-под контроля партии и государства — тема специального исследования историков. Отдельные зарисовки и наблюдения А. М. Лариной будут им весьма полезны.

ного слова, хотя в те дни похоже было, что оно, это письмо, уйдет со мной в могилу.

Ежедневно меня выводили на десятиминутную прогулку, но весна, которая баловала необычно ранним теплом, к середине мая круто повернула вспять: не раз маленький тюремный дворик покрывался снегом, и зеленая травка у моего окна седела от утренних заморозков, или же лили холодные проливные дожди. Лишь в середине июня пришло долгожданное тепло.

«Эх и ведро же сегодня! — сказал вошедший в камеру надзиратель. — Начальства нет (было воскресенье), можешь гулять дольше». Во дворе было жарко и необычно тихо. Через окно следственного отдела Сиблага не слышался, как обычно в будние дни, непрерывный треск пишущей машинки, ветер доносил откуда-то дурманящий аромат отцветающей черемухи, а возле моего зарешеченного окошка, в травке, вытянулись на тонких стебельках солнечные одуванчики. Высоко в безоблачном небе стайка стрижей то вихрем снижалась, то стремительно взмывала ввысь, взмахивая изящными дугообразными крылышками.

«Смотри, смотри, Анютка, — стрижи!» — обязательно крикнул бы Н. И., но знакомого голоса не слышалось, и я, еле сдержав слезы, попросила надзирателя вернуть меня в камеру. Мрак в тот момент больше соответствовал моему настроению, чем ясный день в каменном мешке тюремного двора. Возвратившись в камеру, я почувствовала потребность разрыдаться, выплеснуть накопившуюся душевную скорбь, но не смогла. Чтобы скоротать время и отвлечься, я мысленно повторяла стихи. И вспомнились мне строчки Веры Инбер: «...когда нам как следует плохо, — мы хорошие пишем стихи». Мне было «как следует плохо», невыносимо тяжело и одиноко, и хотя я не совсем согласилась с поэтессой в том, что стихи при данных обстоятельствах непременно смогут быть хорошими, я решила, что надо дерзать! Иначе в одиночестве в этом темном подвале, без книг, с одолевавшими меня страшными мыслями, впору сойти с ума.

Так я решила сочинять стихи; записывать их, следовательно, работать над ними, мне не пришлось — ни бумаги, ни карандаша не давали. Надо было сочинять и запоминать. Мне захотелось отразить мое настроение после прогулки в тюремном дворе. Я успела сочинить всего пять строк:

Тучей сгустилась печаль,
Пала на сердце туманом.
Синяя ясная даль
Кажется мглой, и обманом —
Трепет цветущей весны.

Только я стала повторять эти строки, чтобы запомнить их и затем продолжить стихотворение, как неожиданно дверь в камеру растворилась, и вошли двое: Сквирский, который после первого допроса меня больше не вызывал, второй, как пояснил мне потом надзиратель, начальник управления НКВД Новосибирской области. Пользуясь тем, что в камере потеплело, я лежала в нижнем белье, укрытая платком: берегла юбку, которая уже начала расползаться от сырости.

— Разве в лагере вас не учили вставать перед начальством?! — крикнул Сквирский. — Встать сейчас же!

— Нас приучали, но я оказалась неспособной ученицей, — ответила я, продолжая лежать.

— Долго будете молчать, княжна Тараканова? Я вас предупреждал; если не раскроете контрреволюционную организацию молодежи — сгниете в этой камере.

— Буду сидеть столько, сколько вы будете держать меня в ней, выбраться отсюда, к сожалению, я не имею возможности.

— Если вы избрали такое поведение — продолжать молчать, имейте в виду, вас ждет расстрел.

— Следовательно, беспокоиться не приходится, я не сгнию в этой камере.

Начальник Новосибирского НКВД, смотревший на меня с любопытством, не проронил ни слова. «Гости» вышли из камеры. Так первое стихотворение, которое я попыталась сочинить, осталось незаконченным.

Время шло, я чувствовала себя все хуже и хуже. Сырость уже давала себя знать, я стала сильно кашлять. Спала я тревожно. По ночам меня стали мучить галлюцинации, а возможно, то был страшный повторяющийся сон: в верхнем углу камеры, под потолком, словно на Голгофе, мне виделся распятый на кресте, но не Христос, а замученный, бледный Бухарин (быть может, это видение мучило меня потому, что этому предшествовали воспоминания о народовольце Морозове). Черный ворон клевал окровавленное, безжизненное тело мученика. В течение нескольких дней я не могла избавиться от повторяющегося кошмара и как-то от ужаса закричала так, что было слышно в коридоре. Вошедший в камеру надзиратель решил, что я испугалась крысы.

— Что кричишь, крыса укусила?

— Да нет, сон страшный приснился.

После посещения Сквирского я окончательно поняла, что жизнь моя может оборваться ежедневно. И захотелось мне забыться, заглянуть в свое счастливое прошлое, в незабываемый крымский вечер, положивший начало нашему роману с Н. И., и отразить его в стихах.

Стихи далеки от совершенства, но и по сей день они дороги мне как светлое воспоминание. Там были и такие строки:

Я помню тот крымский вечер,
Что начало начал положил,
Невнятно шептал что-то ветер,
Так радостно весел ты был.

В тот вечер мы поздно расстались,
Ты мне ничего не сказал,
Лишь только глаза улыбались,
И крепко ты руку мне жал.

А волны морские сказали,
Что быть тебе скоро моим,
Задорно они хохотали
Шумящим прибоем морским.

Мне было всего лишь шестнадцать,
Шестнадцать волнующих лет.
Увы, мне уж много за двадцать,
А прошлого яростно так свет.

Сравнительно недавно мне пришлось перечитать это стихотворение, и строка «Увы, мне уж много за двадцать» напомнила об относительности восприятия возраста и времени. Из восьми лет — с шестнадцати до двадцати четырех — два последних, с августа 1936 по август 1938, были насыщены мучительными страданиями, и годы эти казались очень длинными, хотя и без того для молодого человека восемь лет — срок немалый. Но как хотелось бы теперь, когда мне более за семьдесят, чем тогда было за двадцать, вернуть мои «много за двадцать», — конечно же, без той страшной камеры...

Продолжение следует

Юрий Голанд,

кандидат экономических наук

КАК СВЕРНУЛИ НЭП

Перестройка значительно повысила интерес к опыту нэпа. В нашей послереволюционной истории это был единственный период, когда наряду с административными широко применялись экономические методы управления. В наибольшей степени они использовались в сельском хозяйстве, основу которого составляли единоличные крестьянские хозяйства. Однако, хотя крестьяне сами решали основные вопросы производства и реализации продукции, ориентируясь, главным образом, на цены и налоги, сохранялись и административные методы воздействия на различные стороны крестьянской жизни. Пропорции между экономическими и административными методами менялись со временем, и изучение их взаимодействия представляет не только исторический интерес. Конечно, и сейчас подъем сельского хозяйства во многом зависит от ослабления административного пресса.

Сохранение административно-командных методов в период нэпа было частично связано с традициями предшествующего периода «военного коммунизма», когда государство посредством продразверстки забирало у крестьян все излишки сельскохозяйственной продукции, а нередко и не только излишки. Во время гражданской войны и хозяйственной разрухи обеспечить выполнение заданий по продразверстке без применения насилия было невозможно. Другим проявлением административного стиля руководства явились попытки заставить крестьян перейти к общественной обработке земли и иным видам производственного кооперирования, которые приняли широкий размах в первые месяцы 1919 года.

Все эти меры вызвали такое недовольство, что враги Советской власти получили возможность организовать в ряде районов страны крестьянские восстания, которые вспыхнули в середине марта. Выступая 23 марта 1919 года на VIII съезде партии с докладом о работе в деревне, Ленин резко осудил попытки объединить крестьян в коллективные хозяйства методами насилия. Он подчеркнул: «Нет ничего глупее, когда люди, не знающие сельского хозяйства и его особенностей, люди, которые бросились в деревню только потому, что они услышали о пользе общественного хозяйства, устали от городской жизни и желают в деревне работать, — когда такие люди считают себя во всем учителями крестьян... Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учесть особенные условия жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать!»¹ Вскоре после окончания съезда, 9 апреля, Ленин подписал циркулярное письмо губернским органам власти, в котором указывал, что «недопустимы меры принуждения для перехода крестьян к общественной обработке, в коммуны и другие виды коллективного хозяйства»² и предупредил о суровой ответственности за неисполнение циркуляра. После этого попытки форсировать коллективизацию прекратились.

Однако выполнить полностью ленинское указание «не сметь командовать!» было нельзя, пока сохранялась продразверстка. Она лишала

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 38, стр. 201.

² Там же, том 50, стр. 495.

ством лиц, поставивших свои подписи под заявлением, а качеством времени. Колесо истории ускоренным темпом работало на Сталина. После того, как коллективное заявление не привело к желаемым результатам, в самое ближайшее время члены «объединенной оппозиции» подали заявления уже в индивидуальном порядке с осуждением своих взглядов и своего поведения и были восстановлены в партии. Это дало право С. Орджоникидзе, председателю ЦКК, заявить на XVI съезде ВКП(б), что троцкистская оппозиция более не существует. Кроме высланного Троцкого и двух-трех упорствующих, в ней никого не осталось. И те, и другие, и «троцкисты», и «правые» стремились в партию не к Сталину, а вопреки ему, любой ценой, терпя унижения, ущемляя свое достоинство, лишь бы не порвать с ВКП(б). Между тем партия теряла свое прежнее лицо. Она становилась партией Сталина. Продолжая оставаться в его партии, бывшие оппозиционеры, люди творческой мысли во имя сохранения единства партии подчинились его диктату. В этом, как мне кажется, кроется одна из существенных причин, объясняющих дальнейшую трагическую судьбу старых большевиков.

Но вернусь в Крым лета 1930 года.

Я оказалась в Крыму одновременно с Николаем Ивановичем случайно; приехала с больным отцом и жила с ним в Мухалатке, доме отдыха для членов Политбюро и других руководителей. Н. И. умышленно избрал другое место и жил уединенно на даче в Гурзуфе. Вскоре после приезда в Мухалатку мы навестили его. Н. И. производил удручающее впечатление: осунувшийся, исхудавший, ослабленный, грустный. Не могло быть и речи, чтобы в таком состоянии присутствовать на съезде. Через несколько дней мы вновь его увидели, он был несколько крепче физически, но в таком же, если не в более подавленном состоянии. В обоих случаях мы заставляли его в постели.

XVI съезд был единственным в своем роде. Если на предыдущих съездах шла речь об идейных разногласиях и было сражение оппонентов, то на этот раз ополчились на «войско», уже капитулировавшее. И началось «избиение младенцев». Требовались покаяния и саморазоблачения, саморазоблачения и покаяния. Томский заявил, что после всего этого ему остается только надеть власяницу и идти каяться в пустыню Гоби, питаясь там диким медом и акридами, и что «покаяние» — это религиозный, а не большевистский термин.

От Рыкова тоже требовали отречения, но он заявил, что несолидно было бы отказываться от взглядов Бухарина, которые он разделял и которые они вместе признали ошибочными. Рыкова упрекали в том, что на предсъездовской конференции на Урале он осмелился заявить, что они, «правые», хотели добиться тех же результатов, но с меньшими жертвами. (Время, когда они вынуждены были лгать, будто им грезилась реставрация капитализма, еще не наступило.)

Такова была атмосфера на съезде. Оставалось три-четыре дня до его окончания, когда Н. И. настолько окреп, что, хотя и с большим напряжением сил, он, возможно, смог бы явиться на этот съезд. Но ситуация сложилась так, что мчаться из Крыма в Москву уже не было смысла.

Н. И. не послал никакого письменного заявления на съезд, в чем его тоже упрекали. И это молчание его было гордым молчанием. Однако не могу не вспомнить и то, как он искренне радовался, что фортуна ему улыбнулась и, расплатившись воспалением легких, он избавился от присутствия на этом съезде; сказать, что Н. И. легко переносил удары судьбы, никак не приходится.

Крымские встречи с Н. И. предстали передо мной в камере с удивительной яркостью, казалось, я вдыхала южные ароматы, а не затхлый запах камеры. Мне вспомнилось, как сильно меня тянуло в Гурзуф. Я знала, что Н. И. тоже ждет меня, я обещала его навестить. В Крым я приехала вдвоем с больным отцом, без матери — она к этому времени не получила отпуска. Часто ездить в Гурзуф ему не позволяло здоровье, да и не могу сказать, что мне хотелось ездить вместе. Но оставлять отца одного на длительное время было более чем

жестоко: даже одеться и раздеться самостоятельно он практически не мог. Тем не менее отец охотно отпускал меня к Н. И., стремясь, чтобы его беспомощность никак не отражалась на моей жизни. Уезжая, я никогда не была вполне спокойна, и это несколько омрачало мои такие желанные встречи с Н. И.

Никакой регулярный транспорт, ни морской, ни сухопутный, из Мухалатки в Гурзуф в то время не ходил. С отцом я имела возможность ездить на легкой машине дома отдыха, а без него добиралась на грузовой, ездившей в Гурзуфские ремонтные мастерские.

Впервые одна я отправилась из Мухалатки еще на рассвете и ранним утром была в Гурзуфе.

Н. И. был обрадован моим приездом. «Я предчувствовал, что сегодня ты обязательно приедешь!» — воскликнул он.

Мы наскоро позавтракали и спустились по крутой дорожке к морю. Н. И. захватил с собой книгу, завернутую в газету. Было тихое утро. Небольшая ласковая волна, чуть пенясь, плескалась у берега и, шевеля морские камешки, издавала шуршащий успокаивающий звук, похожий на вздох.

Мы уселись меж скал, одна из них нависала над нашими головами и давала приятную тень. На мне было голубое ситцевое платье с широкой каймой из белых ромашек, черные косы свисали почти до самой каймы. Теперь об этом можно вспоминать, не нарушая скромности, — так давно это было, и так не похожа я на ту прежнюю, будто пишешь не о себе, а совсем о другом человеке. В детстве в шутку кто-то сказал мне, что у меня один глаз, как море, а другой — как небо, и я повторяла: «Один, как морье, другой, как небо». «Морье» — забавляло взрослых, в том числе и Н. И., и вдруг он вспомнил об этом.

— Ты как-то незаметно выросла, — сказал Н. И., — стала взрослой, и глаза твои уже не разные, а оба, как «морье».

Давний эпизод рассмешил нас, но я смутилась. Разговор как-то не клеился, Н. И. заметно волновался. Говорить о том, что нас тревожило, то есть о съезде, не хотелось. А наше чувство друг к другу было загнано внутрь, и никто не решался первым его проявить, хотя к этому времени обоим было уже ясно: оно претерпело метаморфозу, превратившись у меня из детской привязанности к Н. И., а у него — из привязанности к ребенку в чувство влюбленности.

Он раскрыл газету, в которую завернута была книга. В газете публиковались выступления делегатов съезда. По поводу речи Ярославского Н. И. раздраженно заметил: «Ярославский считает, что троцкистов более не существует, а вот мы, как они все нас называют, «правые», в настоящее время представляем главную опасность. Чушь какая-то, ерундистика. (Н. И. любил, как я их называла, словесные выкрутасы, и часто вместо слова «ерунда» говорил «ерундистика».) Такой оппозиции, какой была троцкистская, у нас вообще не было». Н. И. в этом случае имел в виду не столько идейную позицию троцкистов (не сделаю открытия, если скажу, что он был яростным противником ее, Бухарин и Троцкий антиподы), сколько их методы борьбы за свои взгляды в нарушение партийной дисциплины. Справедливо ли мнение, что Сталин руками Бухарина, Рыкова, Томского подавил оппозиции: «новую» в 1925 году, «объединенную» в 1927 году? С этим нельзя не согласиться. Но для них борьба за свои взгляды против троцкистской оппозиции не была борьбой за власть. Для Сталина же это была блестяще сыгранная шахматная партия, в которой он победил, достигнув единовластия. Так, разжигая разногласия и натравливая большевиков друг на друга, он сумел убрать с политической арены все крупные фигуры, игравшие заметную роль при Ленине. К сожалению, это свойство Сталина (разжигать разногласия) большевики понимали не одновременно, а поочередно, а иные же понимали, но пытались использовать его в своих политических играх. Но теперь, оглядываясь назад, можно сказать: за этими боями они проглядели палача!

Отбросив газету с речами, Н. И. взялся за книгу. Это была «Виктория» Кнута Гамсуна.

— Мало кому, — сказал он, — удалось написать такое тонкое произведение о любви. «Виктория» — это гимн любви!

Как я предполагаю, книгу эту Н. И. захватил с собой не случайно. Он стал читать вслух — не подряд, а выборочно:

«Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах. Нет, это пламя, рдеющее в крови. Любовь — это адская музыка, и под звуки ее пускаются в пляс даже сердца стариков. Она точно маргаритка распускается с наступлением ночи, и точно анемон от легкого дуновения свертывает свои лепестки и умирает, если к ней прикоснешься.

Вот что такое любовь...»

Прервав чтение, он задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Потом перевел взгляд на меня и снова в море. О чем он думал тогда?..

Затем он продолжил:

«Любовь — это первое слово создателя, первая, осиявшая его мысль. Когда он сказал: «Да будет свет!» — родилась любовь. Все, что он сотворил, было прекрасно. Ни одно свое творение он не хотел бы вернуть в небытие. И любовь стала источником всего земного и владычицей всего земного, но на всем ее пути — цветы и кровь, цветы и кровь!»

— Почему же кровь? — спросила я.

— Ты хотела, чтобы были одни цветы? Так в жизни не бывает, она не проходит без испытаний, любовь должна преодолевать, побеждать их. А если любовь не преодолевает испытаний жизни, не побеждает их, следовательно, ее и не было — той настоящей любви, о которой пишет Кнут Гамсун.

Дальше Н. И. прочел, как старый монах Венд рассказывал о вечной любви, любви до смерти, о том, как болезнь приковала мужа к постели и обезобразила его, но его любимая жена, подвергнутая тяжкому испытанию, чтобы быть похожей на своего мужа, у которого выпали все волосы от болезни, обрезала свои локоны. Затем жену разбил паралич, она не могла ходить, ее приходилось возить в кресле, и это делал муж, который любил свою жену все больше и больше. Чтобы уравнять положение, он плеснул себе в лицо серной кислоты, обезобразив себя ожогами.

— Ну, а как ты относишься к такой любви? — спросил Н. И.

— Сказки рассказывает твой Кнут Гамсун! Зачем себя специально уродовать, делать себя прокаженным, обливать лицо серной кислотой? Неужто нельзя без этого любить? Чужь какая-то!

Мой ответ рассмешил Н. И., и он пояснил мне, что «его» Кнут Гамсун такими средствами выразил силу любви, ее неприменную жертвенность. И вдруг, глядя на меня грустно и взволнованно, спросил:

— А ты смогла бы полюбить прокаженного?

Я растерялась, ответила не сразу, почувствовав в его вопросе тайный смысл.

— Что же ты молчишь, не отвечаешь? — снова спросил Н. И.

Смущенно и по-детски наивно я произнесла:

— Кого любить — тебя?

— Меня, конечно, меня, — уверенно произнес он, радостный, улыбающийся, тронутый тем, с какой еще детской непосредственностью я выдала свои чувства.

И только я собралась ответить, что его я смогла бы любить (хотя и незачем было употреблять будущее время, когда все уже было в настоящем), он попросил меня: «Не надо, не надо, не отвечай! Я боюсь ответа!»

В то время он не хотел еще ставить точки над «i». При огромной разнице лет между нами он опасался дать ход нашим отношениям. Но так или иначе Кнут Гамсун помог нам приоткрыть наши чувства, которые мы оба старались утаить.

Не раз за долгие годы своих мучений вспоминала я роковой вопрос Н. И.: «А ты смогла бы полюбить прокаженного?»

Я пробыла в Гурзуфе лишь несколько часов. Шофер Егоров, добродушный

альбинос с длинными белыми ресницами, растущими пучками, торопил меня. Ах, как не хотелось расставаться с Н. И.! Но надо было возвращаться к отцу в Мухалатку.

Другая моя поездка в Гурзуф принесла много волнений и радости.

Как только я появилась на даче, где жил Н. И., мне сообщили, что он с утра уплыл в море и исчез. Я в волнении побежала на берег. Там собралась толпа, море просматривали в бинокль. На берегу лежали вещи Н. И. — холщовые светлые брюки, синяя, выгоревшая от солнца старая сатиновая косоворотка и, несмотря на жару, сапоги: все его «богатство». На вещи был положен тяжелый камень — позаботился, чтобы ветер не унес. Время было уже послеобеденное, даже я, зная, как далеко Н. И. мог заплывать в море, начала серьезно волноваться. Наконец было решено послать на поиски моторную лодку. Лодка завершила долгие поиски у пограничного судна, где был обнаружен задержанный Н. И. Он заплыл в запретную зону, и его заставили подняться на судно для выяснения личности, а когда Н. И. объяснил, кто он, отказались верить, что он Бухарин. Кто-то из команды судна попросил предъявить документы. Такое требование в данной ситуации было более чем смешным. Нашелся какой-то «бдительный», крикнувший: «Не выдумывайте, что вы Бухарин, зачем бы ему в такую даль плыть. Лучше правду скажите, кто вы есть и с какой целью вы здесь оказались». (Знай об этом эпизоде Вышинский, на процессе цель была бы определена сразу же.)

Наконец капитан судна разумно решил, что если задержанный — действительно Бухарин, то его в конце концов должны начать разыскивать. Так оно и случилось, и вечером Н. И. благополучно был доставлен на берег. Толпа, ожидавшая результатов поисков, стала к тому времени еще больше, из соседнего дома отдыха Суук-су пришли партийные работники, делегаты, приехавшие после окончания съезда.

Кто-то крикнул из толпы:

— Николай Иванович, когда вы перестанете озорничать?

Окрыленный своим новым спортивным рекордом и возбужденный «первым арестом» при Советской власти, он не сдержался и крикнул в ответ так, чтобы все слышали: «Тогда, когда вы перестанете называть меня правым оппортунистом!» Кое-кто решился даже рассмеяться. После окончания съезда можно было посмеяться и пошутить и даже искренне порадоваться, что Н. И. нашелся и что он цел и невредим; но одновременно усилилось подозрение, не была ли его болезнь дипломатической, раз он смог проделать такое...

Мы поднялись в гору, к даче, в комнате на столе лежал конверт, на котором почерком Рыкова было написано: «Николаю Ивановичу» — письмо было послано с оказией. Н. И. с волнением вскрыл конверт, в него была вложена открытка. Последняя фраза этой открытки мне запомнилась почти дословно: «Приезжай здоровый, мы (имелся в виду и Томский) вели себя на съезде по отношению к тебе достойно. Знай, что я люблю тебя так, как не смогла бы любить даже влюбленная в тебя женщина. Твой Алексей».

Алексей Иванович писал о том, что считает большой удачей для всех троих отсутствие Н. И. на съезде. Это бы только осложнило их положение. Вряд ли б, писал он, Н. И. смог сохранить хотя бы внешне необходимое спокойствие в тяжелой обстановке съезда, которое Рыкову и Томскому давалось не без огромного напряжения. Хорошо, что его не было и по другой, как писал Рыков, ему понятной причине.

Рыков имел в виду ситуацию, сложившуюся из-за разговора Бухарина с Каменевым в июле 1928 года, к тому времени события двухлетней давности. Этот эпизод не был забыт Сталиным. Именно тогда, в 1928 году, Сталиным был заложен фундамент мифического право-троцкистского блока, зловещее здание которого, созданное «кропотливым строителем», возвышалось на бухаринском процессе десять лет спустя. Так и поименовали судилище: «дело антисоветского право-троцкистского блока».

В изложении Н. И. обстоятельства его встречи с Каменевым выглядели

так. Бухарин возвращался с заседания июльского Пленума ЦК домой вместе с Сокольниковым¹ (оба тогда жили в Кремле). По дороге встретили Каменева. Остановились и разговорились. Н. И., взволнованный не только выявившимися разногласиями, но и грубым, коварным поведением генсека во время дискуссии на заседаниях Политбюро и на Пленуме, вел о Сталине разговор в тоне крайнего раздражения и разочарования, осуждая не только его политическую линию, но и нравственные качества. Из того, что мне запомнилось из рассказа Бухарина, могу передать следующее: Н. И. признал перед Каменевым, что они — Каменев и Сокольников — в одном были абсолютно правы, когда еще в 1925 году на XIV съезде ВКП(б) советовали не переизбирать Сталина на пост генсека; Сталин — беспринципный интриган, который в погоне за властью меняет свою политику в зависимости от того, от кого он хочет в данный момент избавиться; Сталин сознательно разжигает разногласия, а не сплачивает руководство партии; политика Сталина ведет к гражданской войне и голоду. Н. И. так же нелестно отзывался и о Молотове: Сталин окружает себя безликими, во всем ему подчиняющимися людьми, вроде тупого Молотова, этой «каменной задницы», и он еще учит его марксизму (о Молотове Н. И. выразился еще грубее, так, как я не считаю возможным повторить; по натуре он был вспыльчив и в выражениях не стеснялся).

Иных подробностей своей беседы с Каменевым, как мне кажется теперь, Н. И. мне не рассказывал, а возможно, они выпали из памяти. Однако я твердо помню со слов Н. И., что даже намек на организацию блока между Бухариным и другими членами оппозиции, с одной стороны, Каменевым, Зиновьевым и троцкистами — с другой, при разговоре с Каменевым не высказывалось. Да такие переговоры уже и не могли бы иметь успеха, поскольку власть к этому времени была упущена. Сталин уже был полновластным хозяином в партии, его так и называли — «Хозяин».

Разговор с Каменевым носил чисто эмоциональный характер, искреннее и непосредственное излияние того, что угнетало душу Н. И., встревоженного бурными дебатами на заседаниях Политбюро и на июльском Пленуме, с которого он возвращался.

Что же заставило Бухарина разоткровенничаться с Каменевым, несмотря на то, что они стояли на диаметрально противоположных позициях по вопросу о нэпе? Еще в 1925 году на XIV съезде партии во время оппозиции Каменева Сталину — Бухарину Каменев заявил, что Сталин не является той фигурой, которая может сплотить руководство партии. Испытав на себе характер Сталина, Бухарин в 1928 году пришел к тому же выводу. Это обстоятельство в сочетании с сильным душевным волнением дало толчок откровенности Бухарина перед Каменевым. Психологически иначе это объяснить невозможно. Ведь это о них, Зиновьеве и Каменеве, Бухарин заявил на XIV съезде, что против него ведется «неслыханная травля»; это с легкой руки Зиновьева и Сталин впоследствии стал называть бухаринскую школу уничижительно — «школка». Ведь именно Бухарин был главной мишенью для нападков Каменева и Зиновьева в 1925 году, причем за те же идеи, которые преследовались Сталиным в 1928 году.

Примечательны высказывания Сталина на XIV съезде. Они дают возможность понять, почему Бухарин разделял в то время политику Сталина. Отнюдь не из властолюбивых побуждений, как это некоторые расценивают, — его

¹ Сокольников Григорий Яковлевич, друг Бухарина с гимназических лет, человек блестящих способностей. С VI съезда — член ЦК РСДРП(б), нарком финансов, посол в Англии, зам. наркома иностранных дел. Присоединился к «новой» оппозиции. Во время дискуссии 1925 года заявил: «Я думаю, что мы напрасно делаем из вопроса о том, кто должен быть генеральным секретарем нашей партии и нужен ли вообще пост генерального секретаря, вопрос, который мог бы нас раскалывать... Да, у нас был тов. Ленин. Ленин не был ни председателем Политбюро, ни генеральным секретарем, и тов. Ленин, тем не менее, имел у нас в партии решающее политическое слово. И если мы против него спорили, то спорили, трижды подумав. Вот я и говорю: если тов. Сталин хочет завоевать такое доверие, как т. Ленин, пусть он и завоеует это доверие».

В 1936 году Сокольников был арестован, осужден в январе 1937 года по процессу вместе с Радеком, Пятаковым и другими.

последующая оппозиция Сталину это доказала вполне. «Странное дело, — говорил Сталин, — люди вводили нэп, зная, что нэп есть оживление капитализма, оживление кулака, что кулак обязательно подымет голову. И вот стоило показаться кулаку, как стали кричать «караул», потеряли голову. И растерянность дошла до того, что забыли о середняке»; «Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова партия — к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия всего больше подготовлена к лозунгу: «бей кулака»... А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается».

Волею судьбы еще девочкой я стала свидетелем эпизода, который доказывает неосведомленность Рыкова и Томского о беседе Бухарина с Каменевым и тем самым исключает разговор о блоке. Уже тогда я часто бывала у Н. И. Однажды я застала его лежащим на диване в маленькой комнате рядом с кабинетом, осунувшимся, похудевшим и взволнованным.

— Как хорошо, что ты пришла, Ларочка (образовав имя от моей фамилии, так называл он меня в детстве; позже — Анюткой), мне совсем не радостно, на душе у меня кошки скребут и не дают покоя! Ты понимаешь меня? — И тут же сам ответил: — Нет, ты меня еще не понимаешь, ты мала, как хорошо, что ты не можешь всего постигнуть.

— И не так уж я мала, — возразила я с обидой, — я многое понимаю.

К этому времени я уже прочла стенограммы июльского Пленума, стащив их украдкой из ящика письменного стола отца. Стенограммы пленумов издавались всегда в мягкой розовой обложке, на ней было написано «Строго секретно», что особенно располагало заглянуть в них. Вообще в те дни, насколько это было доступно пониманию в моем возрасте, я была в курсе происходящих событий.

Я всматривалась в лицо Н. И., совсем не такое, каким я привыкла его видеть — радостным, с лучезарной голубизной глаз; в эту минуту оно показалось мне серым, с померкшим взглядом. И тогда уже я поняла, что черные тучи нависли над его головой; одного я не понимала: какой гром грянет.

Не выдержав нервного напряжения, я расплакалась и, пытаясь объяснить свое состояние, проговорила:

— Мне жалко тебя очень, но я же ничем не могу помочь!

(Впоследствии Н. И. не раз вспоминал этот тяжелый момент и как я на него реагировала.)

Наступила короткая и грустная пауза, и вдруг Н. И. сказал:

— Не меня надо жалеть, Ларочка, а крестьян-мужиков.

Эти слова он произнес очень тихо, как будто сомневаясь, стоит ли вести такой разговор пусть и с близким, но очень юным человеком.

Не знаю, в каком направлении развивалась бы дальше беседа между сорокалетним Бухариным, относившимся ко мне с особой нежностью, и девочкой на пятнадцатом году жизни, тянувшейся к нему, как растение к солнцу. Я еще не успела осмыслить последнюю фразу, как в комнату вбежал чрезвычайно взволнованный Рыков. Он сообщил, что от Сталина ему стало известно, будто Бухарин вел переговоры с Каменевым о заключении блока против Сталина, предварительно согласовав эти переговоры с ним, Рыковым, а также с Томским. Рыков заявил Сталину, что такого быть не могло и что это явная провокация. Тогда Сталин рассказал подробности беседы Н. И. с Каменевым: резкие выпады против Сталина и характеристику, данную Молотову.

Н. И. побледнел, руки и губы его дрожали.

— Значит, Каменев донес, подлец и предатель! — воскликнул потрясенный Бухарин. — Другим путем это не могло бы стать известно, встреча была случайной, под открытым небом, в Кремле, когда мы возвращались с пленума вместе с Сокольниковым, подслушивание разговора исключено.

Бухарин подтвердил свой разговор с Каменевым и во многом признал его содержание. Рыков был до такой степени разгневан, что спокойно говорить не мог. Он кричал, заикаясь больше, чем обычно¹.

— Б-баба ты, а не политик! П-перед кем ты разоткровенничался? Нашел перед кем душу изливать! Мало они тебя терзали?! М-мальчик-бухарчик!

Рыков высказал предположение, что донос первоначально мог исходить и от Сокольникова и даже через него могла быть устроена эта «случайная» встреча, что Н. И. тогда категорически отвергал. Рыков же в сложившейся ситуации не доверял ни Каменеву, ни Сокольникову в равной степени.

— Я посмотрю,— сказал он,— как ты будешь выглядеть в Политбюро, как скажешь Молотову, что он тупица и «каменная задница».

Н. И. был в полной растерянности.

Мое свидетельство, исключающее осведомленность Рыкова и Томского о разговоре Бухарина с Каменевым, подтверждается и документально, что для меня крайне важно, потому что это событие относится к годам моего детства и может не внушать полного доверия.

На XVI съезде партии в 1930 году, во время речи Рыкова, в ответ на реплики о фракционности и о «переговорах» Бухарина с Каменевым Рыков заявил: «Вы прекрасно знаете, что когда обсуждался разговор Бухарина с Каменевым (заметьте, р а з г о в о р, а не переговоры.— А. Л.), я относился к этому делу, к разговору,— подчеркивает Рыков,— с величайшим порицанием и заявил об этом немедленно».

Томский в своей речи на том же съезде отмечает, что разговор между Бухариным и Каменевым хотя был и политический, с резкими личными характеристиками и нападками, но частный.

Наконец, Рыков в своем последнем слове на процессе, вынужденный выражаться языком, продиктованным следствием, сказал: «С самого начала организации блока Бухарину принадлежит вся активность, и в некоторых случаях он ставил меня перед совершившимся фактом». Этот «совершившийся факт» и есть разговор Бухарина с Каменевым.

Важно выяснить, когда произошел эпизод, свидетелем которого я невольно оказалась. Точной даты, естественно, я не помню. Но зато ясно помню, что погода была еще теплая, Рыков вбежал в кабинет Н. И. в габардиновом пальто и кепке. Следовательно, не позже начала осени Сталину уже было известно о разговоре и его содержании.

20 января 1929 года в троцкистском бюллетене, издававшемся за границей, была опубликована так называемая «Запись разговора Бухарина с Каменевым». Уже после возвращения из ссылки в Москву мне представился случай ознакомиться с этой «Записью». Я обнаружила в ней все то, что мне рассказывал Н. И., и еще множество мелочей, подробностей, в которые я не была посвящена. Я не считаю себя достаточно компетентной, чтобы судить обо всем. Но несомненно, что «Запись» правильно отражает и политические взгляды Бухарина, и его отношение к Сталину в то время, и тогдашнюю атмосферу в Политбюро.

В этом документе я узнала эпизод, осевший еще в моих детских воспоминаниях и часто потом упоминавшийся в разговорах Бухарина и Ларина. Этот случай они называли «история с Гималаями». Он убедительно доказывает грубость и вероломство Сталина. Из-за разногласий перед июльским пленумом 1928 года по вопросам внутренней политики и предстоящей выработкой декларации ЦК для VI конгресса Коминтерна, декларации, заявившей об отсутствии таких разногласий, в Политбюро создалось напряженное положение. Сталин, в тот момент еще не совсем уверенный в своей победе, пытался задобрить Бу-

¹ В спокойном состоянии Рыков незначительно заикался. После устранения Рыкова с поста Председателя Совнаркома его заменил Молотов. Он стал подписывать постановления Совнаркома: Молотов (Скрябин). Замена Рыкова Молотовым казалась и Бухарину, и Ларину неравноценной. Как-то Ларин, разговаривая с Н. И., шутя заметил: «Мы ошибаемся, Николай Иванович, кандидатура выбрана самая подходящая: Молотов подписывается двумя фамилиями, как Ленин, и заикается еще больше, чем Рыков. Остальное приложится».

харина и, вызвав его к себе, сказал: «Мы с тобой, Николай, Гималаи, остальные (члены Политбюро.— А. Л.) — ничтожества». На очередном заседании Политбюро при продолжающихся дебатах Н. И., обозлившись на Сталина, решил показать его лицемерие и передал эти слова. Возмущенный Сталин стал кричать на Бухарина. «Лжешь, лжешь, лжешь! — орал он. — Хочешь настроить против меня членов Политбюро».

— Ну а кому они (члены Политбюро) поверили? — заметил Ларин, когда Н. И. рассказал ему эту историю, — конечно же, Сталину, кому же хочется быть ничтожеством?

— Думаю, они поверили мне, но сделали вид, что поверили Сталину, — ответил Н. И.

«Гималаи» вспоминались довольно часто; за этим словом закрепилось особое значение: не делать политических просчетов и глупостей.

— Не делайте больше Гималаев, — предупреждал Ларин Н. И.

— Только без Гималаев, — напутствовал Н. И. Ларина перед его очередной речью.

«Запись» не фиксирует предложение Бухарина о блоке, Н. И. просит о другом: «Вы сами, конечно, определите свою линию, но я просил бы, чтобы вы одобрением Сталина не помогали ему душить нас». Как ярко в этих словах узнается бухаринская натура, прямо-таки детская непосредственность, политическая наивность, от которой он нередко страдал, но которая в то же время притягивала к нему искренних и любящих его друзей!

Еще многое представляется мне вполне реальным в «Записи», например: «Что делать, когда дело имеешь с таким противником — Чингисханом — низкая культура ЦК» и т. д.

Наряду с этим в «Записи» фиксируются явно сфальсифицированные моменты. Как выглядит, к примеру, в свете того, что мной уже рассказано, следующее «сообщение» Бухарина Каменеву: «О том, что я говорил с тобой (кстати, на «ты» Н. И. и Каменев друг к другу не обращались.— А. Л.), знают только Рыков и Томский...»? Заведомо лживы и сфальсифицированы обстоятельства встречи — на квартире у Каменева. Сама «Запись» косвенно опровергает ложь. «Не нужно, — говорит Бухарин, — чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече. Не говори со мной по телефону, ибо мой телефон подслушивают. За мной ходит ГПУ, и у тебя стоит ГПУ». Если Н. И. не без основания полагал, что у Каменева «стоит ГПУ» и за ним оно «ходит» и что телефоны их прослушиваются, то, предостерегая Каменева, надо думать, был осторожен и сам и даже при страстном желании заключить блок с Каменевым нашел бы другое место для свидания.

Н. И. действительно знал о подслушивании разговоров на квартирах руководящих работников партии. Сталин, который обычно был очень сдержан, не говорил ни слова лишнего, в нетрезвом состоянии делался болтливым; в таком состоянии, кажется, в 1927 году, точно не помню, он показал Н. И. запись разговора Зиновьева с женой. Политические темы перемежались с сугубо личными, даже интимными. Последние очень развлекли «Хозяина». По-видимому, это было не подслушивание по телефону, а подслушивание при помощи телефона. Не могу сказать, как это осуществлялось, но все, что говорилось в квартире Зиновьева, было записано. Н. И. никогда не смог отделаться от ужасающего впечатления, вызванного этим рассказом Сталина.

Интриги, сфальсифицированные документы, обман — основной метод, использованный Сталиным в целях натравливания большевиков друг на друга¹. Чтобы желанный для Сталина документ достиг цели, в запись разговора между Бухариным и Каменевым вводится третье действующее лицо, Сокольников. Со-

¹ Так, например, летом 1935 года Пленуму ЦК была представлена толстая папка, содержащая материалы, компрометирующие А. С. Енукидзе. На пленуме он был исключен из партии за бытовое разложение, государственные растраты, засорение аппарата ЦИКа и т. д. Иные обвинения против Енукидзе были впереди. С пленума Н. И. вернулся подавленный, он поверил в эти документы и сказал мне: «Разлагается бюрократия!» Бухарин знал Енукидзе, старого революционера и человека доброй души, тяжело переживал случившееся. Енукидзе был близок Сталину, политики он не делал, и фальсификация тогда казалась бессмысленной.

кольников — чрезвычайно удобная личность для такого рода инсинуаций: он, с одной стороны, человек каменевской ориентации в политике, с другой — связан с Бухариным еще с гимназических лет. Они дружили еще мальчишками — Коля Бухарин и Гриша Бриллиант (Сокольников) — еще тогда, когда жили со своими родителями, что всегда оставляет особый след в душе и придает отношениям между товарищами наибольшую доверительность. Сокольников не только сопровождает Бухарина, но и ведет предварительные переговоры о блоке, организует встречу Бухарина и Каменева на квартире у Каменева. Так инсинуация выглядит правдоподобней, внушительней, документ создает необходимую иллюзию, подтверждает стремление Бухарина к организации блока.

Согласно «Записи», увертюрой к «переговорам» между Бухариным и Каменевым было письмо Сокольникова Каменеву и короткий разговор между ними. Письмо, в котором Сокольников торопит Каменева с приездом в Москву, он отправляет в Калугу — место ссылки Каменева и Зиновьева, где оба проводят и без того последние дни перед возвращением в Москву после своего восстановления в партии. На первый взгляд ничто не вызывает сомнений в том, что автор письма — Сокольников, оно написано в стиле, присущем интеллигенту: «Будете ли Вы здесь вскорости, нужно бы с Вами поговорить и посоветоваться, нет ли у Вас возможности побывать на этих днях, это было бы крайне важно». Внушает лишь подозрение опрометчивый шаг Сокольникова, старого революционера и опытного конспиратора, решившегося пригласить Каменева в Москву по столь серьезному поводу письмом в ссылку почтой, которая наверняка контролировалась у такого адресата, или через доверенное лицо, — знаем мы этих доверенных... Письмо Сокольникова датировано 9.7.28, то есть якобы написано во время пленума, а уже 11.7.28 в девять утра Сокольников беседует с Каменевым. Он освещает положение на пленуме и делает неправдоподобные, весьма подозрительные выводы: «...линия Сталина будет бита. Бухарин в трагическом положении (почему в этом случае в трагическом? — А. Л.). Не хвалите Сталина. Положительная программа напишется вместе с вами. Блок для снятия Сталина — почему ничего не сделали? (А что калужские ссыльные Каменев и Зиновьев могли сделать? — А. Л.) Вы для него X, Y, Z. Сталин пускает слухи, что имеет вас в кармане». Похоже, что письмо от имени Сокольникова — не что иное, как провокация и против него. Последующие годы вполне доказали, на что был способен Сталин.

Совершенно очевидно также, что присутствовавший на июльском пленуме Сокольников не хуже Бухарина понимал, что блок между теряющим свое положение в партии Бухариным и уже низвергнутым Каменевым, к 1928 году разделявшим скорее политику Сталина, нежели Бухарина, есть фантом.

Все же не берусь категорически утверждать, что встреча между Каменевым и Сокольниковым не состоялась. Что скрывалось за кулисами этой трагической для Бухарина истории, покрыто мраком неизвестности. Трудно сказать, какое из моих предположений точно. Безусловно для меня лишь то, что Бухарин не поручал Сокольникову вести предварительные переговоры с Каменевым, что он не стал бы кривить душой перед Рыковым и что не было смысла почти спустя десятилетие точно то же рассказывать о давно прошедших событиях мне.

В результате тщательного изучения «Записи» у меня сложилось впечатление, что этот документ не есть собственная «Запись Каменева». В документ намеренно внесена фраза, заставляющая несведущих думать, что «Запись» — не что иное, как перехваченное письмо, по-видимому, Зиновьеву, которого Каменев просит повременить с приездом в Москву. Поражает сумбурность, бессвязная манера изложения, никак не свойственная Каменеву, чьи литературные способности были хорошо известны.

Но самое примечательное заключается в том, что вызванный в ЦКК Каменев признал правильность «Записи» «с оговорками» (какие оговорки могут быть в собственной записи!), Бухарин признал «Запись» «в основном».

Кто же записал разговор между Бухариным и Каменевым? Сегодня остается только предполагать. Несомненно, встреча и, вероятно, бурный разговор Ка-

менева, Сокольников и Бухарина в дни июльского пленума 1928 года в Кремле не осталась незамеченной ГПУ. У стен, как известно, есть уши. Да и любой из участников разговора вполне мог обмолвиться «в узком кругу». Так что реконструировать разговор для людей опытных было делом техники.

Не исключено, что Каменев был вызван, возможно, к самому Сталину, с пристрастием допрошен и стенограмма его показаний стала основой «Записи». Но все это лежит в области догадок.

30 января 1929 года Бухарин направил в ЦК заявление в объяснение своих резких высказываний о Сталине. В нем политика Сталина расценивалась как военно-феодалская эксплуатация крестьянства, разложение Коминтерна и насаждение бюрократизма в партии. Заявление стало известно как платформа Бухарина.

Объединенным заседанием Политбюро и Президиума ЦКК была создана специальная комиссия для рассмотрения вопроса о Бухарине в связи с его беседой с Каменевым и написанным им заявлением от 30 января. Председателем комиссии был Орджоникидзе. Он делал все возможное, чтобы сохранить Бухарина, Рыкова и Томского в Политбюро, но при условии, что Бухарин признает политической ошибкой переговоры с Каменевым и заявит, что о военно-феодалской эксплуатации крестьянства сказал сгоряча, в пылу полемики. Другим путем Орджоникидзе никак не мог в тот момент спасти положение. Он предложил такое решение:

«Комиссия... предлагает объединенному заседанию Политбюро и Президиума ЦКК изъять из употребления все имеющиеся документы (стенограмму речи и т. д.) ...Обеспечить т. Бухарину все те условия, которые необходимы для его нормальной работы на постах ответственного редактора «Правды» и секретаря ИККИ».

Впрочем, еще перед июльским пленумом 1928 года создалась невыносимая обстановка для работы Бухарина и Томского: в редакцию «Правды» Бухарину был прислан, как он выражался, «политкомиссар», бывший редактор «Экономической жизни» Г. И. Крумин; к Томскому в ВЦСПС был приставлен Каганович. В ноябре 1928 года Бухарин и Томский впервые подали в отставку.

Условия, предложенные комиссией, Бухарин, Рыков и Томский отклонили, заявив, что они не могут изменить свои взгляды, которые считают правильными, борьбу прекращают, но уйдут в отставку.

Наконец 9 февраля 1929 года объединенное заседание Политбюро ЦК и Президиума ЦКК выносит резолюцию, первый раздел которой носит название «Закулисные попытки Бухарина к организации фракционного блока против ЦК»:

«1. т. Бухарин в сопровождении т. Сокольников во время июльского пленума ЦК в 1928 г. вел без ведома и против воли ЦК и ЦКК закулисные фракционные переговоры с т. Каменевым по вопросам об изменении политики ЦК и состава Политбюро ЦК;

2. т. Бухарин вел эти переговоры с ведома, если не с согласия тт. Рыкова и Томского, причем эти товарищи, зная об этих переговорах и понимая их недопустимость, скрыли от ЦК и ЦКК об этом факте».

Как видно из рассказанного, резолюция никак не отражает действительного положения вещей. Разговоров об изменении политики ЦК, о блоке, об изменении состава Политбюро Бухарин не вел и не потому, что не хотел в то время этих изменений, а потому, что с Каменевым, только-только восстановленным в партии и направленным (как и Зиновьев) на работу в Центросоюз, не членами Политбюро и ЦК, скорее разделявшими политику Сталина, никакого смысла разговаривать на эту тему не было. Об изменении курса Политбюро и устранении Сталина с поста генсека было целесообразно разговаривать только с теми членами реально существующего Политбюро, в ком Н. И. чувствовал в то время хотя бы потенциальную поддержку, — Калинин, Орджоникидзе, ибо явными сторонниками Бухарина в Политбюро, открыто выступавшими против политики Сталина, были только Рыков и Томский. Для того, чтобы пойти на такой шаг,

у Н. И. должна была быть уверенность, что эти переговоры имели бы желанный результат, а не раскалили бы еще в большей степени атмосферу в Политбюро (я передаю ход мыслей Н. И.) и не ускорили бы поражение оппозиции. Что переговоры велись «с ведома, если не с согласия Рыкова и Томского», приведенные мною факты тоже опровергают.

В связи с уничтожающей резолюцией Политбюро и Президиума ЦКК, требовавшей разглашения всех документов, касающихся Бухарина и других, положение Бухарина, Рыкова и Томского становится все безнадежней, все катастрофичней, несмотря на отклонение той же резолюцией их отставки. Зачем же их отстранять? Сталин не торопит события, он руководствуется своей вероломной тактикой и, как всегда, выжидает. Вопрос об отставке он пока решить не может, даже в «содружестве» с Политбюро. Эту акцию, как записано в февральской резолюции, могут использовать враги, которые скажут: «Мы добились своего».

И вдруг гром грянул! Прямо-таки долгожданный дождик полил возвращенный Сталиным политический урожай. 29 марта 1929 года, то есть перед апрельским пленумом, знаменитая «Запись Каменева» была опубликована в эмигрантском меньшевистском «Социалистическом вестнике», издававшемся в Париже, — якобы перепечатана из органа германских троцкистов, как раз в нужный момент. Возможно, что это случайная удача Сталина, но ему всегда «везло». Но можно подозревать и другое, прежде всего потому, что это не копия первоначального документа, а хорошо отредактированный текст, вполне способный сойти за личную запись Каменева. Например, записанные в первом варианте слова «мы голоснули» в «Социалистическом вестнике» исправлены на «мы голосовали». Первый абзац записи, связанный с Сокольниковым, опущен. Казалось бы, именно в этих строках, записанных якобы со слов Соколова, ясно видна хотя и вымышленная, но цель «переговоров». Но Сокольников выпадает из игры, он только «сопровождает» Бухарина. Роль Соколова мне не известна, предположения свои я уже высказала, поэтому оставляю вопрос открытым.

Итак, бомба гигантской силы взорвалась. «Запись», опубликованная в «Социалистическом вестнике», была размножена и роздана членам ЦК к апрельскому пленуму. Обстановка для снятия Бухарина с занимаемых постов была вполне подготовлена. В апреле позабыли, как заявляли всего два месяца назад, в феврале 1929 года, что враги скажут: «мы добились своего»; своего добились друзья.

«До чего он пал, Бухарин, даже «Социалистический вестник» торжествует победу и печатает его клеветнические измышления о Сталине. «Соц. вестник», «Соц. вестник»! — слышалось с разных сторон на пленуме (все описываю со слов Бухарина). Да, так оно и было, никуда от этого не уйдешь! Отставка Бухарина и Томского была уготована самим созывом апрельского пленума. Рыков, как председатель Совнаркома, продержался несколько дольше.

Как же вели себя потом герои разыгравшейся драмы — Сокольников, Бухарин и Каменев? Сокольников смолк, он не выступал на последовавших партийных съездах, ни на XVI, ни на XVII, хотя продолжал оставаться членом ЦК, был делегирован на эти съезды и, несмотря на то, что по натуре всегда был активен и обладал незаурядными ораторскими способностями, он не казался, никого не клеймил, никому не кричал «ура». Бухарин в своих статьях и речах никогда этот эпизод не вспоминал. Каменев же, к этому времени окончательно сломленный, первым после разгрома так называемой правой оппозиции поместил статью в «Правде» (возможно, по указанию сверху), осуждавшую свои «переговоры» с Бухариным о блоке. В текст своей речи на XVII съезде он ввел терминологию, годную для процессов: «вторая волна контрреволюции» (первая — троцкизм), — сказал он, — «прошла через брешь, открытую нами, — это волна кулацкой идеологии». И тут же вспомнил вне всякой логической связи «переговоры» о блоке с Бухариным. Впрочем, XVII съезд в целом производит в наши дни удручающее впечатление. Делегаты съезда, «победители» — будущие жертвы Сталина, пели ему восторженные дифирамбы. Именно они, делегаты съезда, рабочий класс, или пролетариат, как тогда говорили, и крестьянство вынесли на своих плечах всю тяжесть индустриализации и коллективиза-

ции. Казалось, лишения позади, светлое будущее впереди. Оно будет свободное, равноправное, изобильное, это общество, с новыми производительными силами, иными производственными отношениями и новым — социалистическим человеком. То, о чем грезилось в снах, мечталось в царских тюрьмах и на каторге, в эмиграции, послереволюционной разрухе, под пулями гражданской войны, казалось им, сбывается. Пафос был искренний, неподдельный, и кто этого не постиг — утратил чувство истории. И Бухарин все по той же причине назвал Сталина «фельдмаршалом пролетарских сил», но главное, на чем он фиксировал внимание в своем выступлении, — на развитии промышленности и на фашизме — его характеристике и опасности, грозящей миру.

Озлобление Николая Ивановича против Каменева, родившееся в 1928 году, не ослабевало. В одно из летних воскресений 1934 года мы поехали в бывшее имение князей Вяземских под Москвой Остафьево — после революции дом отдыха ЦИК. Мы поехали на несколько часов посмотреть старый парк и памятник Пушкину. Нас пригласили к обеду. Столовая была на большой террасе. Только подали обед, к нашему столу подсел отдыхавший там Каменев. Они поздоровались, эти «друзья»: Каменев, я бы сказала, дружелюбно, Н. И. — довольно холодно. Вдруг, оставив обед, он «вспомнил», что у него заседание в редакции, и тотчас же, простившись, уехал. «Я удрал от Каменева, — сказал мне Н. И., — чтобы не дать ему тему для «записи» и повод для выступления на очередном съезде».

Вообще эпизод 1928 года — веха в биографии Н. И. не только потому, что Сталин использовал его в своих целях, но и потому, что он резко изменил характер Бухарина. Сорокалетний Бухарин вкусил в полной мере, что такое политика, проводимая Сталиным. Н. И. считал, что его предали, и был совершенно деморализован случившимся. С тех пор он стал более замкнутым, менее доверчивым, даже в отношениях с товарищами по партии, во многих своих сотрудниках стал подозревать специально приставленных к нему лиц; сквозь его страстное жизнелюбие, неистовую жизнерадостность проглядывала временами грусть. Он стал легко ранимым, заболел от нервного напряжения.

Финал этой истории наступил на процессе. Разыгрался заключительный акт сценария. Теперь понятно, что еще задолго до «спектакля» Сталин, как крот, рыл тайные подземные ходы к будущему процессу «антисоветского правотроцкистского блока», оставляя сфальсифицированные следы в документах. Может быть, мысль о грядущих судилищах еще не сформулировалась в 1928 году в воображении вождя четко (хотя и это не исключено), но что на всякий случай все пригодится — этого он никогда не упускал, в этом заключался его стиль.

На процессе Бухарин дважды подчеркнул, что свидание с Каменевым состоялось на квартире последнего — на той самой квартире, где, как пояснял Бухарин Каменеву (по «Записи»), «стояло ГПУ». Он признал то, что ранее категорически отрицал. В наши дни кажется безразличным, где произошла встреча, важно — о чем они беседовали, но в 1928 году, настаивая на истинных обстоятельствах встречи, Бухарин доказывал свое алиби. Свой разговор с Каменевым Бухарин на процессе уже сам расценил как клевету на руководство партии. Мало того, на процессе Бухарин не остановился на одном, действительно имевшем место разговоре. Он подтвердил вымышленные в показаниях против него и другие встречи с Каменевым: свидание в больнице у Пятакова, где присутствовал Каменев, наконец, свидание с Каменевым на даче у Шмидта. Об этом последнем свидании Бухарин узнал впервые еще до своего ареста из присланных ему показаний, кажется, Ефима Цетлина (точно не помню), эти показания читала и я. В то время Н. И. категорически отрицал эту встречу.

Что касается встречи Бухарина в больнице с Пятаковым и Каменевым, то до ареста Бухарина никто о ней не вспоминал. В личных разговорах, на XVI съезде партии всегда фигурировала единственная беседа — «разговор», по выражению Рыкова, а не разговоры.

Я взяла эту версию под сомнение и потому, что Бухарин показал на процессе, что якобы с экономической частью своей программы 1928 года он озна-

комил Каменева и Пятакова. Парадоксально, но в лице Каменева и Пятакова Бухарин имел как раз самых ярых противников своей платформы, и Н. И. об этом знал. Эта сомнительная подробность уже сделала подозрительным и самый факт. Окончательно я исключила эту версию, прочитав в «Социалистическом вестнике» за 1929 год, что это свидание датируется декабрем — январем 1928—1929 гг.

Только тот, кто не мог знать, что о действительной беседе Бухарина с Каменевым Сталину стало известно не позднее ранней осени 1928 года, кто не наблюдал, как реагировал Рыков на июльскую встречу Бухарина с Каменевым (а единственным свидетелем этого была я), кто, наконец, не видел и не почувствовал, в каком состоянии был Н. И., когда узнал о доносе на него Сталину, — только тот мог легко поверить, что Бухарин имел еще какие-то контакты с Каменевым.

На процессе вымышленный «право-троцкистский блок» стал центральной магистралью, тем остовом, на котором, как осинные гнезда, лепились сфальсифицированные преступления. Обвиняемых приковали к «право-троцкистскому блоку» тяжелыми цепями, как каторжников к галере *

Вот какое длинное отступление понадобилось мне, чтобы объяснить, что стояло за словами открытки Рыкова о том, что отсутствие Бухарина на XVI съезде было удачей «по понятной ему причине».

...Открытка Рыкова принесла Николаю Ивановичу большую радость и облегчение. Если он и переживал свое отсутствие на съезде, то только из опасения, что его товарищи-единомышленники Рыков и Томский, подвергнутые обстрелу или, как Н. И. выражался, глумлению (ибо, повторяю, оппозиция сдалась еще до съезда), будут в обиде за то, что им пришлось принимать удары и за себя, и за него. Н. И. это мучило, несмотря на то, что оба — и Рыков, и Томский навещали его и знали, как тяжело он болел. И в Крыму можно ли было предугадать день, когда он сумеет с большим напряжением собрать силы, пусть даже к окончанию съезда, чтобы присутствовать там, и, как ему казалось, выполнить долг перед товарищами? Интуиция подсказывала ему, что этого делать не следует. После открытки Алексея Ивановича Н. И. был уже твердо убежден, что поступил правильно по отношению к своим друзьям. И прекратились его терзания.

* Справка историка. Трактовка контактов Н. И. Бухарина с Л. Б. Каменевым мне представляется несколько суженной. Действительно, к июлю 1928 года обстановка внутри Политбюро была достаточно накалена. Обеспечив хлебозаготовки зимой 1928 года благодаря чрезвычайным мерам, Сталин уверовал в их универсальность и возвел их в ранг нормальной политики. Фактически это было отступлением от ленинской концепции строительства социализма в СССР. Против этого и выступил Бухарин, вначале поддержанный большинством членов Политбюро. Но позднее рядом политических ходов Сталину удалось перетянуть большинство на свою сторону. В частности, он применил и такой прием: посулил Зиновьеву и Каменеву возможность возвращения к активной работе в руководстве партией и государством. Бухарину было об этом известно. Ясно отдавая себе отчет в том, что политика Сталина может привести к самым тяжелым последствиям, Бухарин обратился к Каменеву. Вот в чем ключ к объяснению просьбы Бухарина к последнему: не помогать Сталину. Есть основания полагать, что разговор с Каменевым в Кремле не был единственным, а был продолжен — сперва по телефону, а затем на квартире Каменева. Сталин об этом был достаточно хорошо информирован — и не из троцкистских источников. Скорее наоборот: за границей эти сведения получали из надежных московских источников. Возможно, именно поэтому «Социалистический вестник» решил предать их огласке. А. М. Ларина права, утверждая, что эта публикация носила конспективный характер. Это действительно так. В ней были воспроизведены разговоры Бухарина и Каменева, относящиеся к различным по времени периодам. Запись их сохранилась в архиве П. Н. Милюкова: этот архив стал доступен советским историкам после второй мировой войны. Сопоставление этих документов с другими, находящимися в партийных и советских архивах, позволяет сделать вывод, что Милюков располагал подлинной копией записи разговора 11—12 июля 1928 года. Таким образом, вряд ли можно согласиться с утверждением А. М. Лариной, что факт переговоров Бухарина и Каменева был придуман Сталиным. Сталин весьма расчетливо использовал имевшуюся у него информацию для дискредитации Н. И. Бухарина. К этому времени Каменев и Зиновьев скомпрометировали себя беспринципностью во внутриполитической борьбе, поэтому самый факт контактов Н. И. Бухарина с Каменевым подрывал доверие к Бухарину в определенным образом информированных партийных кругах.

Впоследствии Каменев сыграл роковую роль в судьбе Бухарина, придав переговорам характер оформления своего рода блока. На XVII съезде партии он говорил о том, что «оформлению этого блока помешала бдительность Центрального Комитета партии и т. Сталина». В ходе судебного процесса «право-троцкистского блока» это утверждение сыграло решающую роль в обвинении Н. И. Бухарина.

Кандидат исторических наук Б. А. Старков.

Опасения Рыкова, что присутствие Бухарина на XVI съезде еще больше осложнило бы их положение, объясняются не только особой ситуацией, сложившейся после его разговора с Каменевым во время июльского Пленума 1928 г., но и тем, что Рыков, как мало кто, знал сложный характер Николая Ивановича. Именно поэтому он считал, что Н. И. нелегко было бы сохранить то относительное спокойствие и сдержанность, которые с трудом давались ему и Томскому. С великой болью подчинившись, как тогда считали, «воле партии», не встретив сочувствия к себе, к своим товарищам Рыкову и Томскому со стороны делегатов съезда, Н. И. мог «взорваться». У Н. И. эмоции нередко брали верх над разумом. Вот этого взрыва, уже безрезультатного, опасался Рыков. Алексей Иванович был человеком практического склада ума, у него было больше трезвого благоразумия. Они очень любили друг друга — Рыков и Бухарин, хотя бывало, что Н. И. доставалось от старшего товарища, потому что никогда нельзя было с точностью предсказать, что можно ждать от Н. И., ибо политический расчет в конечном итоге был ему чужд. Он мог сорваться потому, что заявление о признании ошибочности своих взглядов 25 ноября 1929 года было сделано под страхом остаться за пределами партии, из смертельной боязни ее раскола. На необоснованные выпады Бухарин мог ответить резко и зло. Он умел вцепиться в противника мертвой хваткой, с неистовой энергией своего политического темперамента. В то же время его душевная организация была удивительно тонкой, я бы сказала, болезненно истонченной. Даже в будни той бурной эпохи, которая призвала его на первые роли, его натуре — чрезвычайно деятельной и восприимчивой — невероятно тяжело давались эмоциональные перегрузки, ибо «допуск» был крайне мал, и душевные струны обрывались.

Эта черта его характера отзывалась нежелательными для политического деятеля последствиями: несмотря на смелость в открытых дискуссионных боях, он не всегда умел побеждать, даже в тех случаях, когда был прав. Так, Н. И. сдался на февральско-мартовском Пленуме 1937 г., прося по совету Сталина, извинения за голодовку, объявленную в связи с неслыханными обвинениями — в измене Родине. (Хотя этому поступку есть и иное объяснение, о чем я расскажу в дальнейшем.) Он мог капитулировать и по более частным поводам. Он извинился перед поэтами, задетыми его критикой на первом съезде писателей (летом 1934 г.), хотя замечания о повышении поэтического мастерства были сделаны с самыми добрыми намерениями и справедливо.

Эта же черта характера — эмоциональная утонченность и восприимчивость — приводила его нередко в состояние истерии. Он легко плакал. Не могу сказать, что по любому поводу, поводы были всегда серьезные. Когда Бухарин узнал, что Октябрьское восстание в Москве прошло не столь бескровно, как в Петрограде, и что погибло несколько сот человек, он разрыдался. В день смерти Ленина на глазах многих его соратников я видела слезы, но никто так не рыдал, как Бухарин. Во время коллективизации, проезжая Украину, на маленьких полустанках Н. И. видел толпы детей с распухшими от голода животами. Они просили милостыню. Н. И. отдал им все свои деньги. Это было летом 1930 года. По приезде в Москву Н. И. зашел к моему отцу и, рассказывая об этом, с возгласом: «Если более чем через десять лет после революции можно наблюдать такое, так зачем же было ее совершать!» — рухнул на диван и истерически зарыдал. Мать отпаивала его валериановыми каплями.

Сильные переживания приводили Н. И. и к физическому недомоганию. Он болел после июльского пленума 1928 года, болел после 25 ноября 1929 года, расписавшись в своей капитуляции, наконец, тяжело заболел в преддверии XVI съезда. Этот крепкий, удивительно сильный человек, спортсмен с мускулатурой борца при сильном нервном напряжении увядал. Организм как бы терял сопротивляемость.

Не хотелось бы, чтобы на основании рассказанного мною сложилось впечатление, что Николай Иванович был «плаксивой бабой». Это далеко не так. Эмоциональная перенапряженность — лишь одна черта, одна сторона его сложного, многогранного характера. Бухарин был революционером большой страсти

и необузданного темперамента. Его революционный потенциал был огромен и требовал динамики, действия. Н. И. был одержим идеей революционного преобразования общества, его гуманизации. Подлинный гуманный социализм казался ему неосуществимым без изменения человеческой натуры, без повышения культуры низов — тех, кого до революции считали «черной костью», рабочего класса и крестьянства. Это желание его может показаться несколько банальным, оно было присуще многим большевикам. Но у Бухарина эта идея превратилась в страстную, немеркнущую и все более и более захватывающую мечту, стала единственной целью общественно-политической жизни, так ярко воплощенной в его пламенных речах.

«Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног» — эти строки известной и любимой Н. И. революционной песни были девизом его жизни до последнего времени. Я не имею в виду катастрофу 1936—1938 годов, когда его стремления были парализованы.

И. Г. Эренбург справедливо писал: «Бывают мрачайшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты. Бухарчик был удивительно цельной натурой, — он хотел переделать жизнь, потому что ее любил».

Новый мир, как его представлял Бухарин, должен был быть осуществлен во что бы то ни стало, что вовсе, по его мнению, не означало «чего бы это ни стоило, любой ценой». Бухарина всегда мучили нравственные коллизии, он видел и трагическую сторону самых человеческих идей. И если в первые послереволюционные годы, в годы гражданской войны бывало, что при столкновении двух миров Н. И. не находил возможности бороться за свои идеалы исключительно «духовным оружием» и даже оправдывал «слово товарища Маузера», то в дальнейшем он был убежден, что цели возможно достигнуть с наименьшими издержками. К этому были направлены все его помыслы, теоретические искания и политическая деятельность.

Тем временем уже пора было возвращаться в Мухалатку. Н. И. проводил меня до ремонтных мастерских. Там мы узнали, что ремонт машин подходит к концу, и шофер Егоров решил не мотаться взад-вперед, а заночевать в Гурзуфе. Я заволновалась из-за отца, но удалось связаться с ним по телефону и передать, что я приеду на следующий день.

Так, оставшись в Гурзуфе, благодаря весьма прозаическим обстоятельствам я пережила волнующий романтический крымский вечер, отраженный в стихах, сочиненных в том страшном подвале одиночной камеры в Новосибирске.

Вот каким дыханием времени, предгрозовой политической атмосферой, не только южным теплом были окутаны вспомнившиеся мне счастливые — да, несмотря ни на что, счастливые гурзуфские встречи с Н. И.

Неловко говорить о сокровенном чувстве: кто много говорит о нем, обычно им не дорожит. Но, погружаясь в прошлое, в воспоминания о далекой жизни, которую не каждому дано перенести, я убеждена, что бывают в ней и такие моменты (к сожалению, не всегда), когда что-то радостное уравнивает или, скажем, облегчает мрачные ее сторсы. Для Н. И. источником радости в то время стала наша любовь. И на фоне переживаемых им тяжких дней она казалась еще светлей и прекрасней.

На следующий день я получила в Мухалатке нагоняй от Серго Орджоникидзе за то, что оставила больного отца одного. После окончания съезда он приехал в Мухалатку вместе с Молотовым и Кагановичем. И случилось так, что через окно комнаты, в которой мы жили, выходящее на общую длинную террасу, Орджоникидзе увидел, как Ларин, готовясь ко сну, пытался снять с себя верхнюю рубашку. Серго поспешил ему на помощь. От отца он узнал, что я у Н. И. в Гурзуфе. Серго, встретив меня, проявил свой восточный темперамент в полной мере.

— Ты окончательно потеряла совесть, — кричал он, — и не стыдно тебе оставлять больного отца! Бухарчик на съезде не был, а с девчонками развлекается!

Возможно, Орджоникидзе рассержен был больше подозрением, что Н. И. не болел и, как ему показалось, игнорируя съезд, весело проводил время в Крыму. Затем, сменив гнев на милость, он посадил меня на диван, сам сел рядом и стал подробно расспрашивать, как Н. И. себя чувствовал во время съезда. Я была смущена и растеряна, объяснила причину, по которой я задержалась в Гурзуфе. Рассказала, в каком состоянии мы с отцом заставляли Н. И., когда навещали его. Рассказала о последнем эпизоде с плаванием.

— Если бы он в Турцию приплыл, — заметил Серго, — я бы тоже не удивился.

Я не поняла, какой смысл вложил Орджоникидзе в свое замечание; быть может, шутя дал понять, что от того съезда можно было и в Турцию удрать? Не исключено, что Серго имел в виду отчаянный и безрассудный характер Н. И. и его физическую силу.

Если сидишь взаперти, наедине с собой, непременно блуждаешь по лабиринтам воспоминаний, если к тому же впереди — зияющая пропасть, а в свои двадцать четыре ты подводишь итог жизни и приходишь к выводу, что произошла катастрофа и ничего не поправить, такое состояние — потребность в воспоминаниях — возрастает чрезмерно.

Неожиданно загремел засов, дверь в камеру растворилась, и надзиратель произнес привычные для заключенного слова: «Собирайтесь на допрос!» После единственного допроса в начале мая и после того, как Сквирский сам пожаловал ко мне в камеру, я его больше не видела. Но и не видя его, я медленно гасла, таяла как свеча, кашляла все больше и больше и так или иначе ждала своего конца.

В том же кабинете я увидела те же ястребиные глаза и услышала те же речи.

— Вы по-прежнему не желаете раскрыть контрреволюционную организацию молодежи и отрицаете, что были связной между Бухариным и этой организацией?

Я ничего нового ответить ему не могла.

— Разве можно поверить в то, что вы любили этого старого лысого черта?

Последнее изречение Сквирского все же несло в себе некоторое «новаторство», и я сосредоточилась на том, чтобы дать должный отпор его грубости. Голова Сквирского была покрыта густыми волнистыми волосами, и он был вполне удовлетворен ими — больше гордиться было нечем. И я придумала, чем его задеть:

— А вас жена любит только за пышную шевелюру? У вас еще все впереди, вы можете полысеть, — произнесла я, переборов волнение, — но что тогда от вас останется? В этом случае жена непременно бросит вас!

Мне показалось, что я ему отомстила в полной мере. Сквирский покраснел и заорал:

— Ух и наглая же ты девчонка! Я тебе припомню, бухаринская тварь! Это возмутительная дерзость!

— Но не более возмутительная, чем ваша! Я вовсе не хочу оставаться у вас в долгу!

— Расстрелять, расстрелять, расстрелять! Нет места вам на советской земле!

Но на меня его угрозы уже не произвели такого впечатления, как впервые. Обозленный, он вновь отправил меня в камеру.

Шел август, июль прошел без дождей, и в камере стало чуть суше; капли с левой стенки падали на пол реже и образовывали лишь тонкие струйки, медленно ползущие к двери. Во время прогулки надзиратель разрешил нарвать растущую у забора полынь, я притащила три большие охапки, расстелила тра-

ву на нарах, она убила затхлый запах, стало мягче спать и что главное — полынй избавила меня от блох.

Становилась нестерпима неопределенность моего положения и условия, в которых я находилась. Я понимала, что если я не погибну сама, не сгнию в том подвале, дальнейшая судьба моя от Сквирского не зависела. Я приняла решение напомнить о себе и написать в Москву Ежову, оставив Сталина про запас. Бумагу для заявлений обычно давали беспрепятственно, заявления писали миллионы невинных заключенных, получая стандартный ответ: «Оснований для пересмотра дела нет». Из наших заявлений можно было бы жечь грандиозные костры. Но поскольку мое заявление было по другому поводу, результат мог быть иным. Я постучала в дверь камеры и попросила у дежурного надзирателя бумагу для заявления. Он ответил: «Доложу». Довольно скоро меня вывели из камеры в коридор, в углу на маленьком столике стояла школьная чернильница-непроливашка с грязными полусохшими лиловыми чернилами, лежали ручка и лист бумаги.

Я помню почти дословно текст своего заявления.

Наркому НКВД СССР Н. И. Ежову
от Лариной А. М. (Бухариной)
гор. Новосибирск, Новосибирский
тюремный изолятор.

Заявление

Четвертый месяц пошел с тех пор, как я нахожусь в условиях одиночной камеры, в сыром подвале изолятора гор. Новосибирска, куда я была переправлена из Томского лагеря. Осуждена на 8 лет заключения в лагерь еще до суда над Бухариным как «член семьи изменника Родины».

В настоящее время мне предъявляют обвинение в том, что я была членом контрреволюционной организации молодежи и связной между Бухариным и этой организацией, и требуют выдачи этой организации.

Поскольку к такой организации я не принадлежала и думаю, что доказывать это мне вам не требуется, выдать такую организацию я не имею возможности. Мне неоднократно грозили расстрелом. В условиях сырого подвала я обречена на медленную смерть. Прошу облегчить мои страдания; легче пережить свою гибель мгновенно, чем погибать постепенно. Расстреляйте меня, я жить не хочу!

Ларина А. М. (Бухарина)
август 1938 г.

Я вошла в камеру с чувством облегчения и непреодолимой тяжести одновременно. Обычно в целях самосохранения я старалась гнать от себя горькие думы о ребенке. Но в тот день, мысленно прощаясь с жизнью, я не могла не вспомнить о сыне и не проститься с ним.

Я снова вспомнила, как часто детским звонким голоском он звал отца: «Папа, папа, Люля ди» (иди к Юре), — и казалось удивительным, что за три с половиной месяца разлуки с отцом после ареста он его еще не забыл. Дедушка, отец Н. И. — Иван Гаврилович, не мог спокойно слышать этого зова, и ребенок, глядя на деда, тоже начинал плакать. Я не выдерживала и убегала в другую комнату, чтобы малыш не видел моих слез.

Я вспоминала и час расставания с сыном; это был июньский день 1937 года, когда сотрудник НКВД пришел, чтобы отправить меня в ссылку в Астрахань. Ему тогда был год и месяц, моему ребенку, он еще не умел ходить, и «добрый дядя» держал его на руках, а Юра забавлялся блестящими побрякушками — значками на его груди. А потом, сидя на руках у моей старой бабушки — ей было уже за восемьдесят, он грустно смотрел на меня, будто чувствовал, что вот-вот потеряет и мать. Как тяжела была минута расставания! Я больше никогда не видела своего сына ребенком.

Надо успеть написать ему письмо, подумала я, заявление может ускорить решение моего «дела». Мне надо было обязательно написать письмо — письмо, которого он никогда не получит. Все равно, надо было — для моего душевного

облегчения, я чувствовала в этом потребность. Ему уже третий год, моему ребенку, что-то он уже понимает? Нет, ничего не понимает! Да и как же написать, бумагу дают только для заявлений. Может, снова стихами, снова рифмовать строчки? Так оно и лучше, время проходит незаметней. О чем же можно было написать ему из этой камеры? Конечно же, решила я, написать об отце; так написать, чтобы ребенок в случае, если бы у меня вдруг возникла возможность прочесть ему мои стихи, все понял. Мне захотелось отразить жизнерадостный характер Н. И., его любовь к природе, не затрагивая никаких политических моментов, недоступных ребенку. Но вот вклинилось же одно четверостишие, которое впоследствии припомнили мне на допросе.

К сожалению, случилось так, что стихотворение, которое я сочинила маленькому сыну об отце, целиком не сохранила моя память, я слишком на нее понадеялась и не записала его даже тогда, когда имела возможность это сделать: забылась большая часть стихотворения, выпало начало, нарушена последовательность четверостиший.

Он любил полей просторы,
Водопады горных рек,
Он любил ходить по тропам
Где не ходит человек!

Кисть послушная бросала
На полотнища картин
Ледяные покрывала
Голубых, седых вершин.

Он был многими любимый,
Но и знал больших врагов,
Потому что он, гонимый,
Мысли не любил оков!

Не так легко сжиться с чувством обреченности, с мыслью, что жизнь ежедневно может оборваться, но никогда я не испытывала сожаления, что вместе с Н. И. прожила короткую жизнь и самые тяжкие его дни.

Меня лишь мучило чувство собственной вины за нелепый случай, приведший к временному разрыву наших отношений!

После возвращения из Крыма Николай Иванович почти ежедневно приезжал к нам на дачу в Серебряный бор. Мать немного посмеивалась над нашим увлечением, не принимая его всерьез; отец молчал и не вмешивался. Они (Н. И. и отец) часто беседовали, больше на политико-экономические темы, а я все вбирала в себя, как губка, и старалась быть в курсе всех нюансов политической атмосферы тех лет.

Осенью и зимой 1930 и в начале 1931 года свободное время мы старались проводить вместе, ходили в театры, на художественные выставки. Я любила бывать в кремлевском кабинете Н. И. Стены были увешаны его картинами. Над диваном — моя любимая небольшая акварель — «Эльбрус в закате». Были там чучела разных птиц — охотничьи трофеи Н. И. — огромные орлы с расправленными крыльями, голубоватый сизоворонок, черно-рыженькая горихвостка, синесизый сокол-кобчик и богатейшие коллекции бабочек. А на большом письменном столе приютилась на сучке, точно живая, изящная желтовато-бурая ласочка с маленькой головкой и светлым брюшком.

Окно с широким подоконником было затянуто сеткой, образуя вольеру: в ней разросся посаженный Н. И. вьющийся плющ и среди зелени резвились и щебетали два небольших пестрых попугайчика-неразлучника.

Н. И. любил читать мне вслух. Помнится, как мы читали «Саламбо» Флобера. Н. И. восхищался страстными и мужественными героями романа. Он был очарован «Кола Брюньоном» Ромена Роллана и удивлен, что именно перу Роллана принадлежит это произведение. Для самого автора, как тот сообщает в своем предисловии к «Брюньону», эта работа явилась неожиданностью: после десяти-

тилетней скованности в доспехах «Жан Кристофа» он почувствовал вдруг «неодолимую потребность в вольной галльской веселости, да, вплоть до дерзости». Потому так близок был Н. И. «Брюньон» и потому восхищался он этой работой Роллана, что в нем самом жила потребность в вольной, конечно же, русской веселости, «вплоть до дерзости».

Помню, как заразительно смеялся он, когда мы прочли о том, как весельчак и балагур Брюньон вместе со своим другом нотариусом Пайаром, получавшим «истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом чудовищную загогулинку», обучив сидящего в клетке дрозда гугенотскому песнопению, запустил его в сад бревскому кюре.

Н. И. и сам был способен на озорство: однажды, рассказывал он, чтобы соблазнить Ленина поехать вместе с ним на охоту (занятый делами Владимир Ильич все откладывал и откладывал предстоящее удовольствие), Н. И. послал в пакете Ленину, сидящему в президиуме на заседании Совнаркома, подстреленную им накануне перепелку. Проказник сразу же был разгадан. Ленин, не сдержав улыбки, строго погрозил ему пальцем. Однако цель была достигнута.

Казалось бы, ничто не омрачало нашей жизни. По воскресеньям мы старались уезжать за город. Я любила бывать с Н. И. на охоте, наблюдать, как он в азарте, попадая в цель, кричал: «Есть!» — и бежал на поиски добычи (он охотился без собаки) и как был искренне удручен, когда его постигала неудача. Мы часто бродили по лесу, ходили вместе на лыжах. Все было прекрасно, да, действительно прекрасно!

Так продолжалась наша дружба, но судьба не решалась: Н. И. слишком любил меня и берег, и его мучила наша огромная разница в возрасте.

Как-то вечером мы долго гуляли в Сокольниках — в то время Сокольники были окраиной Москвы, мы поехали туда трамваем. Н. И. довольно часто пользовался городским транспортом. Бывало, пассажиры узнавали его и говорили друг другу: «Смотрите, смотрите, Бухарин едет!» Или слышалось: «Здравствуйте, Николай Иванович!» Некоторые подходили и доброжелательно пожимали ему руку. Н. И. приходилось непрерывно раскланиваться, от проявления внимания к нему он смущался.

Не помню теперь, каким образом на обратном пути из Сокольников мы оказались на Тверском бульваре. Сели на скамейку позади памятника Пушкину, стоявшего в то время по другую сторону площади, и Н. И. решился на серьезный разговор со мной. Он сказал, что наши отношения зашли в тупик и ему надо выбрать одно из двух: или соединить со мной жизнь или отойти в сторону и долгое время меня не видеть, дать мне право строить жизнь независимо от него. «Есть еще одна возможность, — заметил он полушутя, — это сойти с ума», но эту третью возможность он сам отвергает, а из первых двух он берет ту, которая больше привлекает меня. Казалось бы, к чему слова, этот вопрос решился бы сам собой в самое ближайшее время. Но разве мог так поступить Бухарин! Он же теоретик. Ему нужно было «теоретическое обоснование»: он сойдет с ума!.. (Ситуация для Н. И. оказалась, как я понимаю теперь, сложнее обычной еще и потому, что, помимо огромной разницы в годах, сквозь мои 17 лет он видел во мне еще и маленькую девочку — Ларочку — да к тому же дочь своего большого друга.)

Ответа от меня не последовало. Он увидел лишь одни слезы. Мне трудно теперь объяснить свое состояние: должно быть, это были слезы и от радости, и от глубокого потрясения, и от нерешительности, свойственной в те юные годы моей натуре, и от того, что рядом со мной на скамейке Тверского бульвара сидел не какой-нибудь мальчишка-овесник, а именно Бухарин, — но слезы лились ручьем. Н. И. смотрел на меня в недоумении, такой реакции он не ожидал. Он был убежден, что выбор уже мною сделан, иначе бы и не заговорил. Мы сидели довольно долго молча. Слезы катились по моим холодным щекам. Н. И. безуспешно пытался узнать у меня, чем они вызваны. Я продрогла, Н. И. согревал мои замерзшие руки своими, горячими. Надо было возвращаться домой.

Но ему не хотелось, чтобы в таком виде — взволнованная, с красными от

слез глазами, я предстала перед своими родителями, и он предложил мне зайти к Марецкому¹, который жил недалеко от Тверского бульвара на улице Герцена, около Консерватории. И мы пошли туда. Сам Дмитрий Петрович уже был переведен из Москвы на работу в Академию наук, находившуюся в то время в Ленинграде. Нас приветливо встретила его милая жена, в кроватке уютно спал их маленький сын. Мы отогрелись чаем, отдохнули и отправились домой, в гостиницу «Метрополь» — тогда Второй Дом Советов. Я повеселела, почувствовала себя самым счастливым человеком на земле и сказала Н. И., что сама себе не могу объяснить причину своих слез. Увидев, что мое настроение исправилось, Н. И. решился предложить мне пойти с ним вечером следующего дня в Большой театр на «Хованщину» Мусоргского. Я с удовольствием согласилась.

Поздно, уже за полночь, мы явились в «Метрополь». Мать спала. Отец сидел за своим письменным столом, работая над какой-то очередной статьей. Он все-таки заметил мои заплаканные глаза и растерянный вид Н. И. и предложил ему остаться ночевать, что тот и сделал, улегшись на диване в кабинете. Я плохо спала, проснулась поздно, когда Н. И. уже ушел на работу.

Утром отец, который, как я уже упоминала, никогда не вмешивался в наши отношения, неожиданно заговорил со мной:

— Ты должна хорошо подумать, — сказал он, — насколько серьезно твое чувство. Н. И. тебя очень любит, человек он тонкий, эмоциональный, и если твое чувство несерьезно, надо отойти, иначе это может плохо для него кончиться.

Его слова меня насторожили, даже напугали.

— Что это значит — может плохо для него кончиться? Не самоубийством же?!

— Не обязательно самоубийством, но излишние мучения ему тоже не нужны.

Позже от Н. И. я узнала, что утром он рассказал отцу о разговоре на Тверском бульваре.

Вечером Н. И. должен был зайти за мной, чтобы пойти в театр. Сомневаться не приходится, что после «Хованщины» все решилось бы так, как это решилось тремя годами позже. Разговор с отцом сделал меня более решительной и многое дал понять. Суток было достаточно для осознания, что Н. И. необходимо было, чтобы решение исходило именно от меня. Но по моей вине я с Н. И. не встретилась. Кто-то из моих однокурсников-рабфаковцев (я училась на рабфаке, готовившем в планово-экономический институт) позвонил и неожиданно сообщил мне, что вечером я обязана явиться на бригадные занятия для подготовки к экзамену по политэкономии. В то время практиковался бригадный метод занятий, в особенности подготовки к экзаменам. У нас была комсомольская бригада, взявшая обязательство сдать все экзамены на «хорошо» и «отлично». Теперь можно над этим посмеяться, но тогда я относилась к этому вполне серьезно. В бригаде занимался также учившийся со мной на одном рабфаке, а затем в институте сын Сокольникова Женя, мой ровесник. Он жил тоже в «Метрополе» и довольно часто заходил ко мне. Н. И. видел, что Женя увлечен мною, я же в то время относилась к нему с полным равнодушием. Тем не менее присутствие Жени Н. И. раздражало, и он откровенно говорил мне об этом.

И случилось так, что, как мне ни хотелось пойти с Н. И. в театр, а после театра поговорить с ним, я решила отправиться на занятия, не нарушая комсомольского долга. Предупредить Н. И. по телефону мне не удалось — ни на работе, ни на квартире я его не застала. Родителей моих в тот вечер дома не было. Поэтому я оставила Н. И. записочку, в которой сообщила, что в театр пойти не смогу и объяснила причину. Я просила его зайти через день после экзамена. Записочку засунула в дверную щель и ушла на занятия. Через день Н. И. не пришел, не появился и в последующие дни. Я решила проявить инициативу и позвонила ему сама.

¹ Марецкий Дмитрий Петрович, один из самых способных и любимых учеников Бухарина. Был арестован в 1932 г. в связи с появлением платформы Рютина.

Он разговаривал со мной холодно, сухо, не так, как обычно. Поначалу он не поверил в причину, изменившую мое решение пойти в театр, но в этом мне удалось его как будто переубедить. Тогда последовал резкий вопрос: «Разве ты умеешь думать только коллективными мозгами? К чему эта бригада? Наконец, я позволю себе предположить, что по политэкономии я бы тебя смог подготовить не хуже, чем Женя Сокольников с бригадой».

Только я собралась ответить — объяснить Н. И., что у меня самой были обязанности перед бригадой, как он повесил трубку. В то время Н. И. было 42 года, но он был по-юношески вспыльчив и ревнив.

Я была подавлена случившимся и не могла понять, почему казавшийся мне невинным инцидент вызвал такую острую реакцию Николая Ивановича и привел к разрыву наших отношений. Н. И. упорно не появлялся, я звонила ему на работу, в НИС (так тогда называли научно-исследовательский сектор ВСНХ, затем Наркомтяжпрома, которым ведал Н. И.). Его милая, добрая секретарша А. П. Короткова¹, как называл ее Н. И., «Пеночка», по названию маленькой птички, — Августа Петровна была маленького роста, худенькая, — всегда нежным мягким голоском отвечала: «Н. И. занят». «Н. И. нет на работе», или, наконец: «Н. И. болен». Я позвонила на квартиру — действительно, болел.

Мне захотелось пойти к нему, он просил меня этого не делать и ждать его письма. Вскоре я получила его. Н. И. писал, что после моей записочки, оставленной в двери, он понял, что ему надо отойти в сторону. Он рассыпался в бесконечных комплиментах в мой адрес, так что я могла задрать нос кверху, и написал много красивых слов, несмотря на весьма грустное содержание записки. Фраза: «Мой дорогой, нежный, розовый мрамор, не разбейся», — заставила меня сквозь слезы рассмеяться. Н. И. писал, как тяжка для него наша разлука — он даже заболел, что он решил уступить дорогу молодости и что ему не хотелось бы оказаться в роли короля Лира, даже при прекрасной Корделии.

Ах, эта «Хованщина»! И эта записочка!.. Что же я натворила! И даже теперь, когда на театральных афишах я вижу, что в Большом — «Хованщина», перед моими глазами предстает эта записочка, аккуратно сложенная вчетверо, засунутая в дверную щель, и вспоминаются ее последствия.

Кстати, Н. И. до последнего времени был убежден, что тогда я совершила бестактность по отношению к нему, в особенности потому, что я отменила нашу встречу на следующий же день после того, как он решился на серьезный разговор со мной.

Позже, вспоминая этот эпизод, Н. И. шутил, как человек, знавший себе цену: «Я тебе не Женя Сокольников и не Ванька Петров (неизвестный Ванька Петров заставлял нас обоих смеяться), чтобы мне такие записочки в двери оставлять!»

Тремя годами позже мы, конечно, сходили и на «Хованщину» — любимую оперу Н. И.

После нашего разрыва Н. И. изредка появлялся у отца, но, предварительно договорясь с ним, приходил в мое отсутствие.

В январе 1932 года отец серьезно заболел. Из моей телеграммы, посланной в Нальчик, где тогда отдыхал Н. И., он узнал, что отец при смерти. Прервав отпуск, Бухарин выехал в Москву, но успел приехать лишь на следующий день после похорон.

После смерти отца Н. И. стал появляться у нас вновь, прежде всего потому, что чувствовал себя обязанным проявить внимание к нам, к моей матери и ко мне, в наши трудные дни. Не могу сказать, что присутствие Н. И. не стало волновать меня снова, но все же в то время это волнение приглушалось моим горем. Я безгранично любила отца и тяжело переживала его смерть. Кроме

¹ Короткова Августа Петровна работала с Н. И. с давних пор, я ее помню со времени работы Н. И. в Коминтерне. Она же была его секретарем в НИСе, затем в «Известиях». Любила Н. И. и была человеком, которому Н. И. вполне доверял. Во время следствия над Н. И., когда он уже в редакцию не ходил, она была единственным сотрудником «Известий», пришедшим на квартиру в Кремль, чтобы проститься с ним, помню, как она плакала. Для того времени это был мужественный шаг. В дальнейшем она была арестована.

того, были и другие причины, заставлявшие нас обоих сдерживаться: затаив в душе чувство обиды на Н. И. и расценивая наши прошлые отношения как светлый, но никогда не повторимый период своей жизни, я искала забвения от глубокой тоски по нему, и тогда — только тогда — у меня действительно начался роман с Сокольниковым-сыном. Чувство ревности, мучившее раньше Н. И., было вызвано его болезненным воображением: в то время для ревности не было причин. Мой роман с Женей Сокольниковым начался после разлуки с Н. И. и начал рушиться после того, как Н. И. стал появляться вновь. Время показало, что любовь к Н. И. прочно жила в моем сердце. Вероятно, так было и с Н. И., хотя дело обстояло сложнее.

Я узнала, что он не один, случайно. В феврале 1932 г., через месяц после смерти отца, Н. И. отправил меня в дом отдыха «Молоденово» под Москвой. Он наезжал и туда; грустные это были встречи. Оба мы были обременены грузом, о котором молчали. Помню, как однажды Н. И. привез с собой трагедии Софокла — «Антигону» и «Царя Эдипа» и читал мне вслух. Я была смущена тем, что ничего не воспринимала, но заметила, что и Н. И. читал, а думал о чем-то другом, своем. Скоро он прекратил чтение. Я все вспоминала и вспоминала отца; как Н. И. ни старался отвлечь меня, он невольно втягивался в разговор и сам.

Как-то раз, проводив Н. И. из Молоденова, я брела в одиночестве по лесной дорожке парка; издали я заметила Яна Эрнестовича Стэна, известного в то время философа, отличавшегося независимым характером; на Сталина он смотрел всегда сверху вниз, с высоты своего интеллекта, за что он расплатился ранее многих. В гордом и величественном облике этого латыша с выразительным умным лицом, сократовским лбом и копной светлых волос было что-то величественное. Ян Эрнестович шел мне навстречу вместе со своей женой Валерией Львовной. Оба молодые, красивые, счастливые, влюбленные, только так их и можно было воспринять. Я позавидовала им, и пронеслась у меня тогда мысль: вот у них-то все так просто, а у меня столько сложностей. Возможно, мне это казалось — у каждого свое... Мы встретились и остановились. Стэн обратил мое внимание на маленькую дачку в глубине леса.

— Узнаете, кто сидит там, возле дачи? — спросил он.

У крыльца сидела в плетеном кресле, обложенная подушками, одетая в шубу и укутанная в плед, как мне показалось, старуха. Я ее не узнала.

— Это Надежда Михайловна Лукина, бывшая жена Бухарина, — сказал Стэн.

Н. И. был женат первым браком еще до революции на своей двоюродной сестре. Надежда Михайловна была немного старше Н. И. Брак их распался в начале 20-х годов. Будучи очень больным человеком — грипп дал серьезное, все прогрессирующее осложнение на позвоночник, Надежда Михайловна в начале заболевания вынуждена была вести полужелезничий образ жизни, а в последнее время все больше была прикована к постели. После нашей женитьбы мы жили вместе с ней, и в тяжкие дни отдавала она нашей семье все тепло своей души, трогательно, с любовью относилась к ребенку.

Она всегда оставалась верным другом Н. И. В период следствия, еще до его ареста, она отослала Сталину свой партийный билет, заявив при этом в письме к нему, что, учитывая характер предъявленных Бухарину обвинений, она предпочитает оставаться вне партии. Надежда Михайловна была арестована в конце апреля 1938 года. Ареста она ждала и говорила мне, что когда за ней придут — отравится. Во время ареста она приняла яд, но сразу же была направлена в тюремную больницу, где ее удалось спасти. Непонятно, для чего это было сделано. Она лежала полупривалом в камере и потом, как я слышала, была расстреляна. В памяти моей живет она светлой.

Мне было известно, что со своей второй женой Эсфирью Исаевной Гурвич Н. И. к тому времени давно расстался (в 28-м или 29-м годах, точно не помню), как говорил Н. И., по ее инициативе.

— Свято место пусто не бывает. — заметил Стэн шутя и тотчас же на-

звал мне имя и фамилию женщины, с которой сейчас был близок Н. И. Стэн был не из тех, кто пользовался дешевыми сплетнями, и мне пришлось ему поверить.

Ян Эрнестович не подозревал, в какое состояние привело меня его сообщение. Не чувствуя ног под собой и не видя белого света, я еле добралась до своей комнаты и разрыдалась. Ведь только-только я проводила Н. И.; я отказывалась что-либо понимать.

Не стоило бы и касаться этой неприятной истории, если бы она не представляла особого интереса.

Вот что в дальнейшем рассказал мне Н. И. Каждый раз, когда он отправлялся в Ленинград на заседания Президиума Академии наук (он был член президиума) или по другим делам, в купе спального вагона поезда «Стрела» садилась «незнакомка». Н. И. мало кому доверял и во многих усматривал специально приставленных к нему лиц, но заподозрить, что к нему могли подослать женщину-осведомителя, он не смог. Его не смутило и то, что эта особа отправлялась якобы в командировку в тот же день, что и Н. И., в том же вагоне и в том же купе. В дальнейшем уже не требовалось командировок в Ленинград, достаточно времени было в Москве. По прошествии полутора лет Н. И. сам услышал от той, кому доверился, объяснение своим командировкам. «Незнакомка», ставшая к тому времени слишком хорошо знакомой, оправдывалась тем, что якобы заявила в НКВД, что, любя Н. И., отказывается от возложенной на нее неблагоприятной миссии. Сообщать-то было не о чем, если не лгать. Хотя Сталину могла не понравиться любая высказанная Н. И. мысль или неугодное ему слово. Очевидно, все фиксировалось в то время. Между тем от поручений такого характера не так уж легко было отбояриться. Но, быть может, все-таки, так оно и было. Однако не исключено, что ее откровение было вызвано боязнью, что до Н. И. все это дойдет со стороны. История ужасающая!

Но так или иначе рассказанное Стэном не привело к крушению возродившейся надежды на восстановление наших отношений.

Через несколько дней Н. И. вновь приехал в Молоденово, он появился как раз в тот самый момент, когда я гуляла возле дома отдыха с приехавшим туда Женей Сокольниковым и на этот раз без угрызений совести. Женя, заметив Н. И., растерялся и куда-то скрылся. Когда мы зашли в комнату, Н. И. властным тоном произнес:

— И он здесь?! Хорошо, что эпоха дуэлей отошла в прошлое.

— А тебе разве теперь это не безразлично? — вырвалось у меня.

Он смотрел мне в глаза, пытаюсь понять, не узнала ли я то, о чем бы ему не хотелось, чтобы я знала. Довольно долго мы пробыли в моей комнатке. Н. И. посвящал меня в дела НИСа, рассказывал и о своей удачной охоте в окрестностях Ленинграда, куда он ездил вместе с Сергеем Мироновичем Кировым. К вечеру он уехал в Москву.

В течение 1932 г. Н. И. продолжал бывать у нас довольно часто. Я чувствовала, что он ждал разговора, но при создавшихся обстоятельствах я продолжала хранить молчание. В ноябре 1932 г., придя домой из института, я застала там Н. И. Он пришел сразу же после похорон Надежды Сергеевны Аллилуевой — жены Сталина. Я увидела его взволнованного, бледного. Они тепло относились друг к другу, Н. И. и Надежда Сергеевна; тайно она разделяла взгляды Н. И., связанные с коллективизацией, и как-то улучила удобный момент, чтобы сказать ему об этом. Надежда Сергеевна была человеком скромным и добрым, хрупкой душевной организации и привлекательной внешности. Она всегда страдала от деспотичного и грубого характера Сталина. Совсем недавно, 8 ноября, Н. И. видел ее в Кремле на банкете в честь пятидесятилетия Октябрьской революции. Как рассказывал Н. И., полупьяный Сталин бросал в лицо Надежде Сергеевне окурки и апельсиновые корки. Она, не выдержав такой грубости, поднялась и ушла до окончания банкета. Они сидели друг против друга, Сталин и Надежда Сергеевна, а Н. И. рядом с ней (возможно, через человека, точно не помню). Утром Надежда Сергеевна была обнаружена мертвой. У гроба

Надежды Сергеевны был и Н. И. В такой момент Сталин считал уместным подойти к Н. И. и сказать ему, что после банкета он уехал на дачу, а утром ему позвонили и сказали о случившемся. Это противоречит тому, что сообщает Светлана — дочь Надежды Сергеевны и Сталина — в своих воспоминаниях: ей стало известно от жены Молотова через много лет после гибели матери (в газетах было сообщено, что она умерла от перитонита), что Сталин спал в соседней комнате у себя на квартире в Кремле и не слышал выстрела. Не хотел ли он в разговоре с Н. И. отвести от себя подозрение в ее убийстве? Было ли это убийство, или самоубийство, мне неизвестно. Н. И. убийства не исключал. Как рассказывал Н. И., первым, кто увидел Надежду Сергеевну мертвой, кроме няни, пришедшей разбудить ее, был Енукидзе, которому няня Светланы решила позвонить, побоявшись сказать об этом первому Сталину. Не это ли послужило причиной того, что А. С. Енукидзе убрали раньше остальных членов ЦК?

Н. И. рассказывал, что перед закрытием гроба Сталин жестом попросил подождать, не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны из гроба и стал целовать.

«Чего стоят эти поцелуи, — с горечью сказал Н. И., — он погубил ее!»

В печальный день похорон Н. И. вспоминал, как однажды он случайно приехал на дачу Сталина в Зубалово в его отсутствие; он гулял с Надеждой Сергеевной возле дачи, о чем-то беседуя. Приехавший Сталин тихо подкрался к ним и, глядя в лицо Н. И., произнес страшное слово «Убью!»

Н. И. принял это за грубую шутку, а Надежда Сергеевна содрогнулась и побледнела.

В декабре 1932 года Н. И. пригласил меня в Колонный зал Дома союзов. Отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Дарвина. Луначарский и Бухарин выступали с докладами. Я сидела в первом ряду, рядом с академиками, корифеями естествознания. Их поразила широта знаний ораторов, они делились своими впечатлениями и горячо аплодировали. После окончания докладов Н. И. поманил меня пальцем, и я, подойдя к нему, вместе с ним прошла в комнату позади сцены, там был и Анатолий Васильевич Луначарский. Перед тем я видела его в начале того же года на Красной площади, когда он произносил траурную речь перед урной с прахом Ларина и затем, спустившись с Мавзолея, сочувственно пожимал матери и мне руки.

Когда мы встретились в Доме союзов, невозможно было предположить, что Анатолию Васильевичу оставался всего год жизни и что уже в декабре 1933 года на ту же трибуну Мавзолея подымет Бухарин, произнося последние, прощальные слова.

Мы поздоровались, и Луначарский сказал Н. И.:

— Время бежит, Николай Иванович, мы стареем, а Анна Михайловна цветет и хорошеет. Таков закон природы, никуда не денешься!

Он был первым, кто назвал меня по имени и отчеству, я была польщена и почувствовала себя взрослой. Затем неожиданно он попросил показать ему мою руку — Луначарский увлекался хиромантией. Я протянула руку, он недолго, но сосредоточенно рассматривал линии моей ладони, и я увидела, как он помрачнел и произнес вполголоса, обращаясь к Н. И.:

— Анну Михайловну ждет страшная судьба!

Я все же слышала эти слова, Луначарский заметил это и, чтобы смягчить свой прогноз, сказал:

— Возможно, линии руки меня обманывают, и так бывает!

— Вы ошибаетесь, Анатолий Васильевич, — ответил Луначарскому Н. И., как мне показалось, ничуть не опечаленный его предсказанием, — Анютка обязательно будет счастливой. Мы будем стараться!

— Старайтесь, Николай Иванович, — чуть улыбнувшись, заметил Луначарский.

Не могу сказать, что вполне поверила прогнозу Луначарского, но все же, хотя и ненадолго, опечалилась. (Мать, которой в тот же день я рассказала о

предсказании Луначарского, после моего освобождения из лагеря не раз об этом вспоминала.)

Доклады кончились довольно рано, и Н. И., чтобы отвлечь меня от грустных размышлений о моей судьбе, предложил поехать вместе с ним в Горки Ленинские. Он надеялся встретить там Марию Ильиничну Ульянову. Работая одновременно с ней в редакции «Правды», он был очень дружен с Марией Ильиничной и эту дружбу продолжал сохранять.

Мы приехали в Горки под вечер, там было пустынно и грустно, Марию Ильиничну мы не застали. Дорога к дому была заметена снегом. Сторож, работавший еще при Ленине, разгребал снег широкой деревянной лопатой. Он встретил Н. И. как старого знакомого, поздоровался, сняв шапку-ушанку. Сторож угостил нас горячим чаем с печеньем. Мы пробыли там недолго. По пути в Москву Н. И. рассказал мне, что летом 28 или 29 года (возможно, раньше, точно не помню), когда однажды приехал в Горки, он увидел этого же сторожа, а возле него бегающую кошку, ту, что жила там еще при Ленине, и сказал сторожу:

— А кошка-то все еще жива!

— Я-то кошку берегу,— ответил сторож,— а вы и сами себя беречь не умеете. Не стало Ильича, и начались у вас одни только ссоры.

«Этот сторож великий мудрец»,— заметил Н. И.

Шло время — вместе с Н. И. и не вместе с ним, слишком мы были робки. Н. И. приходил изредка навестить в мое отсутствие мать. Но каждый раз, уходя, он оставлял коротенькие записочки в ящике моего письменного стола: «Я был, твой Н. Б.», «Я был, твой Колá», «Я был, я был, я был, твой Николаша».

Ах, как они волновали меня, эти записочки! Но все же я не решалась ни позвонить Н. И. и пригласить его к себе, ни сама побывать у него.

Только к концу года, в декабре 1933-го, печальное обстоятельство — известие о смерти Луначарского — заставило меня обратиться к Н. И. и попросить помочь пройти в Колонный зал. Мы пошли вместе, стояли у гроба великого прорицателя моей страшной судьбы, и тогда никто из нас еще не подозревал, что предсказания Анатолия Васильевича оправдаются.

На следующий день я видела Н. И. во время траурного митинга на Красной площади и после окончания похорон, пробравшись через толпу у Мавзолея, подошла к нему. Он был грустный, уставший после произнесенной речи и, как мне показалось в тот день, постаревший.

Мы спустились вниз с Красной площади мимо Исторического музея к Александровскому саду. Н. И. с грустью сказал мне: «Я никогда не думал о своей смерти, скорее я ощущал свое бессмертие, чем смерть. И только сейчас, во время похорон Луначарского, почувствовал, что меня ждет все то же самое. Я так явственно представил себе свои собственные похороны: Колонный зал Дома союзов, Красную площадь, урну с моим прахом, увитую цветами, и тебя, плачущую над моим гробом и возле моей урны, чью-то речь, не могу себе представить, чью... «Он не раз ошибался,— скажет тот оратор,— но, но... Ленин его любил». Еще что-нибудь скажет...

Он говорил об этом опечаленный и с полным равнодушием ко всем почестям и пышности похорон, говорил, как о чем-то само собой разумеющемся, поэтому четко представляемом.

— Не хочу слушать эти глупости,— ответила я, разволновавшись.

— Но так же обязательно будет, и ты должна будешь это пережить!

Вот как к концу 1933 года представлял Н. И. свою смерть, следовательно, и свою жизнь. Обвинений в предательстве, в измене Родине Бухарин, естественно, предвидеть не мог.

Мы расстались. Он повернул налево, в Александровский сад, к Троицким воротам Кремля. Я — направо, к «Метрополю». Его записочки давали мне право поговорить и на другую тему: о жизни, а не о смерти, но я не сочла удобным сделать это в такой печальный момент.

Мы шли к своей цели, к тому, чтобы соединить наши судьбы, нелегким

путем, преодолевая препятствия, которые сами себе создавали. («От съезда к съезду», — как однажды шутя сказала я Н. И., тогда, когда можно было уже нам вместе весело смеяться.) От XVI съезда до XVII — последнего съезда, на котором присутствовал Бухарин, последнего для большинства членов ЦК.

Мы встретились случайно 27 января 1934 года в день моего двадцатилетия, примерно через месяц после того, как виделись на похоронах Луначарского, в начале того года, в конце которого раздался роковой выстрел... За это время я обнаружила в ящике своего письменного стола еще одну записочку: «Я был, твой Н. Б.», — что сделало меня наконец решительной.

Н. И. возвращался из Большого театра после заседания XVII съезда к себе домой, в Кремль. Я — после лекции в университете «Сталин — Ленин сегодня».

Остановились у Дома союзов, у здания, на которое теперь я не могу смотреть спокойно и стараюсь обходить стороной. Но нет-нет да и притягивает мой взор то место, где после столь долгой нерешительности, в одно мгновение мы поняли, что хода назад больше нет и что отступать невозможно.

Мы стояли у той самой двери, через которую десять лет назад, 27 января 1924 года, Бухарин и другие, самые близкие друзья и соратники Ленина, потрясенные горем, выносили его, смолкшего, бездыханного, и медленно, траурной процессией в лютый мороз приближались к Красной площади, неся на своих плечах алый гроб. Одновременно несли они на своих же плечах (большинство из них) и свою собственную гибель — в недалекой перспективе смерть политическую, затем уничтожение физическое...

Итак, обрадованные нашей неожиданной встречей, предчувствуя, к чему она приведет, мы оказались у Дома союзов, в Октябрьском зале которого четыре года спустя, в марте 1938 года, на ужасающем процессе, не уступающем средневековым судилищам, Н. И. пережил последние, мучительные дни своей жизни, и откуда он вышел после смертного приговора, вдохнув в последний раз (вдохнул ли?) земной, нетюремный воздух — глоток жизни!

В январе 1934-го возле этого, кажущегося мне теперь мрачным здания, именно там — таковы хитросплетения судьбы! — наше чувство вырвалось наконец на простор.

Мы были немногословны:

— Долго будешь оставлять мне свои записочки? Ты полагаешь, они меня никак не тревожат?

Н. И. стоял возле меня взволнованный, покрасневший, в своей кожаной куртке и сапогах, пощипывая свою, тогда еще ярко-рыжую, солнечную бородку. Тот миг был решающим.

— Ты хочешь, чтобы я зашел к тебе сейчас же? — спросил он.

— Хочу, — уверенно ответила я.

— Но в таком случае я никогда не уйду от тебя!

— Уходить не придется.

От Дома Союзов до «Метрополя» рукой подать...

Больше мы не расставались до дня ареста Н. И. — 27 февраля 1937 года (опять 27 — роковое число), когда, уходя на последнее, решающее заседание февральско-мартовского пленума ЦК, понимая, что его ждет арест, он пал передо мной на колени и просил не забыть ни единого слова его письма «Будущему поколению руководителей партии», просил прощения за мою загубленную жизнь, просил воспитать сына большевиком. «Обязательно большевиком!» — дважды повторил он.

Так в камере, бросая взгляд из прошлого в мрачное настоящее и беспросветное грядущее, в ту черную безысходность, мне стало мучительно жаль утраченных, не прожитых с Н. И. относительно спокойных лет. Тем не менее, когда мне приходилось делать вывод, что наша совместная жизнь была столь коротка, у меня не было и по сей день нет ощущения полной правды, потому что живет, живет во мне чувство более долгой близости.

Я окинула взором камеру, вглядываясь в зловещий верхний угол. Мне так мучительно захотелось видеть Н. И., что я искала глазами даже того, распятого, бледно-синего, но видение не повторилось. Мрак, тишина, удручающее одиночество...

В середине августа послышалось привычное гроыхание дверного засова. Надзиратель отпер дверь, и в камеру ввели женщину. Так рядом со мной оказался живой человек. Моя сокамерница Нина Лебедева была значительно старше меня, ей было уже за сорок. По ее словам, она также была вновь арестована в лагере, где отбывала пятилетний срок заключения по статье КРД (контрреволюционная деятельность), в то время это была распространенная статья. Вторично ее обвиняли во вредительстве в связи с пожаром в лагере. И такое обвинение стало привычным. Первое время Лебедеву часто допрашивал тот же Сквирский, она приходила после допроса и рыдала. Как старшая, она относилась ко мне покровительственно, даже тепло. После длительного одиночества я испытывала потребность в живой человеческой речи и вполне доверилась Лебедевой. А напрасно!

Я открыла ей, кто я, рассказала, в чем меня обвиняют, поделилась своими соображениями о том, каким образом могут создать неизвестную мне контрреволюционную организацию молодежи, назвала фамилии сыновей Свердлова, Осинского, Ганецкого, Сокольников. Все, кроме Свердлова, — дети репрессированных революционеров-большевиков. Словом, я сама, через эту Лебедеву, подсказала Сквирскому тему для сценария. Я часто повторяла вслух свои стихи, чтобы не забыть; возможно, она их незаметно записывала, а быть может, запоминала — так или иначе, и они оказались в моем деле.

Я много рассуждала о процессе, объясняя признания обвиняемых пытками. Рассказывала с подробностями о поездке Николая Ивановича в Париж в 1936 г. Послали его туда якобы для покупки архива Маркса. В действительности, как показал процесс, с тайной провокационной целью: «связать» Бухарина с меньшевиками-эмигрантами, деятелями II Интернационала.

У меня даже не вызвал подозрения интерес Лебедевой к связям Н. И. с иностранцами: я объяснила его обычным женским любопытством. Я пояснила своей сокамернице, что Бухарин не мог не встречаться с иностранцами и как руководитель Коминтерна, и на дипломатических приемах, и во время заграничных поездок. Имела глупость рассказать ей, как однажды по пути в Ленинград Н. И. оказался в одном купе с первым американским послом в Советском Союзе Буллитом и имел с ним беседу, содержание которой я не запомнила. И это сообщение было использовано против меня. Словом, откровения мои были самоубийственными, и «дело» мое распухло!

Ближе к середине сентября Лебедеву увели из камеры. По-видимому, она заработала лучшие условия содержания. Вскоре и я рассталась с тем страшным подвалом. О предстоящем отъезде из Новосибирска рассказал мне один из надзирателей. Его сменный был моложе, сухой и злой, а этот — покладистей, разговорчивей, добрей: он и спать днем разрешал, и полынь в тюремном двореке нарвать не запретил, и во время прогулки в камеру не торопил, и никогда не слышалось его окрика: «Давай, давай в камеру, время прогулки окончено!»

— Знаешь, девка, — сказал он как-то (девкой он называл меня не оскорбительно, напротив, подчеркивая свое доброжелательное отношение ко мне), — скоро отсюда все уедем в другое место, и вы, и мы, весь следственный отдел переезжает.

— Куда же? — заинтересовалась я.

— В Мариинск, ближе к производству, — серьезно ответил надзиратель, сказав, что так объясняли предстоящий переезд из Новосибирска в Мариинск на общем собрании сотрудников следственного отдела Сиблага.

Вокруг Мариинска, городка недалеко от Кемерово, в то время было сконцентрировано большое количество лагерей: Чистюнька, Орлово-Розово,

Юрга, Яя, Антибес, Ново-Ивановский и т. д. В некоторых из них впоследствии и мне пришлось изведать счастья. Так и назывались они: Мариинская система лагерей. Система эта имела свой центр, «столицу», именуемую «Марраспред», откуда заключенных отправляли в тот или иной лагерь в зависимости от потребности в рабочей силе.

В Мариинский распределительный лагерь я попадала не раз. Однажды я угодила в тот же барак и на те же нары, где побывал будущий маршал Рокоссовский. Лагерное начальство приходило посмотреть на меня как на диковинку, музейный экспонат. И при мне вспоминали: «Тут же, на этом месте, Рокоссовский сидел. А теперь вот — жена Бухарина!» С их точки зрения, по-видимому, осквернила я те нары. «У нас невиновных не сажают, вот Рокоссовского посадили по ошибке, но разобрались же и освободили», — добавил один, сочтя, вероятно, упоминание об этом эпизоде неуместным в моем присутствии. Во мне он усматривал только преступника.

В сентябре 1938 года решение о переводе следственного отдела Сиблага из Новосибирска в Мариинск было вызвано стремлением уменьшить стоимость человеко-дня заключенного. Транспортные расходы в калькуляцию тоже входили, а расходы эти все возрастали и возрастали: недостреленных и отбывающих заключение с «недостаточно большими» сроками, т. е. в пределах десяти лет, становилось все больше и больше, и многих приходилось возить на переследствие. К 1938 году максимальный срок заключения был увеличен уже до 25 лет, что обеспечивало широкое поле деятельности следственному отделу. Так, например, Сарре Лазаревне Якир к имеющимся восьми годам заключения добавили еще десять лет за то, что в лагере она рассказала, что Средиземное море по красоте своей не уступает Черному, а в Италии делают красивые вышитые кофточки. За такие «крамольные» разговоры жену Якира обвинили в восхвалении капиталистического государства (я не утрирую, так оно и было). Следствие вели на месте, в Томском лагере, там же и судили по статье КРА — контрреволюционная агитация. Так сиблаговские «мудрецы» решили, что 18 лет заключения, присужденные жене И. Э. Якира, обошлись государству по «сходной» цене.

Через несколько дней после исчезновения Лебедевой началось «великое переселение народов». На той же машине, с тем же шофером — бывшим шофером Эйхе, я была доставлена на вокзал. На этот раз шофер не рискнул обмолвиться со мной ни единым словом. У вокзала я заметила серую толпу изможденных заключенных. Подвал-изолятор, в котором сидела я, такого количества заключенных, конечно же, вместить не мог, их собрали из других Новосибирских тюрем. Только тогда, когда заключенные, идущие под конвоем в обход вокзала, скрылись из глаз, подошедший к машине конвоир увел и меня к поезду. Для нашего переезда был подан специальный эшелон, в основном состоящий из темно-красных товарных вагонов, предназначенных в другое время для перевозки скота. В начале состава были три-четыре пассажирских вагона для сотрудников аппарата следственного отдела Сиблага во главе со Сквирским. Мой переезд в одном вагоне с заключенными женщинами разрешен не был, выделить купе в пассажирском не сочли возможным — с таким комфортом заключенных не возили. Поэтому решено было подселить меня в «телячий» вагон к конвоирам, ехавшим вместе со своими семьями. Мы подошли к вагону. Сорванные с насиженных мест, суетились озабоченные женщины, шумели взволнованные дети. В суматохе и невероятной толкотне все подымались в вагон, стремясь занять места на наскооро сколоченных нарах, боясь оказаться на грязном холодном полу. Тащили с собой незамысловатый скарб в узлах, баулах, ящиках, корзинах. Завалили вагон хозяйственной утварью: кастрюлями, глиняными горлачами, чугунами и ухватами, сковородками и самоварами. Тащили с собой кошек, собак, комнатные цветы: герани, столетники, фикусы. «Осторожно, осторожно, хвикус сломишь!» — раздался пронзительный женский голос. Грузили в вагон гармошки. Не живет русская деревня без них. А конвоиры — только-только деревню на «лучшее» жите променяли, но с гармонью расстаться не смогли.

Мужчины усердно помогали своим семьям вносить вещи и подыматься в вагон. Лишь «осиротевшая» жена и двое малых детей моего конвоира остались без помощи главы семейства. Он один оказался при исполнении служебных обязанностей. Кто-то из мужчин мимоходом забрасывал в вагон их вещи, но женщину, державшую одного ребенка на руках, другого за руку, все оттесняли и оттесняли, не давая возможности взобраться в вагон. Мы стояли в стороне, в нескольких шагах от места погрузки. Утомленная и взволнованная, потерявшая терпение жена моего конвоира наконец крикнула:

— Егор! Что стоишь как истукан, подсоблять надо, не сбежит она, твоя девчонка!

Но Егор ее был служака редкостный, он и с места не тронулся.

— Помогите вашей жене, мне бежать некуда, — посоветовала я ему.

— Некуда? А то бы сбежала, знаем мы вас!..

После моего доброго совета Егор еще больше насторожился.

— Васька! — закричал он. — Будь другом, подсоби моей бабе, я при исполнении...

Но голос Егора потонул в шумной суетливой толпе. Когда все взобрались в вагон и толкотня прекратилась, мы — я и Егор с женой и детьми — поднялись в вагон последними. Мест на нарах действительно на всех не хватало, многие сидели на полу, на своих мешках с матрацами, подушками, одеялами. Старший по вагону распорядился потесниться, мы оказались на верхних нарах. Я у окна, рядом со своим конвоиром, и тут же, по другую сторону, его семейство. Уставшая от сборов и мучительной посадки в вагон, жена Егора не переставала ворчать:

— Язвие тебя возьми! Какая сатана погнала тебя в энтот Мариинск, остаться, что ль, не мог?! Работы на тебя и в Новосибирске хватило бы — нет же, обязательно прется невесть куда, в дыру!

— Уймись, дамочка столичная, там тебе хуже не будет: огород большой дадут, картошки вволю посадишь, кабанов двух выкормишь, глядишь, и деньжонки будут, а ты их шибко любишь, но тебе ж никогда не угодишь.

Наконец все как-то устроились и чуть притихли. Так неожиданно оказалась я в компании вольной и веселой. «Вольняшками» называли заключенные вольнонаемных сотрудников лагерей. А эти были из тех, кто действительно чувствовал себя на той «воле» свободными. Ничто их не угнетало. Ибо свобода есть осознанная необходимость. Лоснящаяся краснощекость их сытых жен после изможденных, страдальческих и голодных лиц заключенных женщин — жен «врагов народа» — в Томском лагере особенно поразила меня. Конвойный состав в ту еще довоенную пору был молодым. Но затесался среди них один пожилой и мудрый. Сидел он невдалеке, и я слышала, как делился он с молодыми своими мыслями:

— Когда был я мальчишкой, скот в деревне пас, пользу мужикам приносил, а теперь вот — людей пасу, и так много становится людей этих, которых пасти надо, что скоро пастухов на них не хватит, а скотину и вовсе пасти некому будет и хлеб сеять некому. Как подумаешь, жуть берет! Светопреставление, а не жизнь!

Во всем вагоне только его волновало происходящее, остальные же отнеслись к его рассуждениям более чем равнодушно.

Наконец раздался оглушительный свисток, паровоз запыхтел, закрипели, загромыхали колеса — мы тронулись в путь. Движение в вагоне-клетке усугубило гнетущее чувство несвободы, обострило ощущение бесперспективности выбраться когда-либо за пределы тюрьмы и воспринималось мною как приближение к смерти.

На станциях, мимо которых мы проезжали, красовались портреты Ежова и плакаты с хвалебными гимнами «ежовым рукавицам», беспощадно громящим «осиные гнезда врагов народа».

И вдруг нахлынуло, защемило сердце... К чему было писать Ежову: «Расстреляйте меня, я жить не хочу?» И без моей просьбы обошлось бы. Быть может, не так уж и «не хочу»? Хотелось же мне увидеть когда-нибудь сына. Но и жив ли он, к тому времени я не знала. В этом обращении к Ежову проявились отчая-

ние, безысходность моего положения, ужасающие условия, в которых я находилась, и одновременно вызов: вы уничтожили всех, кто был мне дорог, вы убили горячо любимого мной человека, вы замарали его грязью с ног до головы — убейте теперь и меня!

А вокруг кипела жизнь: жены конвоиров, весело болтая и от души смеясь, готовились к ужину, расстилали на ящиках кто полотенце, кто тряпку, кто газету. Нарезали толстыми ломтями хлеб, сало, выкладывали из кастрюль вареную картошку и яйца. Детям молока, мужчинам водки прихватили. Пили немного, по стопочке-другой, чтобы не опьянеть: поезд в любой момент мог остановиться и начальники нагрянуть. Женщины пытались меня накормить, но мой Егор воспрепятствовал, сказал: «Не положено».

Закусили, чуть выпили и развеселились. Заливались гармошки-трехрядки, пели хором звонко и слаженно «Шумел камыш», грустную, заунывную песню о бродяге: «Идет бродяга с Сахалина, далек, далек бродяги путь, укрой меня, тайга глухая, бродяга хочет отдохнуть»... А затем под гармонь и частушки и плясать пошли. «Эх! В нашем саде, в самом заде вся трава примятая, то не ветер, то не буря, то любовь проклятая!»

И вприсядку, и так и эдак отплясывали. А женщины с удивительной легкостью в движениях, размахивая платочками, казались невесомыми, хотя изяществом фигур вовсе не отличались. И увидела я, что наш мир за решеткой, мир оскорбленных, униженных, расстрелянных, — капля в жизненном море, всего лишь мирок! И что наперекор ужасам, уготованным нам судьбою, жизнь продолжается. Она всесильна — жизни! Она пробивает себе путь, словно хрупкий шампиньон, ломая прочную толщу асфальта. И, глядя на это веселье, я на некоторое время отвлеклась от тягостных мыслей о будущем.

Пробыв в пути часа три-четыре без остановки поезда и без туалета, я спросила у своего конвоира, что же мне делать. На полу, ближе к стенке вагона, была надломленная доска, отчего образовалась щель, ею пользовались вместо туалета, кто друг друга загораживая, а кто, потеряв стыд, без смущения, у всех на виду. И мне Егор предложил следовать их примеру — а чем другим, кроме этого совета, мог он мне помочь? Но воспользоваться таким советом я отказалась. «Тогда жди, пока не остановят поезд, а если приспичило — в миску», — это в ту, что для супа выдали. Под вечер поезд остановили, и все — люди и собаки — кинулись в кусты. Кинулась и я со своим неперменным спутником, еле уговорила его отвернуться. Но и самому ему по той же надобности отлучиться хотелось, так служака тот ко мне сменного приставил. Тупостью природа наделила его сверх меры, да и приказ о моей изоляции и охране был, видно, строгий.

На следующий день прибыли в Мариинск. Изолятор был расположен не вдалеке от города — новый. Только что, как положено, отпрапортовали о завершении сверхударной стройки.

В камере, снова одиночной, пахло свежей краской, кирпичной пылью, на полу еще валялись стружки вперемешку с опилками, стояла железная кровать, на ней матрац — черный чехол, набитый соломой. В камере было суше, чем в Новосибирском подвале. Однако изолятор оказался непригодным для содержания заключенных. Как обычно на ударных стройках, оказались мелкие недоделки. Этим «маленьким пустячком» на сей раз оказалась недостроенная кухня для заключенных. Все мы были до такой степени истощены, что не потребовалось бы длительного времени, чтобы следователи могли подписать по каждому из нас 206-ю статью уголовного кодекса (нумерация статьи УК РСФСР тех лет) об окончании следствия, по причине, не требующей объяснения. В коридоре бегал расвирепевший Сквирский и стоял галдеж. В течение суток мы оставались без питания. Наконец решено было эвакуировать подследственных из новой тюрьмы. Все мы были направлены в штрафные изоляторы близлежащих лагерей. Меня увели в ближайший к Мариинску лагерь с забавным названием «Антибес». Название это вызывало ироническую улыбку заключенных. Казалось, будто назначение того лагеря было изгнание из нас беса — контрреволюционной сущности.

Пришедший за мной конвоир, паренек лет восемнадцати, рыженький, в веснушках, был приветливый, болтливый, на редкость доброжелательный. Я реши-

лась спросить его имя. И он сразу же по-детски ответил: «Зовут Ванек». И как ни странно, ничуть не удивился моему вопросу, будто рядом с ним шла не заключенная, а девушка, с которой было приятно познакомиться. Тем не менее перед началом нашего совместного похода конвоир предупредил меня, в каком случае он обязан применить оружие, как положено было ему по службе. Ванек был полной противоположностью Егору.

Выйдя из подвального бессветия в прозрачную лучезарность осеннего дня, я, казалось, сбросила путы несвободы. Иллюзия та была прекрасна! Я смогла даже подумать о своей внешности: «Какая же я теперь?» Это было загадкой, так как зеркала нам не давали. По-видимому, цветом лица я походила на Катюшу Маслову. И мое лицо, наверное, «было той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проводших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале». Такой представил себе Толстой Маслову, идущую из тюрьмы на суд. Но в отличие от полногрудой Катюши я была до предела истощена.

Мы прошли мимо добротных деревенских домов окраины Мариинска. Встречные смотрели на нас равнодушно. Их глаз уже привык к покорному шествию заключенных под конвоем... Слышался лай собак, кудахтанье кур, в огородах за невысокими заборами виднелась картофельная ботва, аккуратно собранная в бурты, кое-где высились чуть пожелтевшие, но еще крепкие стебли срезанных подсолнухов. И какая-то женщина невдалеке от нас кричала вслед убегающей девчонке: «Маруська, не ходи далече, заблудишься, Маруська-а, не ходи далече-е!»...

Дорога показалась мне удивительно живописной. Слева — веселые березовые перелески и небольшие островки багровеющего осинника. Расцвеченные яркими красками осени деревья шумели от ветра, роняя листья. Кружась в воздухе, они падали золотисто-багровым дождем на землю, отдающую последнее тепло, накопленное за короткое, но жаркое сибирское лето. Справа расстилались необозримые сибирские дали: скошенные луга, пшеничное поле, еще не все убранное, и слышался шелест поникших, налитых, отяжелевших колосьев. Вдали виднелись огромные пирамиды стога пшеничной соломы и щеткой торчала пожухлая стерня.

Если бы кто-нибудь мог заглянуть в тот миг в мою душу, я устыдилась бы, что через полгода после гибели Н. И. меня могла привести в восторг чарующая красота природы. Но как же прав оказался Илья Эренбург, написавший: «Утешить человека может мелочь, шум листьев или летом светлый ливень». День тот запечатлелся в моей памяти как особенный, неповторимый за все время заключения. Мое настроение подняла не только природа, показавшаяся мне после крошечной подвальной тьмы сказочно прекрасной, но и юный конвоир, давший мне возможность насладиться ею и понять, что есть еще люди на земле, сохранившие, несмотря на свои весьма несимпатичные обязанности, душевную чуткость.

Вскоре, уже сидя в одиночке антибесского изолятора, я сочинила стихи, которые, как мне кажется, еще в большей степени, чем проза, отражают мое тогдашнее настроение.

Антибесский изолятор находился в зоне лагеря, поэтому был огорожен непрочным плетнем. Камера была больше, светлее, с довольно широким зарешеченным окном. И хотя изолятор был тоже полуподвальным, все же верхние нары были на уровне земли. Из окна хорошо просматривалась часть тюремного двора, а за плетнем, в зоне лагеря, идущие под конвоем на работу заключенные: лагерь был сельскохозяйственный.

Изолятор из штрафного был превращен в следственный. В камере напротив оказались те три биолога, что сидели за стенкой в Новосибирском подвале вместе с расстрелянным сотрудником НКВД. А рядом за стенкой — бандит по кличке Жиган. За месяц до окончания десятилетнего срока заключения в предчувствии приближающейся воли он не выдержал, сбежал из лагеря и был пойман. За сутки своего пребывания рядом со мной он ухитрился проделать в стенке сначала щель, через которую мог меня видеть, затем отверстие такого размера, что голова его

свободно пролезала в мою камеру. И я пришла в ужас, когда увидела лицо с черными горящими глазами. Пришлось сообщить об этом надзирателю, после чего Жигана перевели в другую камеру.

К этому времени я была опытным зеком. Я побывала уже во многих тюрьмах: Астраханской, Саратовской, Свердловской, Томской, Новосибирской. Начала привыкать к существованию в одиночке, без книг, без бумаги и карандаша, где можно было только рифмовать строчки, повторять их, чтобы запомнить, читать наизусть стихи любимых поэтов, обязательно повторять каждое утро письмо-завещание Бухарина. Наконец, вспоминать, вспоминать и вспоминать свое прошлое, на редкость радостное и невероятно мучительное.

После подвальной сырости антибесский изолятор казался терпимым, как ни странно, даже уютным. Вечерами в коридоре топили печь, и приятно потрескивали сухие березовые дрова. Кормили там тоже гораздо лучше, чем в других тюрьмах: овощей было вдоволь, и еще не приморожены были они, а в супе даже куски мяса свиного плавали. Неплохо для того страшного времени.

И Сквирский меня не тревожил. Так, без вызова следователя, сентябрь прошел, октябрь остался позади, наконец ноябрь наступил. Зима прочно сковала сибирскую землю, и за окном виднелись ослепительно белые снежные сугробы. Ожидание становилось уже неимоготу.

В первых числах ноября в изоляторе появился новый надзиратель, к радости моей — Ванек, тот конвоир, что вел меня из Мариинска в Антибес. Однажды во время прогулки я увидела сидящего на снегу, дрожащего от холода котенка, худощавого, в пушистой сибирской шубке. Я попросила разрешения забрать котенка в камеру. «А чего же, бери», — разрешил Ванек. Котенка назвала Антибес. И сразу же еще одна радостная неожиданность: деньги от матери получила, первый и последний раз за пребывание в заключении. Почти целый год они шли до меня. К этому времени мать уже сама оказалась за решеткой.

Купил мне Ванек в ларьке банку сливового варенья, булку белого хлеба, кулек конфет-подушечек, пачку чая, печенье и банку молока. Так, вдвоем с котенком встретила я 21-ю годовщину Октябрьской революции. По случаю праздника расстелила чистую тряпку на нарах, и «стол мой ломился от яств»: печенье, варенье, а рядом котенок лакал, причмокивая, молоко из консервной банки. Я взяла его на руки и громко произнесла:

— Выпьем, Антибесик, за Сталина (молока, разумеется), за нашу «счастливую» жизнь! Ура ему, ура! замерз бы ты в снегу!

И тут-то случилась беда: дверь в камеру открылась, и начальник следственной части антибесского лагеря вошел в камеру со страшным скандалом:

— Это еще что такое! Вы из камеры зоопарк устроили! И наглость себе позволяете за Сталина с кошкой пить! Издеваетесь над вождем?! Кто принес вам котенка?

— Никто не принес, сама подобрала, замерзшего, во время прогулки. Надзиратель не видел, — старалась я оградить от неприятности Ванька.

— Иван, убери кошку! Еще раз подобное повторится — уволю!

И Ванек выбросил котенка на мороз. Я осталась в полном одиночестве. Во второй половине ноября ко мне в камеру снова привели Лебедеву. Сколько радости было, старые знакомые, почти друзья, так приятна была встреча. Объяснение нашей временной разлуке Лебедева легко нашла: дело ее якобы прекратили, отправили в лагерь, но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, дополнительными показаниями против нее она снова под следствием. Заинтересовалась, продолжаю ли я сочинять стихи, и сразу же я прочла ей стихи про конвоира. В этом стихотворении я вспомнила страшное видение, мучившее меня в Новосибирском изоляторе: распятый на кресте Н. И. и черный ворон, который «сердце, мозг его клевал».

— Какое длинное, целая поэма, удивительно, как запомнила. Про ворона прекрасно, — повторите еще!

И я не раз повторяла.

— Действительно, прекрасно! А ворон — это, конечно же, Сталин?

— Как хотите, так и понимайте.

— Ну ясно, Сталин, а кто же другой!

Я молчала, но вдруг мелькнула мысль: не «наседка» ли она, хотя в тот момент это еще было мимолетное подозрение.

Затем я прочла ей стихи, посвященные Октябрьской революции. Стихи, в которых я выражала горечь, душевную боль, что в годовщину Октября я сижу за решеткой, но тем не менее «я праздную вместе с счастливой родною моею страной». Я не могла изменить идее Революции. Потому так трагична была для меня мысль, что люди, посвятившие революции жизнь, погибли заклеенные как ее враги. Я понимала, что все их признания вымученные, сфальсифицированные, и лютой ненавистью возненавидела Сталина, вдохновителя террора! Большевики сформировали мое мировоззрение. Только потому я смогла сочинить такие строки:

Сегодня я верю в иное,
что в жизнь я снова войду
и вместе с родным комсомолом
по площади Красной пройду!

Да и Бухарин сказал в своем последнем обращении к людям то же самое: «Дело не в личных переживаниях раскаявшегося врага, а в расцвете СССР, в его международном значении».

То же сказал мне Н. И., прощаясь со мной, уходя от меня навсегда: «Смотри не обозлишь, Анютка, в истории бывают досадные опечатки».

И наш прославленный командарм И. Э. Якир в момент расстрела (судя по тому, что рассказал Н. С. Хрущев в своей заключительной речи на XXII съезде КПСС) воскликнул: «Да здравствует партия, да здравствует Сталин!».

Моя сокамерница Нина Лебедева оказалась другого поля ягода. Она не раз выслушивала мои стихи, посвященные годовщине Октябрьской революции, я, стараясь запомнить, часто их повторяла. В восторг от них она не приходила, но и протеста не выражала. В Антибесе Лебедева пробыла со мной не более двух недель.

В тот день, когда мы расстались, она была вызвана на допрос. Вернувшись, Лебедева поглядела на меня не так, как прежде, а холодно и неприязненно и неожиданно прошипела: «Я по крайней мере знаю, за что сижу. Мой отец крупный купец (или фабрикант, точно не помню), он был контрреволюционером, а не революционером, и я тоже ненавижу вашу Революцию. Могу только позлорадствовать, что ваш вождь всех видных большевиков перебил. А для меня, что Сталин, что ваш Бухарин — одно и то же. Я вас всех одинаково ненавижу!» Она замахнулась на меня, но ударить не решилась, опустила руку, и тотчас же ее увели из камеры. Это был жуткий момент! Я успела лишь крикнуть, что Сталин и Бухарин — не одно и то же. Впрочем, для нее различия между ними действительно не было.

Потрясенная, я зарыдала. Душа моя и без того была переполнена нестерпимой болью. Спасение было лишь в кратковременном забвении во время сна, а проснешься, — снова, как молотом по голове!

А тут еще эта Лебедева... Тяжело было не только потому, что я наконец поняла: донос на меня обеспечен, но и от обиды за свои откровения перед человеком, не разделявшим моей боли, относившимся враждебно ко всему, что мне было дорого.

И снова начались черные дни одиночества. Тучи сгущались над моей головой. Ванек рассказал, что судили трех биологов, привезенных одновременно со мной из Новосибирского подвала. Приговорили к расстрелу и расстреляли там же, в Антибесе, у оврага.

В первых числах декабря меня увели в Мариинск к Сквирскому. Я сразу же заметила большую уверенность в его тоне.

— Если раньше, — сказал он, — против вас был незначительный материал, то теперь у меня достаточно доказательств, чтобы изобличить вас в принадлежности к контрреволюционной организации молодежи. Кто еще, кроме Свердлова, Осинского, Сокольникова, Ганецкого, принадлежал к ней?

Сразу стало понятно, по чьему доносу были названы именно эти фамилии. Не добившись никаких признаний, Сквирский снова отправил меня в Антибес. Сотрудник следственного отдела повел меня мимо изолятора на дорогу, ведущую к оврагу, и объявил, что ведет на расстрел, добавив, что спасти меня может только разоблачение контрреволюционной организации. То была явная инсценировка — запугивание. Пройдя небольшое расстояние, он повернул назад, и я была возвращена в камеру.

Наконец, через некоторое время, в том же декабре 1938 г., наступил и мой «звездный час». Я была вызвана в следственную часть антибесского лагеря, куда прибыл сотрудник Сиблага из Мариинска. «Ну что ж, — сказал он, — получилось как нельзя лучше. Желание ваше совпало с решением Москвы. Контрреволюционную нечисть надо смести с лица земли!» Он предъявил мне постановление, не знаю, за чьей подписью. У меня потемнело в глазах, кроме двух слов: «высшая мера» — я ничего не смогла прочесть.

Я была много раз судима, всегда заочно и своих судей никогда не видела. Так, после высылки в Астрахань туда было прислано постановление Особого совещания НКВД с решением о ссылке на 5 лет. Тем не менее после трехмесячного моего пребывания там постановление изменили, и я была арестована. Уже в Астраханскую тюрьму пришло постановление из Москвы о заключении меня на 8 лет в лагерь. Отбыла этот срок в лагере, и снова постановление: сообщалось, что по директиве, кажется 185-й (или за другим номером), я оставлена при лагере за зоной (за пределами этой территории я передвигаться не имела права). Следующее постановление: административная ссылка в Новосибирскую область сроком на 5 лет. Отбыла 5 лет, и снова преподнесли постановление — еще 10 лет ссылки в Новосибирскую область. Последние 10 лет отбыть не успела — тиран скончался. Так более 20 лет жизни было отнято этими постановлениями.

Декабрьское постановление 1938 г. не застигло меня врасплох, к нему я была психологически подготовлена, оно не подавило меня неожиданностью. Смерть, она не страшна. Мертвый не мыслит. Страшен предсмертный час, предсмертное мгновение. И, по-видимому, не только трусливым, но и храбрым — тем, о ком принято говорить «Смело смотрит смерти в глаза».

Мне думается, идущему на казнь присуще особое мироощущение — отрешенность от всего земного. Она приходит сама собой — срабатывает инстинкт самосохранения.

Двое с револьверами в кобуре вывели меня на дорогу. Солнце уже на три четверти упало за горизонт. В мгlistой дали предвечерних сумерек виднелся злобный овраг с редко растущими березами. И вдруг наступило мгновение, когда я полностью отрешилась от жизни. То был конец — конец восприятия реальности. Охватившее меня оцепенение парализовало мысль. Будто катилась я вниз, в пропасть, как бесчувственная глыба после горного обвала. Неожиданно я услышала шум, показавшийся мне поначалу раздражающим гудением сирены. Потом я различила в нем человеческий голос, а затем и произносимые слова. Двое с револьверами, и я остановились у самого оврага. Я обернулась: на расстоянии тридцати—сорока метров от нас шел Ванек, а вдали бежал человек в светлом полушубке. Бежавший кричал:

— Ванек, вертай их назад, вертай назад!

— Назад, назад, назад! — кричал Ванек и жестами показывал, что надо возвращаться. Свершилось чудо — мы повернули обратно.

Стоял лютый декабрьский мороз. Я продрогла. Шла в своей изношенной шубке, в высоких фетровых валенках Николая Ивановича с загнутыми голенищами, тоже старых, уже прохудившихся, ноги промокали, а голову согревала теплая пыжиковая ушанка, принадлежавшая когда-то Сталину, — мое случайное наследство. В конце 1929 года, после окончания конференции аграрников-марксистов, отец (а возможно, и Сталин) из двух пыжиковых шапок, висящих на вешалке рядом, по ошибке надел не свою. Ушанки отличались друг от друга лишь

цветом подкладки. По обоюдному согласию шапки обменены вновь не были. В единственной посылке, которую до своего ареста успела прислать мне мать, оказалась и эта шапка. Так, по иронии судьбы, ушанку Сталина я проносила весь срок своего заключения. Позже друзья, узнав от меня о том, что я пережила у оврага в Антибесе, шутя говорили, что шапка Сталина превратила меня в Ахиллеса, но без уязвимой пяты.

Я постепенно выходила из состояния шока. Ноги — точно не свои, свинцовые — сделались послушнее. Я стала воспринимать многообразие доходивших до меня звуков: скрип снега, гудение проводов, отдаленные человеческие голоса, шум деревьев. Вечер был морозный и ветреный, поэтому холод ощущался особенно мучительно. Ресницы мои покрылись инеем, и я с трудом открывала глаза. По мере того как оживал мой окаменевший мозг, я начинала мыслить и с напряженным усилием осознавать происшедшее. По пути к оврагу в первые минуты мной владел только страх перед небытием, инстинкт, заложенный в человеке, — жить, коль скоро он родился, — тот самый, что так часто приводит к подлости. Хотя, что было мне терять? Разве что тайную надежду увидеть когда-нибудь сына да любовь к Н. И., уже не существующему, но продолжавшему жить во мне близким и светлым. Это чувство было бы убито вместе со мною, так же как и письмо Н. И. «Будущему поколению руководителей партии».

Мы поравнялись с человеком в светлом сиблаговском полушубке, который предотвратил мой расстрел. Он бежал, чтобы успеть, и теперь стоял в ожидании нас, покрасневшийся, и рукавицей вытирал пот со лба. «Срочно ведите к «главному», — сказал он. Проходя мимо антибесского изолятора, я увидела, что надзиратель вынес мой чемодан. Мы свернули на дорогу, ведущую к Мариинску. Лесок, в котором осенью Ванек жег костер, показался мне небольшим и унылым, а поле, укрытое глубоким снегом, с еще не вывезенными, осевшими стогами сена, мертвым.

В Мариинске меня ввели в новый кабинет «главного», то есть Сквирского. Начальник следственного отдела Сиблага на сей раз был не таким, каким я привыкла его видеть, а более уравновешенным, точно укрощенным; исчезла злобная страстность, с которой он некогда взялся за дело. В первый момент он молча, не без любопытства, смотрел на меня — живую. Он слишком поторопился с исполнением и чувствовал облегчение оттого, что ему не придется сообщать, что выполнить очередное указание Москвы невозможно. Все случилось скоропалительно, мне даже не было предложено обжаловать приговор перед Верховным Советом, хотя я в тот момент об этом и не подумала. К чему эта бессмысленная оттяжка? И на какой суд жаловаться? Суда ведь не было. Так что и эта формальность — обжалование приговора — соблюдена тоже не была. Чего только не делали в обход закона!

Наконец Сквирский спокойно, с напускным равнодушием заговорил:

— Вот у нас вы молчали и скрывали контрреволюционную организацию молодежи, ну, а там к вам применяют такие средства, что заставят заговорить, там с вами церемониться не будут.

— Где это «там»? — спросила я. — И что же, разве смертный приговор отменен? Ведь еще мгновение, и меня бы не было в живых!

— Где это «там», вы сами увидите, а приговор от вас никуда не убежит.

Я поинтересовалась, кем он вынесен, я не смогла прочесть это от волнения, но Сквирский не ответил.

— Отведите в камеру, — крикнул он находившемуся за дверью конвойному.

Кухню в Мариинском изоляторе, пока я была в Антибесе, наконец достроили, и я успела там поужинать и позавтракать. На следующий же день меня увели к поезду. Хотелось знать, куда меня отправят. Но, уже наученная горьким опытом, я понимала, что на прямой вопрос конвоир не ответит, и решила прибегнуть к хитрости. Я подозревала, что путь мой лежит в Москву; и, желая убедиться в этом, спросила, разрешат ли мне взять свой чемодан в вагон или его отправят до Москвы багажом. Насколько мне было известно, вещи заключенных никогда багажом не отправляли. Но попавшийся на мою уловку конвоир ответил, что чемодан будет отправлен в Москву вместе со мной.

От волнения зашло сердце, я понимала, что Москва, то есть московская тюрьма, ничего хорошего мне не сулит. И что, по-видимому, приговор от меня действительно никуда не убежит.

Поезд, к которому меня привели, шел с Дальнего Востока. Вагон для перевозки заключенных — «столыпинский» — был прицеплен ближе к концу состава. Конвоир сдал старшему по вагону меня и пакет с моими документами, а также передал распоряжение не соединять меня с другими заключенными. Это предписание было трудновыполнимым. Я поднялась по ступенькам и была остановлена у начала узкого прохода между трехъярусными купе-камерами, затянутыми сверху донизу прочной сеткой-решеткой и окнами вагона, тоже в решетках, так что заключенные походили на зверей в зоологическом саду. В вагоне стояла невероятная духота и ужасающее зловоние. Затоптанный грязный коридор, всегда мокрый, в лужах от талого снега, стекающего с валенок конвойных, выходивших на станциях; спертый воздух от грязного потного белья заключенных; «аромат» отвратительной соленой рыбы и черного заварного хлеба (паек заключенных); жуткая вонь, проникающая в вагон из никогда не убиравшегося туалета, — все создавало в «столыпинских» особую атмосферу, превращавшую вчерашних людей в каких-то человекоподобных существ. Вагон был переполнен уголовниками: ворами, грабителями, бандитами-рецидивистами, что можно было легко понять по их разговорам и поведению. Ежеминутно слышалась изощренная ругань, причем женщины своей грубой фантазией брали верх над мужчинами. И сквозь это несмолкаемое сквернословие пробивались звуки песни. Тоскливо, сиплым, прокурренным голосом пела женщина: «Не для меня цветет весна, не для меня Дон разольется, а сердце бедное забьется восторгом чувств не для меня»...

Я стояла под охраной дежурного конвоира в начале коридора, возле туалета, ожидая, пока освободят для меня «купе», уплотнив соседнее. Кто-то из заключенных настойчиво просился (в неурочное время) в туалет, но получил отказ. Через несколько минут, когда я вместе с конвоиром шла к своему персональному «купе», обозленный урка наполнил кепку мочой и выплеснул ее на конвоира. Я шла чуть впереди, потому и меня не миновало это «удовольствие». Одежда моя, полуистлевшая в подвале, превратившаяся в лохмотья, пахнувшая сыростью, пропиталась и запахом мочи. Когда же я проходила мимо толпящихся за решеткой женщин с грязными, тупыми лицами и разукрашенными татуировкой полуголыми телами, сидящих «по моей вине» в еще большей тесноте, одна из них крикнула:

— Смотрите, смотрите, Блюхершу ведут!

— Блюхершу ведут! — хором подхватили остальные. — Им и раньше машины подавали, и теперь их с удобствами возют!

Напоминаю, поезд шел с Дальнего Востока, где командующим войсками в течение многих лет был Василий Блюхер, недавно расстрелянный, так что меня, вероятно, приняли за его жену.

Мы медленно продвигались на запад, вагон то отцепляли, то снова прицепляли уже к другому составу. Наконец добрались до Новосибирска. И там, в Новосибирске, произошел невероятный случай, который я не могу не вспомнить.

Неожиданно дверь в мои «хоромы» отперли, и передо мной предстал человек, которого я сразу узнала: то был один из двух охранников, приставленных к Н. И. во время нашей поездки в Сибирь в 1935 году, о которой я уже рассказывала. Трудно сказать, как он проник в вагон. Возможно, ему обеспечила это право форма сотрудника НКВД, а быть может, под каким-либо предлогом он добился и специального разрешения. Я с волнением, в полном недоумении и, надо сказать, достаточно враждебно смотрела на знакомое лицо, абсолютно уверенная в том, что при изменившихся обстоятельствах ждать хорошего от этого человека не приходится. И только хотела я спросить, с какой целью он явился ко мне, какая миссия теперь на него возложена, как он, приложив палец к губам, дал понять, чтобы я молчала. Положив рядом со мной огромный пакет, завернутый в бумагу и перевязанный шпагатом, он мгновенно удалился. Охранника этого звали, кажется, Михаил Иванович, фамилии его я не помню. В ту пору, когда мы путешествовали по Сибири, ему можно было дать около пятидесяти. Когда поезд тронулся, я

развернула пакет. В нем оказалась роскошная продуктовая передача, собранная заботливой, словно родной рукой. Там я обнаружила вареное мясо, сливочное масло, колбасу, белый хлеб — всего не помню. Но еще больше я была поражена, когда увидела плитки шоколада, конфеты и апельсины. Все походило на сказку, чудесное волшебство. В тех обстоятельствах принесенное можно было принять за мираж, но продукты были настоящие. Я отодрала кусочек апельсиновой корки, поднесла его к носу и почувствовала забытый приятный аромат, приглушивший отвратительный запах вагона. Жадными глазами поглощала я дары, но от волнения, граничившего с потрясением, смогла притронуться к ним лишь на следующий день. И содержимое передачи, и та, особенная осторожность, которую проявил Михаил Иванович, дали мне понять, что передача была сделана по его собственной инициативе. Москва вызывала меня из Мариинска, конечно, через Новосибирское Управление НКВД. Очевидно, Михаил Иванович, узнав об этом (случайно, а быть может, специально), выяснил, когда поезд прибудет в Новосибирск, и решился на поступок, который в то время можно было расценить как подвиг. Совершить его, как я предполагала, мог только человек, не изменивший прежнего отношения к Н. И. и считавший своим долгом перед его памятью помочь мне. Хочется думать так.

По мере продвижения на запад меня, как ни странно, все больше и больше раздражало «бескрайнее» пространство моей камеры — бескрайнее в сравнении с соседними, где заключенные ночью спали поочередно, полулежа или сидя, а те, кто уступал им места, стояли, прислонившись друг к другу. В моем же «купе» могло поместиться человек девять лежа. Мне было как-то неловко перед остальными заключенными — люди же! Хотя то было дно человеческого общества, несмотря на это пользующееся привилегиями у лагерного начальства. И те, и другие — и уголовники, и лагерная администрация — называли нас презрительно «контрики». Необычная передача, узнай о ней кто-нибудь из заключенных, разожгла бы еще большую ненависть ко мне с их стороны, но изоляцию мою ничто не нарушало. «Купе» мое было крайним, за стенкой помещался конвой. Только дежурный, наблюдавший за заключенными, ходивший взад и вперед, взад и вперед, задерживался возле меня дольше и внимательно в меня всматривался. Его, очевидно, поражало и мое одиночество при такой скученности в вагоне, и небывалая передача — от начальства! А я, глядя на маячившего перед глазами конвойного, вспоминала любимую песню отца, связанную с его тюремным дореволюционным прошлым:

Солнце всходит и заходит,
а в тюрьме моей темно.
Днем и ночью часовые
стерегут мое окно.

Поезд проезжал уже по европейской части Союза. Конец декабря, зимние дни коротки, а мне казались они невероятно длинными. Я с нетерпением ждала тьмы, а все не смеркалось и не смеркалось. Ночью становилось тише, прекращалась омерзительная ругань, звучавшая в течение дня непрерывно, точно пулеметная очередь. Хотелось уйти в себя, сосредоточиться и подумать, как противостоять обвинениям на будущих допросах, теперь, когда доносы Лебедевой легли дополнительным грузом на весы моей судьбы. Но на этом я никак не могла сосредоточиться. Я приближалась к Москве, и мне вспомнилось, как мучительно я покидала ее в июне 1937 года. Покидала, оставляя в тюремных застенках Н. И., еще не осужденного, но приговоренного к смерти не только до суда, но и до своего ареста, покидала, с болью отрывая от себя годовалого ребенка...

Это случилось неожиданно. В отношении себя я, по наивности, должно быть, никаких репрессий не ждала. Больше опасалась за мать. И меня тревожило в основном, что я не смогу устроиться на работу и прокормить ребенка. И вдруг звонок в дверь!.. Мы жили в Доме правительства у Каменного моста, в огромном мрачном здании, серым цветом своим похожем на московский крематорий. К тому времени этот дом, называемый теперь с легкой руки Ю. Трифонова «домом на

набережной», был уже наполовину опустошен арестами. Нас переселили туда из Кремля спустя два месяца после ареста Н. И. в очередную освободившуюся все по той же причине квартиру. Первый присланный счет за квартиру оплатить было нечем. Никаких сбережений Н. И. никогда не имел. Гонорар за свои литературные труды он перечислял в фонд партии, от зарплаты ответственного редактора «Известий» отказался. Получал деньги лишь в Академии наук СССР, действительным членом которой он был. Дом правительства находился в ведении хозяйственного отдела ЦИКа, и я написала маленькую записочку Калинин: «Михаил Иванович! Фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита — Николая Ивановича Бухарина, платить за квартиру не имею возможности, посылаю Вам неоплаченный счет». Следующий прислан не был.

Мы жили вместе: первая жена Н. И. Надежда Михайловна, его отец Иван Гаврилович, я и ребенок. Надежда Михайловна лежала почти не поднимаясь, а рядом, в ящике ночного столика, был приготовлен яд на случай ее ареста. Она, как я уже упоминала, отослала Сталину свой партийный билет и написала ему, что не желает быть членом партии в то время, когда Бухарину предъявляют необоснованные, чудовищные обвинения, за это она теперь ждала расплаты.

Старик отец, математик (до революции — преподаватель женской гимназии), потрясенный арестом сына, обессиленный тревогой за его дальнейшую судьбу, в те дни часто повторял одни и те же слова: «Николай — моя гордость! Что же это случилось, не могу понять?! Мой Колька — предатель?! Это же вздор!» Затем, чтобы отвлечься, он решал задачи, часами сидя за столом, заполняя один лист за другим алгебраическими формулами. Будто пытался извлечь «корень зла» и спасти погибающего сына. Но формула истории оставалась за пределами его понимания. Иван Гаврилович намеревался написать Сталину о сыне. Возможно, он это и сделал. И временами были у старика проблески надежды, что вернется Николай, — ведь сам Сталин ценил его так высоко: «Разберутся, не может быть, чтобы не вернулся», — утешал он себя и старался ободрить меня.

В тяжкие месяцы после начала следствия с нами жила и няня Паша — Прасковья Ивановна Иванова. Я находилась почти неотлучно возле Н. И., а Прасковья Ивановна ухаживала за ребенком. Она знала меня с детства, вырастила моего двоюродного брата, сына моей тетки, которая в течение 8 лет воспитывала потом моего Юру. Прасковья Ивановна стала для нас родным человеком. Когда случилась беда, она по моей просьбе без колебаний оставила работу и помогала нам безвозмездно — платить было нечем. После моей высылки она вместе с Юрой жила у моей матери до ее ареста, т. е. до января 1938 г., когда сына забрали в детский дом, несмотря на просьбу няни оставить ей ребенка, к которому она была привязана. Прасковья Ивановна участвовала в поисках Юры, стала первой, увидевшей его, полуживого, в детском приемнике. Она же, предъявив письмо Ивана Гавриловича, буквально выцарапала больного мальчика оттуда.

Но это было позже. А в июне 1937 года, то есть через три месяца после ареста Н. И., однажды, когда я сидела у постели Надежды Михайловны, а Иван Гаврилович все решал свои задачи, раздался звонок в дверь. «Это за мной», — сказала Надежда Михайловна и протянула руку к ящику ночного столика, чтобы взять яд, а я пошла открывать. У нас уже давно никто не бывал, кроме моей старой бабушки, но та предварительно звонила по телефону. Мать поддерживала нас материально, но по обоюдной договоренности мы друг к другу не ходили. Я берегла ее. И вдруг — звонок в дверь. Вошел человек в форме с кожаной сумкой в руке.

— Как бы повидать Анну Михайловну, — произнес он подчеркнуто вежливо, — по-видимому, это вы?

Я подтвердила.

— Предъявите паспорт, — сказал он, пройдя в комнату.

— Зачем же паспорт, разве на слово вы мне не верите? — спросила я, еще ничего не подозревая.

— Почему же, верю, верю, но такова формальность, я должен проверить это документально.

Я заволновалась, почему-то решила, что мне сообщат что-то страшное о Н. И., — скорее всего, он не выдержал мучений и скончался. У меня тряслись от волнения руки, когда я протянула паспорт. Сотрудник НКВД положил мой документ в сумку (больше я его не видела) и вытащил небольшую бумажку — первое постановление обо мне, подписанное Ежовым.

Мне предложено было выехать в один из пяти городов, — по моему выбору: Актюбинск, Акмолинск, Астрахань, Семипалатинск, Оренбург. Срок оговорен не был (решение о пятилетней ссылке было прислано потом).

— Поезжайте в Астрахань, — посоветовал мне сотрудник НКВД, — там Волга, там рыба, фрукты, арбузы — великолепный город.

— Никуда не поеду, — заявила я уверенным тоном, — ни в Семипалатинск, ни в Астрахань. Дело Бухарина еще не решено, и вы не имеете права применять ко мне репрессивные меры.

Я мотивировала свой отказ еще и тем, что за время следствия над Н. И. я была настолько замучена и ослаблена, что не смогла бы забрать с собой годовалого сына. Пришедший посоветовал оставить мальчика в Москве. Но я вовсе не желала расставаться с ребенком. Да и кто бы взял «прокаженного» ребенка — сына Бухарина!

— Ну это вы напрасно, напрасно так думаете, ребенок ни при чем!..

Однако в действительности и ребенок оказывался всегда виноватым.

Отказываясь ехать в ссылку, я, конечно, великолепно понимала, что борьба моя неравна и бесполезна, но сдаваться без боя не хотелось.

— Постановление подписано Ежовым, — напомнил сотрудник НКВД.

— Мне безразлично, кем оно подписано. Вы меня можете выдворить отсюда только силой.

Мне было предложено расписаться в том, что я ознакомилась с решением о моей ссылке. Я это сделала, а на обороте документа написала, что в ссылку ехать отказываюсь, и изложила причины.

Дня два меня никто не тревожил, но я уже готовилась к отъезду, правда, скорее психологически, ибо вещей у меня было настолько мало, что особого времени на сборы не требовалось. Ценнейшую огромную библиотеку увезти не только в ссылку, но даже из Кремля в Дом правительства я не могла, и не только потому, что она не уместилась бы в той квартире, но и потому, что она была опечатана. Случайной собственностью оказалась обстановка кабинета Н. И. Однажды какая-то мебельная фабрика прислала ему гарнитур. Н. И. был возмущен столь дорогим подарком, поехал на фабрику и оплатил стоимость кабинета. Таким образом, в Доме на набережной, кроме картин Н. И., которые я перевезла из Кремля, ценного ничего не было.

Дня через два, около десяти вечера, за мной была прислана шикарная черная машина, и сотрудник НКВД любезно пригласил меня на Лубянку. «Ненадолго, ненадолго», — дважды повторил пришедший. Мне и в голову не приходило, что я могла бы не вернуться. В кабинете сидели двое: Матусов (кажется, он был в должности начальника одного из отделов НКВД) и Фриновский — заместитель Ежова.

— Что вы бунтуете, Анна Михайловна, разве вы не понимаете, что с нами шутки плохи, — сказал Матусов. — В ссылке вам будет обеспечена забота, работа и квартира. По отношению к вам эта мера кратковременна, и вы будете скоро возвращены.

— Ну а если вы хотите избежать ссылки, — добавил Фриновский, — надо «сжечь все мосты».

— Что вы этим хотите сказать? — насторожилась я.

— Это означает, — пояснил Фриновский, — отречение от Бухарина как от врага народа, опубликованное в печати.

— Вы сделали мне подлое предложение, вы оскорбили меня, — крикнула я, — лучше Астрахань!

И возмущившее меня предложение Фриновского больше не обсуждалось. Я просила дать мне перед отъездом свидание с Н. И. Я знала, что больше ни-

когда его не увижу, и мне хотелось проститься с ним. Но, ссылаясь на то, что Н. И. подследственный, мои собеседники мне в этом отказали.

— Но раз подследственный, — заметила я, — то никто до окончания следствия и суда не имеет права называть его врагом народа.

Оба промолчали, но пообещали, что после окончания следствия меня вызовут из ссылки для свидания с Н. И. Я, конечно, понимала, что они лгут.

Через несколько дней приехал сотрудник НКВД, чтобы отправить меня в Астрахань. Была прислана не только легковая машина, но и грузовая, как мне объяснили, для перевозки имущества. Мое «имущество» уместилось в чемодане и двух рюкзаках. Но раз уж грузовик был прислан, я решила взять еще что-нибудь. С давних пор в прихожей квартиры Н. И. в «Метрополе», затем в Кремле, стоял большой деревянный сундук, куда он складывал экземпляры газет, главным редактором которых был, — когда-то «Правды», в последнее время «Известий». Я мгновенно выбросила из сундука газеты и стала загружать его зимней одеждой, которую предполагали мне выслать посылкой, вещами, принадлежавшими Н. И. Положила его мольберт, масляные краски и кисти, мою любимую акварель «Эльбрус в закате». Сундук был большой, могли бы уместиться и другие его картины, но я решила, что они принадлежат скорее отцу Н. И., чем мне. И я оставила их в Москве, боясь огорчить Ивана Гавриловича, он любил картины сына. Положила в сундук старый костюм Н. И., забракованный Сталиным перед поездкой в Париж, фетровые валенки, в которых зимой он ходил на охоту, спортивный костюм, старую кожаную куртку, наконец, две пары сильно поношенных сапог. Мне было дорого все, что напоминало о нем. И я тогда надеялась, что будет время, когда я покажу вещи, принадлежащие Н. И., сыну. Сотрудник НКВД наблюдал за мной молча, но старые сапоги переполнили чашу его терпения, и он спросил меня, для чего я это барахло повезу, и посоветовал лучше выбросить его. А я нашла, что ответить:

— Чтобы имущества было больше и чтобы вы видели и запомнили, что имел фашистский наймит Бухарин, «продавшийся за тридцать сребреников».

К этому времени я уже слышала по радио речь (не помню точно чью, поэтому не решаюсь назвать фамилию оратора), в которой было сказано, что Бухарин продан фашистам за тридцать сребреников.

Не знаю, что понял тот сотрудник, возможно, и его жизнь вскоре оборвалась. Но так или иначе огромный сундук погрузили на грузовик и отправили багажом.

Затем — Астрахань. С какой отчетливостью предстала она перед моими глазами! Я попала туда буквально через день после окончания суда над высшим командным составом армии: Тухачевским, Якиром, Уборевичем, Корком и другими.

Астрахань — оживленная и удивленная, потрясенная и безразличная ко всему происходящему; Астрахань — душная, пыльная, вся в цветении белой акации. Мы — местная сенсация, на нас показывали пальцами. Слухи о том, что прибыли семьи Радека, Бухарина и семьи ранее прославленных полководцев, в те дни заклейменных изменниками Родины, шли от самих сотрудников НКВД и их жен, от местных жителей, у которых мы поселились. Главная — горбатая, уходящая вверх улица Ленина с установленными на столбах удлиненными серыми репродукторами-громкоговорителями... Надо было затыкать уши, чтобы не слышать: «Стерты с лица земли шпионы, предатели, изменники, хотевшие...» и т. д. Репродукторы периодически повторяли одно и то же. Около них собирались толпы народа. Газеты расхватывали ранним утром с молниеносной быстротой, их не хватало, ибо круг читателей в те дни стал много шире. Бухарин не был тогда «гвоздем программы», я еще ждала. Склоняли имена военных, осужденных по закрытому процессу. Их жены и дети, подавленные, полубезумные, ходили по центральной улице (там же, на улице Ленина, находилось здание астраханского НКВД), похожие на погорельцев, робко прислушиваясь к тому, что вещал бездушный громкоговоритель, и старались увести детей подальше от людской толчеи. В Астрахани не оказалось ни работы, ни заботы, ни квартиры, обещанных

в Москве. Всех нас свела судьба под одной крышей в «заезжей», где мы жили первые дни ссылки в двух смежных комнатах, густо уставленных койками. Астраханский НКВД предложил нам самим искать жилье на частных квартирах. Это было нелегко сделать не только по материальным соображениям (я могла существовать в Астрахани лишь благодаря материальной помощи матери), но и потому, что из-за наших громких фамилий и положения ссыльных даже те, кто имел возможность уплотниться и нуждался в деньгах, боялись пустить нас. Потребовалось специальное указание НКВД, чтобы в конце концов мы разместились на квартирах местных жителей. Рабочий пароходства, у которого сняла комнату я, рассуждал так: «У них там наверху часто все меняется: сегодня они распорядились пустить вас на квартиру, а завтра они же меня обвинят в том, что у меня на квартире жила жена Бухарина».

В «заезжей» особенно поразила меня ссыльная полуграмотная старуха латышка, домработница Яна Эрнестовича Рудзутака. Рудзутак не был женат, и в течение многих лет эта женщина заботилась о нем. Она была привязана к нему, как к сыну. Глаза ее не высыхали от слез. Не только всем нам, но даже прохожим на улице, рыдая, старушка рассказывала, что Рудзутак происходил из бедной семьи, батрачил на хуторе, что она его помнила мальчиком, ходившим по домам и просящим милостыню. Она рассуждала вполне логично: «Раз он выбрался из нищеты и стал членом правительства благодаря Советской власти, он не мог совершать преступления против этой власти». В полном отчаянии хваталась бедная женщина за голову руками и, сидя на койке в «заезжей», вся в слезах, истерически кричала: «Изверги, изверги! Только изверги могли арестовать Рудзутака (кто они, эти изверги, она не понимала), они его еще и убьют!»

К моменту моего возвращения из Новосибирска в Москву, как я предполагала, и не ошиблась, Я. Э. Рудзутака в живых уже не было. Имя его упоминалось в числе «правых заговорщиков» на бухаринском процессе, по всей вероятности, потому, что Рудзутак был заместителем председателя Совнаркома не только при Молотове (когда был арестован), но и при Алексее Ивановиче Рыкове. Рудзутак расстреляли в июле 1938 года.

Тогда, в Астрахани, мне вдвойне было больно смотреть на рыдающую старуху, потому что она возбуждала во мне воспоминания о том, кого она оплакивала, пусть и мимолетные, малозначительные, главным образом связанные с моим детством.

Ян Эрнестович Рудзутак бывал у нас дома. Мне вспоминалось его милое, добродушное лицо, усталые выразительные глаза, смотревшие сквозь очки. Пробывший десять лет на царской каторге, он еле заметно прихрамывал: нога была повреждена кандалами. Он казался мне слишком деловым и малоразговорчивым. Но однажды после окончания заседания он неожиданно развеселился и с заразительным смехом, как ребенок с ребенком, играл со мной в жмурки, завязав глаза полотенцем, а я визжала в предчувствии, что вот-вот он меня поймает. Ян Эрнестович был большим любителем природы, он увлекался цветной фотографией, которая у нас еще делала первые шаги. Он приносил огромное количество фотографий российских и кавказских пейзажей, сделанных с исключительным мастерством и тонким художественным вкусом. Он любил рассказывать о чудесах американской техники, кажется, был в командировке в Америке. Однажды у себя на даче он показал мне радиолу—радиоприемник, принимающий все страны мира, и одновременно проигрыватель. В то время это было чудо. Он застенчиво улыбался, когда отец, если не называл его по имени-отчеству, то обязательно товарищ Рудзуэтак, а не Рудзутак. А для меня Ян Эрнестович в детстве был дядя Ян.

Тщетно старалась я успокоить старушку. Она рыдала, всхлипывая, даже по ночам. Утешить ее было нечем, и, когда я глядела на нее, у меня самой катились по щекам слезы.

Жена и четырнадцатилетний сын И. Э. Якира были травмированы вдвойне: мало того, что между арестом и расстрелом Якира прошли лишь считанные дни—срок, за который человеческий разум не в состоянии осмыслить случившееся, у Якиров к этой трагедии добавилась еще и вторая. Незадолго до их приезда в

Астрахань в газете (кажется, в «Правде», точно не помню) было опубликовано отречение жены от И. Э. Якира как от врага народа, к которому, по ее словам, она отношения не имела, и это причиняло и матери, и сыну невыносимую боль. Со мной такой злой шутки не сыграли. Но то, что мне предложено было так поступить по отношению к Н. И., говорит о том, что в органах НКВД такая форма отречения жен от видных и ранее популярных деятелей была продумана. Полагаю, тот же Фриновский, если не по собственной инициативе, то по указанию Сталина, это мог сделать без разрешения жены Якира. Возможно же, отречением она пыталась спасти сына. Но в то время я, видевшая переживания Сарры Лазаревны, ни на минуту не усомнилась, что ее «отречение» было фальшивкой.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспомнился и еще один оскорбительный для Сарры Лазаревны эпизод, после которого она долго не могла прийти в себя. Уже во время войны, зимой 1942 года, нас этапом отправляли из Яйского лагеря в каторжный лагерь Искитим. Лагерь занимался производством извести допотопным способом, вредным для здоровья, так что мужчины в большинстве своем умерли. Один из конвоиров, украинец, подошел к жене Якира и сказал: «Что, Якир, не помогло тебе отречение, все равно сидишь, сука ты, а не жена!»

Возможно, уважение к Ионе Эммануиловичу внушил конвоиру его отец, воевавший под командованием Якира, или тот конвойный сам помнил прежнее отношение к Якиру и не очень верил в причастность его к преступлениям, а быть может, по своим нравственным принципам отречение от мужа в любом случае он считал поступком неблагоприятным — разгадать было невозможно.

Я несколько отвлеклась от астраханских воспоминаний; как раз этот эпизод, столь тяжкий для жены Якира, который она так болезненно переживала, не мог вспомниться мне по пути в Москву, он произошел значительно позже. А тогда перед моими глазами был сын Якира — мальчик, которому я очень симпатизировала. Петя вошел в «заезжую» вместе с матерью, они держались за руки, — Сарра Лазаревна еле шла. Лицо мальчика было мертвенно-бледным и казалось еще бледней в обрамлении густых, жгуче-черных волос. За десять страшных дней (приблизительно столько времени прошло с момента ареста его отца) он очень похудел и часто подтягивал свои светлые спадающие брючки. Петя был красивым мальчиком. Его темные, совсем еще детские глаза выражали страдание. Он оглядывался по сторонам, старался найти знакомых ему детей той же судьбы и примерно того же возраста. Он увидел дочерей Уборевича, Гамарника, Тухачевского, затем сел на свободную койку и громко сказал:

— А мой папа ни в чем не виноват, и вообще все это выдумки, ерунда, вздор!

— Петя, перестань, молчи! — испуганно оборвала его мать. Он бросил испытующий взгляд на окружающих, царил безмолвие, только у сидящей рядом со мной Нины Владимировны Уборевич (жены командарма) загорелись глаза, и она произнесла: «Молодец, мальчонка!» Свою дочку Мирочку мать щадила и не говорила, что отец расстрелян. Об этом сообщил ей тот же Петя; от этого мальчика скрыть ничего нельзя было. Петя был единственным ребенком, который громко заявил о непричастности своего отца к преступлениям, и, я думаю, единственным из детей, который это до конца понимал и был убежден в невиновности остальных обвиняемых, и не только военных.

И если действительно верно, что Иона Эммануилович перед расстрелом крикнул «Да здравствует Сталин!», то его четырнадцатилетний сын уже тогда Сталина считал Главным террористом.

В Астрахани я жила довольно уединенно, лишь раза два забегала к Нине Владимировне Уборевич. Она настойчиво приглашала меня к себе, нас связывали воспоминания об Иерониме Петровиче, с которым я была знакома. Благодаря своей неукротимой энергии Нина Владимировна добилась получения казенной квартиры — двух комнат в старом полуразрушенном деревянном доме — и сумела эту квартиру отремонтировать. Нина Владимировна привезла с собой кое-какую обстановку, и у нее было по-домашнему уютно. С остальными ссыльными я встречалась от случая к случаю, раз в десять дней, когда мы приходили отмечать свой документ, выданный взамен паспорта. Ни с кем из ссыльных жен, кроме

жены Карла Радека Розы Маврикиевны, знакома я раньше не была. Однажды, когда я бродила по Астрахани в тщетных поисках работы, я встретила Розу Маврикиевну. Она остановилась, чтобы поговорить со мной, но я разговаривать с ней демонстративно отказалась. Она была потрясена моим поведением и крикнула мне вслед, что она имела свидание с Карлом, и мне было бы интересно с ней поговорить, но я даже не обернулась. Разумеется, это было еще до процесса так называемого «право-троцкистского блока», и я, читавшая показания Радека на предварительном следствии и на его процессе, в то время не могла простить ему клеветы на Николая Ивановича. Было еще одно существенное обстоятельство, объясняющее мое поведение, но об этом ниже. Так или иначе, теперь, оглядываясь назад, своего поведения я оправдать не могу.

Ежедневно я ездила на вокзал, чтобы достать газету и быть в курсе событий. У хозяина квартиры радио не было, а в городе газеты раскупались ранним утром. На вокзале у газетного киоска как-то я встретила и Петю Якира.

— Вы, кажется, жена Бухарина? — спросил меня Петя. Хотя ему это наверняка было известно, он хотел моего подтверждения. Убедившись в том, что я жена Н. И., он сразу же перешел на «ты».

— Ты комсомолка?

Я ответила ему, что была комсомолкой, но он этого оттенка в моем ответе не уловил.

— И меня недавно в комсомол приняли, — с радостью сообщил мальчик, — как ты думаешь, куда нам обратиться, чтобы встать на комсомольский учет? Иначе мы выбудем из комсомола.

Мне пришлось огорчить Петю и объяснить ему, что раз мы ссыльные, то уже автоматически выбыли из комсомола. Он растерянно посмотрел на меня, внезапно осознав положение, больше о комсомоле никогда не вспоминал.

5 сентября — зловещая дата в жизни астраханских ссыльных. О том, что все ссыльные жены арестованы, рассказал мне пришедший с работы хозяин квартиры. Он сразу же предложил мне подыскать другую комнату. Ему не очень-то хотелось, чтобы эти, как он выразился, «энкавэдэшники» вторгались к нему в дом и производили обыск. Я была взволнована его страшным сообщением и тотчас же побежала к Нине Владимировне Уборевич, чтобы проверить, не ложные ли это слухи, ее адрес был единственный, который я знала. Дверь открыл незнакомый молодой человек. Это оказался брат Нины Владимировны Слава, приехавший в Астрахань, чтобы помочь сестре. Слухи подтвердились, жена Уборевича была арестована. И действительно, кроме меня, из ссыльных жен оставалась на свободе только жена Якира. Слава с горечью рассказывал, что дочку Уборевичей, двенадцатилетнюю Мирочку, не оставили ему, несмотря на настоятельную просьбу. Ее, как и остальных детей арестованных, отправили в астраханский детский приемник. В дальнейшем они находились в детском доме, кажется, где-то на Урале. Затем, когда подросли, были арестованы и они.

После 5 сентября я ежедневно бывала у Якиров. Там собралась большая семья. К Сарре Лазаревне из Свердловска приехала родная сестра Миля с двумя мальчиками-подростками. Ее муж, командующий Уральским военным округом Гарькавый, был арестован в начале 1937 года и покончил жизнь самоубийством в тюрьме (он разбил голову о стенку камеры). Жена Гарькавого не была ссыльной, но впоследствии и она оказалась в тюрьме. Из Одессы приехал и их отец — чудесный, добрый, умный скрипач Лазарь Ортенберг, ему тогда было уже за семьдесят. Когда нас отправляли этапом из Астрахани в лагерь, он нашел наш поезд и вагон. Мы увидели его в окно. Старик шел с трудом, опираясь на палку, и смотрел на нас скорбными глазами. Когда поезд тронулся, он бросил палку, сколько мог бежал за поездом (откуда только взялись силы) и, сняв шапку, несмотря на мороз, прощался с нами.

Я сроднилась с этой семьей, вместе было легче переживать наше великое горе. Сестры старались меня обнадежить, обе убеждены были, что Н. И. не расстреляют: «Рука не поднимется!» Только мудрый и трезво мыслящий старик Ортенберг считал, что надо готовиться к худшему.

В те дни я еще ближе узнала Петю Якира. Бесстрашный и неукротимый, прямолинейный и способный — эти черты мальчик унаследовал от отца. Будоражающие душу события на всю жизнь наложили печать на его неугомонную, мятежную натуру. Возбужденный трагическим временем, Петя всю свою энергию стремился воплотить в действия, в добрые дела. Он ухитрился сохранить дорогие ему фотографии отца: забрался на чердак, под крышу дома, где они жили, и надежно спрятал эти фотографии. Постоянно он крутился возле тюрьмы, пытаясь сообщить арестованным матерям о детях. Петю всегда отгоняли от забора тюремного двора, где во время прогулки можно было видеть заключенных через щели в ограде. Он часами простаивал возле тюрьмы, и это было замечено тюремщиками. Наконец ему удалось проникнуть в жилой дом, расположенный напротив тюрьмы, и с разрешения жильцов пройти в одну из квартир. Расчет был точный: расположение камеры, где сидели арестованные матери, Петя узнал заранее. Войдя в квартиру, он долго стоял у открытого окна, или, возможно, на балконе (точно не помню) с прикрепленным к груди листом бумаги, на котором было крупными буквами написано: «Мамы, не волнуйтесь, детям хорошо, они в астраханском детском приемнике»... «Козырек», или, как называли его еще, «намордник», — деревянный щит на тюремном окне — был не столь высок, и матери, увидевшие Петю, были взволнованы до слез и поражены его находчивостью. Каждый день он бегал в детский приемник, чтобы повидать дочерей Уборевича, Гамарника, Тухачевского и других, старался принести им что-нибудь вкусное. Сарра Лазаревна рассказывала, что он перетаскал туда все варенье, привезенное дедушкой из Одессы. К детям Петю не пускали, и он переговаривался с ними через окно. Его сверстников лишили не только отцов, но и матерей, содержали в детприемнике взаперти, как в тюрьме. Несправедливость мальчик усматривал не только в этой жестокости, но и в том, что сам он оставался жить в семье, со своей матерью и свободно бегал по Астрахани, в то время как остальные дети были и этого лишены. «Ах, как несправедливо, как несправедливо, — сказал мне однажды Петя, когда я вместе с ним подходила к детприемнику. — Я живу с мамой, а у моих товарищей матери отобраны!» Бедняга, тогда он еще не знал, что ждет его в самом ближайшем будущем.

Первого сентября Петя пошел в астраханскую школу и, несмотря на свою страшную для тех дней биографию, быстро завоевал авторитет товарищей. Однажды вместе с мальчишками-школьниками он подошел к детскому приемнику. Кто-то из догадливых школьников, чтобы дать знать детям, что пришел Петя, бросил в окно не то камень, не то комок грязи. Стекло разбилось, мальчишки, испугавшись, разбежались, а Петя остался один. Воспитательница детского приемника подошла к нему, чтобы узнать, кто разбил окно. Не желая впутывать в эту историю новых друзей, он принял вину на себя. Как только женщина узнала Петину фамилию, она сразу же сказала:

— Все понятно, раз ты Якир, значит, ты террорист, я стояла возле окна, а ты хотел меня убить.

И Петю отправили в НКВД.

Придя под вечер к Якирам, я застала Сарру Лазаревну в страшном смятении — мальчик до сих пор не вернулся из школы. Дедушка и тетка волновались не меньше, но старались успокоить мать. Мы — я и Слава, которого я застала у Якиров, разыскивали Петю по городу, но наши поиски не увенчались успехом. Мы возвратились в двенадцатом часу ночи, а вслед за нами явился и Петя. Он рассказал, что его задержали в милиции и требовали подписать протокол, где было сказано, что он настроен против Советской власти. «А я ответил им, — рассказывал Петя, — что я вовсе не против Советской власти, но я не согласен с ее некоторыми мероприятиями: например, я против того, чтобы детей отбирали у матерей». Про остальные «мероприятия» мальчик умолчал, а возможно, просто не считал нужным повторять сказанное при матери, чтобы не волновать ее. С мальчишеской гордостью рассказывал он, что подписал протокол допроса. Тогда он еще не понимал, что тем допросом был заложен первый кирпичик в фундамент его бесконечных тюремных мытарств. И всей его последующей драматической и страдальческой жизни. Таким был четырнадцатилетний Петя Якир.

Хозяин все напоминал и напоминал мне, чтобы я от него съехала, но комнату найти никак не удавалось. В конце концов я решила принять предложение Славы и переехать к нему в ту квартиру из двух маленьких комнат, которую получила еще Нина Владимировна и где он теперь оставался один. Я несколько раз отказывалась, потому что казалось мне, что Слава был заинтересован в моем переезде не только из соображений облегчения моей участи, и мне хотелось избежать территориальной близости с ним. Но выхода не было никакого, и я решилась. С работой тоже вроде бы что-то засветило: директор рыбоконсервного завода обещал взять меня на должность секретаря — это было согласовано с астраханским НКВД, и 21 сентября я собиралась приступить к работе. А 20 сентября пришел ко мне Слава, чтобы помочь переехать, лучше сказать — перейти к нему на квартиру. Свой деревянный сундук я решила временно оставить, пока не подыщем транспорт. И как ни печальны были обстоятельства, мы сидели за столом и доедали великолепный сладкий сочный арбуз. Только поднялись, чтобы идти, как раздался стук в дверь... Ордер на обыск и арест был предъявлен. Арбуз помешал нам уйти вовремя, и бедному хозяину квартиры пришлось присутствовать при моем обыске и аресте. Рылись и в его вещах.

Во время обыска мне удалось спрятать в туфлю, под стельку, фотографию Н. И. и пронести ее в тюрьму. Вряд ли я догадалась бы так поступить, если бы Слава не рассказал мне, что при своем аресте Нина Владимировна спрятала таким же образом фотографию Иеронима Петровича. Вторая фотография, привезенная мной в Астрахань (обе случайно сохранились после обыска в кремлевской квартире), где Н. И. был сфотографирован в обнимку с Кировым — оба радостные, смеющиеся, — была отобрана. Обыскивающий был явно удивлен, что Бухарин запечатлен с Кировым в дружеской позе. В его представлении логичнее было бы обнаружить фотографию Бухарина с направленным на Кирова револьвером...

В коридоре астраханской тюрьмы я столкнулась с женой Якира — нас арестовали одновременно. Обе мы попали в камеру, где с 5 сентября 1937 года сидели жены Гамарника, Тухачевского, Уборевича, старуха латышка — домработница Я. Э. Рудзутака, опухшая от слез, и еще две женщины, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде. Нас встретили со слезами, рассказывали, как они были взволнованы, когда увидели в доме напротив тюрьмы Петю Якира и прочли написанные им слова: «Мамы! Детям хорошо...» Через несколько дней старик Ортенберг подошел к ограде тюремного двора во время нашей прогулки, сообщил дочери, что Петю увели сразу же после ее ареста: сначала в детский приемник (так мальчик достиг «справедливости»), затем, через три-четыре дня, — в тюрьму. Дедушка видел внука сквозь щели тюремного забора. Нам он громко поведал: «Петя возомнил себя большим преступником. Ходит, заложив руки назад, и крутит задом».

Астраханская тюрьма запомнилась мне не столько потому, что была первой на моем адовом пути, сколько потому, что она была единственной в своем роде. Сказать, что эта тюрьма была безрежимная, значит еще ничего не сказать. Надзирательница перед отправкой из астраханской тюрьмы в этап могла пожелать нам всего хорошего, а меня как самую молодую даже поцеловать. Тюремными надзирателями работали исключительно женщины, это была женская тюрьма, и звали их заключенные по имени и отчеству, такова была тамошняя традиция, так повелось...

Надзирательница Ефимия Ивановна — женщина средних лет, худая, сутулая, плоскогрудая и морщинистая, подстриженная по-мужски, носила гимнастерку защитного цвета, присборенную сзади и перетянутую широким кожаным поясом с висящей на нем связкой гремящих ключей от камер. Заядлая курильщица, она часто вытаскивала из черного кисета щепотку махорки, плотно закручивала ее в газетную бумагу, зализывала языком свою «сигарету» и без конца дымила, отчего и пальцы, и зубы ее пожелтели.

Она сгорала от любопытства: таких заключенных, с фамилиями, известными даже ей, астраханская тюрьма ранее не видела. Ефимия Ивановна часто заходила

к нам в камеру, казалось, зло на нас смотрела, но вдруг неожиданно расплывалась в улыбке и, покачивая головой и иронически улыбаясь, произносила: «Кхи!»

Она сердилась, когда мы долго умывались. В баню нас не водили, и приходилось мыться основательно. К тому же нам доставляло удовольствие, выбравшись из душной и тесной камеры, плескаться в воде. Ефимию Ивановну это раздражало, она нас всегда торопила и покрикивала: «Не мойтесь по предметам, по предметам не надо, дурная у вас привычка, целый час жди вас!»

Когда отпирали камеру, чтобы накормить нас, она, разливая по мискам баланду, виноватым тоном каждый раз сообщала: «Обратно горох!» или: «Обратно лапша!»

В астраханской тюрьме в основном фигурировала моя девичья фамилия: фамилия мужа то появлялась, то непонятным образом исчезала, иногда упоминались обе фамилии, а бывало, что и одна — Бухарина. Кстати, следователь, который по указанию Москвы вызвал меня всего лишь один раз (впрочем, так же, как и всех остальных арестованных жен), для того чтобы заполнить анкету, не знал, с кем имеет дело. На вопрос: где работал муж, я ответила: «Редакция «Известий». «Должность назовите, — сказал следователь, — в редакции «Известий» мог работать и курьер, и Бухарин». Я уточнила. «Здесь шутки неуместны, — заметил следователь, — я могу вам Бухарина в дело вписать, и лучше вам от этого не будет». Пришлось мне убеждать следователя, что я не шучу. Следующий вызов был лишь для объявления приговора — 8 лет исправительно-трудовых лагерей.

А вот Ефимия Ивановна довольно скоро узнала, что я жена Н. И. Однажды под вечер, в свое ночное дежурство она зашла в камеру и повелительным тоном произнесла: «А ну-ка, Бухаркина, подь ко мне в коридор!» Раздались легкие смешки — показалось забавным, что и фамилии Н. И. она как следует не знала, а только приблизительно — Бухаркин. Сейчас мне кажется странным, что мы могли тогда смеяться, но смеялись в камере не так уж и редко. Вероятно, то был смех от полного отчаянья и нервного напряжения: не только уничтожены наши мужья, но и отобраны дети. Кроме того, в той камере мы чувствовали себя равными среди равных — тухачевские и якиры, бухарины и радеки, уборевичи и гамарники: «На миру и смерть красна!» К тому же думалось нам, что при создавшемся положении и детям без нас легче будет выжить, если они будут детдомовские, «государственные»... А эта комичная надзирательница доводила нас до смеха и видом своим несуразным, и неумелой суровостью, и удивительной тупостью.

«Бухаркина! Сказала тебе — подь ко мне в коридор!» — повторила Ефимия Ивановна, потому что я медлила. Я как-то была ошарашена: подумала, почему же она меня одну вызывает. Образовалось уже стадное чувство: всех нас выслали из Москвы, все мы получили приговор о пятилетней ссылке, одновременно отправили в этап и в конце концов расстреляли сидевших со мной жен Гамарника, Тухачевского и Уборевича.

Надзирательница усадила меня за свой маленький «служебный» столик, на котором лежал ее черный кисет, задымила махоркой. «Побеседуем, Бухаркина! — сказала Ефимия Ивановна. — Расскажи-ка ты мне, как ты со своим шпионом жила? Что, скажешь, не знала, что он шпион? А рубаха-то у тебя шелковая (на мне была обычная трикотажная рубаха), на какие деньги он куплял ее? Что, скажешь, не знала? Конечно, знала, потому и сидишь, миленькая. И кто бы мог подумать, что Бухаркин шпион! Сестра моя его шибко уважала»...

Разговор произвел на меня удручающее впечатление, я сочла бессмысленным возражать надзирательнице. От беседы я отказалась, и Ефимия Ивановна вернула меня в камеру.

Вторая надзирательница (имени и отчества ее я не помню), сменная Ефимии Ивановны, та самая, которая перед отправлением из астраханской тюрьмы в этап меня расцеловала, тоже была необычна. В ее обязанности входило пресекать связь между камерами. Но именно она эту связь с увлечением осуществляла. Однажды она принесла мне передачу из соседней камеры от жены Радека Розы Маврикиевны — полбуханки вкусного астраханского белого хлеба. Роза Маврикиевна имела возможность получать передачи от дочери Сони, которая к тому

времени еще не была арестована. В хлеб была воткнута маленькая записочка, и, чтобы я не проглотила ее, надзирательница предупредила меня об этом. В записке было сказано: «Знай, что с Н. И. будет все то же самое,—процесс и лживые признания». Про эту записочку, полученную в октябре 1937 года, я вспомнила во время процесса Бухарина в марте 1938 года. Поведение Радека и Бухарина на процессе безусловно не однозначно, но для того, чтобы обнаружить различия в их поведении, надо было детально изучить процесс Бухарина, что в условиях лагеря я сделать не имела возможности. Но и теперь, перечитывая не раз стенографический отчет, я убеждена, что Роза Маврикиевна, если не во всем, то в главном оказалась права.

Тем временем в последних числах декабря 1938 года поезд подъезжал к Москве. Я встала ближе к решетке, чтобы через окно видеть знакомые места. Промелькнули Быково, Томилино, Люберцы. И вот Москва.

Вагон остановился в тупике на Казанском вокзале. Приехавший за мной тюремщик отвел меня в темную клетушку «черного ворона», откуда Москвы видно не было, а хотелось все же краем глаза на нее взглянуть. Я предположила, что меня везут во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянку, и не ошиблась. После унижительного обыска отправили в душ. Какой просторной и чистой показалась мне душевая, сверкающая белым кафелем, после грязных и тесных тюремных бань с тяжелыми деревянными шайками; и сама та тюрьма, бывшее здание страхового общества — с паркетными полами, кроватями в камерах, подушкой, одеялом, бельем показалась бы мне дворцом после астраханской и этапных тюрем, новосибирского подвала, если бы не воспринималась как фабрика смерти. В этой тюрьме провел последний, мучительный год своей жизни Н. И., в этих стенах, думалось, закончу жизнь и я.

Вымывшись, я скинула с себя рваную одежду — лохмотья, пропитанные сыростью, запахом мочи. Выбор был ограничен. В чемодане еще сохранился костюм, привезенный из Парижа, достаточно скромный, но красивый. Юбка спадала с меня, так сильно я похудела, пришлось подвязать ее куском изношенной рубашки, а сверху прикрыть шерстяной кофточкой.

Меня ввели в камеру подвального помещения, снова одиночную. Яркая электрическая лампочка раздражала глаза. Утомленная после длительного, тяжелого пути, я разделась и рухнула в постель, прикрыв лицо одеялом, — надзиратель запретил закрывать лицо, повернулась к стенке — и это запретил. Ослепительный свет и нервное возбуждение мешали уснуть. Я то подымалась с постели и ходила по камере, то снова ложилась. Наконец сумела убедить себя, что в день приезда вряд ли буду вызвана на допрос. В конце концов уснула крепким сном. Проснулась оттого, что надзиратель тормозил меня за плечо.

— Вы на «бы»? — тихо спросил он.

Я не поняла, о чем идет речь. «На бы» я восприняла как одно непонятное мне слово «набы» и попросила объяснения.

— Фамилия ваша начинается на букву «бы» — Бухарина? — шепотом произнес он, будто сама эта фамилия таила в себе нечто взрывоопасное.

Вопрос показался тем более странным, что в камере я была одна. Получив от меня подтверждение, он объявил:

— Собирайтесь к наркому.

Я заволновалась не только потому, что вызов к наркому говорил о предельной серьезности моего положения, но и от отвращения, что должна буду увидеть его. Мгновенно пронеслось в голове наше шапочное знакомство: разговор с Ежовым по телефону перед отъездом в Париж и две случайные встречи в Кремле, когда я шла вместе с Николаем Ивановичем.

Как же сейчас посмотрит в глаза мне его тезка! Страдания воспитали мою волю и в конечном счете избавили от наивности, присущей молодости, но бывало, что наивность еще давала знать себя. Я собиралась нарочито медленно, чтобы максимально мобилизовать силы и подавить охватившее меня волнение. На мгно-

вание почувствовала некоторую неловкость из-за того, что была слишком хорошо одета, — это не вязалось с моими предшествующими скитаниями по тюрьмам. В конце концов решила, что, сбросив с себя грязные лохмотья, я избавилась от чувства приниженности. Натянула на ноги тонкие парижские чулки, надела туфли (валенки окончательно сносились), только французских духов не хватало, и заявила, что готова.

Пройдя через внутренний двор, мы поднялись на верхний этаж и пошли по коридору, покрытому мягкими дорожками. В кабинетах следователей шла активная работа. Многие из заключенных в скором времени оказались со мною в камере и рассказывали об ужасах следствия. Ко мне эти методы не применялись.

В коридоре тюремщики щелкали пальцами или стучали ключом о пряжку пояса, чтобы предотвратить встречу подследственных друг с другом. И как только мой конвойный слышал условный сигнал, он тотчас приказывал мне повернуться к стенке или заводил в бокс — небольшую пристройку к стене коридора. Наконец меня ввели в кабинет, и я увидела тучного, рослого кавказца с карими мутноватыми, какими-то бычьими глазами, а вовсе не маленького светлоглазого Ежова.

Собираясь на допрос, идя по длинному, таинственному, бесшумному коридору, ожидая, что вот-вот я увижу Ежова, я сжилась с его образом и не представляла себе, что могу встретить кого-либо другого. Не того наркома, при активном участии которого репрессии приняли неслыханный размах и был уничтожен Н. И.; не того, кому я написала в своем заявлении слова, которых не могу забыть в продолжение всей жизни: «Расстреляйте меня, я жить не хочу!»

«Ежов не Сквирский», — думала я, была настроена воинственно и чувствовала потребность встретиться именно с ним, с Ежовым. Не только для того, чтобы отместить выдвинутые против меня обвинения, — это я могла бы сделать и перед следователем. Я считала своим нравственным долгом опровергнуть причастность Бухарина к каким бы то ни было контрреволюционным действиям, гордо заявить, что процесс сфальсифицирован, и привести соответствующие доказательства. Теперь, после гибели Н. И., уже бессмысленно, увы, и до его гибели бесполезно, — зато гордо!

В кабинете вместо Ежова на меня смотрел уставший равнодушный незнакомый человек. Позже по описанию его внешности я узнала, что это был начальник Особого отдела НКВД, заместитель Берии — Кобулов. На мгновение лицо его выразило необъяснимое удивление. Он даже отпрянул. Непонятно, что его во мне поразило: то ли моя парижская одежда, не соответствующая обстоятельствам, то ли мой истощенный, измученный вид — живые мощи, быть может, мой возраст... Но всплеск изумления быстро потух в его глазах, и они приобрели прежнее сонно-равнодушное выражение.

— С кем вы разговаривали в лагере? — задал он мне вопрос.

— Пока я еще не труп, со многими разговаривала, учета не вела. Меня же вызвали к наркому! — вырвалось у меня от нетерпения поскорее увидеть Ежова.

— Вам хочется обязательно поговорить с наркомом, у вас есть что сообщить ему?

— Раз он меня вызвал, очевидно, он заинтересован в разговоре со мной, и у меня есть что сказать ему, — подумав, добавила я.

Кобулов поднял телефонную трубку:

— Она сейчас у меня, можно зайти? — И мы тотчас же пошли к наркому.

В просторной приемной машинистка, по виду грузинка, и двое мужчин, тоже грузины, прервав разговор, устремили взгляды на меня. Кобулов открыл дверь кабинета и пропустил меня вперед.

Кабинет наркома, покрытый ковром, показался мне огромным. У стенки против двери стоял массивный письменный стол, на нем — толстый портфель, тоже удивительно больших размеров, и горой лежали папки, очевидно, с делами подследственных. За столом сидел человек, но не тот, кого я так стремилась увидеть. От волнения и неожиданности у меня двоилось в глазах, точно в фотоаппарате в момент, когда определяешь фокус: глаза Берии набегали на глаза Ежова, пока они наконец прочно не стали на свое место, и я увидела, как они сосредоточенно

смотрят на меня. Приближаясь к столу Берии, потрясенная, я всплеснула руками и воскликнула:

— Лаврентий Павлович! Куда же девался «прославленный нарком»? Сгинул вместе со своими «ежовыми рукавицами»?!

Как откровенна молодость! Я не смогла (да и не считала нужным) скрыть свое изумление и радость от догадки, что Ежов скорее всего арестован.

Судьба прокладывает втайне от нас наши жизненные пути, предопределяет нечаянные встречи. Потому мы нередко повторяем: «Такова судьба!..»

С Берией я была знакома, несмотря на то, что он не принадлежал к близкому мне окружению — к среде старых большевиков. Наше знакомство — чистая случайность, хотя, как, наверное, всякая случайность, — небеспричинная.

Впервые я увидела его в августе 1928 г. Старейший грузинский большевик, председатель ЦИК Закавказья Миха Цхакая, пригласил Ларина, принимавшего участие в работе бюджетной комиссии ЦИКа СССР, в Тифлис для обсуждения бюджета Закавказья или только Грузии, этого не помню. Мы, мать и я, поехали вместе с отцом, чтобы после окончания дел провести свой отпуск в Ликанах, вблизи Боржома. (Кстати, Ликаны эти вспоминались мне впоследствии не раз и потому, что известный в то время в Грузии большевик-литератор Тодрия, сидя однажды на скамейке в ликанском парке рядом с отцом, сказал ему при мне: «Вы, русские, Сталина не знаете так, как мы, грузины. Он всем нам покажет такое, чего вы себе и вообразить не можете!»)

В обсуждении бюджета принял участие и Берия, начальник ГПУ Грузии. Заседание решено было устроить у него на даче, в живописных окрестностях Тифлиса, возле Коджор. Название местности запомнилось, очевидно, потому, что отец по сходному звучанию — Коджоры — Ижоры вспомнил пушкинские строки:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза...

Грузия, куда я приехала впервые, очаровала меня. Но тогда я, конечно же, не могла себе представить, что нас приветливо принимает человек, имя которого станет символом палачества.

После затянувшегося делового разговора подали обед, приготовленный по-грузински, и душистый грузинский чай. Сидя за столом, Берия сказал отцу:

— Я и не знал, что у вас такая прелестная дочь!

Мне шел в ту пору пятнадцатый год. Я смутилась, покраснела, а отец ответил:

— Я никакой прелести в ней не замечая.

— Выпьем, Миха, — обратился Берия к Цхакая, — за здоровье этой девочки! Пусть живет она долго и счастливо!

Вторично мне пришлось встретиться с Берией в год смерти Ларина — летом 1932 г. А. И. Рыков, знавший от матери, как болезненно я переживала смерть отца, предложил мне поехать вместе с ним в Крым, где Алексей Иванович собирался провести отпуск. Туда же приехал В. В. Куйбышев со своими родственниками: дочерью, сыном, братом, тоже революционером-большевиком Николаем Владимировичем, и его женой (они были впоследствии расстреляны) и личным секретарем М. Ф. Фельдманом.

В Крыму Валериан Владимирович пробыл недолго. Затем поплыл пароходом в Батум, оттуда поехал в Тифлис и в Ликаны. Чтобы отвлечь меня от переживаний, Куйбышев предложил мне присоединиться к их большой и веселой компании.

Берия встретил Валериана Владимировича в Батуме. А мы-то уже были «старыми знакомыми». «Ой, кого я вижу! Взрослая девушка стала!» — воскликнул Берия, как только заметил меня. Он сопровождал Куйбышева из Батума в Тифлис, мы съездили на дачу к Берии, и в Ликаны он отправился вместе с нами.

Я общалась на этот раз с будущим главой НКВД в течение недели, если не

больше, ежедневно. Он не раз разговаривал со мной, больше о красотах Грузии. Выражал сочувствие в связи со смертью отца.

Если бы в эти дни меня спросили, какое впечатление производил Берия тогда, в 1932 г., то, даже глядя на него сквозь призму совершенных им злодеяний, ничего порочного заметить в нем было невозможно. Он производил впечатление человека неглупого и делового (во время бесед с Куйбышевым, в то время председателем Госплана, уделял большое внимание вопросам экономики Закавказья). Ну и, конечно же, гостеприимного, как все кавказцы. Легко представить себе, как принимал он у себя в Грузии почетного гостя — члена Политбюро. Однако можно порадоваться тому, что не оказался Валериан Владимирович в бериевских «апартаментах» несколькими годами позже, а ушел из жизни иным путем — второй после Кирова из крупных политических фигур. Попадись он к нему в лапы в страшное время террора, разделал бы тот и его «под орех»¹.

Вот вкратце пролог нашей встречи с Берией в застенках НКВД.

Нарком предложил мне сесть против него, по другую сторону письменного стола. Я вновь повторила свой вопрос о Ежове.

— Вас это так интересует? — спросил Берия, но на мой вопрос не ответил. И тут же, чтобы отвлечь мое внимание, бросил фразу, к делу вовсе не относящуюся:

— Почему вы хромаете, Анна Юрьевна?

Вопрос показался странным. Я вовсе не хромала и объяснила, что ему это показалось, возможно, потому, что у меня от неожиданности в связи с заменой столь «прославленного наркома» ноги подкосились...

— Не хромаете? Это хорошо, что не хромаете, хорошо, что мне показалось (будто это была бы самая великая беда в моей жизни).

— Не Анна Юрьевна, а Анна Михайловна, — поправил наркома Кобулов. Берия ткнулся носом в мое «дело», лежавшее на письменном столе. Папка была настолько толста, что трудно вообразить, чем она была заполнена. На обложке было написано: «Бухарина-Ларина Анна Михайловна». (Возможно, Ларина-Бухарина — точно не помню).

— В данном случае все равно, — пояснил Берия Кобулову, — она же и Юрьевна (партийный псевдоним «Юрий» действительно стал вторым именем Ларина). Кобулов в недоумении пожал плечами, ничего не поняв, но промолчал. — Должен сказать вам, Анна Юрьевна, вы удивительно похорошели с тех пор, как я видел вас в последний раз.

Нарком смотрел через пенсне на мое бледное, изможденное лицо и нагло лгал. Очевидно, неискренность вошла у него в привычку. Фальшивый комплимент этот, мало сказать, был мне неприятен, он меня возмутил, и я зло ответила:

— Парадоксально, Лаврентий Павлович, — даже похорошела! В таком случае еще десять лет тюрьмы, и вы будете иметь возможность послать меня в Париж на конкурс красоты.

Берия расплылся в улыбке.

— Что же вы подделывали в лагере, какую работу выполняли?

— Ассенизатором работала, — ответила я, не раздумывая. Могла бы сказать, что в томском лагере, единственном, где я успела побывать до встречи с наркомом, производства не было. Но мне захотелось ответить Берии именно так — работала ассенизатором. Казалось, этим я подчеркну, что ни о какой красоте и речи быть не может и что комплименты сейчас неуместны. Впрочем, мой ответ имел под собой реальную почву: после процесса староста барака обязала меня выдвигать ломом нечистоты в холодном туалете, чтобы можно было их вывозить. Ей доставило истинное наслаждение поручить эту работу именно мне — жене Бухарина. Но, к ее огорчению, это занятие оказалось мне не по силам, и через 3—4

¹ В. В. Куйбышев скончался скоропостижно 25.I.35 г., менее чем через два месяца после убийства Кирова, с которым был с давних пор близок. Есть предположение, что он был отравлен по заданию Сталина. Быть может, именно потому в этом злодеянии обвиняли на процессе Бухарина и Рыкова.

дня меня пришлось отстранить от «занимаемой должности». Но если учесть, сколько усилий я затратила на то, чтобы обеспечить пользование тем туалетом, то продолжительность моих ассенизаторских занятий можно увеличить во сто крат.

— Ассенизатором?! — удивился Берия. — Что, для вас другой работы не нашли?

— А зачем ее было искать? Для жены обер-шпиона, обер-предателя и работу выбрали самую подходящую... И что же вас так смутило, Лаврентий Павлович, если вся жизнь превращена в большое говно, то в малом не так уж и страшно покопаться!

— Что?! — воскликнул Берия, и я повторила сказанное.

Эпитет, которым я наградила жизнь, настолько груб, что у меня было поползновение опустить этот эпизод, но тогда я была бы нечестна в своих воспоминаниях. Очевидно, после тех непристойных ругательств, которые я слышала в «столыпинском» по пути в Москву, собственная грубость не резала мне ухо, и меня ничуть не тревожило, как Берия отнесется к ней. Не смутило и то, что меня могло ждать обвинение в контрреволюционной клевете на нашу прекрасную действительность. Меня интересовало одно: как новый нарком отнесется к тому, что я иронически назвала Бухарина обер-предателем и обер-шпионом? Но Берия, облокотившись руками о письменный стол, просвечивая меня взглядом, точно рентгеновскими лучами, некоторое время молчал. Затем перебрался по-грузински несколькими фразами с Кобуловым, а тот воскликнул:

— Ай, ай, как вы неприлично выражаетесь, и не стыдно вам?

— Мне теперь уже ничего не стыдно! — ответила я, хотя и не скажу, что вовсе не была смущена.

Из-за длительной изоляции я не понимала, что в тот момент происходило в стране, что собой представляет новый нарком, как он относится к судебным процессам. Долго ждать Берия себя не заставил, хотя действовал осмотрительно и постепенно. После небольшой паузы неожиданно, без всякой связи, он спросил:

— Скажите, Анна Юрьевна, за что вы любили Николая Ивановича?

Вопрос меня озадачил. В самом его миролюбивом тоне и в том, что нарком назвал Бухарина по имени и отчеству, я усмотрела симптом обнадеживающий. Я предположила, что на Берию «хозяин» возложил миссию разоблачителя своего предшественника, а всю вину за массовые репрессии, в том числе и за гибель Н. И., вероломно свалил на Ежова. В этом случае хоть жизнь Бухарина и не могла быть спасена, но ужасающие обвинения с него будут сняты.

От ответа я уклонилась, заявив, что любовь — дело сугубо личное, не обязательно в этом ни перед кем отчитываться.

— Но все же, все же, — настаивал Берия, — нам известно, что вы очень любили Николая Ивановича.

В данном случае он не употребил стереотипа следователей «достоверно известно», но я ответила:

— Как раз это вам достоверно известно.

Берия улыбнулся. Вдруг меня осенила мысль, и я задала наркому встречный вопрос:

— А вы за что любили Н. И.?

На лице Берии появилась гримаса полного недоумения.

— Я его любил?! Что вы этим хотите сказать? Я терпеть его не мог.

Тайного смысла моего каверзного вопроса Берия, как мне показалось, не уловил.

— Но Ленин в своем «Письме к съезду» назвал Бухарина законным любимцем партии. Если вы его не любили, следовательно, вы были незаконным исключением в рядах партии.

— Это что, вам Бухарин об этом рассказывал?

— Нет, не Бухарин. «Письмо к съезду» я читала.

Читала ли я «Письмо к съезду», не помню, но содержание его знала. Берии ответила именно так — читала.

— Ленин писал об этом давно, — заметил Берия, — и напоминание об этом теперь неуместно.

Меня все еще не покидала надежда, что новый нарком хотя бы не назовет Н. И. предателем, тем более что к гибели его отношения он не имел. Но Берия переменял тему, поскольку разговор принял нежелательный для него оборот.

Поинтересовавшись, чем меня в тот день кормили (я ответила, что для меня персонально не готовили), Берия попросил Кобулова распорядиться, чтобы принесли бутерброды и фрукты, после чего вынул из папки документы. По почерку я узнала свое заявление, адресованное Ежову.

— Вы, Анна Юрьевна, и в самом деле жить не хотите? — спросил нарком. — В это трудно поверить, вы так молоды, у вас вся жизнь впереди!..

— Я написала Ежову в состоянии полного отчаяния, когда никаких перспектив, кроме медленного умирания, не видела. Если не осталось ничего, кроме чудовищного кошмара, если живешь, точно в кровавом тумане, если убили Н. И. и всех тех, кого я уважала, отняли ребенка, обрекли на умирание в сыром подвале, да к тому же еще и неоднократно расстреливали (именно так я выразилась, имея в виду, что меня не раз пугали расстрелом и в конце концов повели на расстрел после зачитания смертного приговора), то ничего не оставалось, как просить смерти.

Берия слушал, опустив голову, глядя на меня исподлобья; казалось, на лице его отразилось мимолетное волнение. Может, в его душе на мгновение проснулось что-то человеческое.

— Расстреливать многократно невозможно, расстреливают один раз. Ежов бы вас расстрелял, — сказал новый нарком.

Я еще раз попыталась узнать, что случилось с Ежовым. Но Берия дал понять, что вопросы может задавать только он.

— Но и вы же меня расстреляете?

— Все будет зависеть от вашего дальнейшего поведения.

Сколько раз и скольким заключенным повторяли следователи эту затверженную фразу! Ясно было, что мое поведение не пришлось Берии по вкусу. Наконец он подвинул к себе поближе папку с моим «делом». Видно было, что он ознакомился с ним заранее. Пролистав бегло страницы, Берия произнес:

— Контрреволюционная организация молодежи, связанная через вас с Бухариным, — это чушь; и то, что Буллит после ареста Бухарина хотел вас переправить в Америку, — тоже фантазия. Вы знаете хотя бы, с кем разговаривали в камере? Прежде чем откровенничать, надо знать, кто ваш собеседник! В вашем-то положении в особенности...

Казалось, нарком проявил прямо-таки отеческую заботливость. Пришлось признать, что, кем была моя сокамерница, я узнала в последнюю минуту, перед тем, как ее уводили из камеры, и рассказать, как она чуть не наградила меня пощечиной. И вовсе не потому, что она считала меня женой врага народа — контрреволюционера, подчеркнула я, ненависть ко мне проявилась потому, что она видела во мне жену большевика-революционера. По этой причине она так щедро налгала на меня.

— Не все налгала, — заметил Берия, — Свердлова Андрея Яковлевича знали?

Я поняла, что Андрей Свердлов по доносам моей сокамерницы упоминается в «деле» как член контрреволюционной организации молодежи.

— Знала, — поторопилась ответить я, — но из этого вовсе не следует, что Свердлов был в контрреволюционной организации молодежи, — вы же сами сказали, что организация эта — чушь!

— Я высказал свое мнение только по отношению к вам, это вовсе не означает, что у нас вообще не имеется контрреволюционных организаций молодежи. Почему вы так защищаете Свердлова? Он что, влюблен в вас был?

— Защищаю потому, что убеждена, что к контрреволюции отношения он иметь не мог. Что касается любви, если вас так интересует этот вопрос, — спросите у Свердлова. Он мне в любви не объяснялся.

Берия вынул приложенные к «делу» стихи, записанные чужой рукой. Единственный человек, который их слышал, опять-таки была моя сокамерница.

— А вы, оказывается, Анна Юрьевна, стихи сочиняете, и, я бы даже сказал, неплохо, это кто вас научил, Бухарин или Ларин? — И, не дождавшись моего ответа, он процитировал:

Он был многими любимый,
Но и знал больших врагов,
Потому что он, гонимый,
Мысли не любил оков.

И что же вы хотели сказать этими строками?

— То, что вы прочли, никакого тайного смысла в них нет.

— Вредные мысли Бухарина мы всегда пресекали.

«Вредные мысли Бухарина, — подумала я, — это еще не самое страшное». У меня поднялось настроение, это же еще не вредительство, не шпионаж и террор, не связь с фашистской разведкой.

— А ворон, этот ваш ворон, — он кто такой? — повысив голос, спросил нарком и прочел строки из другого моего стихотворения:

Черный ворон, злой, коварный,
Сердце, мозг его клевал;
Кровь сочилась алой каплей,
Ворон жил, на все плевал!
Ворон трупами питался,
Раскормился — все не сыт!
И разнес он по России
Страх и рабство, гнет и стыд!

— Кто же этот ворон? — снова спросил Берия.

— Ворон есть ворон! — крикнула я, решив, что ни в какие объяснения пускаться не буду. — Это кошмарное, все повторяющееся видение, мучившее меня в камере, что можно понять из стихотворения.

— Не только это можно понять, — заметил Берия.

Волнение мое все нарастало. Однако от дальнейших объяснений по поводу приведенных выше строк избавил меня Кобулов. Да и Берия, по-видимому, не так уж и был заинтересован в том, чтобы ставить точки над «i».

Кобулов вошел в кабинет с бутербродами и фруктами, и Берия неожиданно переменил тон. Даже в той обстановке, возможно, взяло верх кавказское гостеприимство или же иные соображения — понять не могу.

— Прервем разговор, Анна Юрьевна. — И он подвинул ко мне бутерброды, чай и вазу с апельсинами и виноградом. От угощения я отказалась.

— Не будете есть? Почему же не будете? А я хотел вместе с вами чай пить. Если вы не желаете есть, я не буду с вами разговаривать...

Последние слова привели меня в неопишное удивление.

— Следовательно, нет особой нужды в разговоре со мной. Вы, Лаврентий Павлович, великолепно принимали Куйбышева, тогда я сидела с вами за одним столом и мы вместе обедали, а теперь не те обстоятельства...

— Почему только Куйбышева? А разве Ларина я принимал плохо? Вы, очевидно, забыли.

— Я ничего не забыла, хоть это и было десять лет тому назад, помню и тост, произнесенный вами за обеденным столом: «Выпьем за здоровье этой девочки, пусть живет она долго и счастливо!» Хорошие пожелания были, увы, не сбылись они!

— Она еще и дочь Ларина? — с презрением вдруг произнес Кобулов, пораженный моим компрометирующим родством.

— Так это же не тот Ларин¹, это Юрий Ларин, оригинальнейший человек был, одаренный, а какой полет фантазии!.. (После того как Ленин на XI съезде

¹ Кобулов, очевидно, имел в виду Виталия Ларина — секретаря Ростовского обкома, осужденного и расстрелянного по приговору закрытого суда вместе с Енукидзе и Караханом в конце 1937 г. Карахан — заместитель наркома иностранных дел при Литвинове.

партии высказал свое мнение о фантазии Ларина, при упоминании его имени обычно вспоминали его, как считал Ленин, непомерную фантазию.) — Я его очень уважал. Мы его почетно на Красной площади похоронили. (Будто к похоронам Ларина Берия имел какое-либо отношение.)

Возможно, такой характеристикой Ларина Берия думал завоевать мое расположение для того, чтобы более убедительным показалось его враждебное отношение к Бухарину.

— Хорошо, что Ларин вовремя умер, если бы этого не случилось, он погиб бы точно так же, как его товарищи, и вы бы не имели возможности тепло его вспоминать.

— Зачем же так плохо думать об отце, товарищ Ларин был на редкость преданным членом партии...

— А другие погибшие большевики и Н. И. разве были менее преданными членами партии, чем Ларин?

И тут-то наступил роковой момент.

— Это теперь, после процесса, вы продолжаете считать, что Бухарин был предан партии? — повысив голос, произнес Берия. — Он враг народа! Он предатель! Главарь правотроцкистского блока! А что собой представлял этот блок, вы знаете. Вы же имели в лагере возможность знакомиться с процессом по газетам.

Вот что скрывалось под маской фальшивой любезности — ложь, лицемерие! Поплыл под ногами пол, потемнело в глазах, вместо лица Берии я увидела перед собой серую аморфную маску. С той минуты я почувствовала такую же ненависть к «новому наркому», какую питала к предыдущему. Берия всматривался в меня, очевидно, оценивая эффект, произведенный его мерзкими словами.

Я отвернулась, чтобы избавиться от этого пристального взгляда. Слева от меня было зашторенное окно. Казалось мне или же на самом деле оттуда доносился городской шум — гудки автомобилей, громы хане трамваев. Мне представилась Театральная площадь, названная площадью Свердлова. И «Метрополь» с врубелевской мозаикой на фасаде, с маленькими башенками-мачтами на крыше; «Метрополь», похожий на огромный корабль, навечно причаливший к этой площади, — дом, в котором я выросла, была счастлива. Оно было совсем рядом, это теперь недостижимое для меня здание. Только спуститься бы вниз мимо Китайгородской стены и памятника первопечатнику Ивану Федорову, пройти по узкому тротуару, где в начале двадцатых можно было увидеть китайцев с длинными жгуче-черными косами, в синих балахонах, надетых поверх брюк, торгующих самодельными игрушками, бумажными сотообразными шарами, небольшими мячиками, прыгающими на тонкой резинке. А наискосок от «Метрополя» — то зловещее здание с колоннами, где вершились суды несправедливые, позорные!

По ходу допроса (если мой разговор с Берией можно назвать допросом) напряжение мое нарастало. И наступил момент, когда я громко разрыдалась.

— Вы всегда такой плаксой были? — спросил Берия и подвинул еще ближе ко мне стакан с чаем. Я демонстративно отодвинула его. — Замечательный чай, напрасно отказываетесь, Анна Юрьевна, товарищ Ларин немало усилий приложил для организации производства чая у нас на Кавказе. Это тот самый чай...

После страшного заявления Берии о Н. И. я не смогла проронить ни слова. Что же меня так сразило? Казалось бы, предатель, враг народа, изменник Родины и другие подобные эпитеты, так часто повторяемые во всеуслышание по отношению к известным политическим деятелям — борцам за Октябрьскую революцию и не столь громогласно по отношению к миллионам арестованных — безвестных, столь прочно вошли в лексикон нашей страны, что даже восприятие этих слов несколько притупилось. Тем не менее, когда их произнес Берия, меня охватило негодование. Может, оттого, что некоторые высказывания наркома были вполне разумны и даже человечны. Он, например, отменил многие необоснованные обвинения, выдвинутые против меня в Новосибирске. Его замечание: «Прежде чем разговаривать, надо знать, кто твой собеседник», в моем понимании означало: то, о чем я говорила, Берия считал вполне естественной

реакцией на происшедшее, лишь не одобрял, с кем я делилась, ибо это ухудшило мое положение. Наконец, возможно, наше давнее знакомство посеяло во мне зерно надежды, что Берия пощадит меня хотя бы тем, что по крайней мере в моем присутствии не назовет Н. И. предателем.

Все то, что я предполагала сказать Ежову, услышал от меня Берия.

Я заявила, что нельзя от меня требовать, чтобы я поверила в то, во что он сам не верит. Сказала, что мне представляется совершенно невероятным, чтобы подавляющая часть большевиков изменила своим идеалам, преследуя цель реставрации капитализма в Советском Союзе, капитализма, против которого они боролись всю свою сознательную жизнь. Вот главное.

Это я смогла бы заявить и не будучи женой Бухарина. Но, зная обвиняемых, присутствовав при многих событиях, я смогла уловить в показаниях вымыслы и фальсификацию.

— Интересно, интересно, что же такое вам удалось заметить? — спросил нарком.

Я привела несколько примеров, на которые обратила внимание, слушая в лагере газетные отчеты о процессе. На допросе бывший секретарь ЦК Узбекистана Акмаль Икрамов показал, что в 1935 году он встретился с Бухариным в неизвестной мне квартире на Зубовском бульваре для ведения контрреволюционных разговоров. И что вместе с ними, Бухариным и Икрамовым, были там их жены. Между тем я никогда в той квартире не была.

Второй пример еще больше убедил меня, что процесс есть не что иное, как инсценировка: Икрамов показал на процессе, что на VIII съезде Советов, принимавшем так называемую Сталинскую Конституцию, он встретил Бухарина и там, в отсутствие посторонних, на лестнице (для большей убедительности режиссеры-постановщики точное место встречи бедняге Икрамову подсказали), они вели разговоры конспиративного характера, и Бухарин якобы сказал Икрамову, что если в скором времени интервенции не произойдет (разумеется, со стороны фашистской Германии. — А. Л.), то их, вредителей и диверсантов, всех переловят (цитирую по памяти).

В мою задачу не входило доказывать Берии, что ни Икрамов, ни Бухарин подобных разговоров вести не могли — это относится к моему основному доводу. Но дело в том, что Н. И. на VIII съезде Советов вообще не был. Он не считал возможным присутствовать на съезде, несмотря на то, что входил в конституционную комиссию, потому что тогда, в декабре 1936 г., во время съезда Советов, был уже под следствием, человеком отверженным, из квартиры никуда не выходил, и мы вместе, сидя дома, слушали по радио доклад Сталина.

Далее я рассказала Берии о Париже. Он слушал меня с большим вниманием. Объяснила цель командировки Н. И., сообщила, что присутствовала при переговорах между Бухариным, остальными членами комиссии по покупке архива Маркса и меньшевиком-эмигрантом Б. И. Николаевским. Рассказала, какое ужасающее впечатление произвело на меня лживое заявление Бухарина о том, что Николаевский якобы был посвящен в подпольные, заговорщицкие дела право-троцкистского блока и что Н. И., прикрываясь командировкой, вел разговоры о заговоре и даже просил поддержки II Интернационала на случай провала. Между тем я свидетель того, что переговоры с Николаевским носили деловой характер, связанный только с командировкой. Лишь одна беседа имела и политический оттенок, однако Бухарин разговаривал с Николаевским как его идеологический противник.

Бухарин заявил на процессе, будто бы связь между право-троцкистским блоком и меньшевистским центром за границей осуществлялась Рыковым через Николаевского, что вынужденно подтверждал Рыков, о чем упоминал и Ягода. Но, присутствуя при разговоре в Париже, я поняла, что никакой связи между Николаевским и Рыковым не было. Николаевский сам об этом говорил, поэтому он старался хоть что-нибудь узнать от Бухарина о своем брате Владимире Ивановиче, женатом на сестре Рыкова и жившем в Москве.

— Я убеждена, что Николаевский эти лживые заявления Бухарина и Рыко-

ва уже опроверг в печати, — заявила я Берии (как я узнала через много лет после своего освобождения, в этом я не ошиблась).

— Представители II Интернационала могут опровергать это из конспиративных соображений, — заметил Берия.

И я узнала в его словах знакомый сталинский почерк.

— Может быть, хватит? — спросила я нового наркома.

— Нет, нет, продолжайте, интересно, как в вашем уме все это преломляется...

— Я понимаю все так же, как понял бы любой человек на моем месте.

Я сослалась еще на историю с показаниями Яковенко.

Василий Григорьевич Яковенко, сибиряк, из крестьян, руководил партизанским движением против Колчака и этим прославился. Незадолго до своего ареста Бухарин получил показания уже арестованного Яковенко. Во время следствия тот показал, что встретил Бухарина в Серебряном бору, на даче у Ларина, и что Бухарин якобы поручил ему выехать в Сибирь для организации кулацких восстаний с целью отторжения Сибири от Советского Союза. В этих показаниях лишь одно было правдой. Бухарин действительно случайно встретил Яковенко на даче у Ларина в Серебряном бору при следующих обстоятельствах: Н. И., отец и я сидели на скамейке возле забора. Мы заметили, как по дорожке мимо дачи шел Василий Григорьевич Яковенко, осунувшийся и похудевший, непохожий на себя. Отец знал его близко, Н. И. — отдаленно. Раньше это был здоровый, прямо-таки могучий детина. Крепкий, высокий, красивый сибиряк. И вдруг мы увидели его больного, немощного, опирающегося на палку. Оказалось, у него обнаружили язву желудка в запущенном состоянии, и он должен был лечь в больницу. Отец пригласил Яковенко зайти и посидеть с нами. Его мучили боли, и он сидел недолго. Речь шла только о состоянии его здоровья и о видах на урожай.

— Ну и какие же были виды? — иронически спросил Берия, давая понять, что не очень-то верит моему рассказу.

— Не помню, какие были «виды», в данном случае это не представляет интереса.

Меня потрясли не только сами клеветнические показания Яковенко, но и то, что до ареста Н. И. был ими возмущен, читал мне их вслух, спрашивал, припоминаю ли я этот эпизод, а на процессе подтвердил эти показания, указал и место встречи — Серебряный бор, только дачи Ларина не упомянул, очевидно, чтобы не затрагивать его имени.

Я волновалась, понимала, что такими свидетельствами затягиваю петлю на собственной шее, но после того, как Берия назвал Н. И. предателем, остановиться я была не в силах. Все же я сдержалась и умолчала о том, как я была потрясена, когда услышала показание Н. И. на процессе, будто бы он в среде так называемых заговорщиков называл М. Н. Тухачевского потенциальным Наполеончиком. Между тем со слов Н. И. мне известно было с давних пор, что это Сталин в разговоре с Бухариным так называл Тухачевского, а Н. И. пришлось убеждать его, что Тухачевский вовсе не рвется к власти. А ведь по этому эпизоду можно судить, что в составлении сценария процесса Сталин принимал непосредственное участие. Ибо никто другой не смог бы вложить в уста Бухарина принадлежащие Сталину слова.

Я не сказала Берии о том, какое удивление у меня вызвало вынужденное признание Бухарина в том, что он якобы посылал своего бывшего ученика Александра Слепкова на Северный Кавказ для организации там кулацких восстаний. А мне хорошо известно было, что ученики Н. И., в том числе и Слепков, были направлены на периферию по указанию Сталина в целях изоляции Бухарина, чем Н. И. был очень опечален.

Однако еще об одном существенном факте, опровергающем процессы, я рассказала. Я была свидетелем разговора Радека с Бухариным незадолго до ареста Радека. Разговаривали они наедине. Но я находилась в смежной комнате при открытых дверях и слышала, как Радек заверял Бухарина, что к заговору против Сталина и другим преступлениям он не причастен. Однако после своего ареста —

на предварительном следствии и на процессе — Радек признавался в ужасающих преступлениях и оклеветал Бухарина.

— Из разговора Радека с Бухариным, — сказала я Берии, — можно заключить лишь следующее: или Радек сам имел отношение к контрреволюционной деятельности и дал клеветнические показания против Бухарина (такой вариант я сама категорически исключала, но для меня важно было логически доказать непричастность Н. И. к преступлениям), или же оба они невинны. Иного вывода сделать невозможно. Между двумя соучастниками преступлений разговор, свидетелем которого я оказалась, не мог иметь места.

Я предполагала, что сразила Берию, последним рассказанным эпизодом в особенности. Но он равнодушно посмотрел на меня и спокойно произнес:

— Ваша аргументация неубедительна, Анна Юрьевна. Приведенные вами рассуждения, основанные на якобы известных вам фактах, требуют свидетельских подтверждений. С какой стати я должен верить вам, что Радек действительно наедине с Бухариным опровергал свою причастность к преступлениям, когда и они оба, и другие обвиняемые на процессах сами признавались в совершенных ими злодеяниях против советского государства? Где гарантия, что все, о чем вы мне только что рассказали, не есть ваше собственное измышление?

Конечно же, Берия великолепно понимал, что все это отнюдь не плод моей фантазии. Он слушал меня с неослабевающим вниманием. Однако его демагогическое возражение застало меня врасплох. Свидетелей найти было невозможно. Но скоро я собралась с мыслями.

— Я не нуждаюсь в свидетелях, — возразила я наркому. — Вы выразили удивление, даже возмущение, что и после процесса я не верю в причастность Н. И. к преступлениям, я показала, почему в это верить невозможно, и, с моей точки зрения, привела достаточно убедительные доводы. Если же вы не верите моим словам, то нет смысла со мной разговаривать.

— Смысл есть, если я разговариваю, — заметил Берия. — Чем же вы в таком случае объясняете признания обвиняемых, если вы в них не верите? Бухарин, очевидно, внушал вам, что показания достигаются пытками?

— Я имела возможность разговаривать с Н. И. до его ареста, показания против него он расценивал только как клеветнические, следовательно, они были вынужденными, вымученными. Н. И. строил различные предположения о методах, которыми достигаются такие показания, но и пыток не исключал. Какими методами вымогается клевета, вы знаете лучше, чем знал тогда Н. И.

— С врагами поступают, как с врагами — так, как с ними надо поступать!

— Мне думается, и от своих противников имеет смысл узнать правду, а раз методы вашего следствия приводят к клеветническим показаниям, они бессмысленны и по отношению к врагам.

Не могу припомнить, что на это ответил Берия.

Цель, ради которой он вел со мной разговор, была мне неясна. Был порыв спросить его об этом. Но, взглянув на его сумрачное в тот момент выражение лица (оно часто менялось), я воздержалась, предположив, что правды он мне все равно не скажет, а может, и потому, что боялась ответа.

К концу нашего разговора Берия задал мне несколько небезынтересных вопросов. Расскажу о том, что мне запомнилось. Он спрашивал, насколько был близок Максим Максимович Литвинов к Бухарину, бывал ли Литвинов у Бухарина. Я поняла, что ведется подкоп под Литвинова, не исключала, что и он арестован. Ответила, что никакой близости между ними не было, и Литвинов у Бухарина не бывал.

— Что же вы скажете, что они не знали друг друга, не были знакомы? — с усмешкой спросил нарком.

Сказать, что они не были знакомы, при всем желании я не могла.

— Ваш ответ очень неопределенный, расплывчатый. Вы, очевидно, руководствуетесь желанием оградить Литвинова от Бухарина?

— Мой ответ отражает действительное положение вещей: они были знакомы, но не были близки, иного я ничего сказать не могу.

Далее последовал вопрос, чрезвычайно меня удививший:

— Какие характеристики советским политическим деятелям давал Бухарин?

Показалось более чем странным, почему Берия заинтересовался этим через несколько месяцев после гибели Н. И. Мне пришлось ответить, что Н. И. специально на эту тему со мной не разговаривал, а так как он, Берия, сам заметил, что «расстреливают один раз, многократно расстреливать невозможно», то теперь, после гибели Н. И., этот вопрос потерял смысл. Берия не сразу отступил, но иного ответа от меня не дождался.

Затем вопрос, касающийся лично меня. Берия спросил, встречалась ли я с кем-нибудь в Москве перед высылкой в Астрахань. Я не сразу сказала правду — сначала ответила, что ни с кем не встречалась, но, не выдержав лжи, «созналась», изменив ответ.

— Я виделась с одним человеком, но не скажу, с кем, фамилии его не назову.

— Почему же? — заинтересовался Берия.

— Вы начнете его за это преследовать, а он в самые тяжелые для меня дни не оказался жалким трусом, как многие другие, а проявил ко мне максимум внимания и тепла, и я не хочу, чтобы он за это пострадал.

В ответ на мои слова раздался дружный смех Берии и Кобулова.

— Это Созыкин Николай Степанович, это он оказывал вам внимание? — иронически заметил Берия, покачивая головой. — Наивность какая!.. Вы встречались с ним в гостинице «Москва»?

Меня охватило такое сильное волнение, что я услышала биение своего сердца. В одно мгновение мне пришлось изменить отношение к человеку, который казался мне светлым лучом на фоне крушения моей жизни. Вспоминая его, я не раз думала: таких людей, как Коля Созыкин, немного. История с Созыкиным такова. Однажды — это было перед февральско-мартовским пленумом ЦК 1937 г. — позвонил по телефону мой бывший однокурсник, комсорг нашей группы Коля Созыкин. Он был направлен на учебу в Москву из Сталинграда и после окончания института вернулся туда на работу. Он сказал мне, что его перевели в плановый отдел вновь организованного наркомата оборонной промышленности, и пока не подыщут для него квартиру, он живет в гостинице «Москва». Я все приняла за чистую монету, Н. И. взял все под сомнение: «Кому так понадобился в наркомате оборонной промышленности недавний студент, специалист другого профиля, чтобы тащить его из Сталинграда в Москву, да еще преподнести гостиницу «Москва»? Похоже, что твой Созыкин — подставное лицо». Я в это не верила. Однако Н. И. не возражал против нашей встречи, хотя и предупреждал, чтобы я была крайне осторожна, не говорила лишнего. С августа 1936 г. по 27 февраля 1937 г. я неотлучно была возле Н. И. — лишь раз забежала к матери, и ему самому хотелось знать, что говорят по поводу происходящих событий. Мы оба были изолированы от внешнего мира.

До ареста Н. И. я встречалась с Созыкиным лишь раз. Мне казалось естественным, что при свидании со мной он интересовался Николаем Ивановичем, и разве я не могла не сказать ему, что Н. И. решительно отвергает свою виновность. Вот это-то и оказалось тем «лишним», о чем говорить в то время было опасно. После ареста Н. И. я снова встречалась с Созыкиным в гостинице «Москва». Кроме как об ужасающем февральско-мартовском пленуме я не могла ни о чем ни думать, ни говорить. Созыкин старался меня успокоить: разберутся, мол. Он покупал моему ребенку игрушки, конфеты.

— Вы его пожалели, Анна Юрьевна, а он вас не щадил, нет-нет, ничуть не жалел! Он отзывался о вас очень плохо.

— Мне безразлично, как он обо мне отзывался. Для меня важно то, что он не тот Созыкин, каким я его считала, и это мне больно. Плохого обо мне, с моей точки зрения, он ничего сказать не мог, если не налгал. Он знал с моих слов о ходе февральско-мартовского пленума и о поведении Бухарина на нем. Мог сообщать только об этом. Таких показаний обо мне имеется, очевидно, не одно. Одним больше, одним меньше — играет ли это роль? Вы считаете, я поступила

плохо, что рассказала о пленуме Созыкину, я же думаю — хорошо, потому что я рассказала ему правду о Н. И.¹

— Так-то... всех вы жалеете, — заметил нарком. — Связи Литвинова с Бухариным вы тоже не хотите раскрыть...

— Я о связях Литвинова с Бухариным ничего не знаю. Как я понимаю, вас интересуют контрреволюционные связи, таких вообще между ними не могло быть. Какой смысл мне прикрывать Литвинова, он слишком крупная фигура, чтобы я могла повлиять на его судьбу.

— О Литвинове вы следовательно будете рассказывать, — сказал Берия и неожиданно спросил: — Астрова знали? Астров во многом нам помог, и мы за это сохранили ему жизнь².

С Астровым я знакома не была, но знала, что он один из учеников Н. И.

— Астров, очевидно, клеветал на Бухарина и на своих товарищей — его учеников, какими средствами он был доведен до этого, мне неизвестно — я не Астров, и я вам не помощница!

— Да, да, — сказал Берия, ничуть не смущаясь, — дочь Ларина мало того что вышла замуж за врага народа, но еще и защищает его.

Я еле сдержалась, чтобы не наглубить в ответ. Он видел, что упоминание о Ларине приводит меня в крайнее волнение. Возможно, садисту Берии как раз это и доставляло удовлетворение.

— При чем тут Ларин? Не вспоминайте его имени! Если бы я не была дочерью Ларина, я не была бы женой Бухарина. Вы это понимаете не хуже меня! Они были друзьями!

Берия испытующе смотрел на меня, нахмутив брови, и некоторое время молчал — меня трясло от волнения, — казалось, он что-то обдумывал и сам для себя что-то решал, наконец проговорил:

— Кого вы спасаете, Анна Юрьевна, ведь Н. И. уже нет, — он снова назвал Бухарина по имени и отчеству, — теперь спасайте себя!

— Спасая свою чистую совесть, Лаврентий Павлович!

— Забудьте про совесть! — прокричал Берия. — Вы слишком много болтаете! Хотите жить — молчите о Бухарине. Не будете молчать — будет вот что, — и Берия приложил указательный палец правой руки к своему виску. — Так обещаете мне молчать?! — произнес он категорическим, властным тоном, глядя мне прямо в глаза, будто сам за меня уже дал это обещание. Казалось, в тот миг решалась моя жизнь: буду ли я дышать, будет ли биться мое сердце, и я обещала молчать. Кроме того, я поймала себя на мысли, что именно он, Берия, а не его «Хозяин», почему-то захотел сохранить мне жизнь, и это тоже в какой-то степени повлияло на мое решение.

Я вела себя достойно, а под конец не выдержала и сдалась. На душе стало мерзко от унижительного обещания.

Забегая вперед скажу, что свой обет я нарушила уже через день. Я написала Сталину даже не заявление, а маленькую записочку — всего несколько слов. Никак не могла решить, как к нему обратиться: «товарищ Сталин» было для меня непригодно, просто «Сталин» показалось грубым (будто он не заслужил этой грубости!), и я назвала его по имени и отчеству: «Иосиф Виссарионович! Через толстые стены этой тюрьмы смотрю вам в глаза прямо. Я не верю в этот чудовищный процесс. Зачем вам понадобилось губить Н. И., понять я не могу». Иных слов я не нашла. Подписалась двумя фамилиями, оставила листок с запиской на столике в боксе, и меня вновь завели в камеру. Не думаю, что моя записка дошла до Сталина, но до Берии она не могла не дойти. Зачем я ее написала? Очевидно, затем, чтобы после своего унижительного обещания наркому прийти в состояние душевного равновесия.

— Ну, пора кончать наш разговор, — сказал Берия. — Я надеюсь, теперь мы

¹ После своего освобождения я узнала, что Созыкин этот был не просто информатором, а сотрудником НКВД и, продвигаясь по службе, стал ближайшим помощником Берии. Одно время возглавлял Молдавское НКВД.

² В том, что жизнь Астрову была действительно сохранена, есть какая-то тайна. Возможно, что приняли во внимание его особые заслуги перед следственными органами. Несмотря на вынужденные клеветнические показания, другие ученики Н. И. — и не только ученики — были расстреляны.

чай выпьем, и фрукты вы будете есть? Чудесный виноград. Вы же давно не ели винограда.

Но от фруктов и чая я снова отказалась.

— От фруктов вы не отделаетесь, — сказал Берия и в бумажном пакете отправил фрукты с конвойным ко мне в камеру¹.

Как только дверь кабинета наркома за мной закрылась, я вздохнула с великим облегчением. Еще один тяжкий эпизод в круговороте тех драматических лет оказался позади.

Для меня очередной нарком НКВД стал уже не тем Берией, каким я воспринимала его в Грузии, но, пожалуй, еще и не тем извергом, каким он был в действительности, о чем я узнала в дальнейшем из многочисленных рассказов и воспоминаний людей, столкнувшихся с ним на следствии.

Этот безыдейный карьерист служил только Сталину, но Сталину-диктатору. Пошатнись же его власть, Берия всадил бы нож ему в спину. Берия не был сломен Сталиным, он изначально был преступником. И возмездие пришло!

И вновь одиночество, полная оторванность от внешнего мира. Трудно передать душевное смятение, владевшее мною после разговора-допроса у Берии. Мое независимое поведение было продиктовано не каким-то особым мужеством. Чувство полной безысходности, как ни странно, помогало держаться достойно. Но мучили угрызения совести за обещание молчать о Бухарине. Молчать о том, что терзало душу! Не этим ли обещанием я купила себе жизнь? Впрочем, заставить меня смолкнуть навечно можно было более радикальным способом. И, повторяю, только короткое письмо, адресованное Сталину, избавило меня от презрения к себе.

Враждебные выпады Берии против Бухарина были явно неискренними и точно такой же была игра вокруг имени Ларина, противопоставление честного и преданного партии Ларина «предателю» Бухарину. Это казалось тем более нелепым, что, с точки зрения большевиков, политическая биография Бухарина была безупречней биографии Ларина.

Отец занимал особое место в душе моей, я очень многим ему обязана. Необычайная привязанность к нему известна была не только моим родным, но и его товарищам.

Как-то я прочла у Р. Роллана, что он избрал своим девизом слова Бетховена «Durch Leiden Freude» (через страдание радость). Не могу сказать, что эти слова стали моим девизом, но и меня временами охватывала, помимо моей воли, радость в страдании. Так это было, когда я сражалась со Сквирским и когда после подвального мрака я оказалась на лоне природы, и в особенности тогда, когда я думала об отце. Вспоминая его, я все время пыталась решить вопрос: кто первым был бы арестован — Бухарин или Ларин, если бы смерть не помогла отцу уйти из жизни вовремя, и кто из них первый дал бы клеветнические показания на другого. После того, что я пережила, удивляться таким мыслям не приходится. Оклеветал же Рыков Бухарина, а Бухарин Рыкова во время следствия после ареста и на процессе. Изучая процесс, я обнаружила, что Бухарин первым дал показания против Акмаля Икрамова. Для меня этого было более чем достаточно, чтобы понять, что процесс есть гнусный спектакль и что иное поведение подсудимых лежало за пределами человеческих возможностей. Но когда я думала о том, что отец не испил этой горькой чаши, наступала и моя минута просветления. Повезло же мне хоть в этом, с горькой иронией не раз говорила я себе.

Соратники Ларина, его ближайшие товарищи — те, кто хотел донести до следующих поколений рассказ об этом неординарном человеке, погибли во время террора. Один из них, трагически ушедший из жизни Георгий Ипполитович Ломов-Оппоков, незадолго до своего ареста сообщил мне, что заканчивает книгу «Ларин и ВСНХ». Но книга не увидела света и погибла вместе с ее автором. Бухарин

¹ Непонятным и удивительным показалось и то, что в первый год моего заключения в Москве, — а пробыла я там более двух лет, — мне были дважды переведены деньги внутренним переводом для пользования тюремным ларьком. Без распоряжения Берии вряд ли кто-либо осмелился это сделать.

тоже со временем собирался писать о Ларине. Так вместе с ними убита и память о моем отце.

Между тем Ларин был очень популярен в первые послереволюционные годы среди рабочего класса, студенческой молодежи и интеллигенции. Однажды на первомайской демонстрации я слышала, как пели такую частушку:

Нас учили в книгах
Мудростям Бухарина
И с утра до ночи
Заседать у Ларина.

Михаил Александрович Лурье стал Юрием Михайловичем Лариным в конспиративной переписке из Якутской ссылки. Он образовал отчество от своего имени и позаимствовал фамилию из пушкинского «Онегина», но не пожелал стать отцом Татьяны — Дмитрием, «смирненным грешником и господним рабом», избрал себе имя Юрий. Первая буква имени как бы приросла к его фамилии, и нередко друзья шутя называли его — товарищ Юларин. Он был сыном Александра Лурье — крупного инженера, специалиста по железнодорожному транспорту. Тот жил в Петербурге, вращался в высших сферах и, по слухам, дошедшим до Ларина, как ценный специалист, был близок ко двору Николая II.

Матерью Ларина была сестра создателя и издателя знаменитого энциклопедического словаря — Игнатия Наумовича Граната. Семья распалась при трагических обстоятельствах. Перенесенная во время беременности скарлатина привела к страшному осложнению: прогрессирующей атрофии мышц и к внутриутробному заражению ребенка. Александр Лурье покинул заболевшую жену еще до рождения сына и вскоре оформил развод.

Отец родился и вырос в Крыму, в Симферополе, жил в семье своей многодетной тетки — сестры матери Фридерики Наумовны Гранат, в замужестве Рабинович, под покровительством и при материальной поддержке Игнатия Наумовича Граната, который, кстати, помогал племяннику и во время репрессий со стороны царского правительства, и в эмиграции. После революции дядю и племянника связывала интеллектуальная дружба. Отца Ларин не знал. Видел его лишь однажды. Будучи уже известным революционером, он решился зайти к нему, чтобы познакомиться. Ларин назвал себя Михаилом Александровичем Лурье и попросил доложить о себе. Он вошел в большой кабинет и увидел сидящего за письменным столом человека, лицо которого исказилось ужасом. Сын с презрением посмотрел на отца и смог произнести лишь несколько слов: «Я ошибся, вы, очевидно, однофамилец того Лурье, которого я хотел повидать», — и вышел из кабинета. Отец молчал и не пытался вернуть изувеченного болезнью сына.

Уже в 9—10 лет у ребенка стала заметно прогрессировать страшная болезнь. И. Н. Гранат организовал поездку племянника в Берлин для консультации у немецкой профессуры в надежде на излечение. Но и медицинские светила Германии не в силах были предотвратить наступавшую болезнь. Тем не менее М. Лурье с головой ушел в революционное движение, сначала в 1900 г. в Симферополе, затем в Одессе, где руководил студенческой социал-демократической организацией, пока не был выслан обратно в Симферополь под гласный надзор полиции. Там, подвергая себя невероятной опасности, он организовал Крымский Союз РСДРП, за что и был сослан по высочайшему повелению на 8 лет в Якутию. В 1904 г. бежал из ссылки и эмигрировал в Женеву, где примкнул к меньшевикам. В 1905 г. под влиянием событий 9 января возвратился в Петербург и включился в бурную революционную деятельность, но уже в мае 1905 г. Ларина посадили в Петропавловскую крепость. Октябрьская стачка 1905 г. освободила его из тюремной больницы. Находясь на нелегальном положении, он переезжает на Украину, где руководит Спилкой — организацией, объединявшей большевиков и меньшевиков. От Спилки делегируется на IV Стокгольмский (1906 г.), затем Лондонский (1907 г.) съезды РСДРП. На Украине, в Сквире, был дважды арестован, бежал и работал в Баку.

В 1912 г. он вновь эмигрировал, едва уцелев от пули при переходе границы. Там вошел в августовский блок, вместе с группой «впередовцев», группой Троцкого, бундовцами и др. В 1913 г. он возвращается в Россию, и вскоре следует

арест в Тифлисе во время лекции в рабочем клубе; из тифлисской Метехской тюрьмы Ларина переводят в Петербургскую. После годичного пребывания в тюрьме, признанный медицинской комиссией умирающим, он высылается за границу.

Война застает Ларина в Германии, и там он снова подвергается аресту, но как не подлежащего мобилизации в России его освобождают и высылают в Швецию. К 1912 г. усиливаются расхождения Ларина с меньшевистско-ликвидаторской группой, приведшие к открытому разрыву в начале мировой войны. Он занимает интернационалистскую позицию, использует все возможности легальной печати для агитации против войны и за социалистическую революцию.

Возвратясь из эмиграции сразу же после Февральской революции, он издает журнал «Интернационал», а на VI съезде РСДРП(б) в августе 1917 г. оформляет свою принадлежность к большевистской партии. Вместе с ним около тысячи рабочих крупнейшего района Петрограда — Василеостровского, где он вел партийную работу, объявили себя солидарными с Лариным и вступили в РСДРП(б). На VI съезде Ларин произнес речь, прерывавшуюся бурными аплодисментами. Он, в частности, сказал:

«Я пришел сюда по двум мотивам: во-первых, когда вы подвергаетесь травле, долг каждого честного интернационалиста быть с вами; во-вторых, нас отделяет от оборонцев и объединяет с вами не только взгляд на войну, но и то, что оборонцы стоят на почве приспособления к капиталистическому строю, тогда как мы стоим на почве социальной революции (бурные аплодисменты), день и час полного осуществления которой неизвестен».

Он призывает к созданию III Интернационала и заканчивает свою речь под возгласы «Да здравствует III Интернационал!».

Как член Исполкома Петроградского Совета он принимал деятельное участие в Октябрьской революции. Его статьи об экономике Германии, изданные позже книгой «Государственный капитализм в Германии военного времени», дали повод Ленину поручить ему заняться организацией хозяйства в разрушенной послереволюционной России. «Судьба послала мне счастье, — вспоминал Ларин, — стоять у колыбели советской экономики и политики вообще и ВСНХ в частности... 25 октября 1917 г. товарищ Ленин сказал мне: «Вы занимались вопросами организации германского хозяйства, синдикатами, трестами, банками — займитесь этим у нас». И я занялся».

Трудно вообразить себе, как мог человек, физически неполноценный с рождения, столь деятельно, мужественно пройти свой жизненный путь. Легко опознаваемый охранкой из-за болезни, как смог он вынести бесконечные преследования? И даже бежать из тюрем — бежать, если он с большим трудом передвигался. Конечно, помогали товарищи. Отец рассказывал мне, как из якутской ссылки его унесли в большой плетеной корзине, затем спрятали; как мальчишки-подростки в Сквире на Украине за гроши помогли перебраться через забор тюрьмы, а по другую сторону его подхватили друзья и некоторое время по очереди несли на руках. Он вспоминал, что во время поездки на Стокгольмский съезд пароход сел на мель и товарищ, спускаясь по веревочной лестнице в шлюпку, нес его на спине.

Наконец, приходилось удивляться, что Ларин столь плодотворно выступал как литератор (диктовать машинистке или же стенографистке он не любил, писал сам), если руки его были настолько слабы, что поднять телефонную трубку одной правой рукой, не помогая ей левой, он был не в состоянии. Писал, положив всю кисть правой руки на лист бумаги, и своеобразным, дрожащим движением выводил буквы. А ведь написанные Лариным книги, брошюры, газетные и журнальные статьи могли бы составить солидное собрание сочинений. Все было непросто для Ларина и достигалось упорной тренировкой. Возможно, мои слова покажутся некоторым преувеличением, поэтому я хочу воспользоваться свидетельством известного большевика В. В. Осинского, который так написал в статье, посвященной памяти Ю. Ларина:

«Это один из крупнейших, выдающихся и своеобразных наших работников, один из видных деятелей Октябрьского и послеоктябрьского периодов, человек редкой преданности рабочему классу и социалистической революции».

С 1917 по 1931 г. он неизменно вспоминается в одном и том же виде. Высокий человек, у которого странная болезнь поразила половину характерного, оригинального и привлекательного лица; не без труда управлялся он со своими лицевыми мускулами и ртом; а речь его в то же время жива, остроумна, увлекательна, так что почти каждое собрание продлевает ему время. С добродушной хитростью он всегда умел этого добиться, и собрание не было на него за это в претензии.

Он не был в состоянии самостоятельно надеть на себя пальто, совсем не действовала одна из рук — и странным, угловатым, своеобразно ловким движением наворачивал на худую шею шарф, передвигал перед собою бумаги, подносил стакан с водою ко рту. Так же своеобразно он передвигался, выбрасывая геометрическими линиями ноги и помощницу-палку — умный и исключительно живой человек, умевший максимально преодолевать все внешние путы, наложенные на него природой, никак не желавший сдаваться перед ними на капитуляцию.

Каждый год житья на свете был для него победой и завоеванием: бодрый ум и живая революционная воля одолевали физические немощи, словно олицетворяя великую жизненную силу того движения, частью которого он был...

От Юрия Ларина, от Михаила Александровича, осталась только горсть пепла. Но тот, кто сумел прочертить столь ярко свой силуэт — живой и незабываемый — на фоне этой грандиозной эпохи, все равно не умрет в нашей памяти».

Истоки нашей жизни, моей и Ларина, удивительно схожи. В моем детстве, лучше сказать, младенчестве, произошла та же беда. Мать, давшая мне жизнь, скончалась от скоротечной чахотки, когда мне было около года. Отец покинул ее, когда мне не исполнилось трех месяцев. Этой тайны я могла бы вовсе не знать, но, чтобы избавить меня от страха унаследовать страшную болезнь, родные со временем мне об этом рассказали. Ларин был женат на сестре моей матери, и Ларины заменили мне родителей, так я их всегда и называла.

Я родилась в 1914 г. Меня и моих родителей разлучили война и эмиграция. До марта 1918 г. я жила у дедушки, отца матери, в Белоруссии. Дед был адвокатом. Жизнь его сложилась удивительно несчастливо: еще до моего рождения он потерял тридцатипятилетнюю жену (мою бабушку), умершую от туберкулеза легких и оставившую ему шестерых детей, похоронил двадцатидвухлетнюю дочь — мою мать, единственного сына, умершего немногим за двадцать все от той же болезни, и едва не похоронил другую дочь, ставшую мне матерью. Она лежала с кровохарканьем в Италии, в эмиграции. Мои легкие также были тронуты палочкой Коха. Дедушка страдальчески смотрел на меня и посылал гулять в сосновый бор: «Иди, моя детка, в сосенник»...

Мы жили в небольшом городке Горы-Горки, где и в то время находилась известная Горецкая сельскохозяйственная академия. Академия располагалась в большом живописном парке с многовековыми разросшимися липами, березовыми рощами, пестрыми цветочными клумбами в центре и маленькой, журчащей речушкой на краю. А неподалеку, на косогоре, возвышалась церквушка, как мне представляется теперь, всегда сверкающая в солнечных лучах. В детстве парк тот казался мне сказочно прекрасным.

Я помню себя удивительно рано. На четвертом году жизни я стала интересоваться своими родителями: «Где папа, где мама?» — спрашивала я дедушку и бабушку (дед был женат вторично, но с бабушкой мне повезло, это был человек на редкость доброй души и очень меня любивший). Мне хорошо запомнился ответ деда: «Твои родители — социал-демократы, они предпочитают сидеть по тюрьмам, бежать от ареста за границу, а не сидеть возле тебя и варить тебе кашу». Я не поняла, кто такие социал-демократы, но тюрьма была недалеко от дома, где мы жили, дед называл ее острогом и рассказывал, что там сидят воры и бандиты. Я была подавлена сообщением дедушки и не решалась больше спрашивать о родителях.

Как-то я заметила, что в нашем саду срублены кусты сирени, жасмина и роз. Рядом с домом была расквартирована воинская часть. Стояла зима, дров

не было, и дедушка заподозрил, что солдаты срубили кусты на топливо. И когда я, взволнованная, прибежала к деду спросить, кто поломал цветы, он ответил: «Это твои большевистские социал-демократы поломали цветы». И я пришла в ужас, что мои родители — большевистские социал-демократы. Дед, по-моему, не очень приветствовал революцию и был в обиде на дочь. Когда я стала старше и приехала к нему из Москвы в гости, он произнес слова, сильно задевшие меня: «Лена моталась по тюрьмам и, такая красавица, вышла замуж за калеку». Хорошо, что он не дожил до той поры, когда Лена в течение долгих лет моталась по тюрьмам при Советской власти...

После Февральской революции, когда мать возвратилась вместе с отцом из эмиграции в Петроград, она приехала и ко мне в Горки. Мама мне понравилась, она была красивая, стройная, с большими серыми добрыми глазами, с длинными пушистыми ресницами. И я решила, что социал-демократы вовсе не так уж плохи. Помню, как, расставаясь со мной, она целовала меня и плакала, но забрать с собой в Петроград не решилась. Там было тревожно и голодно. Приехавшие из эмиграции революционеры жили в гостинице «Астория». Возвратясь из Горок в Петроград, с пирогами, испеченными бабушкой, мать застала у Ларина в их номере «Астории» Троцкого. Только она вошла, явилась полиция — арестовали Троцкого. Так его и увели в тюрьму с бабушкиными пирогами.

С отцом я познакомилась сначала заочно. Из Петрограда я получала от него письма-сказки, в стихах и прозой. Он подписывался всегда: твой папа-Мика. Микой называла его в детстве шепелявая няня, и это имя закрепилось за ним. Содержания тех сказок я не могу припомнить. Но одно письмо сохранилось, и я смогла прочесть сказку, когда стала старше. Это была сказка про мышиное общество. Меньшая часть его были мыши-эксплуататоры (так он их и называл, очевидно, чтобы я привыкла к марксистской терминологии) — мыши разжиревшие, ничего не делавшие, лежавшие на боку; большую часть мышиного общества составляли мыши-эксплуатируемые — худые работяги. Они подносили жирным мышам чистую солому для подстилки и еду. Так отец преподнес мне первый урок марксизма. К тому же вдали от меня только так он мог проявлять свое отцовство.

В марте 1918 г., когда столица переехала из Петрограда в Москву, мать приехала за мной, и я познакомилась с отцом. И тут-то произошло ужасное. Я посмотрела на него и испугалась. Увидела, как он ходит, выбрасывая ноги вперед, как работает руками и — в сочетании с рассказом бабушки о том, что большевистские социал-демократы поломали цветы, — большевик-отец показался мне особенно страшным. От ужаса я залезла под диван, зарыдала, закричала: «Хочу к бабушке!» и ни за что не соглашалась вылезать. Мать выгнала меня из-под дивана палкой, и я увидела перед собой покрасневшего, взволнованного отца. К вечеру он меня покори́л, и мы стали друзьями. Но, несмотря на то, что свой безобразный поступок я совершила на пятом году жизни, всю жизнь он мучил меня. Мне казалось, я причинила отцу такую боль, что забыть этот эпизод он не смог, несмотря на мою большую любовь и заботу о нем все последующие годы. Я помогала ему всем, чем могла: одевала, раздевала, провожала на заседания. Это была особая привязанность, быть может, сравнимая с любовью матери к своему больному ребенку. Постепенно я привыкла к его внешности, и лицо его стало казаться мне даже красивым. Я ловила себя на мысли, что, возможно, моя любовь к отцу украшает его лицо. Когда Луначарский во время похорон, прощаясь с Лариным, произнес слова: «Эти прекрасные ларинские глаза, казалось, и во тьме светятся», — я поняла, что лицо его было действительно прекрасно.

Когда я подросла, стала понимать, что отец — человек яркой, оригинальной индивидуальности, смелой мысли и смелых решений, богато одаренный. Партийные дисциплинарные рамки давались ему нелегко¹.

¹ Сразу после Октябрьской революции он выступил на заседании ЦИКа с требованием свободы печати, «поскольку она не призывает к погромам и мятежам». В ноябре 1917 г. вместе с Каменевым, Милутиным, Зиновьевым, Рыковым, Ногиным и др. большевиками стоял за образование коалиционного правительства. Был сторонником большей самостоятельности профсоюзов. Подписал «буферную» платформу вместе с Троцким, Бухариным, а также с Дзержинским и будущим членом Политбюро А. А. Андреевым, о чем вспоминать у нас не принято. Все это мне стало известно и по историческим материалам, и по беседам между отцом и его товарищами, которые я слышала позже.

Его особенно интенсивная деятельность в период гражданской войны и военного коммунизма проходила у меня на глазах. В то время мы жили в триста пятом номере гостиницы «Метрополь» — Второго дома Советов. И хотя отец часто выезжал то в ВСНХ, то во ВЦИК, то в Совнарком, его кабинет, стены которого были сплошь уставлены книжными шкафами, был в квартире, а рядом, в соседней комнате, расположился секретариат. Все было сделано для облегчения работы Ларина. Он был членом Президиума ВСНХ и Госплана, ведал отделом законодательных предположений при комиссариате труда, руководил экономическим отделом ВЦИК. Весной 1918 г. был введен в состав делегации, которая составляла дополнительные к мирному договору экономические и правовые соглашения и т. д. Президиум ВСНХ часто заседал у него в домашнем кабинете. Работа шла интенсивная. Вырабатывался план налаживания экономической жизни страны. Верхняя одежда приходивших на заседания не умещалась на вешалке и лежала горой на полу, в прихожей.

Впоследствии Г. И. Ломов вспоминал: «Кабинет Ларина представлял собой комнату, битком набитую народом, делегациями, в большинстве рабочих, пробиравшихся отовсюду. Большую часть вопросов мы решали вместе с ними, причем в решении этих вопросов на первых порах очень часто принимали участие и товарищи, которые ждали решения по своим вопросам».

Я в то время воспринимала только внешнюю обстановку, в которой жила. Уже позже по рассказам отца я узнала, что в его кабинете заседал Комитет хозяйственной политики, председателем, затем заместителем председателя которого он был, комиссия, занимавшаяся планированием и распределением материальных ресурсов, Совет по перевозкам, в обязанность которого входила, в частности, организация транспорта для подвоза войск к фронтам, комиссия по установлению численности армии для снабжения ее оружием и боеприпасами. В работе последних двух комиссий принимал участие Тухачевский. Работали без передышки. Михаил Николаевич оставался у нас ночевать. Страна была настолько нищая, что, по словам отца, они вместе с Тухачевским подсчитывали возможное поступление лаптей из деревни, чтобы обути армию, сапог не хватало¹.

В кабинете Ларина, кроме многочисленных рабочих делегаций из провинции, бывали одновременно или поочередно все члены Президиума ВСНХ и другие экономисты. Чаще всего можно было видеть А. И. Рыкова, В. П. Милютина, В. В. Осинского, Е. А. Преображенского, В. М. Смирнова, П. Г. Смидовича, Л. Н. Крицмана, Г. М. Кржижановского, Н. И. Бухарина, В. Я. Чубаря, А. В. Шотмана, Я. Э. Рудзутака, Г. И. Ломова — экономистов-организаторов и экономистов-теоретиков, цвет экономической мысли страны того времени.

Приезжал Ленин. Для меня в ту пору он был равным среди равных. Я смутно помню его. Не стану описывать, как он картавил, прищуривал глаз, говорил «архиважно» и т. д., как это делают многие в своих воспоминаниях. Расскажу лишь один забавный эпизод. Как-то я заглянула в кабинет отца, только-только ушел Бухарин. Заговорили о нем. Я не смогла понять, что Ленин сказал о Бухарине, но уловила одну фразу: «Бухарин — золотое дитя революции». Это высказывание Ленина о Бухарине стало хорошо известно в партийных кругах, повторя-

¹ Они симпатизировали друг другу, Ларин и Тухачевский. Этим я объясняю, что в своей речи на XV съезде ВКП(б) Ларин огласил воспоминания непримиримого противника Советской России, маршала Пилсудского, о походе армии Тухачевского на Варшаву в 1920 г. И то, что было известно узкому кругу, стало достоянием гласности. Чем бы ни закончился поход на Варшаву и как бы его ни расценивали, свидетельство Пилсудского позволяет еще ярче подчеркнуть, какую утрату понесла наша армия накануне войны с фашизмом: «Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей главнокомандующего, который имеет достаточно сил и энергии, воли и умения, чтобы проводить подобную военную работу. С таким маршем его будет поздравлять каждый историк, каждый исследователь... На военных такой марш производил впечатление какого-то ужасного калейдоскопа, где каждый день складывается какая-то новая обстановка, с новым названием географических пунктов, перемешанных с номерами полков и дивизий, с новым распределением времени, с новым расчетом пространства».

Под впечатлением этой надвигающейся грозной тучи шаталось государство, колебались характеры, мякли сердца солдат... Государство трещало, усилия войск раздроблялись в попытках контратак, а работа командования с каждым днем становилась морально труднее и тяжелее. Этот процесс разложения сил, этот процесс ломки нашей воли был, по моему мнению, самым большим триумфом, который я могу приписать г-ну Тухачевскому.

лось не раз в беседах с товарищами и, естественно, воспринималось ими как образное выражение. Я же пришла от сказанного Лениным в полное замешательство, так как поняла все буквально. «Неправда, — сказала я, — Бухарин не из золота сделан, он же живой!» «Конечно, живой, — ответил Ленин. — Я так выразился потому, что он рыжий».

Трудно перечислить всех тех, кто побывал у Ларина. Мне вспоминаются и Д. Б. Рязанов, и Я. Э. Стэн, и на редкость скромный и почему-то всегда угрюмый Д. Е. Сулимов — Председатель Совнаркома РСФСР, который жаловался, что не может попасть к Сталину на прием, и Х. Г. Раковский, и Д. Бедный, и Вс. Мейерхольд. Всеволод Эмильевич как-то сказал Ларину: «Я люблю вас, Михаил Александрович, потому что вы в политике проявляете тот же характер, что я в искусстве». В середине, возможно, к концу двадцатых годов, когда в Узбекистане проводилась земельно-водная реформа, часто бывал у Ларина Акмаль Икрамов — авторитетный и любимый руководитель республики, еще чаще бывала его милая умная жена Женя Зелькина — зам. наркомзема Узбекистана, так как в комиссию, разрабатывавшую земельно-водную реформу, был включен Ларин, Н. Н. Суханова и народовольца А. Н. Морозова я уже вспоминала. Завсегдатаем в кабинете Ларина была Елена Феликсовна Усиевич¹, дочь известного революционера Феликса Коно. Она вместе со своим мужем Г. А. Усиевичем² возвратилась одновременно с Лениным из эмиграции, знала Ленина довольно близко. Удивительно энергичным, жизнерадостным, остроумным и талантливym человеком была Елена Феликсовна. Вспоминается, как однажды вскоре после смерти Ленина она смотрела какой-то спектакль, где Ленин был показан в немой сцене. Потеря была еще настолько близка, что появление актера в роли Ленина произвело на нее удручающее впечатление. Из театра она пришла к нам и воскликнула: «Подождите, подождите, Михаил Александрович, скоро оперу поставят, и Ленин будет петь «Промедление смерти подобно!», а потом он затанцует в балете» — и она затанцевала, высоко подымая ноги и выбрасывая правую руку со сжатым кулаком то вправо, то влево.

Итак, вокруг Ларина концентрировалось огромное количество людей ярких, талантливых, потому что сам он был человеком удивительно общительным, интересным собеседником.

Противоречие между потенциальной энергией, заложенное в его одаренной, жизнерадостной натуре, и энергией кинетической, кинетической в буквальном смысле слова, — ограниченной возможности двигаться, сформировало характер Ларина. Ущербность физическая привела к «перепроизводству» (если так можно выразиться) энергии творческой. Закон сохранения энергии на примере Ларина продемонстрирован вполне наглядно.

По своему умственному складу, как справедливо заметил Осинский, Ларин — экономист-изобретатель, что, как он полагал, особенно сложно, ибо эта область затрагивает отношения между людьми. Поэтому в огромном потоке его предложений, проектов бывали и неосуществимые, не оправдавшие себя. Он был мечтателем, прожектером в лучшем смысле слова. Высказывание Ленина о ларинской фантазии, хотя и носит гиперболический характер, но, несомненно, не лишено оснований. «Ларин... человек очень способный и обладает большой фантазией... Фантазия есть качество величайшей ценности, но у тов. Ларина ее маленький избыток. Например, я бы сказал так, что, если бы весь запас фантазии Ларина разделить поровну на все число членов РКП, тогда бы получилось очень хорошо»³. И хотя Ленин в пылу полемики, учитывая характер Ларина, рекомендовал не привлекать его к государственной деятельности, а использовать как лектора и журналиста, именно Ленин использовал, по его словам, «громadные знания» Ларина на работе государственного характера. Однако после выступления Ленина (о ларинской фантазии) штамп фантазера к нему пристал. Между тем бароном

¹ У с и е в и ч Е. Ф., член РСДРП с 1915 г., после Октябрьской революции находилась на подпольной работе в гетмановской Украине. С 1922 г. в Москве, в ВЧК, затем в ВСНХ. Позднее на литературно-издательской работе. Известный литературный критик.

² У с и е в и ч Григорий Александрович — революционер-большевик, убит белогвардейцами в 1918 г.

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., том 45, стр. 125.

Мюнхгаузеном он не был, многие ларинские «фантазии» оплодотворяли экономическую жизнь страны.

В первые годы Советской власти Ларин написал бесчисленное количество декретов. По рассказам отца, им совместно с В. П. Милютиным был написан первый проект Декрета о земле¹. Написан и подписан Лариным декрет о восьмичасовом рабочем дне. Его интеллектуальная продуктивность была необычна даже для здорового человека и поражала всех, кто с ним работал. Товарищи называли его часто «маэстро» или «наш уникум». Ларин оперировал многозначными числами в уме (кстати, после его смерти Институт мозга взял мозг Ларина для изучения). Забегая к отцу в кабинет, я не раз слышала выражение Ломова: «Маэстро, закиньте глазки!» Это означало, что Ларину предлагалось произвести экономический расчет в уме, при этом он действительно закидывал глаза вверх, недолго сосредоточенно думал, и ответ был готов. Человек вулканического творческого темперамента, он хотя и говорил о себе: «Бодливой корове бог рог не дает», однако «бодался» достаточно энергично. Работать с Лариным было нелегко, но тонко и умело работал с ним Председатель ВСНХ А. И. Рыков, отношения с которым до самой кончины Ларина оставались теплыми. Особый склад умственного характера Ларина, то, что я называю творческим «перепроизводством», зачастую приводил к конфликтам с Лениным, чем Ларин был опечален. Возможно, объяснялось это, кроме свойств его характера, также и тем, что слишком тяжкие путы наложила на него природа, как бы побуждая возмещать свою немощь свободным течением мысли. Он смело выступал против Ленина, если в чем-то был с ним не согласен. Однако «ссора» обычно кончалась тем, что Ленин вскоре звонил по телефону для примирения, вероятно, для того, чтобы не подорвать в Ларине творческую инициативу: вводил его в очередную комиссию, поручал написание статей, брошюр, прочтение докладов в рабочих и студенческих аудиториях.

Значимость Ларина в первые годы после революции значительно превышала занимаемые им посты. Он не был членом ЦК, лишь членом ВЦИКа и ЦИКа, не был наркомом. Но он знал себе цену и, я бы сказала, был честолюбив, чему тоже способствовала болезнь. Примечательно, как он подписался под одной из своих статей, в подражание стихотворению Пушкина — «Моя родословная»:

Я не нарком и не цекист —
Я просто Ларин коммунист.

Кажется, так он подписал шуточную новогоднюю статью, на этот раз действительно фантастическую, опубликованную в «Правде» или в «Известиях». Из этой статьи мне запомнилось место, касающееся Бухарина. Ларин писал, что вскоре наука дойдет до такой степени развития, когда каждый человек по своему желанию сможет превращаться из мужчины в женщину, и наоборот. Эксперимент решил провести над собой Бухарин и стал Ниной Бухариной — девушкой с длинной русой косой. И, насколько мне помнится, Нина не смогла вновь стать Николаем².

Неугомонность его натуры проявлялась во всем. Когда была объявлена всесоюзная викторина, принял участие в ней и получил первый приз. Он всегда тянулся к новаторам. Мало кому известный в то время доктор Казаков (впоследст-

¹ О проекте Декрета о Земле, написанном Лариным вместе с В. П. Милютиным, я слышала от отца. В дальнейшем нашла этому подтверждение в воспоминаниях Милютина, впервые опубликованных еще при жизни Ленина в седьмом номере журнала «Сельскохозяйственная жизнь» за 1922 год: «В знаменитую ночь переворота, с 24 на 25 октября, когда в первом этаже Смольного, в небольшой комнатке, составлялся список первого Совета Народных Комиссаров, в эту же ночь вырабатывался и первый окончательный Декрет о земле. Я вошел в первый Совет Народных Комиссаров в качестве Народного Комиссара Земледелия. Первый проект Декрета о земле был набросан мной и т. Лариным, но окончательная формулировка и написание проекта Декрета о земле принадлежат т. Ленину. Мы были лишены возможности долгого обсуждения».

² О фантастической Нине Бухариной упоминал Н. И. в своей речи на десятом съезде РКП(б) (1921 г.). Выступая по поводу статьи А. М. Коллонтай «Крест материнства», опубликованной в журнале «Коммунистка» № 8—9 за январь—февраль 1921 г., касающейся любви и нравственности, статьи, в которой она заявляла, что ее взгляды разделяют в большей степени женщины, чем мужчины, Н. И., возражая ей, сказал: «...если бы даже осуществилась мечта т. Ларина и я был бы превращен в Нину Бухарину, я не пришел бы в восхищение от этой статьи».

Самое забавное заключается в том, что в именном указателе X съезда РКП(б) ошибочно указывается, что фантастическая Нина Бухарина — это первая жена Н. И. Надежда Михайловна Бухарина-Лукина.

вии он обвинялся по одному процессу с Бухариным и был расстрелян), которого считали шарлатаном в медицине, чтобы убедить в эффективности применяемого им метода лечения, приводил в кабинет Ларина своих пациентов, еле державшихся на ногах, а потом показывал их здоровыми. После этого Ларин стал помогать Казакову в организации института экспериментальной медицины. Доктор-ветеринар Тоболкин добился через Ларина организации Сухумского обезьяньего питомника, опять-таки в целях экспериментальной медицины. Специалист по сое Брагин увлек Ларина разведением соевых бобов и т. д.

Его трогали даже мелочи, к примеру, название деревни Кобылья Луза. Однажды, проезжая мимо этой деревни, Ларин решил зайти в сельсовет и поговорить с председателем о ее переименовании. Председатель оказался на месте. «Уж слишком некрасивое название досталось вашей деревне от дореволюционного прошлого, надо придумать новое», — сказал Ларин. Председатель легко согласился. Вскоре, когда отец вместе со мной опять оказался около этой деревни, он издала увидел новую вывеску на избе сельсовета: «Деревня Советская луза — советско-лужинский сельский Совет». Трудно передать выражение лица изумленного и потрясенного Ларина. Он был настолько взволнован, что слезть с машины и дойти до сельсовета не смог.

В первые годы после революции была еще безработица, существовала биржа труда. Многие обращались к Ларину за помощью в устройстве на работу. Помощь эта приняла такой широкий размах, что кабинет Ларина шутя называли «Ларинская биржа труда».

Он помогал несправедливо обвиненным в бюрократизме, несправедливо исключенным из партии и, когда это было возможно, незаконно репрессированным.

Еще об одном случае, ярко характеризующем личность отца, мне хочется рассказать. Однажды в его кабинет вошла незнакомая женщина, сказала, что муж ее погиб на фронте, осталось трое малых детей и что они голодают, — просила помочь. В тот момент деньгами отец существенно помочь не мог, хотя небольшую сумму дал. Но выход мгновенно нашел: вытащил из чемодана матери песцовый воротник, купленный ею себе на пальто, и отдал женщине. Та ушла вполне удовлетворенная. Мать была рассержена: «А ты уверен, что эта особа не аферистка?» «Неужели!» — воскликнул отец, в тот момент и сам заподозрив это. Женщина была довольно хорошо одета.

Однако Ларин помогал людям лишь тогда, когда это не противоречило его нравственным принципам, в противном случае ни о какой помощи и речи не могло быть. Мне вспоминается, как однажды позвонили из Наркоминдела и сообщили, что из Берлина по дипломатическим каналам для Ларина прибыла посылка. Обычно таким путем отцу посылали книги экономического характера. На этот раз вместо книг на его имя пришла большая вещевая посылка с женским бельем, кофточками, детскими вещами, игрушками и т. д. Отец недоумевал, пока на следующий день не позвонила незнакомая женщина и вежливо попросила передать ей вещи, присланные родственниками из Берлина через посольство на имя Ларина, дабы избежать уплаты пошлины за посылку.

— Вы ничего не получите, — ответил рассерженный Ларин, — я не разрешаю использовать мое имя в таких целях.

— Что же, вы присвоите себе чужие вещи? — заволновалась женщина.

— Обязательно присвою, — ответил разгневанный Ларин и положил трубку.

Все было роздано уборщицам из «Метрополя» с разъяснением, откуда взялись эти вещи.

Быть может, рассказанные эпизоды покажутся мелочью, ненужными деталями, на которых не стоило бы останавливаться, но, как я думаю, как раз эти мелочи дополняют, а возможно, даже определяют собой крупное в сложном портрете моего отца.

О к о н ч а н и е с л е д у е т

А. М. Ларина

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В камере, еще и еще раз осмысляя свой разговор-допрос с Берией, возвращаясь к каждой фразе, я отчетливо поняла, насколько справедливы были мои слова о том, что, не будь я дочерью Ларина, я не стала бы женой Бухарина.

Ларин и Н. И. были знакомы еще со времен эмиграции, впервые встретились в Италии в 1913 г., куда Н. И. наезжал из Австрии, в течение года (с лета 1915 по лето 1916) они жили по соседству в Швеции. В то время их уже связывала идейная близость — борьба с оборончеством. Затем с 1918 г. до середины 1927 г. мы жили одновременно в «Метрополе». Отец и Н. И. не всегда сходились во взглядах, но это никогда не нарушало их дружбы. Они были предельно откровенны друг с другом, старались спокойно доказать правоту своих взглядов по различным экономическим вопросам. Н. И. относился к отцу с большой нежностью. Часто приходя и заставляя его без посторонних, целовал в голову. Придумывал Ларину всевозможные прозвища — «Ларчик, который непросто открывается», Ларингит, Ландрин. Или же звал его просто Мика, как все родные, а уж если по имени и отчеству, что бывало в тех случаях, когда разговор происходил в возбужденном тоне, то обязательно Юрий Михайлович, а не Михаил Александрович. Именно поэтому нашего сына, в память о моем отце, по желанию Н. И., мы называли Юрий.

Я не открою секрета, если скажу, что из всех многочисленных друзей отца, бывавших у нас дома, моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неумная жизнерадостность, озорство, страстная любовь и знание природы, а также его увлечение живописью. В то время я не воспринимала Н. И. вполне взрослым человеком. Это может показаться смешным и нелепым, тем не менее думаю, что я правильно передаю свое детское отношение к нему. Если всех самых близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на «вы», то Н. И. такой чести удостоен не был. Я называла его Николаша и обращалась только на «ты», чем смешила и самого Н. И., и своих родителей, тщетно старавшихся исправить мое фамильярное отношение к Бухарину, пока они к этому не привыкли.

Обстоятельства знакомства с Н. И. мне хорошо запомнились. В тот день мать повела меня в Художественный театр смотреть «Синюю птицу». Весь день я находилась под впечатлением спектакля, а когда легла спать, увидела во сне и Хлеб, и Молоко, и загробный мир — спокойный, ясный и совсем не страшный. Слышалась мелодичная музыка Ильи Саца: «Мы длинной вереницей идем за синей птицей». И как раз в тот момент, когда мне привиделся Кот, кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь Кот на сцене был большой, в человеческий рост, и крикнула: «Уходи, Кот!» Потом сквозь сон услышала слова матери: «Н. И., что вы делаете, зачем вы будите ребенка!» Но я проснулась, и сквозь кошачью морду все отчетливее стало вырисовываться лицо Бухарина. В тот момент я и поймала свою «синюю птицу» — не сказочно-фантастическую, а земную, за ко-

торую заплатила дорогой ценой. Разбудивший меня Н. И. весело смеялся и неожиданно для меня повторил слова, которые я произносила, когда жила в Белоруссии и в сосновом бору видела множество дятлов: «Дятлей носом тук да тук, тук да тук». К дятлам я имела особое пристрастие за пестрое оперение, красную голову и трудолюбие, о чем мать рассказала Н. И. как большому знатоку птиц. Н. И. забавляло, что я говорила «дятлей носом», а не клювом «тук да тук».

Н. И. забегал к отцу чаще ненадолго, по характеру своему он был непоседа, да и время поджимало, но бывало, что и засиживался. Приходил и со своими учениками. В более позднее время хорошо помнятся Ефим Цетлин, Дмитрий Марецкий, Александр Слепков. Компания была шумная. На двери ларинского кабинета висело написанное моей рукой под диктовку отца объявление: «Спорить можно сколько угодно, курить нельзя». Ну и спорили действительно сколько угодно...

Я всегда в детстве огорчалась, когда Н. И. уходил от нас, и все чаще и чаще забегала сама к нему. Он жил этажом ниже, под нами, в 205-м, таком же трехкомнатном номере. Квартира была расположена в конце коридора, а коридор упирался в фонтан, отгороженный стеклянной стенкой. После революции фонтан бездействовал, и Н. И. превратил его в зверинец. То там летали огромные орлы, то жила обезьяна-мартышка, то медвежонок. Все, кроме обезьяны, — охотничьи трофеи Н. И. В то время, т. е. в 1925—1927 гг., я часто заставляла Сталина у Н. И. Как-то раз там я слышала его циничную шутку, обращенную к отцу Н. И.: «Скажите, Иван Гаврилович, чем вы своего сына делали? Я хочу ваш метод позаимствовать, ах какой сын, ах какой сын!»

Однажды Сталин вытащил из коробки с масляными красками Н. И. цинковые белила и написал ими на куске красной тряпки: «Долой троцкизм!» Тряпку привязал к лапе медвежонка и пустил его на балкон. Медведь старался освободить лапу от тряпки, махал привязанным «знаменем» с лозунгом на злобу дня. Троцкий в то время представлял для Сталина главную опасность, черед «правой» опасности еще не пришел.

Отец радовался, когда я бывала у Н. И., говорил: «Пошла в отхожий промысел». Ему всегда казалось, что его болезнь омрачает мою жизнь, что я не добираю детской радости. Да и сам он старался меня к Н. И. «подбрасывать». Летом 1925 г. мы с родителями и Н. И. были одновременно в Сочи, а в 1927 г. — в Евпатории. По желанию отца и с согласия Н. И. я жила больше у него, чем у родителей. Ездила с ним в горы, он брал меня с собой на охоту, на этюды, мы вместе ловили бабочек, жуков-богомолов, он учил меня плавать. Какое прекрасное то было время.

По мере того как я подрастала, моя привязанность к Н. И. все усиливалась. Меня уже не удовлетворяло довольно частое пребывание Н. И. у нас. К тому же мне было ясно, что я есть нечто сопутствующее Ларину, ко мне бы он не приходил (так было до 1930 года), и я тосковала. По приезде из Сочи (в ту пору мне было одиннадцать лет) я написала Н. И. стихи:

Николаша-простокваша,
Так начнется песня наша.
У Николы много дел,
Весь от дел он похудел.
От бумаг карман распух,
Как в подушке мягкий пух,
Едет в Сочи поправляться
И на море любоваться...

и т. д., всего не помню, но конец такой:

Видеть я тебя хочу.
Без тебя всегда грущу.

Показала стихи отцу, он сказал: «Прекрасно! Раз написала, пойдешь и отнесешь своему Николаше». Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец предложил отнести стихи в конверте, на котором написал: «От Ю. Ларина». Я приняла решение: позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как

неожиданно встретила Сталина. Было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его захватить Бухарину письмо от Ларина. Так, через Сталина я передала Бухарину свое детское объяснение в любви. Сразу же раздался телефонный звонок. Н. И. просил прийти. Но я пойти к нему не решилась.

1927 год был для меня очень печальным. По настоянию Сталина Н. И. переехал в Кремль. Пройти туда без пропуска было невозможно. Требовался предварительный звонок Н. И. в проходную у Троицких ворот. И хотя впоследствии Н. И. оформил для меня постоянный пропуск, застать его дома в ту пору было почти невозможно. Я специально изменила свой маршрут в школу, шла более длинным путем, лишь бы пройти мимо Коминтерна (здание Коминтерна находилось против Манежа, возле Троицких ворот Кремля) в надежде встретить Н. И. Мне не раз везло, и я, радостная, устремлялась к нему.

Время было напряженное, внутрипартийная дискуссия достигла крайнего накала — XV съезд ВКП(б)... До меня ли было! Н. И. заходил к отцу реже, но задерживался дольше, беседуя о текущих партийных делах. Их взгляды в то время совпадали. Меня же в ту пору ничто не тревожило. Мои волнения начались позже, когда я стала старше и под обстрелом был Н. И.

Я уже подробно описывала историю с «Гималаями», однако не упомянула, к каким последствиям она привела. А это как нельзя лучше характеризует атмосферу тех лет. Придя с заседания, на котором Сталин в присутствии членов Политбюро отказался от слов, сказанных Бухарину: «Мы с тобой Гималаи, все остальные — ничтожества» и кричал: «Лжешь, лжешь, лжешь», Н. И. рассказал об этом Ларину в присутствии матери и моем. Мать имела неосторожность рассказать своей знакомой, та, вероятно, сообщила «куда следует», так или иначе через несколько дней все стало известно Сталину. Он вызвал Н. И. к себе, кричал, что он распространяет клеветнические слухи и что ему, Сталину, все стало известно со слов Лариной. «А Ларина — честная женщина и лгать не будет» (Позже, когда это событие осталось далеко позади, Н. И. шутя называл мою мать «Еленка, честная женщина»). Трудно передать, в каком смятении прибежал Н. И. к нам и как были взволнованы родители. Мать призналась в своей оплошности.

Отец пережил это событие необычайно глубоко. Его волновало не только то, что неосмотрительность матери навлекла крупные неприятности на Н. И. Нравственным потрясением была для отца и самая возможность того, что его семья может способствовать отвратительной политической интриге. Он писал длинное письмо Сталину, затем порвал написанное и ограничился одной фразой: «Мы доносами не занимаемся. Ю. Ларин».

21 января 1924 г. поздним вечером позвонил из Горок Бухарин и сообщил, что жизнь Владимира Ильича оборвалась. Я еще не спала и видела, как две слезы, только две, катились из скорбных глаз отца, по его мертвенно-бледным щекам. Ночью он не спал и писал траурную статью. Она была одной из первых опубликованных в «Правде» и заканчивалась такими строками: «Вечно будет гордиться наш пролетариат, вечно будет гордиться наша страна, что здесь, с нами, жил и боролся, учил и трудился человек, имя которого стало легендой и надеждой для угнетенных всех стран еще при его жизни и останется маяком и знаменем в борьбе пролетариата вплоть до полной победы социализма повсюду».

Меня, девочку, потрясло, конечно, не понимание тяжести утраты, изменившей ход истории, а необычность впечатлений: глаза отца, точно от боли страдающие и померкшие, навзрыд плачущий Бухарин, похороны Ленина.

День похорон 27 января, совпавший с моим днем рождения, нарушил мой детский праздник. Отец сказал мне: «твой день рождения 27 января отменяется (будто бы это был очередной декрет Советской власти), теперь это навеки день траура. Твой день рождения отмечать мы будем 27 мая, когда природа пробуждается и все цветет». Самое интересное заключается в том, что отец вместе со мной поехал в ЗАГС на Петровку, чтобы заменить мне метрическое свидетельство. Изумленный просьбой Ларина, сотрудник ЗАГСа долго упирался, советуя день рождения отмечать 27 мая, но документ не менять. Наконец, сдался. Вторично я была зарегистрирована спустя 10 лет после своего рождения. По этому метри-

ческому свидетельству мне выдали паспорт, в котором и по сей день значится датой моего рождения 27 мая.

Вместе с отцом я была в Колонном зале Дома союзов, где стоял гроб с телом Ленина. Машина проехать не могла, и я помогала отцу добраться пешком. Ответственных партийных работников вызывали по телефону к назначенному часу. Мы вошли в комнату позади Колонного зала. Там застали Надежду Константиновну, Марию Ильиничну, Зиновьева, Томского, Калинина, Бухарина — остальных не помню. У Зиновьева и Бухарина глаза, покрасневшие от слез. Я с волнением повела отца к гробу Ленина, пристроилась где-то сбоку. Заметила старшую сестру Ленина — Анну Ильиничну. Она стояла ближе к изголовью неподвижно, точно изваяние. Вглядывалась в лицо брата и, казалось, старалась не упустить ни единой минуты прощания. Мне известно от Н. И., что все Ульяновы были против бальзамирования тела Ленина и в Мавзолее не бывали.

Похороны Ленина забыть невозможно. Об этом много написано и стихами и прозой. Но я была свидетелем всему этому. Лютый мороз, горящие костры, возле них прыгающие, чтобы согреться, красноармейцы в длинных серых шинелях и глубоко надвинутых на лоб буденовках. Ходоки-крестьяне, их было множество, в лаптях, с заиндеветыми от мороза бородами, с замерзшими слезами на глазах. Всенародное горе. Круглосуточное шествие в Колонный зал было видно из окон нашей квартиры в «Метрополе». Я встала ночью с постели и смотрела на нескончаемый людской поток, освещенный пламенем ярких костров, движущийся к Дому союзов. Незабываемая, впечатляющая картина.

Смерть Ленина его ближайшие соратники переживали невероятно болезненно. Они, как теперь мне представляется, ходили на мечущихся перед землетрясением, инстинктивно чувствующих приближение чего-то неведомого, но страшного. Конечно же, они не могли предвидеть, что в недалеком будущем в большинстве своем окажутся сброшенными Сталиным на свалку истории.

Справедливую мысль высказал при разговоре со мной Илья Григорьевич Эренбург: «Ближайшие товарищи Ленина совершили огромную ошибку. После смерти его они обожествили Ленина, чем воспользовался Сталин, и благодаря своему великому умению зачислил их всех в крамольники».

Сталину льстило, когда его угодливо называли «Ленин сегодня», что вовсе не означает, что Ленин был «Сталиным вчера».

Трудно передать мое состояние в камере. Я переосмысляла свое поведение при разговоре с Берией. Перед кем же я бисер метала! В памяти всплывали бериевские фразы, на которых при допросе я не успевала задержать внимание, но сейчас казавшиеся особенно кощунственными. Как он смел сказать мне такое: «Дочь Ларина мало того, что вышла замуж за врага народа, но еще и защищает его». Но не только частое упоминание имени Ларина — даже кисть винограда, свисавшая из наркомовского пакета, напоминала об отце. Он любил свою родину — крымское побережье, где море казалось ему ярче Средиземного, крымские степи, весной алеющие от цветущих маков, самые душистые крымские розы, самый вкусный крымский виноград, выращенный умелой рукой татар, и как раз именно этот сорт — александрийский мускат. «Волшебный край! Очей отрада...» — часто повторял он строки Пушкина.

Как-то в Крыму в августе 1931 г. поздним вечером Ларина отвезли на машине к берегу моря. Самостоятельно добраться туда по крутой дороге он не мог. Было полнолуние. Серебристая дорожка вырисовывалась удивительно четко. Оставив отца сидящим на скале у самой воды, я уплыла довольно далеко в море. И вдруг меня охватило чувство приближающейся смерти. Я круто повернула назад, стараясь скорее приплыть к берегу. Подплывая, я уже посмеивалась над своим необъяснимым страхом. И только решила рассказать об этом отцу, как нахлынула волна и смыла его. Я пыталась его удержать, но это оказалось не в моих силах. Нас потащило в море вместе, и мы погибли бы оба, если бы шофер издалека не услышал моего отчаянного крика. В тюремной камере это происшествие стало казаться мне тяжким предзнаменованием: отец после него не прожил и полугода.

К его болезненному состоянию мы уже привыкли, но ничто не предвещало

столь скорого конца. 31 декабря он настоял, чтобы я встречала новый, 1932 год с молодежью. Обычно новогодний вечер я проводила с родителями. На этот раз пошла к моему сверстнику — Стаху Ганецкому, сыну известного революционера. Только я переступила порог квартиры Ганецких, как раздался телефонный звонок отца: «Немедленно возвращайся домой, я умираю!» В волнении я помчалась домой. Там передо мной предстала картина, которую трудно вообразить: отец, который обычно с трудом передвигался, бегал по квартире из комнаты в комнату в бешеном темпе. Что привело его в такое состояние, для меня и по сей день остается тайной. Мать и я заподозрили психическое заболевание. Вызвали известного невропатолога проф. Крамера, тот явился в нарушение своих новогодних планов в двенадцатом часу ночи, но психических отклонений не обнаружил. Врачи-терапевты поставили диагноз — двустороннее воспаление легких. Две недели отец мучительно умирал, сидя в кресле — лежа дышать не мог. Это была пытка.

В камере вспоминать последний день отца было, возможно, даже тяжелее, чем пережить, ибо все происшедшее я рассматривала под иным углом зрения.

Утром 14 января положение резко ухудшилось. Мать сообщила об этом ближайшим товарищам Ларина. Пришли А. И. Рыков с женой Ниной Семеновной, В. П. Милютин, Л. Н. Крицман¹. В это время неожиданно позвонил Сталин и попросил Ларина к телефону. Но он был не в состоянии взять трубку. «Как жаль, как жаль, — сказал Сталин, — а я хотел его наркомземом назначить. А раз болен, срочно пришлю Поскребышева (личный секретарь Сталина) для организации лечения, а после окончания заседания Политбюро сам приеду навестить его»².

Отец до последней минуты был в полном сознании, и мать сказала ему о звонке Сталина. Все присутствовавшие были крайне удивлены. Ни по своему характеру, ни по состоянию здоровья для должности наркомзема отец не подходил. Да и не было между Сталиным и Лариным такой близости, которая позволяла бы думать, что Сталин навестит больного Ларина. Но больше всех поражен был Владимир Павлович Милютин, т. к. видел Сталина на днях и сообщил ему, что Ларин очень плох, похоже, что умирает. «Неужто забыл?!» — произнес Милютин и в недоумении пожал плечами.

Вскоре явился Поскребышев, с ним вместе будущие «врачи-отравители» (осужденные впоследствии вместе с Бухариным кремлевский доктор Левин и известный кардиолог профессор Плетнев). Оба сочли положение отца безнадежным и быстро ушли. Поскребышев почему-то остался и вместе с матерью был возле отца до самой его кончины. Я же сидела у открытой двери, ведущей из кабинета в спальню, видела его отражение в зеркале, но подойти от волнения не решалась, пока отец сам не позвал меня. При мне он попросил мать передать Сталину через

¹ Бухарин был в отпуске, в Нальчике. Я вызвала его телеграммой слишком поздно. Он приехал только на следующий день после похорон отца. Сталин, встретив Н. И., сказал ему: «Зачем прервал свой отпуск? Ларина приехал хоронить? Мы и без тебя его хорошо похоронили...»

² Кстати, мне помнятся еще два весьма примечательных телефонных звонка Сталина Ларину. В первом случае Сталин звонил в 1925 г. (об этом при мне потом вспоминали много позже) и просил Ларина выступить против Бухарина на четырнадцатой партконференции по поводу его лозунга «обогащайтесь». При личном разговоре отец высказал Н. И. мнение, что формулировка «обогащайтесь» неудачная, лучше бы выразиться «богатеите», ибо «обогащайтесь» — терминология буржуазная. Насколько мне помнится, Н. И. согласился с этим. Заслуживает внимания сам факт обращения Сталина к Ларину перед XIV съездом РКП(б), собравшимся вскоре после конференции, проходившей в совместной борьбе Сталина и Бухарина с «новой оппозицией». Между тем сам Сталин в выступлении на съезде расценил этот лозунг как малозначительную ошибку. «Я знаю, — сказал он, — ошибки некоторых товарищей, например, в Октябре 1917 г. (имея в виду Каменева и Зиновьева. — А. Л.), в сравнении с которыми ошибка тов. Бухарина не стоит даже внимания».

В таком случае какова же цель сталинской просьбы? Не сомневаюсь, что, выступая совместно с Бухариным против Зиновьева и Каменева, Сталин одновременно закладывал фундамент для политического уничтожения Бухарина.

Другой телефонный звонок Сталина отцу последовал месяца за три-четыре до его смерти. «Товарищ Ларин, — сказал Сталин, — в ближайшее время вы будете избраны действительным членом Академии наук СССР» — так избирали... Отец рассказал об этом звонке Н. И., тот заметил: «Для Сталина «избрание» в Академию наук СССР образованных большевиков-марксистов — это водворение их на историческую свалку, т. е. политическая смерть».

Ларина вывели из ЦИКа и ВЦИКа, где главным образом он работал, и он фактически оказался не у дел вскоре после того, как в декабре 1929 года на конференции аграрников-марксистов он обменялся со Сталиным не только шапками, но и полемическими речами — осмелился высказать мнение, что колхозы не являются предприятиями последовательно социалистического типа, поскольку в основе их лежит не государственная собственность, а обобщественная, но частная и что таковыми, т. е. предприятиями последовательно социалистического типа, являются совхозы.

Поскребышева папку с его очередным экономическим проектом, что она сделала. Затем обратился ко мне. Вопрос умирающего отца меня поразил и озадачил:

— Николая Ивановича ты все еще любишь? — спросил он, зная, что с марта 1931 г. мы не виделись. Я была смущена тем, что должна была дать ответ в присутствии Поскребышева, и взволнована потому, что мне хотелось, чтобы мой ответ удовлетворил предсмертное желание отца, которого я не знала. Но солгать я не могла и ответила утвердительно, не исключая, что отец огорчится и скажет: «Надо забыть его!» Однако глухим, еле слышным голосом он произнес:

— Интересней прожить с Н. И. десять лет, чем с другим всю жизнь.

Эти слова отца явились своего рода благословением.

Затем жестом он показал мне, чтобы я подошла еще ближе, т. к. голос его все слабел и слабел, и скорее прохрипел, чем сказал:

— Мало любить Советскую власть, потому что в результате ее победы тебе неплохо живется! Надо суметь за нее жизнь отдать, кровь пролить, если потребуется (как я поняла, отдать жизнь в случае интервенции против Советского Союза)! — С большим трудом он чуть приподнял кисть правой руки, сжатую в кулак, сразу же безжизненно упавшую ему на колено: — Клянись, что ты сможешь это сделать!

И я поклялась.

За мгновение до смерти отец повернул голову в сторону Поскребышева. Смотреть на него уже не мог, голова беспомощно болталась. Он пытался что-то сказать, но это был уже жалкий, невнятный лепет. Нам удалось понять лишь следующее: «Прах мой развеите с самолета»¹, и «Мы победим!» Последний вздох, и сердце его перестало биться.

Произнесенные отцом слова привели меня в гордое волнение. Какой великой фанатической верой в более совершенное общество жили, душевно горели большевики!

В тюремной камере, вспоминая предсмертные слова отца, я содрогнулась. Во что и в кого оставалось верить? Все, во что я верила, было убито, втоптанно в грязь. Миллионы заключенных, бесконечные этапы, переполненные тюремные камеры, инсценированные судебные процессы над теми, кого в недалеком прошлом называли большевистскими вождями, и восседающий на троне диктатор.

Я далека была от мысли, что жизнь моя изменится в лучшую сторону. То казалось, что она вот-вот оборвется, то я чувствовала себя обреченной на пожизненное одиночество. Так усердно меня прятали, что можно было и это предположить. Порой, после пережитого в антибесском лагере, у оврага, когда по непонятной для меня причине я избежала расстрела, я фантазировала, убеждая себя в том, что смерти я не подвластна, а подобно Агасферу — Вечному жиду, осужденному богом на вечную жизнь и скитания за то, что тот ударил Христа по пути на Голгофу, осуждена Отцом народов на вечное скитание из одной одиночной камеры в другую за то, что не прокляла Бухарина.

И вдруг — перемена, ознаменовавшая конец моего одиночества.

«Собирайтесь и пошли», — сказал тюремщик. Вещей не было, лишь те, что на мне, да пакет с фруктами. И есть их было не вмоготу и кинуть жалко. На этот раз пакет несла сама. Шли по холлу второго этажа, обрамленному балконом. По внешнему виду ничто не напоминало тюрьму, но ввели меня в камеру. Судя по проникавшему через зарешеченное окно свету, было утро. На кровати сидела женщина средних лет, худощавая, с небольшими светлыми выразительными глазами, подстриженная по-мужски. Она с удивлением посмотрела на мою ношу (которой довольно скоро мы полакомились) и сосредоточенно окинула меня взглядом. Наученная горьким опытом, на этот раз я решила внять совету Берии и больше помалкивать.

Первой заговорила со мной сокамерница:

¹ Пришедшему тотчас же после смерти отца Авелю Сафроновичу Енукидзе я передала последнюю волю отца — развеять его прах с самолета. Но Енукидзе воспринял это как очередную ларинскую фантазию, чудачество. Место похорон — Красная площадь — было продиктовано по телефону Сталиным.

— Я вас где-то видела, не у Ларина ли? — спросила женщина.

— Возможно, у него.

— Если не ошибаюсь, вы дочь его?

Я подтвердила.

— Я помню вас еще девочкой и знаю, чья вы жена.

Так сразу же я была «расшифрована».

— Какой ум он уничтожил! Как только рука поднялась, — произнесла взволнованно женщина и тут же рассказала мне свою историю.

Это была съездовская стенографистка Валентина Петровна Остроумова. Она стенографировала выступления на партийных съездах, съездах Советов, партийных конференциях. Остроумова приходила к отцу править стенограммы его речей, знала многих большевиков, теперь погибших. В последние годы Валентина Петровна работала на Севере секретарем Игарского комитета партии. Летом 1938 г. прилетела в отпуск в Москву и зашла на квартиру к М. И. Калинин, поскольку была дружна с его женой Екатериной Ивановной. Встретились и поговорили — отвели душу. Сталину дали заслуженную характеристику: «Тиран, садист, уничтоживший ленинскую гвардию и миллионы невинных людей» (передаю ее слова точно). Не могу припомнить, присутствовал ли при разговоре кто-либо третий, или же стены на квартире М. И. Калинина «слушали». Так или иначе, арестовали обеих. Остроумову — в аэропорту, когда она после окончания отпуска улета-ла на Игарку, Екатерине Ивановне, как мне рассказывали в камере, ордер на арест предъявили у входа в Кремль, в проходной у Троицких ворот.

Оказавшись в одной камере с Остроумовой, я была свидетелем драматического развития следствия по ее делу. Валентина Петровна из ненависти к Сталину готова была подтвердить все, что говорила о нем, но была озабочена положением жены Калинина. Подтверждение такого разговора, как она полагала, могло привести к неприятностям и для самого Калинина. Только из этих соображений Остроумова некоторое время отрицала происшедший разговор. Впоследствии выяснилось, что и следователь, и Берия, вызывавшие Валентину Петровну на допросы, были осведомлены до малейших подробностей о содержании беседы, причем Берия заявил, что ему все это известно из признаний жены Калинина. Остроумова, поверившая Берии, наконец подтвердила состоявшийся между ними разговор, после чего следователь устроил очную ставку Е. И. Калининой и В. П. Остроумовой. На очной ставке Валентина Петровна убедилась, что была обманута Берией. Екатерина Ивановна все отрицала. Так по крайней мере выглядит эта история в изложении Остроумовой. Я пробыла с Валентиной Петровной недолго. Ее увели из камеры в неизвестность. Судя по тому, что я прочла о ней уже в шестидесятых годах, из лагеря она не вернулась.

Екатерину Ивановну Калинин мне довелось видеть в Бутырской тюрьме после вынесенного ей приговора. К сожалению, только видеть, а не разговаривать. Перед повторной отправкой в лагерь в начале 1941 года меня перевезли в Бутырскую тюрьму. В камере, куда меня сначала ввели, не было ни одного свободного места, и я случайно села у ног спящей Екатерины Ивановны. Знакома с ней я не была, но в лицо знала. Она выглядела изможденной и постаревшей. Меня перевели в другую камеру до того, как она проснулась. Ее сокамерницы успели рассказать мне, что Екатерина Ивановна получила большой срок чуть ли не за шпионаж (А почему бы не за шпионаж? В чем угодно обвиняли безвинных людей.). Якобы ей было предложено написать о помиловании в Верховный Совет, на что она гордо ответила: «Я требую оправдания, а не помилования!» За достоверность этих сведений не ручаюсь. Мне известно, что Екатерина Ивановна была освобождена незадолго до смерти Калинина, скончавшегося летом 1946 г.¹

Несколько дней после исчезновения Остроумовой я находилась в этой же ка-

¹ В связи с арестом жены Калинина мне вспоминается интересный случай: в томском лагере, где содержались в заключении только жены так называемых изменников Родины, в большинстве своем расстрелянных, была одна белая ворона — жена неарестованного московского профессора, по-видимому, попавшая к нам по ошибке. Профессор долго, но тщетно хлопотал об освобождении жены. Наконец он добился приема у Калинина. Когда он изложил свою просьбу, Калинин ответил: «Голубчик, я нахожусь точно в таком же положении. Я, как ни старался, не смог помочь своей собственной жене. Не имею возможности помочь и вашей». Вот какой властью обладал Всесоюзный староста...

мере с женой Белова¹ (она сутками непрерывно рыдала и билась в истерике головой об стенку), потом меня перевели в общую камеру.

Я села на единственную свободную койку, и заключенные женщины сразу же рассказали, что до меня это место занимала няня внука Троцкого от его младшего сына Сергея². Рассказывали, что няня была очень привязана к ребенку и сквозь слезы повторяла: «Ничего, ничего, Левушка (внук был назван в честь деда), придет дедушка, найдет на них войско, на этих извергов, и нас освободит».

В той же камере я встретила секретаршей Ежова — Рыжовой. Так, вопрос, который я не раз задавала Берии, прояснился окончательно. Рыжова рассказала мне о своем допросе у Берии. Тот объявил ей: «Ваш хозяин — враг народа, шпион», на что Рыжова ответила, что никогда бы не могла этого подумать, он же выполнял указания самого Сталина. А Берия прикрикнул: «Плохо думали, не умеете распознавать врага!» Рыжова сказанное Берией приняла за чистую монету и сделала наивный вывод, сказав мне в утешение:

— Если мой Николай Иванович (имея в виду Ежова) оказался шпионом, то вашего Николая Ивановича оправдают хотя бы посмертно.

Мне оставалось только молчать.

Напротив меня сидела старуха, жена военного, вся в синяках от побоев. Ее мучили галлюцинации: «Ваня, Ваня! — кричала она, — товарищи, смотрите в окно, его ведут на расстрел!» Мы все старались убедить несчастную, что это ей кажется, но крик периодически повторялся.

Рядом со мной оказалась Наталия Сац. Ее, «жену изменника Родины», так же, как и меня, привезли на переследствие. Переболевшая в лагере тифом, истощенная до предела, она походила на щупленькую девочку, но уже с седой головой. Ее мучила тоска по созданному ею детскому театру, которому она отдала много сил и таланта. Любовь к театру была страстной и ревностной. Ей больно было сознавать, что кто-то иной, посторонний человек вторгся в ее театр, словно отобрал рожденное ею дитя. Стремление вернуться в театр было настолько сильно, что, казалось, очутись Наталия Ильинична снова в нем, даже под конвоем, это до известной степени ослабило бы чувство несвободы и принесло бы ей удовлетворение. Наряду с этим она так же, как и мы все, была озабочена судьбой своей матери и детей. Своего мужа, наркома внутренней торговли Вейцера, впоследствии расстрелянного, она вспоминала с большой любовью и теплотой: «Где мой Вейцер, неужто погиб мой Вейцер?» Как часто, разговаривая со мной и тяжело вздыхая, повторяла она эти слова. И вместе с тем, несмотря на тяжкие обстоятельства, Наталия Ильинична (для меня Наташа) сохранила творческую энергию, юмор, любила шутку, меня называла Ларкина-Бухаркина, читала мне стихи, сочиненные ею перед отъездом из лагеря в московскую тюрьму:

Прощай, Сибирь, прощай буран и вьюга,
Безоблачного неба бирюза!
Прощай, Жиган!³ Ты лучшим был мне другом.
В последний раз гляжу в твои глаза.

От Наташи я снова услышала французскую песенку, ту же, что любил напевать Н. И. в Париже: «Comme ils étaient forts tes bras qui m'embrassaient» (как были сильны твои обнимающие руки).

В этой же камере судьба свела меня с Софьей Абрамовной Кавтарадзе — женой Серго Кавтарадзе⁴. На склоне лет она сохранила красоту тонкого интеллигентного лица, а ее выразительные глаза излучали благородство. Я сблизилась

¹ Белов И. П. — советский военачальник, командарм I ранга, командовавший войсками ряда военных округов. В июне 1937 г. — член суда над Тухачевским, Уборевичем, Якиром и др. Расстрелян в 1938 г.

² Бронштейн Сергей Львович — инженер. Работал в Наркомтяжпроме у Серго Орджоникидзе. Политической деятельностью не занимался. Расстрелян, жена была арестована, а ребенок забран в детский дом. Дальнейшая их судьба мне неизвестна.

³ Излюбленная кличка воров и бандитов.

⁴ Кавтарадзе Серго (Сергей Иванович). Один из руководителей борьбы за Советскую власть на Кавказе. В 1922—1923 гг. — Председатель Совнаркома Грузии. В 1924—1928 гг. — первый зам. прокурора Верховного суда. Участник троцкистской оппозиции. Был известен как один из образованнейших большевиков Грузии. В годы террора арестован, затем освобожден по распоряжению Сталина — беспрецедентный случай для человека такой биографии. После освобождения с 1941 г. — зам. министра иностранных дел, затем — посол в Румынии.

с ней. Софья Абрамовна учила меня французскому языку. Мы пользовались библиотекой и французский текст читали по Л. Н. Толстому в «Войне и мире». Наши занятия прекратились, когда в один прекрасный день она пришла от следователя радостная. Собирая вещи, она сообщила нам о своем освобождении. Все оторопели: событие необъяснимое, не соответствующее нравам времени. Этот случай был единственным за все мое многолетнее заключение.

У противоположной стенки сидела жена комкора Угрюмова. (Я не совсем верно отображаю обстановку в камере, когда употребляю слово «сидела», имея в виду — сидела в тюрьме; мы больше валялись на койках, чем сидели). Угрюмова была единственным человеком в камере, с которым я раньше была знакома. И я, и она начали свой лагерный путь в Томске. По внешнему виду ей было около семидесяти. Когда меня привели в камеру, она спала, а я не обратила на нее внимания, всматриваясь в лица сидящих ближе ко мне. И вдруг я услышала:

— Дорогая моя девочка, и ты здесь! А мы-то все гадали, куда же тебя увезли!

Она кинулась ко мне, пробираясь сквозь тесно стоящие кровати, и, рыдая, обнимала и целовала. Угрюмова тепло относилась ко мне в лагере, подкармливала меня, когда получала продовольственные посылки от родственников. Из томского лагеря ее увезли намного позже, чем меня, но сразу же в Москву, поэтому прибыла она во внутреннюю тюрьму НКВД значительно раньше. Мы не виделись около девяти месяцев и делились пережитым за это время. Угрюмова была приятельницей матери Михаила Васильевича Фрунзе, и с ее слов рассказала в лагере кому-то из заключенных о том, что Сталин преднамеренно погубил Фрунзе, настояв на операции язвы желудка, операции, которая Фрунзе была не нужна. В последнее время Михаил Васильевич чувствовал себя здоровым. Вскрытие показало, что язва была зарубцована. И умер Фрунзе сорокалетним, не проснувшись после наркоза, — сердце не выдержало. Доносительство в томском лагере цвело пышным цветом, поэтому Угрюмову сразу же отправили в Московскую следственную тюрьму и обвинили в злостной клевете на Сталина. Мне эта версия смерти Фрунзе показалась маловероятной, хотя «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка подтверждает ее. Но в то время, когда была опубликована и сразу же изъята эта повесть, я была мала и ее не читала. Не имею понятия, какие основания имелись у матери, да и у жены Фрунзе для таких обвинений против Сталина. Возможно, та же повесть Б. Пильняка, а может, наоборот, они сами явились источником информации для писателя. В 1938 году в кровожадности Сталина у меня сомнений не было, однако в причастности его к смерти Фрунзе я усомнилась. Казалось, что в 1925 году у Сталина не могло быть столь зловещих планов.

— Но почему он начал с Фрунзе? — спросила я Угрюмову.

— Он убрал его потому, — пояснила она, — что Михаил Васильевич, по словам его матери, до последнего времени признавал авторитет Троцкого и с большим уважением относился к нему.

Мать Фрунзе, по рассказу Угрюмовой, была полна ненависти к Сталину и говорила ей, что смогла бы задушить его собственными руками. И мать, и жена Фрунзе вскоре после смерти Михаила Васильевича скончались... Все это было поведано мне шепотом, чтобы никто не услышал.

Рассказ Угрюмовой мне напомнил эпизод из далекого детства.

В первую годовщину Октябрьской революции после смерти Ленина, 7 ноября 1924 года, отец был на Красной площади. В то время праздник на трибуне Мавзолея встречали не только члены Политбюро, но и более широкий круг партийных работников. Я, как и во многих других случаях, сопровождала отца, помогая ему добираться. Так я оказалась на трибуне. Из присутствовавших там мне запомнились лишь трое: Троцкий, Фрунзе и Сталин. Моей забывчивости способствовал случай, для меня в ту пору очень огорчительный. Как только мы с отцом поднялись на левую трибуну Мавзолея, ко мне подошел Троцкий и сказал: «Ты что на себя нацепила?» — и дернул рукой мой пестрый шарфик (красный в голубых цветочках), который мать не без моего желания повязала мне поверх пальто, чтобы я выглядела нарядной. — «Где твой пионерский галстук?! Ты, очевидно, не знаешь, почему пионерский галстук красного цвета! Красный цвет — символ

пролитой крови восставшего рабочего класса!» Он произнес эти слова строгим, грозным тоном, будто по меньшей мере я была проштрафившимся солдатом Красной Армии, которого ждет кара. Я до такой степени смутилась и так была взволнована, что праздник был отравлен, и у меня было лишь одно желание — поскорее вернуться домой. В свое оправдание я сказала Троцкому: «Это мама повязала мне шарфик вместо галстука». «Неплохая у тебя мама, — ответил Троцкий, — а совершила такое зло!» Так и выразился — «зло». Мамино «зло» еще больше огорчило меня, и у меня брызнули слезы. Отец, увидев мой жалкий вид, заступился за меня: «Посмотрите, Лев Давыдович, какие огромные красные банты в косах моей дочери, так что «крови» более чем достаточно». Оба они рассмеялись, и мне показалось, что глаза Троцкого стали добрее. Но из страха, что он снова принесет мне какую-либо неприятность, мой взгляд был прикован к нему и невольно к тем, кто стоял рядом. Это оказались Сталин и Фрунзе, Троцкий посередине.

С Троцким знакома я не была. Ни у отца, ни у Н. И. он не бывал, но не раз приходилось мне его видеть у здания Реввоенсовета на Знаменке (теперь ул. Фрунзе). Школа, где я училась, находилась напротив, и в полуподвальном помещении Реввоенсовета собирался наш пионерский отряд. Помню, как-то в Первомайский праздник нас, младшее пионерское звено, отправляли на грузовой машине прокатиться по праздничной Москве. К машине подошел Троцкий и сказал нам: «Ребятки! Обязательно пойте песню: «Так пусть же Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой!» Он произнес слова этой песни с такой революционной страстностью, что, вдохновленные наказом Троцкого, всю дорогу, не переставая, мы хором громко пели эту песню с непередаваемым энтузиазмом. Кончали и начинали вновь.

Тогда Троцкий показался мне величественным и молодым. Глядя на него на трибуне Мавзолея, я заметила в нем разительную перемену. Сорокапятилетний Троцкий был бледен, поседевшие виски виднелись из-под буденовки. Он выглядел стариком. Во всяком случае, такое впечатление он произвел на меня на одиннадцатом году жизни.

Стоя на трибуне, и Фрунзе и Троцкий о чем-то оживленно беседовали. Сталин же стоял рядом с Троцким молча. Он то приветствовал рукой демонстрантов, то отходил в глубь трибуны и, заложив руки за спину, шагал взад и вперед, устремляя свой пристальный взгляд на Троцкого и Фрунзе. В те дни я не понимала, что политическая карьера Троцкого была на закате: заместителем Председателя Реввоенсовета был назначен Фрунзе с тем, чтобы в ближайшее время заменить его, что и случилось уже в январе 1925 г., а в октябре этого же года Михаил Васильевич скончался.

Рассказ Угрюмовой ясно вызвал из глубин памяти этот эпизод, на который я теперь смотрела другими глазами.

Мои детские воспоминания о самом Троцком могут показаться не стоящими внимания. В строгом замечании Троцкого по поводу моего «бескровного» шарфика, заменившего пионерский галстук, я видела лишь просчет своей матери, но отнюдь не «зло»; в том, как повелительно приказал он пионерам петь о Красной Армии, я ничего, кроме случайности, не видела. Однако теперь, оглядываясь назад, в этих мелочах я усматриваю проявления характера Троцкого.

В камере внутренней тюрьмы на Лубянке я просидела более двух лет. В нее приходили с воли, а уходили в лагерь, в изоляторы, на расстрел. Но в памяти сильнее всего первое впечатление, когда после одиночки в общей камере несколько заключенных казались мне целым полком, и, окунувшись в море человеческого страдания, я ненадолго отвлеклась от своего собственного.

Врезалась в память первая арестованная, приведенная к нам с воли при мне, — лесничая из брянского леса. Румяная, свежая, она резко отличалась от нас, просидевших в тюрьмах и лагерях месяцы и годы, — бледных, изможденных, серых. Она походила на только что сорванную лесную ягоду. Я дала ей прозвище Земляничка, так все стали ее называть, хотя ягодка быстро увяла. Ну, а следо-

ватель называл ее «лесная шпионка». Это была непосредственная, неглупая женщина, из крестьянской семьи. После ареста из Брянска ее сразу же отправили в московскую лубянскую тюрьму. В тот же день ее допрашивал следователь, а после допроса привели к нам.

Она вошла растерянная и окинула всех подозрительным взглядом. Прежде чем заговорить, она спросила, за что нас арестовали. Кое-кто промолчал, другие ответили:

— Ни за что.

— Вот и меня ни за что, — сказала лесничая и, облегченно вздохнув, добавила: — Теперь, видно, мода пошла ни за что сажать.

Она стала рассказывать о своем допросе, грубом и глупом поведении следователя. Передаю ее рассказ.

— Беда еще в том, что следователя дурака дали, надо просить умного (будто бы это изменило ее положение). Сказал он мне: «У тебя не голова, а сундук с клопами», — надо же такое придумать, и что я лесная шпионка. — Лесничая сквозь слезы рассмеялась. — И как я ему, дураку, ни объясняла, что у нас глухомань, людей не видать и сведений у меня никаких нет, кому нужна такая шпионка? «Знала, — говорит, — сколько деревьев имеется на твоём участке, вот тебе и сведения, ты и есть лесная шпионка!» Следователь не сказал только, какой стране передавала она эти «бесценные сведения». Когда та пыталась убедить его, что такие сведения ни одной стране не нужны, и заявила, что он говорит чушь, следователь крикнул: «Я тебе покажу чушь! Сделаю так, что ты заговоришь! Ты Бухарина знала?» «Откуда я могла знать его, он к нам в лес не ездил». «Что прикидываешься дурочкой, будто бы не слышала, что враг народа Бухарин был?» «Слышать-то слышала. И про врага народа и про раньше («и про раньше» — точно так она выразилась). «Что значит «про раньше»! Я тебе «про раньше» всыплю! Каким он был, «про раньше» — забыть надо. Бухарин три месяца не признавался, все говорил «ничего не знаю, ничего не ведаю», сидел как божок! А когда посадили его в особую камеру, только тогда он стал давать показания. Камеры этой еще никто не выдерживал. Посадим тебя туда, и ты сознаешься».

Рассказ лесничей о допросе изобиловал невероятно грубыми, оскорбляющими женщину подробностями. Вот персонаж, по которому можно судить, кто в ту пору мог стать следователем в главной тюрьме НКВД. Безусловно, не все такие были. Были и утонченные. Но, к сожалению, результат «следствия» от этого ничуть не менялся. Мягко стелили, но жестко было спать.

После того, как лесничая упомянула Н. И., взоры моих сокамерниц были обращены на меня. И хотя Н. И. уже не было в живых, рассказ Землянички стоил мне бессонных ночей. Кто знает, пугал ли следователь несчастную женщину, или за его словами об особой камере стояло то, что произошло на самом деле. Последнего не исключаю. Скорее склонна думать, что именно так оно и было. И глупый следователь раскрыл тайну, которая так тщательно скрывалась.

Все познается в сравнении. Казалось бы, при сложившихся обстоятельствах роптать было не на что: и люди, и книги, и койка с бельем, и кормили значительно лучше, чем в лагере, и подвалы позади. Но душу точно червь точил. Ежедневно я была в напряженном ожидании вызова к следователю. Часто двери камеры отпирали, и дежурный надзиратель вызывал: «Кто на «мы», «Кто на «сы» и т. д. Мною же не интересовались. Лишь один раз, через несколько дней после свидания с Берией, в первых числах января 1939 г., я была вызвана к следователю, и он преподнес мне новогодний подарок.

— Подпишите протокол допроса, — сказал он.

Я была крайне удивлена, ибо ни в Новосибирске, ни при разговоре с Берией протоколов «допросов» не вели. Но еще больше я была поражена, когда следователь подвинул ко мне чистый лист бумаги.

— Я пустые листы не подписываю, — заявила я с возмущением.

Тогда он перевернул бумагу, и я увидела отпечатанный на машинке протокол моего допроса — вопросы следователя и ответы за меня:

Вопрос: Состояли ли вы в контрреволюционной организации молодежи?

О т в е т: Не состояла.

В о п р о с: Занимались ли вы контрреволюционной деятельностью?

О т в е т: Не занималась.

В о п р о с: Занимались ли вы контрреволюционной агитацией?

О т в е т: Не занималась. — И т. д., всего не помню.

Несомненно, «протокол» был продиктован сверху, и такой я подписала.

— Возможно, скоро Москву увидите, — сказал, улыбаясь, следователь, решивший, что только в целях освобождения мне было предложено подписать такой документ. — Соскучились по Москве?

Я в недоумении пожала плечами. Меня охватило чувство величайшей тревоги и страха. Попасть на ту волю, да еще прокаженной... Лучше здесь равной среди равных. Ведь даже в лагере и тюрьмах находились такие, которые старались держаться от меня подальше, хотя их было немного. Однако опасения мои оказались напрасными, протокол этот ни к каким результатам не привел.

Шло время. Наконец к исходу сентября 1939 г., т. е. через десять месяцев моего пребывания в московской тюрьме, меня вызвали на допрос. Опять-таки допросом, т. е. объективным расследованием дела для выяснения истины, мой разговор со следователем назвать никак нельзя. Вместе с тем это не был типичный для того времени допрос с пристрастием, с применением пыток или психологического воздействия, с целью умышленного получения заведомо ложных показаний. Скорее это были перепевы тех же мотивов, что звучали при разговоре с Берией. Тем не менее первый вызов после длительного «покоя» точно обухом по голове ударил.

Я вошла в кабинет, где когда-то уже побывала. За письменным столом сидел все тот же Матусов — тот самый, который вместе с заместителем Ежова Фриновским (к этому времени уже арестованным, возможно, уже и расстрелянным) разговаривал со мной, убеждая в необходимости ехать в астраханскую ссылку добровольно, чтобы избежать применения насильственных мер. Этот на вид нежный херувимчик пережил почти всех ответственных сотрудников НКВД со времен Ежова (быть может, работал и при Ягоде) и, как я потом узнала, умер своей смертью. Не знаю, в какой должности он был, но не рядовым следователем.

— Здравствуйте, Анна Михайловна! Рад вас видеть! — произнес Матусов непонятно восторженным тоном, будто мы были давнишними приятелями и я к нему в гости пришла.

— А я вовсе не рада видеть в а с, — ответила я на его глупое приветствие. — Вы не выполнили обещаний, данных мне перед высылкой в Астрахань. Там не оказалось «ни заботы, ни работы, ни квартиры». Кроме того, вы не выполнили главного: не дали мне свидания с Н. И. после окончания следствия. А ведь обещали для этой цели вызвать меня из Астрахани. Не дали проститься с ним.

В этот момент дверь в кабинет Матусова открылась и вошел Андрей Свердлов. «С какой целью?» — мгновенно пронеслось у меня в голове. Я сразу же предположила: он арестован и вызван на очную ставку со мной. Ведь в моем «деле» в связи с информацией, поступившей из Новосибирска, Андрей Свердлов, якобы с моих слов, фигурировал как член контрреволюционной организации молодежи. И хотя я это опровергала перед Берией, опасалась, что в случае повторного ареста Андрей подтвердит существование контрреволюционной организации молодежи. Будет клеветать на самого себя и на меня. Случай для того времени типичный. Однако, приглядевшись к Андрею, я пришла к выводу, что он не похож на заключенного. На нем был элегантный серый костюм с хорошо отутюженными брюками, а холеное, самодовольное лицо говорило о полном благополучии.

Андрей сел на стул рядом с Матусовым и внимательно, не скажу — без волнения, вглядывался в меня.

— Познакомьтесь, это ваш следователь, — сказал Матусов.

— Как следователь! Это же Андрей Свердлов! — в полном недоумении воскликнула я.

— Да, Андрей Яковлевич Свердлов, — подтвердил Матусов удовлетворенно. Вот, мол, какие у нас следователи! — Сын Якова Михайловича Свердлова. С ним и будете иметь дело.

Сообщение Матусова показалось мне ужасающим, я пришла в полное замешательство. Пожалуй, легче было бы пережить мое первоначальное предположение об очной ставке.

— Что, не нравится следователь? — спросил Матусов, заметив изумление и растерянность на моем лице.

— Я как следателя его не знаю, но знакомить меня с ним нет необходимости, мы давно знакомы.

— Разве он был вашим другом? — с любопытством спросил Матусов.

— На этот вопрос пусть вам ответит сам Андрей Яковлевич.

Другом своим я бы Андрея не назвала, но я его знала с раннего детства. Мы вместе играли в детские игры, бегали по Кремлю. И сейчас вспоминается мне, как однажды осенью Адька, как мы звали его в детстве, сорвал с моей головы шапку и удрал. Я бросилась за ним, но догнать не смогла. Забежала за шапкой к нему домой (семья Я. М. Свердлова жила и после смерти его в Кремле). Андрей взял ножницы, отрезал верхнюю часть шапки — она была трикотажная — и бросил мне в лицо. Андрею было приблизительно около тринадцати, а мне около десяти лет. Возможно, тогда-то он и совершил свой первый злой поступок, и жестокость была заложена в его натуре.

В юности мы одновременно отдыхали в Крыму. Андрей не раз приезжал ко мне в Мухалатку из соседнего Фороса. Это было еще до его женитьбы и моего замужества. Мы вместе гуляли, ходили в горы, плавали в море.

Никаких подробностей нашего знакомства Матусову я не рассказала. Ответила кратко:

— Я знакома с Андреем Яковлевичем достаточно хорошо. В таком случае, насколько мне известно, он не может быть моим следователем, я имею право на его отвод.

Но Матусов повторил, что моим следователем будет, несмотря на обстоятельства, именно Свердлов.

Видеть Андрея Свердлова в качестве следователя НКВД для меня было мучительно, потому что он был сыном Якова Михайловича, большинство соратников которого к тому времени пали жертвой террора; были репрессированы также и дети известных партийных деятелей, принадлежащих к окружению Андрея, в том числе его близкий друг Дима Осинский, когда-то впервые отведавший тюремную похлебку одновременно с Андреем, а в дальнейшем, в 1937 г., вторично арестованный вслед за отцом. Наконец, особую драматичность приобрело мое свидание со следователем Андреем Свердловым в застенках внутренней тюрьмы НКВД и потому, что не кто иной, как Н. И., ходатайствовал перед Сталиным об освобождении Андрея после его первого ареста¹. Знал бы Н. И., как пал Андрей, этот «юноша, подающий надежды», — так он характеризовал его Сталину. Ах, знал бы он!..

Андрей молча слушал мой диалог с Матусовым, затем решил высказаться:

— Что ты там про меня болтала? — спросил он уверенным тоном, давшим понять, что моя «болтовня» никак не повлияет на прочность его положения, не отразится на его карьере. А по натуре он, несомненно, был человеком с карьеристскими наклонностями.

Я лишь выражала опасение, пояснила я Андрею, что его первый арест повлечет за собой повторный, и на этот раз сфабрикуют контрреволюционную организацию молодежи, занимающуюся террором, вредительством и т. д., и что к этой организации причислят и меня. Я полагала, что наше знакомство будет способствовать этому и не улучшит положения ни его, ни моего.

— Как вы выражаетесь, — заметил Андрей (обращаясь ко мне на этот раз на «вы»), — «сфабрикуют контрреволюционную организацию» — мы здесь ничего не фабрикаем.

Я в ужасе промолчала и, как ни странно, только в тот миг окончательно поняла, что между нами — пропасть. На этом наше первое свидание окончилось.

¹ По возвращении в Москву в 1959 г. я узнала, что А. Я. Свердлов был арестован еще дважды (не убеждена, что эти сведения точны), последний раз при Берии. Вот те методы, которыми Сталин довел Андрея Свердлова до падения. Но это — смягчающее обстоятельство, которым мог бы воспользоваться адвокат. Я же его обвинитель.

Вторично мы встретились через два-три дня. И уже не так остро ощущалось потрясение от неожиданности видеть А. Я. Свердлова в роли своего следователя — ко всему привыкаешь. Другое мучило меня: встретившись с ним с глазу на глаз, я не сразу смогла сказать ему в лицо, что я о нем думаю. Я была возмущена до крайности, был даже порыв дать ему пощечину, но я подавила в себе это искушение. (Хотела — потому что он был свой, и не смогла по той же причине...) Вместе с тем я понимала, что падение Андрея — отнюдь не досадное недоразумение, за этим скрывался безнравственный и беспринципный характер.

Мое вторичное свидание с Андреем не застало меня врасплох, как допрос у Берии, когда я силилась доказать то, что не требовало доказательств, то, что для самого Берии было аксиомой. Хотя мне удалось заметить, что разговор со мной произвел на него впечатление. Много, рассказанное мною, он мог узнать только от меня. К свиданию с Андреем я готовила себя заранее и решила быть более сдержанной, но это никак не удавалось.

Допрос оказался не таким, каким я себе его представляла. На этот раз Андрей был мягче, смотрел теплее. Проходя мимо, сунул мне в руку яблоко, но все же про свои обязанности следователя не забывал. Он сидел за письменным столом в небольшом узком кабинете. Мы смотрели друг на друга молча. Глаза мои наполнились слезами. Казалось, что и Андрей заволновался. Возможно, мне хотелось хотя бы это в нем увидеть.

У нас были схожие биографии: оба мы были детьми профессиональных революционеров. У обоих отцы успели умереть вовремя; оба мы в одинаковой степени были верны советскому строю; оба мы с восхищением относились к Н. И. На эту тему у меня был разговор с Андреем еще до моего замужества. Наконец, обоих нас постигла катастрофа. Безусловно, различная, но все-таки катастрофа.

Деятельность Андрея Свердлова нельзя было расценить иначе, как предательство. На меня смотрели глаза Каина. Но виновником катастрофы и его, и моей было одно и то же лицо — Сталин.

Молчание Андрея было невыносимо, но и сама я на некоторое время потеряла дар речи. Наконец взорвалась:

— О чем будете допрашивать, Андрей Яковлевич? Н. И. уже нет, и добывать ложные показания против него не имеет смысла, после драки кулаками не машут! А моя жизнь — она у вас как на ладони, не вам о ней допрашивать. И ваша, до определенного времени, мне была достаточно ясна. Именно поэтому я защищала вас, заявляя, что к контрреволюционной организации вы не могли быть причастны.

Андрей, облокотившись о письменный стол, ссутулившись, смотрел на меня загадочным взглядом и, казалось, пропустил сказанное мимо ушей. И вдруг он произнес слова, никоим образом не относящиеся к следствию, возможно, правильней сказать, к теме нашего разговора:

— Какая у тебя красивая кофточка, Нюська! (Нюсей меня называли родители и все мои сверстники.)

Пожалуй, в этот момент я почувствовала жалость к предателю, подумав, что и он в ловушке, только зашел в нее с другой стороны.

— Так кофточка моя тебе понравилась (я тоже обращалась к Андрею то на «вы», то на «ты», в зависимости от того, какие эмоции брали верх), а что же не нравится?

Андрей тотчас же собрался и, проявляя свои следовательские черты, проговорил знакомые казенные слова, слышанные мною не один раз из других уст:

— Вы распространяете вредные антисоветские измышления, будто процессы есть судебная инсценировка и ваш Бухарин никаких государственных преступлений не совершил.

Все один и тот же мотив. Однако слышать эту песню от Андрея Свердлова было несравненно тяжелее, чем от Сквирского или Берии.

— А вы думаете, — воскликнула я, — что большевики предали дело всей своей жизни? Думайте, если вам так выгодно думать и легче жить. Неужто вы искренне считаете, что ваш близкий друг Дима Осинский — контрреволюционер,

а вы нет! Что Стах Ганецкий — враг народа, а вы друг! Вероятно, вы их тоже допрашивали! Да разве только их, не меня же одну? ¹

— Вас не касается, кого я допрашивал! — крикнул Андрей.

Затем, как и Берия, он фиксировал внимание на моих разговорах с Лебедевой.

— Болтала слишком много, и стихами, и прозой, а из этой болтовни наворотили гору лжи.

Ясно, лжи, если о нем, Андрее Свердлове, следователе НКВД, было показано, что он состоял членом контрреволюционной организации молодежи. Главная моя вина заключалась в том, что я перед Лебедевой компрометировала процессы. В ответ на это утверждение Свердлова я высказала полную уверенность, что по вопросам о процессах вообще и о Н. И. в частности наше мнение совпадает. У меня была неудержимая потребность высказать это свое убеждение, потому что за столом следователя сидел сын Якова Михайловича Свердлова. Хотя я и Берии сочла нужным это заявить. Нет сомнения, что Андрей стал бы в ярости опровергать мои слова, но не успел. Я сразу же сообщила ему, что «враг народа» Бухарин после его, Андрея, ареста звонил по телефону Сталину и просил за него.

Мой следователь изменился в лице, покраснел от волнения.

— Неужели? — переспросил он, хотя великолепно понимал, что это правда, и я подтвердила сказанное. На этот раз мое сообщение положило конец разговорам на следственные темы, и Андрей переключился на семейные. Сказал, что его жена Нина (дочь Подвойского), которую я знала, преуспевает на ответственной комсомольской работе и якобы она, как он выразился, «между прочим», шлет мне привет. «Привет, между прочим», кроме раздражения, никаких иных чувств у меня не вызвал. Предполагаю, что жена Андрея и не знала о нашей драматичной встрече.

Однако я в долгу не осталась и на один привет ответила несколькими. Передала привет от тетки Андрея — сестры Якова Михайловича — Софьи Михайловны, с которой побывала в томском лагере; привет от двоюродной сестры Андрея — дочери Софьи Михайловны, жены Ягоды. С ней в лагере я не встретилась, но все равно привет передала. Рассказывали в лагерном мире, что жена Ягоды до процесса была в колымском лагере, после процесса была отправлена снова в Москву и расстреляна. Наконец, передала привет от племянника Андрея — сына его двоюродной сестры, рассказала и о трагических письмах Гарика бабушке из детского дома в лагерь: «дорогая бабушка, миленькая бабушка, опять я не умер»...

Своими сообщениями-приветами ничего нового Андрею я не открывала. Только о страшных письмах он знать не мог. Однако получать эти приветы через меня, как я предполагаю, для него было не большим удовольствием. Но пробрал ли его душу озноб, как это бывало со мной в минуту особо острых переживаний? Понял ли Андрей, что не за тем столом сидит? В этом я сомневаюсь.

Наш разговор подходил к концу, и я нашла момент подходящим, чтобы попросить своего следователя позвонить по телефону моей бабушке и спросить от моего имени, не знает ли она, жив ли, где и у кого находится ребенок. Эту просьбу Андрей выполнил. Звонил при мне. Так я узнала, что Юра, которому в ту пору шел четвертый год, живет в Москве, у моей тетки — сестры матери. И, несмотря на тяжесть разговора с Андреем, я ушла из его кабинета окрыленная.

Своего следователя я видела еще трижды. Но если поначалу мне удавалось заметить в Андрее хоть проблески человечности, то в дальнейшем и они исчезли.

Я снова была вызвана на допрос лишь через полтора года, в феврале 1941 г. Все три последующих допроса были краткими. Андрей встретил меня суровым взглядом и непонятным криком:

— Скоро будете давать показания?

В этом возгласе не было ни логики, ни смысла: полтора года назад Свердлов не требовал от меня никаких показаний.

¹ К моменту моего допроса мне было уже известно, что сын Осинского и сын Ганецкого арестованы. О том, что оба они были расстреляны, я узнала лишь по возвращении в Москву из ссылки.

— Мы вас еще как следует не допрашивали! Посадим в Лефортовскую тюрьму, тогда заговорите!.. Это военная тюрьма, там вы поймете, что такое следствие! — кричал Свердлов.

Так, к 1941 г. А. Я. Свердлов превратился в опытного следователя и выражался стандартными заученными формулировками¹.

Об ужасающих пытках в Лефортовской тюрьме я слышала от сидевших одновременно со мной в томском лагере жен сотрудников НКВД. Я не успела спросить у А. Свердлова, для какой цели он хочет подвергнуть меня пыткам, как вдруг, по-видимому от сильного потрясения, оттого, что со мной так разговаривает именно Андрей Свердлов, я почувствовала, что теряю зрение: сначала все помутнело и закружилось, затем, кроме светового пятна горящей лампы на письменном столе следователя, я ничего уже не видела.

— Самую страшную пытку вы уже совершили, Андрей Яковлевич, я ослепла!

— Что вы симулируете! — крикнул Андрей.

— Я не симулирую, я вас не вижу, — дрожащим голосом произнесла я.

Я слышала, как Андрей звонил врачу. Кто-то, очевидно, тюремщик, привел меня под руку в кабинет врача. Перед глазами зажигали лампу, спички, и снова, кроме светового пятна, я ничего не видела. Так продолжалось два дня. На третий зрение постепенно восстановилось. Тюремный надзиратель усиленно наблюдал за мной. «Глазок» почти беспрестанно шуршал. Товарищи по камере помогали мне во всем. Как только надзиратель убедился, что я прозрела, на следующий же день меня вызвали на допрос.

Андрей на этот раз был предупредителен и вежлив. Интересовался моим здоровьем, особенно зрением. Я не жаловалась. Спросила, что в конце концов от меня требуется.

— Анна Михайловна, — ответил на мой вопрос следователь (он впервые назвал меня по имени и отчеству), — вам предстоит написать о последних месяцах жизни Бухарина перед арестом.

Я была крайне озадачена.

— К чему это теперь понадобилось? Ведь Н. И. уже нет. Кроме того, до ареста он решительно отрицал какую-либо причастность к контрреволюционной деятельности. Другого я не напишу, а это вам не понравится.

— Пишите, как было, если отрицал, так и пишите: «отрицал».

Он подвинул ближе ко мне листы бумаги. Но сию же минуту, в присутствии следователя, я писать отказалась. Попросила дать мне время, чтобы все хорошо обдумать и вспомнить. Кроме того, предоставить мне возможность писать наедине. Через два дня меня завели в бокс, и там, сравнительно кратко, я написала о последних месяцах жизни Н. И. О многом преднамеренно не упоминала, например, о его письме «Будущему поколению руководителей партии», многое выпало из памяти от сильного волнения; сдерживало и то, что ни цели, ни смысла в получении документа такого характера после казни Н. И. я не понимала.

— Кому это нужно? — спросила я Андрея при нашем последнем свидании, когда принесла написанное.

— Хозяину, — коротко ответил он.

Я не убеждена в этом. Возможно, это было любопытство Берии.

О последних месяцах жизни Бухарина до ареста я собираюсь рассказать теперь, через десятилетия после драматических событий. Только сейчас, по прошествии многих лет, я могу взяться за перо, чтобы воссоздать картину трагической гибели Н. И., стараясь не упустить ни малейшей детали.

Мобилизовать свою память и направить ее в русло событий, где господствовали ужасающее вероломство Сталина и не поддающиеся описанию страдания

¹ Одна из сестер моей матери была женой В. П. Милютина, погибшего во время террора, и прошла тот же адский путь, что и я. Она была вызвана из лагеря в Московскую внутреннюю тюрьму в связи со следствием по делу Мейерхольда. Поскольку Мейерхольд бывал у Милютина, от нее потребовали показаний против Всеволода Эмильевича. После своей реабилитации и возвращения в Москву она рассказала мне, что следователем ее был Андрей Свердлов. Он обращался с ней грубо, грозил избить, махал нагайкой перед ее носом.

погибающего Бухарина, не так легко. Человеческий язык беден, чтобы передать силу катастрофы. К тому же это означает пережить заново трагические дни, когда доносившийся со Спасской башни Кремля бой часов упорно напоминал о приближающемся конце и звучал для меня траурным маршем.

Погружаюсь в то мрачное время лишь потому, что никто, кроме меня, не сможет оставить такого свидетельства. Это мой долг перед историей и перед Бухариным.

Отсчет последним месяцам жизни Бухарина я веду с августа 1936 года, когда на процессе Зиновьева и Каменева были упомянуты имена Бухарина, Рыкова, Томского. В те дни Бухарин осознал, что голова его положена на плаху.

Безусловно, явное подготавливалось тайным. Последней крупной тайной акцией (из тех, что мне известны), приумножившей обвинения против Бухарина и Рыкова, явилась провокационная командировка Бухарина за границу.

Николай Иванович был командирован за границу в феврале 1936 года, ближе к концу месяца, для покупки архива Маркса и Энгельса. Архив принадлежал немецкой социал-демократической партии и после прихода Гитлера к власти был вывезен из Германии в другие страны Европы. В связи с тем, что и это не обеспечивало надежного хранения архива из-за опасности войны с Германией, а может быть, и по материальным соображениям, решено было архив продать Советскому Союзу. Для покупки архива за границу была направлена комиссия из трех человек: В. В. Адоратского, директора ИМЭЛ, А. Я. Аросева, в то время председателя ВОКСа, и Бухарина.

Николая Ивановича вызвал Сталин, сообщил ему о предстоящей командировке и выразил желание получить не только те документы Маркса и Энгельса, которых у нас вовсе не было, но и те, которые у нас имелись в копиях, назвал цену, за которую можно было купить архив. «Аросев несомненно торговаться сможет, но в знаниях Адоратского я сомневаюсь, ему могут подсунуть что угодно вместо Маркса. Проверить рукописи сможешь только ты», — сказал Сталин.

Николай Иванович и заподозрить не мог, что поездка его за границу была задумана с провокационной целью. При встрече Сталин, казалось, был настроен дружески, заметил даже:

— Костюм у тебя, Николай, поношенный, так ехать неудобно, срочно сшей новый, теперь времена у нас другие, надо быть хорошо одетым.

В тот же день позвонил портной из мастерской Наркоминдела:

— Товарищ Бухарин (говорил портной с сильным еврейским акцентом), мне надо как можно скорее снять мерку, чтобы срочно сшить вам костюм.

Н. И. попросил сшить костюм без мерки и пытался объяснить, как сильно он занят:

— В три часа дня «летучка» в редакции, и дел перед отъездом уйма!

— Как это без мерки? — удивился портной. — Поверьте моему опыту, товарищ Бухарин, еще ни один портной без мерки не шил.

— Сшейте по старому костюму, — предложил Николай Иванович.

Такой выход из положения был неосуществим прежде всего потому, что единственный старый был на нем, предыдущий, совсем изношенный, я успела выкинуть; отдав старый костюм портному, Николай Иванович смог бы явиться в редакцию только в нижнем белье.

— По старому? По старому выйдет плохо. И знаете, я всегда мечтал увидеть хоть раз живого Бухарина — не на портрете. А теперь представляется такой случай, такой случай! Доставьте мне удовольствие, товарищ Бухарин!

Так переплетается трагическое с комическим. «Удовольствие» портному Николай Иванович доставил, в новом костюме он ездил в Париж, в нем был арестован, в нем и расстрелян, если для такого события Сталин не распорядился сшить еще один костюм.

Все казалось правдоподобным. При встрече с Николаем Ивановичем Сталин вручил ему постановление Политбюро, в котором были указаны цель командировки, состав комиссии по покупке архива и, если память мне не изменяет, перечислены лица, с которыми члены комиссии должны будут встретиться для веде-

ния переговоров. Во всяком случае, абсолютно точно помню, как, придя домой после разговора со Сталиным, Н. И. сообщил мне, что ему придется встретиться с австрийским социал-демократом Отто Бауэром, одним из лидеров II Интернационала и австрийской социал-демократической партии, с которым Николай Иванович не раз скрещивал полемическое оружие, идеологом австро-марксизма, а также с видным австрийским социал-демократом, секретарем II Интернационала Фридрихом Адлером, русскими меньшевиками-эмигрантами, издававшими в Париже «Социалистический вестник», Ф. И. Даном и Б. И. Николаевским. Н. И. сказал по этому поводу:

— Ну, Куба, выкинул номер! Анекдотический случай: я — и Дан!

Ф. И. Дан — один из лидеров меньшевистской партии, член ее ЦК. После Февральской революции — член исполкома Петроградского Совета и президиума ЦИК (поддерживал Временное правительство), в конце 1921 года был выслан за границу, участвовал в организации II Интернационала. Редактор эмигрантского журнала «Социалистический вестник», издававшегося в Париже, затем в Америке. Б. И. Николаевский, близкий Дану человек, историк, — фигура значительно менее крупная в меньшевистской партии.

— С этими типами надо быть сугубо осторожным, они способны на любую провокацию и могут снова (имелась в виду публикация в «Социалистическом вестнике» записи разговора Бухарина с Каменевым. — А. Л.) принести мне неприятности. Иметь с ними дело я буду только при свидетелях — Аросеве и Адоратском.

Для того, чтобы объяснить такую позицию Н. И., приведу несколько выдержек из его работ:

1917 год.

Мало кто теперь знает, что Манифест VI полулегального съезда РСДРП(б), состоявшегося в августе 1917 года, написан Бухариным. В нем говорилось:

«Меньшевики и эсеры, исполняя волю буржуазии, разоружили революцию и тем самым вооружили контрреволюцию. Им буржуазия предоставила заняться грязным делом усмирения и разгрома. С их молчаливого согласия были спущены с цепи остервенелые псы гнусной буржуазной клеветы против славных вождей нашей партии. Это они вели позорный и постыдный торг головами пролетарских вождей, выдавая их одного за другим рассвирепевшим буржуа. Это они отдали сердце революции, которое стучало на весь мир, столицу России, на растерзание юнкерам и казакам...»

1924 год.

Выступая против тех, кто принял «крах иллюзий», связанный с концом военного коммунизма, и переход к нэпу за крах коммунизма, Бухарин, давая им, с его точки зрения, наихудшее определение «Либерданы», пишет:

«И все эти почтенные люди и «Даны», и «Заря», и эсеры, и «дезертиры», все в одну дудочку кокетничают с антинэповскими мотивами, хотя политически требуют нэповской демократии.

Все это пропащие люди».

1925 год.

Бухарин выступает с резкой критикой идеолога II Интернационала К. Каутского. В ответ на его брошюру «Интернационал и Советская Россия» он публикует полемическую работу «Международная буржуазия и Карл Каутский, ее апостол». В этой брошюре Бухарин обрушивается и на Дана. Переход к нэпу привел и Каутского, и Дана к выводам, что большевистский режим зашел в тупик, большевики делят монополию на эксплуатацию русского народа («к чему сводится весь их коммунизм») с капиталистами:

«Налицо капиталистическое перерождение государства Советов, власти коммунистической партии, явная измена пролетариату. Иллюзии развеялись по ветру, проза жизни осталась, и эта проза — проза капиталистической эксплуатации...»

«Что именно такое толкование надо придавать словам Каутского, — пишет Бухарин, — видно и из существующих комментариев его гувернантки, прогуливающей нашего старца по садам советской «действительности», г. Ф. Дана. Гражданин Дан не так стар, не так глуп и не так далек от жизни, как г. Каутский.

Г-н Ф. Дан не отрицает факта нашего хозяйственного восстановления. Он только утешает себя тем, что восстановление это идет якобы вопреки стараниям нашей партии».

Или: «г. Дан задним числом оправдывает вандейские восстания, в то время, когда по Каутскому происходила война реакции с революцией».

Мне могут возразить, что я пользуюсь старыми высказываниями Бухарина, оторванными от времени, о котором идет речь, поэтому считаю нужным воспользоваться более поздней публикацией Николая Ивановича.

1934 год.

«А за ними (выстрелами мировой войны. — А. Л.), как по генеральной команде, позор и падение социалистических партий... неизмеримая подлость и банкротство II Интернационала. Отрезанный от России, прошедший сквозь австрийские тюрьмы, неустойчивый и отважный, начинает Ленин борьбу не на живот, а на смерть с предательством социалистов, с океаном гнуснейшего шовинизма, идя «против течения» с горсткой единомышленников. Так рождаются ослепительно дерзкие лозунги гражданской войны («превращение империалистической войны в войну гражданскую»), братания в траншеях пораженчества; так идет разгром идеологии «защиты отечества», идеологии, под знаменем которой лакейски поползли на коленях вчерашние «борцы» против войны, разрыв с которыми стал неременной заповедью революционера».

Такова была идеология большевиков, определившая их отношение к представителям II Интернационала вообще, к входящим во II Интернационал меньшевикам-эмигрантам в особенности. Думаю, теперь становится ясно, почему Бухарин предстоящее свидание с Даном охарактеризовал как «анекдотический случай».

По пути в Париж Н. И. остановился на два-три дня в Берлине. Жил в посольстве, тепло был принят нашим послом в Германии Я. З. Сурицем (чего нельзя сказать о после во Франции — В. П. Потемкине), ездил по Берлину с корреспондентом «Известий» Дмитрием Бухарцевым¹, купил много книг, авторами которых были различные фашистские идеологи.

В одной из фашистских газет (или журнале) было сообщение о приезде Н. И. Бухарина в Берлин; писали, что Бухарин похож на аптекарский пузырек, перевернутый вверх дном, но что, надо признать, он один из самых образованных людей в мире. «Пузырек» Николая Ивановича очень смешил, но комплиментов он боялся. «Коба очень завистлив и мстителен».

Поскольку архив был рассредоточен по разным странам Европы, члены комиссии направились сначала в Вену, Копенгаген и Амстердам, где хранилась большая часть документов Маркса и Энгельса, которые Николаю Ивановичу пришлось просматривать.

Во второй половине марта Бухарин приехал в Париж. Никто из членов комиссии, кроме него, не имел дипломатического паспорта. Лица с дипломатическим паспортом, как правило, жили в посольстве, но от Потемкина поступило указание, чтобы Николай Иванович поселился вместе со своими товарищами в гостинице «Лютеция», потому якобы, что переговоры должны происходить в этой гостинице, а меньшевиков-эмигрантов приглашать в наше посольство неудобно. Почему Н. И. не мог приходить из посольства в «Лютецию» для ведения переговоров — непонятно, но возражать не имело смысла.

Вместе с Н. И. за границу я не поехала; он не считал удобным тратить на меня государственную валюту. К тому же я была беременна на последнем месяце. Но время шло, командировка затягивалась. Неожиданно, в первых числах апреля, Семен Александрович Ляндрес, секретарь Бухарина, пригласил меня в редакцию «Известий» для телефонного разговора с Н. И. Поздно ночью меня соединили с Парижем. Н. И. сказал, что готовит доклад, который будет издан брошюрой, и он получит за нее гонорар. В связи с этим Николай Иванович просил (по телефону из Парижа) Ежова, в то время зав. Орготделом ЦК ВКП(б),

¹ Д. Бухарцев был арестован и в январе 1937 года «свидетельствовал» на процессе Пятакова, Радека и других.

разрешить мою поездку в Париж без дополнительной валюты. Ежов обещал это устроить. Действительно, Ежов позвонил мне и сказал:

— Пойди в Наркоминдел, оформи визу для поездки в Париж, твой влюбленный муж соскучился, он жить без молодой жены не может!

Вульгарность тона меня удивила, но, как мне показалось, Ежов сообщил мне о разрешении ехать в Париж доброжелательно.

В Париж я приехала 6 апреля, через три дня после доклада Бухарина в Сорбонне об основных проблемах современной культуры.

Н. И. встречал меня вместе с А. Я. Аросевым. На вокзале он познакомил нас:

— Это мой друг Аросев. В Москве в 1917 году мы с ним завоевывали Советскую власть, а теперь в Париже стараемся «отвоевать» архив Маркса.

— Цветы от Николая Ивановича, — и Аросев преподнес мне гвоздики, — этот «безусый юноша» дамам цветы не дарит, стесняется, и поручил это сделать мне.

Н. И. покраснел. Я любила в нем эту юношескую застенчивость.

На машине мы проехали по весеннему Парижу. Каштаны уже покрылись густой зеленью резных лапчатых листьев и разбросали гордые свечи, устремленные ввысь. Я была очарована красотой Парижа. Проехав мимо бульвара Сен-Жермен и бульвара Распай, где сидели за своими этюдниками художники, против сквера Бусико, мы остановились у гостиницы «Лютеция».

Члены комиссии жили в соседних номерах. Адоратский заходил к Бухарину только тогда, когда этого требовали дела. Аросев же часто забегал к нам, любил побеседовать да и просто весело поболтать с Н. И. В противоположность сухому, догматичному Адоратскому он был личностью яркой, талантливой. Человек разносторонних интересов, до революции, в эмиграции он учился в Льеже, затем продолжил обучение в Петербургском психоневрологическом институте. Писал повести и рассказы. До моего приезда Николай Иванович и Аросев проводили много времени вместе, бродили по Парижу, не раз бывали в Лувре; оба жизнерадостные, они много шутили.

Три недели моего пребывания в Париже я не могла использовать так, как хотелось бы. Мы выбрались в Лувр, но, увы, у «Монны Лизы» я потеряла сознание. Николай Иванович был так взволнован, что в дальнейшем без Аросева со мной нигде не бывал. Вместе с ним мы поехали посмотреть Версаль. Неожиданно похолодало, помрачнело, и на цветущие деревья стал падать снег. Дворцы были закрыты, фонтаны не работали, ветер сбивал с ног. Поэтому, да может, и потому, что я была нездорова, Версаль показался мне менее красивым, чем наш Петергоф. Николай Иванович сказал, что я великая патриотка. На обратном пути изо всех сил он старался поднять мое настроение, был весел, пел и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистел, как мальчишка, несмотря на увещевания Аросева.

Как-то поздним вечером мы поехали, опять-таки с Аросевым, на Монмартр. Оттуда открывалась панорама огромного города, светящегося мириадами огней. По Монмартру прогуливались влюбленные и целовались на виду у прохожих. Н. И. пожимал плечами, даже возмущался.

— Ну и нравы! Самое сокровенное — на глазах публики!

Однако конец прогулки был неожиданным. Он повернулся ко мне и сказал:

— А разве я хуже других?..

Ошеломленный Аросев не знал, куда направить свой взгляд. Неожиданно Николай Иванович встал на руки и, привлекая внимание прохожих, прошелся на руках. Это был апогей его озорства.

В первый день моего приезда в Париж Николай Иванович делился впечатлениями о своем докладе. Он сказал:

— Мог бы значительно лучше выступить.

Н. И. неплохо владел французским, свободно объяснялся, читал без словаря. Тем не менее выступить по-французски без письменного текста он не решился. Доклад был написан по-русски, переведен и отредактирован А. Мальро. Это создало искусственную рамку, в пределах которой должна была развиваться его

речь. Бухарин — страстный трибун, в своих выступлениях он развивал свои мысли так, что одна порождала другую. Увлеченный сам, он увлекал свою аудиторию. Возможности Бухарина-оратора из-за языкового барьера были недоиспользованы. Но он рассказывал, что тем не менее его тепло встретили и еще теплее провожали. Среди слушателей были рабочие, интеллигенты, много французских коммунистов. После доклада оказалось столько желающих побеседовать с ним, что он с трудом выбрался из Сорбонны.

Николай Иванович рассказал как сенсацию, что к нему приходил специально приехавший в Париж из провинции, где он жил, Рудольф Гильфердинг. Книга Гильфердинга «Финансовый капитал» издавалась в Советском Союзе и, с точки зрения большевиков, содержала ценный теоретический анализ империализма, была рекомендована для изучения в высших экономических учебных заведениях, правда, с оговорками. Его теория организованного капитализма всегда критиковалась как ошибочная, и Бухарину приписывали «сползание» на его позицию, хотя сам он не считал их взгляды по этому вопросу тождественными.

Ни единого слова о продаже архива с ним не было произнесено, беседовали на теоретические темы. Но Н. И. опасался, что об этой встрече узнают в Москве, поскольку она не была предусмотрена. «Но не выгонять же мне его в конце концов, — сказал он мне, — и беседовать с ним было чрезвычайно интересно».

Никто из немецких социал-демократов в переговорах о продаже архива не участвовал. Австрийцы Отто Бауэр и Фридрих Адлер дали возможность Адоратскому и Николаю Ивановичу изучать документы. Фридрих Адлер, как говорил Н. И., приезжал в Копенгаген и Амстердам. О присутствии там Николаевского мне Николай Иванович не рассказывал. В Париже в течение апреля 1936 года просмотра документов не было. Если они там и хранились, то небольшая часть, которая была проработана до моего приезда. Переговоры касались только стоимости архива — «условий продажи» — так называл их Николаевский; «постыдный торг» — характеризовал Бухарин. После приезда в Париж состоялась встреча членов комиссии с Даном и Николаевским, пришедшими в «Лютетию». Все последующие переговоры проходили там же. Свидание с Даном в присутствии Аросева и Адоратского было до моего приезда, поэтому пишу о нем со слов Н. И.

Дан подчеркнуто холодно и с нарочитым равнодушием смотрел на Бухарина, остальных он вовсе не замечал. Чтобы разрядить атмосферу, Николай Иванович воскликнул:

— Как вы похудели, Федор Ильич!

— Это потому, — ответил Дан, — что большевики выпили всю мою кровь, вы по этой причине так располнели.

— Но и вы моей хорошо попили! — заметил Николай Иванович. — И не только в 1917-м, но и в 1929 году (он имел в виду опубликованную в «Социалистическом вестнике» запись разговора с Каменевым), но, как видите, я в форме.

После такого «дружеского» диалога состоялся короткий разговор о документах и о цене архива. Дан заявил, что дальнейшие переговоры будет вести только Николаевский и что он участия в них больше принимать не будет. Ни с Даном, ни с Николаевским Н. И. знаком не был. Николаевского увидел впервые в Париже, Дана хоть и видел в 1917 году, но никогда с ним не разговаривал.

Обычно Николаевский, позвонив по телефону, договаривался об очередной встрече. Время согласовывалось с остальными членами комиссии. Однажды, не застав Аросева и Адоратского, Николай Иванович свидание отменил. Во всех случаях, кроме одного, которого я коснусь, речь шла только о цене архива.

Я не присутствовала при всех встречах Бухарина с Николаевским, поскольку приехала в начале апреля, а Н. И. прибыл из Амстердама в Париж примерно в середине марта, но я была свидетелем всех переговоров, происходивших после моего приезда. Поэтому я имела возможность почувствовать их атмосферу, узнать содержание и понять, мог ли Николай Иванович разговаривать с Николаевским наедине на политические темы или он их избегал и строго придерживался запрограммированного еще в Москве поведения: без свидетелей не разговаривать.

Немецкие социал-демократы называли очень высокую цену архива. Возмож-

но, справедливы были предположения, в особенности Аросева, что русские меньшевики-эмигранты как посредники сами хотели хорошо заработать на архиве.

После того, как Дан и Николаевский запросили, по выражению всех членов комиссии, «бешеные деньги», Бухарин по телефону из посольства связался со Сталиным. Сталин заявил, что таких денег Советский Союз заплатить не может.

— Торговаться не умеете, Аросев пусть нажимает, ты, Николай, на это не способен.

И действительно, в моем присутствии из-за цены архива шли горячие споры. Аросев старался изо всех сил.

Первый разговор с Николаевским после моего приезда состоялся до согласования вопроса со Сталиным; Николай Иванович не сразу смог с ним связаться. Но, независимо от мнения Сталина, члены комиссии считали запрашиваемую цену очень высокой и стремились повлиять на Николаевского, чтобы немецкие социал-демократы уступили в цене, но ответа он не давал, очевидно, выжидал, в надежде, что Москва заплатит дороже.

Второй раз Николаевский пришел уже после разговора Н. И. со Сталиным. Опять-таки беседа происходила в присутствии остальных членов комиссии и при их участии. Н. И. сообщил, что Сталин не считает возможным заплатить больше той цены, о которой уже шла речь. Аросев предложил Николаевскому подумать и заявил, что если цена не будет снижена, комиссии придется безрезультатно возвратиться в Москву.

В Версале я простудилась и слегла с высокой температурой. Аросев пригласил дочь Г. В. Плеханова. Она и ее муж, француз, были врачами. Валентина Георгиевна — кажется, именно так ее звали (возможно, я ошибаюсь) — обнаружила у меня плеврит и предложила увезти меня в санаторий ее мужа под Парижем. Мы сразу же поехали туда. Николай Иванович был возле меня неотлучно и в Париж не выезжал. Температура доходила до 40°, что при моем девятом месяце беременности было опасно. Валентина Георгиевна в первые дни болезни заходила и ночью. Своим скорым выздоровлением я обязана только ей. От платы за мое пребывание в санатории она отказалась и ограничилась лишь маленькой просьбой — передать ее матери, Розалии Марковне, проживавшей в Ленинграде, посылочку с медикаментами, что Николай Иванович охотно выполнил. Через неделю мне стало легче, и мы вернулись в Париж. Как-то в санаторий приехал Аросев и сообщил, что Николаевский никак не проявляет себя, молчит, и, видимо, придется уехать в Москву без архива.

После нашего возвращения из санатория, предварительно позвонив по телефону, появился Николаевский. На встрече присутствовали все члены комиссии. Переговоры происходили как всегда у нас в номере гостиницы. На этот раз Николаевский солидно уступил в цене. Все радовались, особенно Н. И., он был убежден, что архив будет куплен. Разница между ценой, которую установил Сталин, и той, за которую были согласны продать архив представители II Интернационала, стала незначительной. Договорились, что Адоратский или Н. И. свяжутся со Сталиным для окончательного согласования цены.

Сталину звонили и Бухарин, и Адоратский, но к телефону он больше не подходил. Николай Иванович дозвонился только до секретаря Сталина Поскребышева, которого просил передать Сталину, что Николаевский уступил в цене и назвал сумму. Поскребышев обещал сообщить в посольство решение Сталина. Ждали, ждали, а ответа от Сталина так и не поступало. Н. И. нервничал. «Мне эта история уже начинает надоедать!» — рассерженно воскликнул он как-то, стукнув кулаком по столу. В следующий раз звонил Адоратский. Со Сталиным ему так и не удалось связаться, но Поскребышев сообщил, что Сталин настаивает на первоначальной цене.

Все были расстроены, не хотелось возвращаться безрезультатно. Когда мы остались одни, Николай Иванович сказал: «Коба, разве он в чем-нибудь уступит! Торговаться из-за такой суммы, это же бессмысленно для государства». Оставалась одна надежда на Николаевского.

Он явился без предупреждения, объяснив это тем, что случайно проходил мимо. Николай Иванович пошел за товарищами, но никого не оказалось дома. Ему

очень не хотелось разговаривать с Николаевским только в моем присутствии, без остальных членов комиссии.

— Жаль, — сказал он, — что вы пришли без предупреждения, товарищей в гостинице нет, а я не имею полномочий разговаривать в отсутствие остальных членов комиссии, я послан только в качестве эксперта (руководителем комиссии считался Адоратский), цена архива — это не моя миссия.

— Но вы, вероятно, цену согласовали со Сталиным, — возразил Николаевский, — а соглашение мы оформим, когда все будут в сборе.

Николай Иванович вынужден был сказать, что Сталин снова настаивает на прежней цене. Он мог бы и воздержаться от такого сообщения, отложив встречу до прихода остальных, но это было не в его характере.

— Дешево же вы цените Маркса, Николай Иванович, — неожиданно заявил Николаевский.

От таких слов Николай Иванович рассвирепел и перешел от обороны к атаке:

— Это мы дешево ценим Маркса! — возмущенным тоном сказал он. — Мы архив покупаем, а вы его продаете, кто же его дешево ценит?

Николай Иванович стал взволнованно ходить по комнате; так всегда бывало, когда он нервничал.

— Но вы же знаете, какие обстоятельства заставляют нас продавать архив, — оправдывался Николаевский.

— Я бы нашел место для хранения архива и никогда бы его не продавал.

Николаевский поинтересовался, где бы Николай Иванович ему посоветовал хранить архив.

— Ну, допустим, в Америке. Хранить, а не продавать, денег вам там никто не заплатит. Америке эти документы не нужны, но хранить их там можно. Ну, а если вы так не считаете, Борис Иванович, и думаете, что архив в опасности, обеспечить надежность хранения его нельзя, что же вы торгуетесь из-за этого гроша. Это же постыдный торг, постыдный торг!

— Но и Сталин хватается за этот грош, — заметил Николаевский. — Вы здесь представляете государство, для которого ваш «грош» не урон; а вот для немецкой социал-демократической партии этот ваш «грош» — не грош, они очень нуждаются в деньгах.

— Но если архив в опасности, ценнейшие документы Маркса могут погибнуть, то во имя спасения их я бы на вашем месте их даром отдал, подарил бы Советскому Союзу, а вам предлагается немаленькая сумма.

— Даже даром? — И Николаевский иронически улыбнулся.

— Я бы заплатил вам вдвое больше, чем вы просите, если бы у меня была такая возможность, лишь бы спасти архив и прекратить торговлю.

— Вот в этом я ничуть не сомневаюсь, — подчеркнул Николаевский, намекая на зависимость от Сталина.

Бухарин продолжал:

— Я ведь вовсе не исключаю нападения Гитлера на Советский Союз, думаю, что военный конфликт с Германией неизбежен, к нему нужно готовиться, и не только в области военной, созданием мощной технически оснащенной армии, но и созданием необходимой психологии тыла. А трудности в деревне уже позади. Поэтому, я думаю, хоть война предстоит тяжкая, но победа будет за нами, и при огромных просторах нашей страны мы архив сохраним.

— Мы больше не уступим ни франка, — эта последняя фраза есть точное выражение Николаевского.

Делать вывод, что немецкие социал-демократы передумали продавать архив, никак не приходилось. По-видимому, члены комиссии справедливо предполагали, что Николаевский был заинтересован в большей цене, так как меньшевики-эмигранты как посредники хотели заработать на архиве.

— Кто это «мы»? «Мы» — представители II Интернационала, «мы» — русские меньшевики или «мы» — немецкие социал-демократы?

Так рассказывал Николай Иванович своим товарищам о заключительном разговоре с Николаевским, обращая внимание на его выражение: «Мы не уступим ни франка!»

На этом переговоры об архиве закончились. Николаевский перевел разговор на другую тему. Ясно было, что это его последнее свидание с Николаем Ивановичем, и он спросил о своем брате. Брат Николаевского, Владимир Иванович, был женат на сестре Рыкова и жил в Москве, поэтому Б. И. Николаевский мог предполагать, что Н. И. встречал его у Рыкова. Но Н. И. ничего рассказать не мог. С Рыковым он встречался в последние годы от случая к случаю: на пленумах ЦК, на съезде партии. На квартире у Рыкова не бывал. Рыков у Бухарина тоже не бывал. Перед отъездом в Париж Николай Иванович не видел Рыкова. Поездка была организована скоропалительно. Рыков, возможно, и не знал о ней. Но если бы даже Николай Иванович и видел его, Рыков никогда не стал бы передавать приветы Николаевскому, не такие были у них отношения, а Николай Иванович не считал себя вправе сделать это за Рыкова.

Не получив ответа на вопрос о брате, Николаевский спросил:

— Ну, как там жизнь у вас, в Союзе?

— Жизнь прекрасна, — ответил Николай Иванович.

С искренним увлечением рассказывал он в моем присутствии о Советском Союзе. Его высказывания отличались от выступлений в печати в последнее время лишь тем, что он не вспоминал многократно Сталина, чего он не мог не делать в Советском Союзе. Рассказывал о бурном росте индустрии, о развитии электрификации, делился впечатлениями о Днепрогэсе, куда ездил вместе с Серго Орджоникидзе. Приводил на память цифровые данные, рассказывая о крупнейших металлургических комбинатах, созданных на востоке страны, о стремительном развитии науки.

— Россию теперь не узнать, — сказал в заключение Николай Иванович.

Чувствовалось, что Николаевский ждал другого разговора, и для него увлеченность Николая Ивановича, возможно, была неожиданной.

— А как же коллективизация, как же коллективизация, Николай Иванович? — спросил он.

— Коллективизация уже пройденный этап, тяжелый этап, но пройденный. Разногласия изжиты временем. Бессмысленно спорить о том, из какого материала делать ножки для стола, когда стол уже сделан. У нас пишут, что я выступал против коллективизации, но это прием, которым пользуются только дешевые пропагандисты. Я предлагал иной путь, более сложный, не такой стремительный, который тоже привел бы в конечном итоге к производственной кооперации, путь, не связанный с такими жертвами, обеспечивающий добровольность коллективизации. Но теперь, перед лицом наступающего фашизма, я могу сказать: «Сталин победил». Поезжайте в Советский Союз, Борис Иванович, вы сами, своими глазами посмотрите, какой стала Россия. Хотите я помогу вам организовать такую поездку через Сталина?

— Увольте, увольте — замахал руками Николаевский. — Я к вам никогда не поеду. У меня лишь маленькая невинная просьба: передайте этот пакет Рыкову. — И он протянул пакет, завернутый в желтую бумагу.

— Рыкову? — удивился Николай Иванович. — А что это такое?

— Не пугайтесь, Николай Иванович, это не конспиративные документы. С Рыковым у нас связи нет никакой, меня он не признает. Это луковицы голландских тюльпанов; ваш бывший председатель Совнаркома большой любитель цветов, и я решил, несмотря ни на что, послать ему тюльпаны. Впрочем, весьма возможно, что он не посадит «меньшевистские» луковицы, — пошутил Николаевский, — но попробуйте передать, я убежден, что, посаженные руками Алексея Ивановича, они дадут только большевистские всходы.

На этом разговор с Николаевским закончился.

На прощание Н. И. сказал ему, что еще попытается дозвониться Сталину из Парижа, если же не выйдет — поговорит обязательно в Москве.

Когда мы остались вдвоем, он высказал уверенность в том, что Николаевский знал об отсутствии в гостинице остальных членов комиссии (звонил им предварительно по телефону) и пришел специально в такое время, чтобы побеседовать наедине. Он, очевидно, предполагал, что Н. И. будет менее связан, станет свободнее излагать свои мысли и ему будет удобней узнать о своем брате.

— И эти тюльпаны... — в недоумении пожимал плечами Николай Иванович. — Все-таки я сболтнул ему лишнее — о дешевой агитации, — заметил Н. И.

Такой была единственная, насколько мне известно, встреча Бухарина с Николаевским без остальных членов комиссии. До моего приезда в Париж, как рассказывал Н. И., встреч наедине тоже не было. Беседу эту я запомнила хорошо и передала с максимальной точностью. Сам характер беседы в достаточной степени доказывает, что она была единственной: неужто при многократных встречах «наедине» Николаевский не нашел случая раньше поинтересоваться положением в Советском Союзе в интерпретации Н. И., не нашел времени разузнать о своем брате, а сделал все это при последней встрече в моем присутствии в самом конце командировки Н. И.?

За несколько дней до нашего отъезда из Парижа позвонили из канцелярии президента Франции, а затем из посольства и предупредили, чтобы Бухарин ни в коем случае не выходил из гостиницы, так как поступили сведения, что немецкие фашисты готовят покушение на него. Доклад в Сорбонне был антифашистским. Французское правительство распорядилось охранять гостиницу. Я сама видела, как «Лютеция» была окружена полицейскими. Дня три-четыре Н. И. не выходил в город, но никакая опасность не могла удержать его. Забавно было наблюдать: охрана еще стояла у гостиницы, а охраняемый бегал по Парижу.

Он старался вытащить в город перепуганного Адоратского.

— Владимир Викторович! Пойдем прогуляемся, в случае чего вы прикроете меня своей мощной грудью, — шутил Н. И.

Узнав, что на Бухарина никакие предупреждения не действуют, его обязали переехать в посольство. Там мы прожили несколько дней, а потом из ЦК поступило распоряжение: членам комиссии немедленно вернуться в Москву. Германия дала Бухарину разрешение только на транзитный проезд, без остановки в Берлине. Это лишило его возможности еще раз посетить книжные магазины Берлина. Он был огорчен, потому что задумал писать книгу о фашизме.

Из Парижа до Берлина нас сопровождали немецкие шпики, ехавшие в соседних купе; в Берлине на вокзале радио передавало: в таком-то поезде и вагоне, проездом из Парижа в Москву, находится бывший руководитель Коминтерна Николай Бухарин, посланный Сталиным во Францию для организации там революции.

В Москву мы прибыли перед Первым мая 1936 года. Н. И. сразу же связался со Сталиным по телефону и сообщил ему, что документы чрезвычайно интересны и представляют большую ценность для Советского Союза; советовал больше не торговаться, а приобрести архив.

— Не волнуйся, Николай, не надо торопиться, они еще уступят, — ответил Сталин.

Итак, архив приобрести не удалось. Однако в командировку Сталин отправлял Н. И. не напрасно: поездка, не сомневаюсь, была организована с провокационной целью и в этом смысле оказалась успешной.

В декабре 1936 — январе 1937 года, то есть через несколько месяцев после возвращения Бухарина из Парижа, «Социалистический вестник» напечатал пространное анонимное «Письмо старого большевика». От имени редакции было сделано примечание, что письмо якобы получено перед самой сдачей номера в печать.

Истинный автор анонимного «Письма», подписанного «Y.Z.», сделал все возможное, чтобы авторство фальшивки можно было приписать только что приехавшему из Парижа после свиданий с Николаевским Бухарину.

Все увеличивающийся неслыханный террор внутри большевистской партии, естественно, стал центральной темой «Письма», но в текст были введены вопросы коллективизации, освещенные под определенным углом зрения, к началу 1937 года уже потерявшие актуальность, но необходимые для того, чтобы документ достиг цели:

«Ужасы, которыми сопровождалась походы на деревню, об этих ужасах вы имеете только слабое представление, а они, эти верхи партии, все были в курсе

всего совершавшегося, — многими из них воспринимались крайне болезненно»; «Это было в конце 1932 года, когда положение в стране было похоже на положение во время Кронштадтского восстания»; «В самих широких слоях партии только и разговоров было о том, что Сталин своей политикой завел страну в тупик, «поссорил страну с мужиком» и что спасти страну можно, только устранив Сталина».

«Поссорил страну с мужиком» — фраза, взятая в кавычки, принадлежит действительно Бухарину. «Завел страну в тупик» — следовало бы тоже написать в кавычках. Однако все эти мысли, высказанные Бухариным, относятся к 1928 году и хорошо известны.

Для того, чтобы не оставалось сомнений в авторстве письма, очень тонко продуманы высказывания о правах в Советском Союзе: «Не случайно в ходу острота, что право на летнюю охоту — это единственное из завоеванных революцией прав, которого сам Сталин не рискует отобрать у партийного и советского чиновника». Ловко придумано! Кто не знал, что Бухарин был страстным охотником, а человек, не увлекающийся охотой, вряд ли стал бы даже в шутку говорить об этом «праве».

Недвусмысленно показывалось, что автором письма был Бухарин, повторяю, только что вернувшийся из командировки в Париж и имевший деловые встречи с Николаевским, всячески нагнеталось подозрение, что оно написано в соавторстве с Рыковым, ибо отражало и его воззрения во времена коллективизации. Игра на родстве, точнее, свойстве Рыкова с Николаевским, была использована НКВД и на следствии, а затем Вышинским — на процессе.

Я привела достаточно высказываний Бухарина, чтобы дать возможность понять, какие могли быть взаимоотношения между Бухариным, Даном и Николаевским. Хочется воспользоваться еще одним документом, опубликованным во время процесса в «Социалистическом вестнике»:

«В ходе позорного процесса бывший Председатель Совета Народных Комиссаров заявил, что снабжал через посредство ниже подписавшихся корреспондентами Центральный Орган нашей партии «Социалистический вестник».

Само собою разумеется, что ни для нас, ни для несчастного Рыкова не было бы ничего позорящего, если бы заявление его соответствовало бы истине...

Ф. Дан,
Б. Николаевский».

«Письмо старого большевика» появилось в «Социалистическом вестнике» в то время, когда шло уже активное следствие по делу Бухарина и Рыкова. Цель, которую преследовали их политические противники, печатая такой документ, совершенно ясна. Учитывая ситуацию, сложившуюся после процесса Зиновьева и Каменева в августе 1936 года, готовящийся процесс Радека, Пятакова, Сокольников и других, начавшийся в январе 1937 года, этой публикации было бы достаточно для исключения из партии и ареста Бухарина и Рыкова.

Редактор «Социалистического вестника» Дан и историк Николаевский, «крупнейший эксперт по истории Советского Союза», каким его считают на Западе, прекрасно это понимали. А ведь как бы резко ни выступал Бухарин в полемике против представителей II Интернационала, он стремился разбить их политически, но никак не ставил на карту их жизнь.

Нет сомнения в том, что Сталин сумел бы уничтожить Бухарина и Рыкова и без помощи «Социалистического вестника», но Бухарин сохранял популярность в партии и стране, среди коммунистов западных партий и европейской интеллигенции, поэтому нужно было использовать все средства, чтобы подорвать доверие к нему. Судебные процессы, рост арестов руководящих и рядовых членов партии в Москве и в провинции, несомненно, вызвали смятение и растерянность многих членов партии, в том числе и членов ЦК и Политбюро, во всяком случае, Орджоникидзе и Калинина. Нарастала подозрительность по отношению к НКВД, поэтому материалы, поступающие со стороны, из «Социалистического вестника» и подтверждающие вымученные показания арестованных подследственных, облегчали Сталину осуществление его преступных планов, выполнить которые было сложнее, чем предыдущие. Ни для ареста Зиновьева, Каменева и Радека, ни для

ареста члена ЦК Пятакова и кандидата в члены ЦК Сокольников, арестованных раньше Рыкова и Бухарина, не потребовалось созыва двух пленумов ЦК и создания специальной комиссии, как было сделано для решения вопроса об исключении из партии и аресте Бухарина и Рыкова.

Даже факт передачи информации в «Социалистический вестник» мог быть расценен только как криминальный. Если вспомнить, что «Социалистический вестник» обострил разногласия в Политбюро еще в 1929 году, опубликовав так называемую «Запись разговора Бухарина с Каменевым», становится ясно, что новая акция была очередным закономерным звеном в цепи, приведшей к гибели Бухарина. Рассмотрение же основных положений «Письма» заставляет меня относиться к Дану и Николаевскому как к лицам, сознательно помогавшим Сталину затягивать уже наброшенную петлю на шее Бухарина и Рыкова.

Не буду останавливаться на всех вопросах, изложенных в «Письме», остановлюсь лишь на тех, которые считаю самыми губительными и для Бухарина, и для Рыкова.

I. Рютинская платформа.

О платформе Рютина рассказывается достаточно подробно:

«Из ряда других платформу Рютина выделила ее личная заостренность против Сталина. Переписанная на пишущей машинке, она занимала, в общем, немного меньше 200 страниц — из них больше 50 было посвящено личной характеристике Сталина, оценке его роли в партии и стране. Эти страницы были написаны с большой силой и резкостью и действительно произвели впечатление на читателя, рисуя ему Сталина своего рода злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край гибели».

О Рютинской платформе больше, чем было сообщено в газетах и докладах на партийных собраниях, Бухарин, насколько мне известно, ничего не знал. Платформу Рютина Николай Иванович, уверена, никогда не видел и не читал, — он счел нужным заявить об этом и в своем последнем письме, написанном перед арестом и адресованном «Будущему поколению руководителей партии»: «О тайных организациях Рютина, Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым и Томским открыто».

«Старый большевик» детально рассказывает о заседании Политбюро, обсуждавшем дело Рютина. Но с ноября 1929 года Николай Иванович не был членом Политбюро и о заседании этом, происходившем в 1932 году, знать ничего не мог. Бухарин в то время был изолирован, с членами Политбюро личных отношений не поддерживал. По работе своей в Наркомтяжпроме, где он ведал научно-исследовательским сектором, был связан с Серго Орджоникидзе. У них были самые добрые отношения, но то, что происходило на заседаниях Политбюро, тем более на особо секретных, не принято было разглашать. Между тем автору «Письма» было известно, как строго карали лиц, имеющих отношение к Рютинской платформе, только за то, что они читали ее и «не сообщили партии», — такая была формулировка. Он не мог не знать постановления Президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 года, опубликованного в «Правде», которым были исключены из партии за причастность в разной степени к платформе Рютина 19 человек.

Я не потому отгораживаю Николая Ивановича от платформы Рютина, что считаю ее преступной, — отнюдь нет; антисталинскую платформу, написанную в 1932 году, можно расценить только как героическую. Но, с точки зрения Николая Ивановича, конспиративное выступление против Сталина в 1932 году, увы, уже не могло принести стране ничего, кроме репрессий. Открытое выступление трех влиятельных членов Политбюро — Бухарина, Рыкова и Томского — в 1928—1929 годах против политики Сталина, лиц, более авторитетных и популярных в стране, чем Рютин, не увенчалось успехом. Дальнейшую борьбу Николай Иванович считал нужным прекратить. Партия под давлением Сталина пошла по иному пути, отвергнув экономическую концепцию Бухарина. Полезней сплоченности ее рядов в сложившейся обстановке Бухарин ничего не находил. Видеть

только мрачные картины времен коллективизации и не замечать наряду с этим великого энтузиазма народа в строительстве, значило, с его точки зрения, ничего не видеть и ничего не понимать в истории.

Рассказы анонимного «большевика» привели к тому, что на февральско-мартовском пленуме 1937 года встал вопрос о причастности Николая Ивановича и Рыкова к Рютинской платформе.

— Врете! Врёшь! — раздавались голоса на пленуме. — Знали, не сообщили партии!

Николай Иванович возражал, пытался убедить, что, если бы он был сторонником платформы такого характера, он бы сам ее и писал, а не поручал это Рютину.

— Ты и писал, а Рыков одобрил, — подал реплику Сталин. — Она названа Рютинской из конспиративных соображений.

Николай Иванович требовал представить пленуму текст платформы, чтобы по стилю убедиться, что не он ее автор; но это был глас вопиющего в пустыне.

Затем встал взволнованный Рыков и, чтобы отвести обвинение, заявил, что он через кого-то слышал (он сказал через кого, но я не могу припомнить), что в платформе Рютина есть такая фраза: «Бухарин, Рыков, Томский — отработанный пар, и в борьбе против Сталина на них рассчитывать не приходится». Как же можно в таком случае вменять им в вину эту платформу?

По-видимому, в документе такая мысль действительно была высказана; никто — ни Сталин, ни Молотов, ни Ежов, безусловно знакомые с текстом платформы, этого не опровергали, но аргумент был найден мгновенно, и все тот же:

— Ради конспирации! — заявил Сталин.

— В целях конспирации, — крикнули Ежов и Каганович. (Все передаю в пересказе Николая Ивановича.)

— Вам ничего не докажешь! Мы, возможно, все существуем ради конспирации, — ответил Рыков и сел на свое место. Но на процессе он показал:

«И для того, чтобы легче было это сделать (законспирироваться — А. Л.), в самой программе была эта фраза, которая заключала в себе некоторое ощущение отмежевания от меня, Бухарина и Томского, там говорилось нечто вроде того, что эти трое являлись как бы отработанным паром. Это было сделано в интересах двурушничества».

Так повторял заученный урок несчастный Рыков. Николай Иванович показал на процессе то же, что и Рыков:

«Она (платформа. — А. Л.) была названа рютинской в конспиративных целях, для перестраховки от провала, она была названа рютинской, чтобы прикрыть правый центр и его самые руководящие фигуры...»

Эти вынужденные признания Бухарина и Рыкова на процессе в сопоставлении с происходившим на февральско-мартовском пленуме 1937 года дают возможность понять, как создавался сценарий процесса. Я потому обращаю особое внимание на платформу Рютина, что она явилась важным элементом обвинения на судебном «разбирательстве» во время процесса.

В эту платформу после ареста Николая Ивановича было вложено угодное Сталину содержание: ниспровержение Советской власти, террор, курс на блок с троцкистами, «дворцовый переворот». Все это, безусловно, не отражало действительного содержания документа, в противном случае Рютин и в 1932 году в живых не оставили бы. Расстрелян он в то время не был. Думаю, подтверждает мою точку зрения и то, что во время следствия (до ареста Бухарина) в присланных к нему на дом клеветнических показаниях, насколько мне помнится, упоминаний о Рютине вовсе не было, хотя в них уже фигурировали и террор, и «дворцовый переворот», и т. д.

Мало кто с этим документом был знаком: члены ЦК (не члены Политбюро) знали о существовании «контрреволюционной» группы Рютина и ее платформы из докладов, газет. Те, кто читал антисталинскую платформу конспиративно, уже сложили за нее голову. Поэтому содержание этого документа можно было де-

формировать как угодно, а причастность к реальной политической платформе делала более правдоподобными обвинения против Бухарина и Рыкова.

II. Убийство Кирова.

Не менее губительным моментом для Бухарина явились содержащиеся в «Письме» сведения об убийстве Кирова.

В анонимном письме даются подробные сведения о Кирове. Сообщается, что, хотя он ранее и разделял политику Сталина, в последние годы отличался либеральным отношением к бывшим оппозиционерам. В 1932 году на заседании Политбюро будто бы выступал против расстрела Рютина. Специально подчеркивается авторитет Кирова в Ленинграде, его авторитет в партии. Рассказывается о восторженном приеме на XVII съезде партии, где ему устроили овацию, «встречали и провожали стоя». На съезде Киров избирается в секретариат ЦК, в связи с чем предстоял его переезд в Москву. В Ленинград он поехал для передачи дел своему преемнику и там был убит. Информация преподносится под определенным, изобличающим Сталина углом зрения: с избранием Кирова в секретариат ЦК и предполагаемым его переездом в Москву связывается его убийство. На основе этого делаются логически обоснованные выводы. «...важно было выяснить, — пишет анонимный «большевик», — не было ли в данном случае попустительства со стороны тех, на чьей обязанности лежало предупредить покушение? Кто был заинтересован в устранении Кирова накануне его переезда в Москву?.. Все эти вопросы поставлены следствием не были». Думать о том, что Киров должен был быть переведен в Москву для работы в секретариате ЦК без санкции «Хозяина», скорее даже без его инициативы, не приходится. Но в этом как раз и узнается знакомый почерк Сталина: он знал, что из Ленинграда в Москву Киров не вернется. Но большевики в то время к таким выводам в отношении Сталина психологически подготовлены не были. В силу своего характера еще менее других был подготовлен Бухарин; наделенный качествами высочайшего благородства, политической честностью, а также значительной долей наивности, он не смог в то время понять истинных намерений Сталина, несмотря на то что знал его как политического интригана, человека болезненной подозрительности и мстительного. Тем не менее, будучи всегда уверен, что генсек способен устранить своего конкурента, потенциального кандидата на его пост политически, он никак не предполагал, что Сталин сможет его уничтожить физически.

Опубликованная в «Письме» биография убийцы Кирова — Николаева поражает своей обстоятельностью. Сообщаются основные вехи его деятельности с начала и до конца жизни: он комсомолец-доброволец на фронте против Юденича; отмечается его незначительная роль в зиновьевской оппозиции, за которую он никак не был наказан; подчеркивается, что Николаев работал в ГПУ и что эта сторона его деятельности держалась в большом секрете. Рассказывается о найденном у Николаева в начале 1934 года дневнике, показывавшем его террористические устремления и критическое отношение к существующему режиму, за что Николаева исключают из партии и вскоре вновь восстанавливают: он оправдался болезнью в связи с переутомлением на работе. Из «Письма» можно также узнать, что Николаев, несмотря на уже известные его настроения, работал в отделе охраны Смольного.

«В этих условиях, — делает логичный вывод «большевик», — становится совершенно непонятным, как его могли допустить в непосредственную близость к Кирову, это при нашей-то тщательности охраны вождей». Примечательно, что от имени большевиков в «Письме» проводится аналогия между убийствами Кирова и Столыпина, который был убит по заданию охраны: «В декабрьские дни 1934 года у нас внезапно вырос интерес к убийству Столыпина».

Быть может, кто-либо предположит, что у «большевика» были благие намерения: через несколько месяцев после расстрела Каменева и Зиновьева, их сопроцессников, накануне процесса Радека — Пятакова, в период активного следствия над Бухариным и Рыковым, он разгласил тайну убийства Кирова, чтобы реабилитировать Каменева, Зиновьева и других в глазах общественного мнения на Западе, и хотел предотвратить дальнейшие обвинения большевиков в причаст-

ности к этому убийству? Знаю одно: при абсолютной власти Сталина публикация, в которой он явно подозревается в тягчайшем преступлении, публикация, раскрывающая действительные обстоятельства следствия по делу об убийстве Кирова, стала губительна не только для Бухарина и Рыкова, но навлекла бедствие и на других большевиков.

Не исключено, что Сталин пошел на распространение такой информации умышленно. Это предположение мне кажется вероятным, конечно, лишь в том случае, если Сталину стало известно, что информация об истинных мотивах убийства так или иначе просачивается. Тогда целесообразней было, с его точки зрения, изобразить ее как вымысел политических противников, а Бухарина, заподозренного в авторстве письма, — злостным клеветником на Сталина.

III. О крестьянстве.

От имени большевиков в «Письме» заявляется, что якобы во время коллективизации... «многие говорили, — было бы лучше, если бы иметь дело надо было бы с восстаниями». В письме, конечно, имеются в виду оппозиционно настроенные верхи партии. Я не устану повторять, что «Письмо» инспирировано в расчете на то, чтобы подозрение в авторстве пало на Бухарина и Рыкова. Достаточно внимательно прочесть это «Письмо» человеку, знающему обстоятельства, которыми воспользовались в Париже и Москве, а именно, родство Рыкова и Николаевского и встречи Бухарина с Николаевским во время командировки, чтобы прийти к аналогичным выводам.

Настроения руководящих оппозиционных верхов партии мне были известны. Когда во время коллективизации начались волнения в деревне, Бухарин и Рыков, не разделявшие политику Сталина в Политбюро, бывали у моего отца. От них я не раз слышала (особенно из уст Бухарина, он приходил чаще), как они тревожились за судьбы крестьян, опасались за разрыв союза с середняком, выражали озабоченность за судьбы революции. При беседах, кроме отца — Ю. Ларина, не раз присутствовали крупные экономисты-большевики: Осинский, Ломов, Милютин, Крицман, — они не были в оппозиции к сталинской политике коллективизации, но воспринимали сообщения о положении в деревне трагически.

IV. Характеристики Кагановича и Ежова

Предельная ясность цели нашумевшего «Письма» подтверждается и характеристикой, данной Кагановичу и Ежову. Небезынтересно с ней ознакомиться, ибо она обеспечила Сталину прочный союз с ними для уничтожения Бухарина и Рыкова.

О Кагановиче:

«...он начал делать свою большую партийную карьеру в период, когда на вероломство был большой спрос, и, с другой стороны, разве он не был одним из тех, кто дольше всех способствовал росту этого спроса».

О Ежове:

«Его первым помощником был Ежов. Если относительно Кагановича временами дивишься, зачем он пошел этим путем, когда мог бы сделать свою карьеру и честным путем, то в отношении Ежова такого удивления родиться не может. Этот свою карьеру мог сделать только подобными методами.

За всю, теперь уже длинную жизнь, мне мало приходилось встречать людей, которые по своей природе были бы столь антипатичными, как Ежов».

Характеристики эти, несомненно, совпадают с оценками Бухарина, но в более поздний период, в связи с их предательским поведением по отношению к Бухарину и Рыкову на пленумах: декабрьском 1936 года и февральско-мартовском 1937 года. Однако во время пребывания Николая Ивановича в Париже они, если в какой-то мере отражают отношение Бухарина к Кагановичу, то уж никак не отражают отношения Бухарина к Ежову.

Кагановича Николай Иванович ценил как работника, считал его способным и крупным организатором. Я не могу утверждать, что Бухарин не считал его человеком вероломным, но не до такой степени, каким он оказался. К Ежову же он относился очень хорошо. Он понимал, что Ежов прирос к аппарату ЦК, что он заискивает перед Сталиным, но знал и то, что он вовсе не оригинален в этом.

Он считал его человеком честным и преданным партии искренне, — «преданный партии», — тогда это достоинство являлось существенной чертой большевика. Бухарину же представлялось тогда, как это теперь ни кажется парадоксальным, что Ежов хотя человек малоинтеллигентный, но доброй души и чистой совести. Н. И. был не одинок в своем мнении; мне пришлось слышать такую же оценку нравственных качеств Ежова от многих лиц, его знавших. Назначению Ежова на место Ягоды Н. И. был искренне рад. «Он не пойдет на фальсификацию», — наивно верил Бухарин до декабрьского пленума 1936 года. Надо ли доказывать, что очередная тема «Письма» — характеристики Ежова и Кагановича — исходит не от Бухарина? «Письмо большевика», якобы полученное «Социалистическим вестником» в декабре 1936 года, стало известно в Политбюро, когда Ежов был в самом расцвете «творческих» сил, а Бухарин и Рыков находились в следственных лапах.

Нетрудно себе представить, какое действие возымело «Письмо» на Ежова и Кагановича.

Я выбрала лишь четыре момента из этой пространной фальшивки. Почему — фальшивки? Чтобы закончить размышления о ней и внести ясность, мне придется рассказать о более поздних событиях.

Лишь после своего возвращения из ссылки в Москву я получила возможность детально ознакомиться с судебным отчетом по делу «антисоветского право-троцкистского блока». События пятидесятилетней давности и теперь не могут оставить меня равнодушной к мерзкому судилищу. Я читала и читала судебный отчет, пока досконально не изучила эту энциклопедию лжи, в которой доказательством справедливости судебного разбирательства служит только вклеенный листок:

Опечатка:

На стр. 528, строка 23 снизу

напечатано

должно быть

мы

вы

Инсценированный на процессе эпизод «преступной связи контрреволюционного право-троцкистского блока» со II Интернационалом, осуществлявшийся якобы Бухариным и Рыковым через меньшевика-эмигранта Б. И. Николаевского, особенно привлек мое внимание, так как я была в Париже и присутствовала при встречах Бухарина с Николаевским. Нет смысла опровергать вынужденное заявление Бухарина по поводу «заговора», сделанное на процессе. Но мне представляется крайне важным внести полную ясность в вопрос о публикациях в «Социалистическом вестнике».

Впервые о «Письме старого большевика» я узнала только в 1965 году от И. Г. Эренбурга, прочитавшего его будучи в Париже. Мне удалось познакомиться с этими материалами, и я во всеоружии.

В 1965 году Николаевский опубликовал в том же «Социалистическом вестнике» воспоминания о Бухарине в форме интервью, данного двум журналистам.

В этом интервью Николаевский признал, что он был автором «Письма старого большевика», но заявил, что оно написано на основании разговоров с Бухариным в Париже. Вероятно, к тому времени слухи об истинном авторе стали распространяться, и ничего не оставалось, кроме как раскрыть его имя.

Трудно сказать с точностью, из какого источника черпал Николаевский ту информацию, которая не появлялась в советской прессе. Не исключено, что ему подкинули ее специально с расчетом на публикацию. В любом случае информация эта была умело обработана Николаевским и дополнена размышлениями, приписанными старому большевику, которые меньшевику Николаевскому, великолепно знавшему историю большевистской партии, реконструировать не составило большого труда. К сожалению, порядочность в политике присутствует не у всех!

На процессе Бухарин вынужденно показал, что, находясь в 1936 году в Париже, вошел в соглашение с Николаевским, посвятил его в планы заговорщиков и просил в случае провала, чтобы лидеры II Интернационала открыли в их за-

щиту кампанию в печати. Тогда же, в марте 1938 года, Николаевский напечатал заявление, в котором опровергал это: «Все без исключения мои встречи с Бухариным, равно как и с другими членами комиссии (по покупке архива Маркса. — А. Л.), проходили в рамках именно этих переговоров. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего переговоры политического характера, во время этих встреч не происходило».

Но спустя почти три десятилетия в своих воспоминаниях-интервью Николаевский вдруг поведал о разговорах с Бухариным во время его командировки. «Воспоминания» настолько обширны, что если бы беседы эти действительно происходили, то не оставили бы времени для деловых переговоров.

Фундаментом для создания задним числом воспоминаний о Бухарине послужили факты, хорошо известные Николаевскому-историку. Для того чтобы придать им видимость правдоподобия, Николаевский расцвечивает их красочными подробностями. В творческой фантазии отказать ему нельзя. Она и ввела, я уверена, в заблуждение исследователей, особенно зарубежных, ознакомившихся с публикациями Николаевского. Так, например, произошло при освещении ряда моментов с американским советологом Стивеном Коэном, написавшим замечательную книгу «Бухарин и большевистская революция». Да и с другими авторами.

Николаевский пытается изобразить себя не политическим противником Бухарина, а его доверенным лицом.

Я уже говорила, что своим братом Николаевский заинтересовался при последней встрече с Н. И., происходившей в конце апреля 1936 года в моем присутствии. Что же пишет Николаевский в своих «воспоминаниях»-интервью?

«В первый вечер, когда он (Бухарин) пришел ко мне, первыми его словами были: «Привет от Владимира». Позднее, когда Бухарин и я получили возможность говорить наедине, он добавил: «Вам шлет привет Алексей (Рыков)»... Это дало тон нашим последующим беседам».

Стараясь показать свою близость к Бухарину, Николаевский сообщает в своем интервью, что в Амстердаме и Копенгагене, работая над документами Маркса и Энгельса, в свободное время Бухарин водил его по музеям. О посещении музея естественной истории в Амстердаме Николай Иванович мне с увлечением рассказывал. Там были ценнейшие коллекции бабочек. В Копенгагене хранилась большая часть документов Маркса и Энгельса, и Николаю Ивановичу пришлось много работать. О посещении музеев в Дании я ничего не слышала, возможно, это у меня выпало из памяти. Но когда Николаевский рассказывает, что в Копенгагене, в музее, Н. И. наполнил портфель фотографиями картин старых мастеров, я вообще ставлю под сомнение пребывание Николаевского в Дании. Никакого портфеля у Н. И. не было, да и фотографий из Копенгагена в Париж он не привозил. Николай Иванович говорил мне, что из Вены в Данию и Голландию его сопровождал Фридрих Адлер. О Николаевском же в этой связи он не упоминал.

Когда точно знаешь, что человек лжет в большом, не веришь и в малом. Даже если Б. Николаевский в Голландии и Дании был, то почему же свободное время Бухарин проводил с ним, а не с членами советской делегации по покупке архива? В Париже я наблюдала исключительно официальные отношения между Бухариным и Николаевским.

Смехотворным представляется рассказ о разговоре Николаевского с Бухариным по поводу завещания Ленина. Бухарин будто бы обратил внимание Николаевского на две свои брошюры: «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» (1925 г.) и «Политическое завещание Ленина» (1929 г.). Первая была написана в то время, когда взгляды Бухарина не оспаривались Сталиным и положение Бухарина, казалось, было прочно, поэтому, излагая взгляды Ленина, Бухарин не пользовался цитатами из его статей. «Политическое завещание Ленина» — речь на траурном заседании, посвященном пятой годовщине со дня смерти Ленина, когда Бухарин был уже под обстрелом Сталина. Поэтому Бухарин цитирует в ней последние работы Ленина. В этом и было главное различие между

первой и второй брошюрами Бухарина. Николаевский утверждает, что первую работу он не читал. Это дает ему возможность сконструировать целый разговор.

Совершенно невероятно, чтобы больной Ленин вызывал к себе Бухарина и уводил в сад, несмотря на протесты жены и врачей. Это никак не соответствует характеру Бухарина, его отношению и к Владимиру Ильичу, и к Надежде Константиновне. Бухарин один из немногих бывал у Ленина и беседовал с ним и в то время, когда тот уже был тяжело болен, но только тогда, когда это было разрешено врачами. Н. И. рассказывал мне, что однажды он вместе с Зиновьевым ездил в Горки и видел больного Ленина сквозь забор.

Николаевский беззастенчиво извращает факты, касаясь вопроса о суде над правыми эсерами. Он утверждает, что Бухарин по собственной инициативе завел разговор об этом процессе, происходившем в июле — августе 1922 года, еще при жизни Ленина.

Б. Николаевский сообщает, что правых эсеров судили за борьбу в целях передачи власти Учредительному собранию. Однако о том, какими методами они пользовались, он умалчивает¹. Меншевики тоже боролись против разгона Учредительного собрания, но борьбу за свои взгляды вели исключительно пропагандистски, и за это их никто не судил.

Что касается Бухарина, то он был одним из активнейших сторонников роспуска Учредительного собрания, которое он именовал уничижительно — Учредилкой. Позиция Бухарина, его речи и статьи об этом были, конечно же, хорошо известны Николаевскому.

Как же развивались события на процессе правых эсеров?² Правые эсеры разделились на две группы: раскаявшихся, главным образом боевиков, заявивших, что действовали по поручению ЦК, и членов ЦК правых эсеров, отказавшихся от ответственности за совершенные террористические акты.

Чтобы доказать, что раскаявшаяся группа правых эсеров говорит правду, ЦК РКП(б) выделил для них защитников. В числе защитников были Р. Катанян, М. П. Томский и Бухарин. Поскольку защитники доказывали правильность показаний своих подзащитных, разоблачавших ЦК правых эсеров, они, по сути, делали общее с обвинением дело.

Одним из подзащитных Бухарина был бывший террорист Семенов, по показаниям Р. Катаняна, к моменту процесса не только раскаявшийся, но ставший членом Коммунистической партии.

Бухарин же «рассказывает» своему «собеседнику», что за кулисами суда он выступал против казни правых эсеров, а произнес несколько речей с резкими нападениями на них, лишь подчиняясь партийной дисциплине. Как же случилось, что Бухарин, будучи в единственном числе, во всяком случае в меньшинстве в ЦК, победил: осужденным членам ЦК правых эсеров был вынесен смертный приговор, но приведен в исполнение не был?!

Николаевский от имени Бухарина заявляет: «Да, нужно признать, что вы, социалисты, сумели поставить на ноги всю Европу и сделали невозможным приведение в исполнение смертного приговора эсерам». Что же, выходит, «добренький» Бухарин жалел террористов, убивших Урицкого, Володарского, покушавшихся и на Ленина? А после процесса правых эсеров, как рассказывал мне Николай Иванович, был задержан правый эсер Гуревич при попытке покушения на самого Бухарина.

На чем Николаевский в данном случае строит свои фальсифицированные

¹ На процессе в вину партии правых эсеров вменялись террористические акции. В июне 1918 г. эсером был убит комиссар печати и пропаганды В. Володарский, а 30 августа — председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий, и в тот же день, 30 августа, террористка Ф. Каплан совершила покушение на Ленина и тяжело его ранила.

Правые эсеры вошли в контакт с мятежными чехословацкими войсками и с их помощью создали на территории Поволжья, на юго-востоке страны, в Сибири, целый ряд независимых от Советской власти правительств. Получали деньги от Французской миссии через французского дипломата, бывшего посла Франции в России Нуланса.

² Подробности я узнала от члена большевистской партии с 1903 года Рубена Катаняна, одного из защитников от ЦК РКП(б) на процессе правых эсеров. Р. Катанян прислал мне копию своих свидетельских показаний, направленных в Комитет партийного контроля в 1961 году.

воспоминания, я поняла, прочитав статью Владимира Ильича «Мы заплатили слишком дорого».

В апреле 1922 года в Берлине была созвана конференция трех Интернационалов: II, II 1/2 и III. От Российской Коммунистической партии делегатами были посланы Бухарин и К. Радек, а от Коминтерна — члены западноевропейских коммунистических партий. Делегация Коминтерна выдвинула предложение о созыве Всемирного конгресса с целью организации единого фронта в борьбе против реакции, подготовки новых империалистических войн, за отмену Версальского договора и т. д. Представители социал-демократии пытались навязать Коминтерну свои условия.

Делегация Коминтерна отвергла неприемлемые требования. Однако, борясь за возможность выступить перед рабочим классом с трибуны Всемирного конгресса, согласилась разрешить представителям двух Интернационалов присутствовать на процессе правых эсеров и обещала, что Советская власть не применит к осужденным смертной казни. Компромисс не помог. Руководители II и II 1/2 Интернационалов приняли решение созвать в Гааге Всемирный конгресс без представителей коммунистов.

Какой же вывод сделал Ленин в своей статье «Мы заплатили слишком дорого»?

«Вывод прежде всего тот, что тт. Радек, Бухарин и другие, которые представляли Коммунистический Интернационал, поступили неправильно.

Далее. Вытекает ли отсюда, что мы должны разорвать подписанное ими соглашение? Нет. Я думаю, что подобный вывод был бы неправильным и что рвать подписанное соглашение нам не следует. ...Но несравненно большей ошибкой был бы отказ от всяких условий и от всякой платы для того, чтобы проникнуть в это, довольно крепко охраняемое, запертое помещение»¹.

Статья Ленина «Мы заплатили слишком дорого» была опубликована в «Правде» 11 апреля 1922 года. Б. И. Николаевский не мог ее не читать. Он знал и о мотивах подписанного в Берлине соглашения. Спрашивается, зачем же Бухарину за кулисами надо было бороться против казни правых эсеров, когда сразу же после конференции в Берлине Ленин заявил, что соглашение рвать не следует?

Не нарушая, по решению Ленина, согласия, данного на берлинской конференции, для защиты ЦК правых эсеров были допущены бельгийский правый социалист Э. Вандервельде и другие. Бухарин не только выступал на процессе с резкими речами, изобличающими контрреволюционную деятельность правых эсеров, но и, обозленный на то, что делегация Коминтерна, несмотря на компромисс, не была допущена на Всемирный конгресс, мобилизовал студентов университета им. Свердлова, сочинил злые частушки и устроил обструкцию Э. Вандервельде (об этом мне рассказывали и бывшие студентки «Свердловки»).

Я специально уделила внимание вопросу о суде над правыми эсерами, чтобы показать, как ловко Б. Николаевский извратил позицию Бухарина. Это тем более важно, что на процессе Бухарин обвинялся в связях с террористом Семеновым в целях организации покушения на Ленина.

В заключение хочу рассказать о менее значительных в политическом отношении эпизодах, придуманных Николаевским.

Поражает сочиненный им разговор о составлении Конституции, принятой в декабре 1936 года VIII съездом Советов. «Смотрите внимательно, — якобы сказал Бухарин Николаевскому, — этим пером написана вся новая Конституция — от первого до последнего слова. (Он будто бы вытащил из кармана «вечное» перо и показал его.) Я проделал эту работу один, мне немного помогал только Карлуша. В Париж я смог приехать только потому, что работа эта кончена». Эти сведения — плод фантазии Николаевского. Николай Иванович писал не всю Конституцию, а ее правовую часть. Писал дома, школьной ручкой, с обыкновенным пером, «вечного» пера не любил. В Париж эту ручку Бухарин не возил и

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., том 45, стр. 142—143.

показывать Николаевскому не мог, Бухарину не требовалась помощь Карлуши (так многие называли К. Радека, и это Николаевский, оказывается, знал), точно так же, как Радек — член Конституционной комиссии, не нуждался в помощи Бухарина.

Меня привело в изумление, когда я прочла, что Николаевский ввел и меня как действующее лицо своей инсценировки:

«Бухарин был явно утомлен, мечтал о многомесячном отпуске, хотел бы поехать к морю. В этот момент к нам подошла его молодая жена... она ждала первого ребенка, тоже нуждалась в отдыхе и явно была довольна, когда муж ее заговорил о море...» Фантазии импровизатора нет границ: многомесячный отпуск мог быть получен только по болезни, а Н. И. собирался в отпуск на Памир. Разговора о море не было, и мечтаний таких быть не могло ни у меня, ни у Николая Ивановича. Я со дня на день ждала ребенка и родила через несколько дней после приезда из Парижа.

Николаевский позволяет себе и такой вымысел: «...когда мы были в Копенгагене, Бухарин вспомнил, что Троцкий жил относительно недалеко, в Осло, и сказал: — А не поехать ли на денек-другой в Норвегию, чтобы повидать Льва Давыдовича? — И затем добавил: — Конечно, между нами были большие конфликты, но это не мешает мне относиться к нему с большим уважением».

В Копенгагене я не была, но великолепно понимаю, что это очередная выдумка Николаевского. Я уже не говорю о том, что съездить в Осло нельзя было без визы, речь могла идти только о конспиративной поездке, на что Николай Иванович никогда бы не пошел. Кроме того, как мне известно со слов Н. И., в полемических дискуссиях он утратил уважение к Троцкому. Полагаю, что то же можно сказать и о Троцком, который едва ли принял бы Бухарина с распростертыми объятиями.

Не меньшее удивление вызывает рассказ Б. Николаевского о свидании Бухарина с Фанни Езерской. Езерская когда-то была секретарем Розы Люксембург, членом Германской коммунистической партии, работала в Коминтерне, была в оппозиции, если не ошибаюсь, разделяла взгляды Брандлера. После прихода Гитлера к власти эмигрировала во Францию. С Николаем Ивановичем близка она не была, но дружила с моими родителями. Фаня Натановна, как ее звали в ларинской семье, знала меня с раннего детства. Николаевский, якобы со слов Ф. Езерской, рассказывает, что она предложила Бухарину возглавить заграничную оппозиционную газету, хорошо осведомленную о происходящем в России, поскольку, по ее мнению, он был единственным, кто мог бы взять на себя роль редактора такой газеты. Иными словами, предложила Бухарину стать невозвращенцем — остаться в Париже. Бухарин якобы отказался от этого предложения лишь из тех соображений, что привык к создавшимся в Союзе отношениям и к напряженному темпу жизни. Но в тот единственный раз, когда Езерская встретилась с Бухариным, она при мне пришла в «Лютетию» и при мне ушла. Я была свидетелем всего разговора. Ничего даже отдаленно похожего на грубые фальсификации Николаевского не было.

Если бы командировка Бухарина в Париж совпала с процессом Зиновьева и Каменева (август 1936 года), то и настроение Бухарина совпало бы с тем, как его оценивал Николаевский. Хотя и в этом случае Бухарин ринулся бы в Москву, чтобы опровергнуть обвинения, но при таких обстоятельствах не исключено, что кто-нибудь наивно решился бы предложить Бухарину остаться за границей, предположив, что в Париже или иной западноевропейской стране, а может, в Америке, Бухарин бы уцелел, тем более что жизнь в то время не доказала еще обратного...

Не мне опровергать, что до августа 1936 года Николай Иванович не предвидел своей гибели. Это доказывают его статьи, речи, в том числе речь, произнесенная в Париже. Сам факт, что незадолго до катастрофы Николай Иванович не только соединил со мной, юным человеком, жизнь, но и стремился иметь ребенка, о многом говорит. Неужто Николая Ивановича можно заподозрить в том, что он желал, чтобы и ребенок его был обречен на мучительные страдания!

Николаевский, наворачивая одну ложь на другую, противоречит сам себе. В «Письме старого большевика», созданном им через восемь месяцев после отъезда Бухарина из Парижа, говорится: «Сказать, что процесс Зиновьева — Каменева — Смирнова нас здесь как обухом по голове ударил, значит дать только очень бледное описание о недавно пережитом, да и теперь переживаемом». Далее он сообщает, что даже Ягода узнал о готовившемся процессе в последнюю очередь. Вопрос: из какого источника Николаевский получил эти сведения?..

Почему-то в марте — апреле 1936 года после столь длительных бесед с Бухариным ему не передалось безысходное настроение Бухарина. Да и не могло передаться, ибо оно не соответствовало его описаниям в 1965 году. В Париже Бухарин был жизнерадостен и весел, считал, что новая Конституция приведет к демократизации нашего общества — его долгожданной мечте.

И разве кто-нибудь в марте — апреле 1936 года осмелился бы предложить Бухарину остаться в Париже?

В голове Николаевского все сместилось во времени, он запутывается и сам себе противоречит. С одной стороны, он вполне справедливо замечает:

«Бухарин недооценил своего противника. Он не предвидел, как предательски хитро Сталин применит все эти хорошие принципы (имеется в виду новая Конституция. — А. Л.) и равенство всех перед законом превратит в равенство коммунистов и некоммунистов перед абсолютной диктатурой Сталина».

С другой стороны, Николаевский объясняет «откровенность» Бухарина в беседах с ним таким образом: «То, что он (Бухарин) мне говорил, было сказано с мыслью о будущем некрологе». И в 1965 году, рассматривая события тридцатилетней давности через призму «большого террора», начавшегося после отъезда Бухарина из Парижа, Николаевский делает вывод, что Бухарин тогда уже предвидел приближающуюся гибель.

На чем же основана уверенность Николаевского? Для доказательства безысходного настроения Бухарина во время пребывания за границей Николаевский приводит длинный фантастический рассказ о поездке Бухарина на Памир. Николаевский отмечает, что Н. И. якобы не раз возвращался к этой теме, добавляя все новые и новые подробности.

Далее. Бухарин якобы рассказал Николаевскому следующий эпизод: они с гидом поехали к развилке тропинок. Гид предупредил, что ехать по короткой дороге смертельно опасно, — дорогу размыло дождями, были обвалы, — и уговаривал Николая Ивановича ехать по длинной дороге. Бухарин настоял на своем. Рассказ вполне правдоподобный. На этом основании Николаевский делает вывод, что Бухарин испытывал судьбу, и мысль о самоубийстве не покидала его. Потрясающее основание для такого вывода!

Я уже много раз отмечала жизнелюбие и азартность Николая Ивановича. Во время отпуска, независимо от политической ситуации, он мог вести себя рискованно просто в силу своего характера. Так было, скажем, в 1935 году, когда мы путешествовали по Алтаю и, еле держась в седлах, пробирались верхом на лошадях по крутым горным тропам к Телецкому озеру. Что же, Н. И. и моей гибели желал? А положение его в тот момент казалось прочным.

Я могу привести пример и из самого благополучного для Николая Ивановича времени. В 1925 году я с родителями и одновременно с Николаем Ивановичем отдыхала в Сочи. Как-то он взял меня с собой в поездку на Красную Поляну. В то время мне было 11 лет. Дорога была плохая, надо было переехать глубокую пропасть, через которую был перекинут ненадежный деревянный мостик. Шофер предупреждал, что мост дряхлый, может провалиться, охранник Рогов требовал повернуть назад — он отвечал за жизнь члена Политбюро. Не помогло. Шофер разогнал машину, и мы быстро проехали через мостик, который сразу же рухнул. Нам пришлось ночевать в машине в ожидании, пока построят новый.

Поездку Бухарина на Памир Николаевский датирует не точно, но приблизительно 30-м годом. Время для своих импровизаций он выбирает удачное. Сравнительно недавно Бухарин в связи с разногласиями со Сталиным был выведен

из Политбюро, снят с постов секретаря Исполкома Коминтерна и редактора «Правды». Но дело в том, что Николай Иванович, хотя до поездки в Париж и бывал в Средней Азии, выше озера Иссык-Куль не подымался. Поездка на Памир была его давнишней мечтой, и он осуществил ее после возвращения из Парижа, в начале августа 1936 года. Николай Иванович вернулся с Памира, когда на процессе Зиновьева и Каменева было упомянуто его имя и в газетах объявлено следствие по «делу» Бухарина и других большевиков.

На чем же основан приписанный Бухарину рассказ о Памире? Ведь Бухарин и при всем желании не мог рассказать о том, что тогда еще не произошло. Николаевский упоминает опубликованные за границей мемуары Р. В. Иванова-Разумника, после длительного пребывания в заключении эмигрировавшего. В них он сообщает, что судьба свела его в заключении с пограничником, сопровождавшим Бухарина на Памир, что вполне могло быть правдой. Этих воспоминаний я не читала, но предполагаю, что часть сведений Николаевский почерпнул у Р. В. Иванова-Разумника, остальное придумал сам.

Какова цена «воспоминаниям» Б. И. Николаевского, надеюсь, я показала. И после «Письма старого большевика» считаю интервью Николаевского вторым фальшивым документом, который он создал почти через тридцать лет после первого.

Еще один странный документ, связанный с пребыванием Бухарина в Париже, появился через 28 лет после его отъезда и через 26 лет после его гибели — воспоминания жены Ф. И. Дана (сестры Ю. О. Мартова), опубликованные в Америке в 1964 году, уже после смерти Лидии Осиповны Дан.

Лидия Осиповна Дан рассказывает о переговорах по поводу продажи архива Маркса достаточно точно и более объективно, чем Б. И. Николаевский. Ошиблась лишь в составе комиссии: вместо Аросева она упоминает Тихомирнова. Однако, когда она или, возможно, кто-то от ее имени, посвящает читателя в сенсацию, равной которой даже Б. И. Николаевский не придумал, приходится заподозрить, не вписан ли этот эпизод кем-то в ее воспоминания (коль скоро они опубликованы после смерти Л. О. Дан).

Я имею в виду описание встречи Бухарина с Ф. И. Даном.

Бухарин действительно виделся с Даном, когда тот вместе с Николаевским приходил в гостиницу «Лютеция». «Анекдотический случай», как сказал Н. И. перед отъездом в Париж, произошел. Диалог между Бухариным и Даном повторять не стану; высказывания Бухарина о Дане, приведенные мною, и то, что Дан отказался вести переговоры по поводу продажи архива и поручил заняться этим Николаевскому, надеюсь, не забыты.

Но жена Дана пишет, что в апреле 1936 года Николай Иванович был в состоянии полнейшей обреченности и сам якобы пришел к Дану, потому что «просто душа запросила». Л. О. Дан утверждает, что Бухарин говорил Дану: «Сталин не человек, а дьявол» и «что Сталин всех их (большевиков. — А. Л.) сожрет». Он возвратился в Москву лишь потому, что не хотел стать эмигрантом.

Само заглавие воспоминаний — «Бухарин о Сталине» указывает на цель визита Бухарина. Но мог ли Бухарин пойти в гости к Дану, чтобы в апреле 1936 года компрометировать Сталина? Он бы и позже к нему не пошел!

Л. О. Дан датирует визит Бухарина к Дану тем временем, когда просмотр документов Маркса и Энгельса был закончен и начался торг из-за цены архива. Все это происходило, когда я находилась в Париже, и я знаю, что Бухарин к Дану не ходил, хотя Лидия Осиповна и рассказывает (опять-таки, возможно, кто-нибудь рассказывает, пользуясь ее именем), что, увлекшись нападками на Сталина, Бухарин пробыл там с двух часов дня до восьми вечера. Такого и быть не могло. Я должна была вот-вот родить, и Николай Иванович не оставлял меня одну на такое длительное время. Однако я не могу рассчитывать на полное доверие моему свидетельству. Хочу опровергнуть эту ложь воспоминаниями самой же Лидии Осиповны. Она сообщает, что об этом сверхсенсационном тайном свидании и характере разговора, куда более откровенном, чем с Нико-

лаевским, Дан никому не сообщил: «даже Николаевскому, которому было бы всего естественнее знать об этом, ибо считал, что это может стать как-нибудь опасным для Бухарина». Следовательно, можно предположить, что Дан не доверял Николаевскому... Между тем, как Дан «берег» и Бухарина, и Рыкова, он доказал публикацией «Письма старого большевика» в «Социалистическом вестнике», редактором которого был.

Дан скончался в 1947 году, через 9 лет после казни Бухарина. Опасаться неприятности для Бухарина уже не приходилось. Но тайну свидания с Бухариным и его пророческий разговор с ним: «Сталин всех нас сожрет» — Дан унес с собой в могилу. А казалось бы, самое время после расстрела Бухарина рассказать о точном прогнозе Бухарина. Почему же Дан промолчал? Очевидно, потому промолчал, что не произошло того, чего произойти не могло.

Настораживают и другие необъяснимые «воспоминания» жены Дана. В них можно прочесть: «но хотя власти, несомненно, знали по крайней мере о свидании и переговорах в «Лютении», о свиданиях и других там с Николаевским и Даном, на процессе об этом не было ни слова упомянуто». Это противоречит действительным обвинениям на процессе, предъявленным Бухарину и Рыкову.

Самому Ф. И. Дану приписывали интервенционистские намерения против Советского Союза. Обвиняемый Чернов, бывший наркомзем и бывший меньшевик, на чем акцентировал внимание Генеральный прокурор Вышинский, в своих фантастических показаниях заявил, что Ф. И. Дан — немецкий шпион, агент немецкой разведки; наконец, Рыков и Бухарин якобы были связаны с представителями II Интернационала, в преступных целях, через Николаевского.

Мне не удалось выяснить, действительно ли рукопись этих воспоминаний хранится в Британском музее, как пояснялось в предисловии к посмертной публикации Л. О. Дан. Если же такая запись существует и она собственноручная, то можно лишь выразить сожаление, что сестра Ю. О. Мартова, нравственные качества которого заслуженно ценились и его политическими противниками, пошла на такую фальсификацию. Я сомневаюсь в этом.

Огорчение Бухарина в связи с безрезультатной командировкой было кратковременным, а после разговора со Сталиным и его слов: «Не волнуйся, Николай, архив приобретем, они еще уступят...» (в цене) осталось позади. Н. И. жил обычной для него жизнью: увлеченный работой в редакции «Известий», в Академии наук, в комиссии по выработке новой, так называемой сталинской Конституции. После приезда из Парижа ничто не омрачало его настроения. Через несколько дней после возвращения у нас родился сын, и сорокасемилетний отец пребывал в состоянии радостного возбуждения, он был счастлив — буквально ликовал! Н. И. и заподозрить не мог, какая тяжкая судьба ждет сына, его беспокоило другое: «Юрочка! — воскликнул он однажды полушутя, — я опасаюсь, когда ты вырастешь, из меня песок сыпаться будет и я не смогу с тобой походить по лесу, поохотиться! Нет, нет, — рассеял он сам свое опасение, — я долго буду крепким, мы еще с тобой по лесу побродим, я тебе много интересного расскажу». Его знание русского леса можно сравнить разве что с пришвинским.

Вскоре после рождения ребенка мы уехали за город. Жили возле станции Сходня, где находились дачи, принадлежащие редакции «Известий». Невдалеке от нас была дача Карла Радека. Это было единственное лето, когда в связи с рождением ребенка Н. И. в течение двух месяцев приезжал на дачу ежедневно, часто глубокой ночью, после окончания работы в редакции. Дачи, где Н. И. жил бы постоянно, у него никогда не было. Наездами он бывал в Горках Ленинских, у Сталина в Зубалове (середина 20-х гг. до 1928 г.), у Рыкова в Валуеве — там, рядом, был осиновый лес, и Н. И. устремлялся на охоту за рябчиками. Наконец, на даче у моего отца в Серебряном Бору. Бухарин был весь движение, и дачный образ жизни был не в его характере.

В начале августа Н. И. получил отпуск и решил отправиться на Памир. Памир — его давнишняя мечта. После недолгих колебаний: отложить ли поездку до следующего года, так как из-за ребенка я поехать с ним не могла, или же ехать

сейчас, — мы пришли к выводу, что отсрочка не имеет смысла. Год напряженной работы требовал отдыха. Разрядка, воссоединение с природой были для него необходимы. А вместе, как мы полагали, успеем еще попутешествовать...

На Памир Н. И. уезжал с дачи. Накануне он привез из Москвы свой багаж, непереносимые атрибуты его отпуска: этюдник, краски, холсты — для живописи; патроны, дробь и ружье — для охоты. Машина уже стояла у крыльца. Возле нее суеился шофер, Николай Николаевич Клыков, как называл его Н. И., — Клычини. Клыков стал своим, близким человеком настолько, что Н. И. не раз просил у него займы денег. Н. И. никогда не садился к столу, не пригласив пообедать шофера. Обычно завязывалась беседа: Н. И. в популярной форме разъяснял Николаю Николаевичу текущие политические события, внутренние и международные, к чему Клыков проявлял большой интерес. Н. И. никогда не поучал Николая Николаевича, беседа шла на равных. В пути они часто пели русские народные песни, к которым Н. И. имел особое пристрастие, и слышался дуэт: «Хороша я, хороша, да плохо одета, никто замуж не берет девушку за это...» или же: «Над серебряной рекой, на чистом песочке, долго девы молодой я искал следочки...»

Бухарин не походил на типичного рафинированного интеллигента, несмотря на то что интеллектом мало кто мог с ним сравниться. Он носил русские сапоги не потому, что в пору гражданской войны и после нее это было довольно распространено в среде большевиков; он влез в них задолго до революции — смолоду, потому что такая обувь была удобна для его образа жизни; носил кепку, а не шляпу и считал, что шляпа сидит на нем, как на свинье ермолка, хотя, уезжая за границу, все же надевал ее. Однако, когда впервые его пригласили на дипломатический прием и предупредили по телефону из Наркоминдела, что надо быть соответственно одетым, Н. И. ответил: «Меня русский пролетариат знает в кожанке и кепке, сапогах и косоворотке, таким я и явлюсь на прием».

Характер Н. И. проявлялся и в манере себя держать: он мог плюнуть по-мужички сквозь зубы, мог свистнуть, как уличный мальчишка, заложив два пальца в рот; он разрешал себе озорные выходки. В то же время Н. И. был человеком поразительной душевной тонкости, почти девичьей застенчивости и, как я уже отмечала, человеком, эмоциональность которого граничила с болезнью.

И внешне Н. И. не всегда воспринимался мною одинаково: то походил он на простого русского мужичка с веселыми, хитренькими, бегающими глазами, то на мыслителя со взглядом задумчивым, глубоким и грустным, устремленным вдаль.

Его красноречивые манифесты и памфлеты, старательно написанные бисерным почерком, сложные теоретические исследования, перемежающиеся иностранными словами и фразами, доступные пониманию ограниченного круга, чередовались с речами, статьями, брошюрами и книгами популярными, рассчитанными на широкую публику («Азбуку коммунизма» отец дал мне для изучения, когда мне было 13 лет).

Он никогда не подделывался под народ, он не заигрывал с ним — сам был живой плотью его, простолюдином и интеллектуалом одновременно и бесребренником до конца своей жизни. Это-то и привлекало в Бухарине его шофера — Клыкова, и он, Бухарин, в силу своего характера, чувствовал себя с Клыковым легко и свободно.

Итак, последние счастливые минуты. Все готово к отъезду.

— Поехали, Клычини! — Н. И. простился со мной и ребенком, поцеловал его и сказал: — Будешь расти, как царевич из «Сказки о царе Салтане» — не по дням, а по часам, приеду, а ты уже коршуна подобьешь. Вот тогда-то мы с тобой побегаем!

Малыш смотрел на отца яркими, светящимися глазками и улыбался, должно быть, еще неосознанно, но невероятно радостно.

— Посидим минутку перед отъездом, — предложил Н. И.

День был жаркий, дачный участок пересекал огромный овраг, теперь напоминающий мне рельефом своим гот, сибирский, куда привели меня на расстрел. Уселся у обрыва в тени елей, и раздалась любимая песня: «Саша, ангел непорочный, прожил я с тобой пять лет, наверно, пробил час урочный, и я нарушил

свой обет!..» Пели громко и весело. Соседские ребяташки сбежались послушать. Наконец встали, подошли к машине. Н. И. уселся рядом с шофером и, предвкушая удовольствие от предстоящей поездки, сияющий, выглянул в окошко машины. Таким Бухарина я видела в последний раз.

Но только собрались трогаться в путь, как неожиданно разрыдался тринадцатилетний племянник Н. И., Коля Бухарин (сын младшего брата Н. И., Владимира), живший с нами на даче. Сквозь слезы, всхлипывая, он истерически кричал: «Дядя Коля, не уезжай, не уезжай, дядя Коля, не уезжай!» Было нечто мистическое, прямо-таки жутковатое в том рыдании, словно предчувствовал мальчик, что видит своего дядю в последний раз.

— Ты что меня хоронишь, Коля! — успокаивал племянника Н. И. — Я скоро вернусь, подрастешь, мы с тобой вместе в горы поедem. У меня хватит благоразумия, чтобы не свернуть себе шею.

Наконец машина выехала за ворота, скрылась из глаз и направилась в аэропорт. Тогда я не могла и предположить, что в ближайшие дни погаснет для нас радость жизни. Летний день был по-прежнему солнечный и жаркий, малыш улыбался, а племянник Коля некоторое время еще продолжал рыдать.

Вспоминается, что незадолго до отъезда Н. И. принес огорчительную весть об аресте Григория Яковлевича Сокольникова. Самое примечательное заключается в том, что Н. И. настолько не предвидел надвигающегося массового террора и предстоящих — в скором времени — процессов, что абсолютно исключал политические мотивы ареста Сокольникова. Он предположил, что арест его скорее связан с перерасходом государственных средств в то время, когда тот был послом в Лондоне. Словом, с какими-то финансовыми нарушениями, и надеялся на скорое его освобождение.

В отпуск Н. И. отправился не один. Вместе с ним поехал его секретарь Семен Александрович Ляндрес (отец писателя Юлиана Семенова). Здоровьем Семен не отличался, и Н. И. отговаривал его от поездки, требующей физических сил и тренировки, но тщетно.

Семен Александрович любил Н. И. еще с тех пор, когда работал с ним в ВСНХ, затем в Наркомтяжпроме в качестве секретаря, вместе с ним перешел в «Известия». Могу сказать, что и Н. И. был привязан к нему.

Две недели после отъезда Н. И. прошли без особых волнений, тревожило лишь то, что никаких сведений о нем я не имела. Он забрался в такие дебри, где почты, тем более телеграфной связи, не было. Я успокаивала себя лишь тем, что Н. И. в горах не один. Кроме Семена, как я предполагала, обязательно должен был быть проводник, что в какой-то степени гарантировало безопасность путешествия.

Между тем надвигался последний день спокойствия. Беда обрушилась стремительно, точно шквал. 19 августа 1936 года начался процесс Зиновьева, Каменева и других, так называемый процесс «троцкистского объединенного центра». Ужасающее обвинение — убийство Кирова; страшные и непонятные признания обвиняемых. Помнится, Зиновьев на процессе заявил, что индивидуальный террор, хотя и противоречит марксизму, но решили в конце концов, что в борьбе все средства хороши. Но как раз эти слова меня особенно насторожили. Цель убийства Кирова, якобы по заданию Зиновьева и Каменева, оставалась необъяснимой. Однако приходится признать: я пришла к выводу, что в чем-то, допустим, в тайном заговоре против Сталина, подсудимые были повинны. Когда же они стали показывать на Бухарина, Рыкова, Томского, я потеряла рассудок. Потрясение было столь велико, что к вечеру у меня, кормящей матери, пропало молоко.

21 августа было опубликовано заявление прокуратуры о начале следствия по делу Бухарина, Рыкова, Томского, Радека и других упомянутых на процессе лиц, якобы связанных с подсудимыми контрреволюционной деятельностью. На собраниях выносились гневные резолюции: «Посадить на скамью подсудимых...» и т. д. Сразу же в газетах появилось сообщение о самоубийстве М. П. Томского. Не получая никаких вестей от Н. И., я заподозрила, что он уже арестован. Пыталась узнать о нем в редакции, но и там никто ничего не знал. Наконец, после 25 авгу-

ста из редакции позвонила Августа Петровна Короткова и сообщила, что Н. И. вылетел из Ташкента, днем будет в Москве и просил, чтобы я его встретила. Короткова предупредила Николая Николаевича, чтобы он предварительно заехал за мной на Сходню. Клыков скоро прибыл, мрачный, лицо землистого цвета.

— Вот, — сказал он, — так радостно провожали, и какая печальная встреча!

Ребенка завезла на квартиру матери в «Метрополь», бабушку — в коммунальную квартиру на Новой Басманной. По пути я успела ей тихо шепнуть: «Николай жить не будет, его обязательно расстреляют!» Бабушка посмотрела на меня безумными глазами. Я эту фразу не раз потом вспоминала. Следовательно, в тот момент я уже понимала многое. Хочется проникнуть в себя прежнюю и в Н. И. тех дней, избежать аберрации. Это не так просто, как кажется. Ретроспективный взгляд дает многое, делает человека разумней, кажется, что он рассуждал так и прежде.

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Применительно к тем зловещим событиям наш поэт прав вдвойне.

Мы приехали в аэропорт с небольшим опозданием. Н. И. сидел на скамейке, забившись в угол. Вид у него был растерянный и болезненный. Он хотел, чтобы я его встретила, опасаясь, что арест произойдет в московском аэропорту. Семен Ляндрес был возле него и по просьбе Н. И. загораживал его от посторонних любопытных, возможно, враждебных взглядов. Бухарина часто узнавали, что в тот момент для него было тяжело. Смотреть людям в глаза он был не в состоянии, настолько возмутительными считал выдвинутые против него обвинения. Вещи свои, чемодан и все остальное Н. И. оставил не то во Фрунзе, не то в Ташкенте. Они прибыли значительно позже. С собой он захватил лишь колокольчик, какой навешивают в горах домашним животным, чтобы не потерялись, — колокольчик держал в руке, а на плече висели узорчатые шерстяные чулки. Эти вещи Н. И. привез в подарок сыну, хотя ребенку не было еще полных четырех месяцев и весь он мог влезть в один такой чулок. Но в тот момент это не показалось мне смешным чудачеством. Первые слова, обращенные ко мне:

— Если бы я мог предвидеть подобное, убежал бы от тебя на расстояние пушечного выстрела!

Я старалась успокоить Н. И., «разберутся, мол, все выяснится...», а сама была настроена пессимистически. Увидав Клыкова, Н. И. смутился и воскликнул:

— Все ложь, ложь, Николай Николаевич, и я это докажу!

Клыков реагировал на возглас Н. И. страдальческим взглядом, молча.

— Куда поедет, Николай Иванович? — спросил подавленный шофер.

Н. И. замялся, он непрерывно оглядывался, не подошли ли с ордером на арест. Квартира была в Кремле, пропустит ли охрана в Кремль, уверенности не было, и он свое сомнение выразил вслух. Можно, конечно, поехать на дачу, но там не было телефона-вертушки, по которому Н. И. мог бы непосредственно связаться со Сталиным.

— Будь что будет! — ответил он шоферу. — Едем на квартиру.

Заехали в «Метрополь» за ребенком и направились через Боровицкие ворота в Кремль. Как обычно, машина была остановлена для проверки документов. Н. И. предъявил удостоверение члена ЦИКа, дежурный из охраны как ни в чем ни бывало отдал честь.

— Может, он газет не читает? — заметил Н. И., и машина благополучно остановилась у подъезда.

Взволнованный старик-отец встретил сына словами:

— Ты что же, Колька, все путешествуешь, тут бог весть что творится!

Но Н. И., казалось, и слов отца не услышал. Он быстренько побежал в свой кабинет и стал звонить Сталину. Незнакомый голос ответил:

— Иосиф Виссарионович в Сочи.

— В такое время в Сочи! — воскликнул Н. И.

Теперь об этом вспоминать тяжело. У кого Н. И. искал спасения, у своего же палача! Возможно, очевидным это кажется теперь, а не тогда, в ту трагическую минуту. Невероятно, что Н. И. не то чтобы не мог понять, скорее в первые дни

не мог думать о том, что само позорное судилище над Каменевым, Зиновьевым не могло бы состояться, если бы того не пожелал Сталин. Инстинкт самосохранения гнал от этой мысли, хотя для него очевидным должно было бы быть, что именно Сталин успел к этому времени не только распятать Зиновьева, Каменева и других большевиков, но и вложить в их уста самооговор и клевету на своих же товарищей. Тем не менее душу Бухарина терзало невероятное озлобление против «клеветников» Каменева и Зиновьева, а вовсе не против Сталина. Неприязнь к этим обоим политическим деятелям, к Каменеву в особенности, имела глубокие корни, что вполне понятно из того, что мною было изложено ранее.

К Чингисхану — так Н. И. называл Сталина в 1928 г., в период самых острых разногласий — Бухарин отношение изменил, оставив за ним лишь болезненную подозрительность. И, как он считал, спасение лишь в том, чтобы эту подозрительность рассеять. Поначалу было именно так, ничего иного сообщить не могу, хотя об этом вспоминать прискорбно. Очевидно, при ином образе мысли стимул к борьбе с клеветой был бы утрачен.

В то время многие не могли отделить правду от лжи и пребывали в состоянии полной растерянности. Е. А. Гнедин в своей удивительно тонкой в психологическом отношении книге «Катастрофа и второе рождение» писал: «Я заметил, между прочим, что встречающиеся в мемуарах И. Г. Эренбурга упоминания о наивности, казалось бы, трезвомыслящих людей вызывают совершенно напрасное недоверие современных читателей».

Наивность эта проявлялась и в том, что многие в процессы верили, иначе не в состоянии были объяснить происходящее, и в том, что те, кто верил не до конца, все же верил в то, что раскрыт заговор против Сталина. Нравственные качества вождя особенно подталкивали к этой мысли тех, кто его близко знал, пока самих не постигала такая же участь; наконец, наивность проявлялась и в том, что за спасением обращались к самому тирану. В этом был, безусловно, резон, ибо спасти от террора мог лишь тот, кто был его вдохновителем и организатором. Однако как наивно было предполагать, что «отец родной» спасет, а не казнит.

Трудно поверить, что Бухарин был одним из многих. Тем не менее поначалу это было именно так. Спасение он видел только в Сталине.

В моей памяти живут многочисленные примеры такой наивности, расскажу лишь о более ярких.

После своего освобождения и возвращения в Москву я познакомилась со старым большевиком Никаноровым, тоже пострадавшим в годы террора. Он отбывал свой срок заключения в одном лагере с главным конструктором артиллерийского конструкторского бюро Кировского (Путиловского) завода Иваном Абрамовичем Махановым. Со слов Маханова, Никаноров рассказал мне эпизод, произведший неизгладимое впечатление и крайне взволновавший меня. Во время суда над Зиновьевым и Каменевым Маханов и директор этого же завода К. И. Отс (впоследствии расстрелянный) пришли на прием к Сталину по производственным вопросам. Пока они ждали вызова, в кабинет генсека прошли Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская. Целиком разговор Маханов и Отс не слышали, но сквозь шум и ругань четко дошла до них одна фраза. Сталин крикнул: «Кого вы защищаете — убийц защищаете!»¹. Затем двое мужчин вывели Марию Ильиничну и Надежду Константиновну из кабинета под руки; бледные и дрожащие от волнения, они самостоятельно идти не могли. Так что же, и они, Улья-

¹ Представляет интерес, как Сталин характеризовал «убийц» — Зиновьева и Каменева в то время, когда они были его союзниками в борьбе против Троцкого. В своей речи на Пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 г. Сталин напомнил, что 10(23) октября 1917 г. на заседании, решившем вопрос о восстании, было избрано Политическое бюро по руководству восстанием в составе Ленина, Зиновьева, Сталина, Каменева, Троцкого, Сокольников и Бубнова. «Из протоколов, — заявил Сталин, — ясно, что противники немедленного восстания — Каменев и Зиновьев — вошли в орган политического руководства восстанием наравне со сторонниками восстания... Троцкий уверяет, что в лице Каменева и Зиновьева мы имели в Октябре правое крыло нашей партии, почти что социал-демократов. Непонятно только: как могло случиться, что партия обошлась в таком случае без раскола; как могло случиться, что разногласия с Каменевым и Зиновьевым продолжались всего несколько дней; как могло случиться, что эти товарищи, несмотря на разногласия, ставились партией на важнейшие посты, выбирались в политический центр восстания и пр.» Могу добавить: еще более удивительным кажется — как могло случиться, что из семи человек, входящих в Политическое бюро по руководству восстанием, пять оказались «убийцами»?

новы, не понимали, что судилище организовано самим Сталиным? Известно было также, что отношения между Надеждой Константиновной и Сталиным были натянуты из-за грубости, которую он позволил себе по отношению к ней во время болезни Ленина. Тем не менее к кому они обратились за помощью в борьбе с произволом; перед кем защищали честь партии и как минимум просили сохранить жизнь Зиновьеву и Каменеву? К тому же диктатору-преступнику.

А разве прославленный командарм И. Э. Якир, показавший свое мужество не только во время гражданской войны, но и в период разнузданного террора, не старался спасти арестованных военных, апеллируя именно к Сталину? Жена Якира, Сарра Лазаревна, рассказывала мне, например, об обращении Якира к Сталину по поводу ареста командира танкового соединения Киевского военного округа Шмидта, обвиненного в намерении организовать террористическую акцию против Ворошилова. И. Э. Якир хотел получить свидание со Шмидтом в тюрьме. Существует версия, что он добился его через Ворошилова и что при свидании с Якиром арестованный Шмидт отказался от своих показаний и имел возможность передать через Якира записку для Ворошилова, отрицающую обвинение. Но со слов жены Якира, мне известно, что свидания со Шмидтом Иона Эммануилович добился через Сталина. Шмидт снова подтвердил свои клеветнические показания, но, прощаясь с Якиром, действительно тайком сунул ему в руки заранее заготовленную записку, в которой сообщал Ворошилову о своей непричастности к террору и объяснял, что показания вызваны пытками. Якир передал Ворошилову записку, тем не менее положение Шмидта не изменилось. Из заключения он не вышел. Якир обращался к Сталину по поводу ареста командующего Уральским военным округом И. Гарькавого и во многих других случаях. О письме Р. И. Эйхе, посланном из тюремной камеры Сталину и найденном в его архиве после смерти, я упоминала. Сколько таких писем было адресовано «Отцу народов» — не перечесть.

Вот и Н. И. надеялся на Сталина, продолжал удивляться, как это Сталин мог в такое время уехать в Сочи, и ждал его приезда. Но, оказывается, кровожадный вождь, судя по рассказу И. А. Маханова, во время процесса Зиновьева, Каменева и других был в Москве и только после окончания судилища отбыл в Сочи. Но в Сочи он не только отдыхал. Сталин совмещал свой отдых с активной деятельностью, направленной на эскалацию тирании, точнее сказать: не совмещал, а вдвойне отдыхал, ибо тирания — наслаждение для садиста.

Звонить Ягоде Н. И. считал бессмысленным, хотя, конечно же, не представлял, что тот доживает в НКВД последние дни и будет судим с Н. И. на одном процессе.

Оставалось только бездейственно ждать, что произойдет раньше: возвратится ли Коба из Сочи, или же закроются двери тюремной камеры.

Мы сидели возле письменного стола, у телефона в кабинете Н. И. В вольере щебетали птички, в коляске дрыгал ногами и орал до покраснения голодный ребенок. Я совала ему в ротик пустую грудь. Дедушка Иван Гаврилович купил молоко в магазине, а не «от одной коровы», как это рекомендовали знатоки на Сходне. Накормил и забрал к себе внука. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Пока было время, Н. И. рассказал мне, каким образом он узнал о процессе.

Заболел Семен Ляндрес. Пришлось спуститься с гор во Фрунзе раньше времени. Н. И. прилег отдохнуть и уснул. Разбудил Семен, протянул Н. И. газеты и воскликнул:

— Н. И., неужто вы и в самом деле предатель?

— Семен! Очевидно, вы сошли с ума, — произнес потрясенный его вопросом Н. И., заглянул в газету и ужаснулся.

Сам Семен Александрович, с которым я встретилась уже после ареста Н. И. в марте 1937 года, подтвердил, что так и было.

Во Фрунзе прибыли 25 августа (возможно, 24-го — точной даты не помню), во всяком случае, в день, когда приговор о высшей мере наказания Зиновьеву, Каменеву и др. был уже вынесен, но о приведении его в исполнение сообщено еще не было. Н. И. тотчас же, из Фрунзе, послал телеграмму Сталину с просьбой задержать приведение приговора в исполнение для очной ставки с Зиновьевым в

целях установления истины. Сейчас такой поступок можно расценить как полнейшее непонимание происходящего — истина не нужна была. Естественно, телеграмма ни к каким результатам не привела. Думать, как А. Солженицын, что Бухарин мог бы изменить ход событий: «кинуться и задержать всю эту расправу», означает — ничего не понимать в сложившейся ситуации. Учитывая обстановку и положение подследственного Бухарина, такая акция выглядела бы донкихотством.

На письменный стол Н. И. Иван Гаврилович аккуратно сложил газеты, освещающие процесс. Н. И. нашел сообщение о самоубийстве М. П. Томского. Насколько мне помнится, в нем было сказано, что М. П. Томский покончил жизнь самоубийством, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами. «Чушь!» — воскликнул Н. И. и неприлично выругался. Я обратила внимание, что Н. И. больше был потрясен формулировкой сообщения о самоубийстве М. П. Томского, чем утратой любимого друга, нравственно чистого товарища, — так он характеризовал Михаила Павловича¹. По-видимому, это объяснялось тем, что в тот миг Н. И. почувствовал, что положение многих, в том числе его и Рыкова, безысходно. В то время настроение Н. И. менялось не только ежедневно, но и ежечасно.

О самоубийстве Томского Н. И. узнал еще в Ташкенте и тогда-то, под первым впечатлением, пережил это трагическое известие чрезвычайно тяжело. Из рассказа писателя Камила Икрамова, сына первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана Акмаля Икрамова, судимого по одному процессу с Бухариным, я узнала, кто и как Н. И. об этом проинформировал. Когда Н. И. вместе с С. А. Ляндресом прибыл из Фрунзе в Ташкент, решено было до отправления самолета в Москву разместить Н. И. на правительственной даче. Второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана Цехер попросил коменданта дачи Шамшанова встретить Бухарина и увезти его на дачу. Из газет уже известно было, что Бухарин подследственный и обвиняется в тяжчайших преступлениях против Советского государства. Перепуганный Шамшанов отказался ехать один, без свидетелей, и попросил Цехера встретить Бухарина вместе с ним. На даче Н. И. показали газеты, Бухарин сказал: «Грязное к чистому не пристанет!» Несомненно, грязными в тот момент Н. И. считал подсудимых-«клеветников», а вовсе не инициатора и организатора неслыханной клеветы. В присутствии посторонних он не позволил бы себе так выразиться, если бы даже и думал иначе. Затем Цехер спросил Н. И.: «А вы знаете, что на днях покончил жизнь самоубийством М. П. Томский?» Этого Н. И. не знал, он видел во Фрунзе только последние номера газет, освещающие процесс. Дальше (по словам Шамшанова, рассказавшего об этом Камилу Икрамову в конце 50-х годов) произошло нечто страшное: у Н. И. брызнула кровь из глаз.

Вот как трагически пережил Н. И. самоубийство своего товарища. Кроме того, самоубийство Томского еще в большей степени дало понять серьезность создавшегося положения.

Томский рассчитался с жизнью мгновенно, он понял, что террористическая оргия, затеянная Сталиным, предвещает мучительный конец, и, очевидно, это был поступок мужественный (впрочем, самоубийство акция неоднозначная и даже в

¹ Трагически сложилась и судьба семьи М. П. Томского. Его два старших сына были арестованы и расстреляны. Младший, еще подросток, арестован, как и жена Томского — Мария Ивановна Ефремова, старая революционерка-большевичка. После окончания срока заключения она вместе с сыном была отправлена в ссылку в Сибирь. После XX съезда вдова Томского написала бывшему председателю ЦИКа Украины Григорию Ивановичу Петровскому, с которым когда-то отбывала царскую ссылку в Якутии, и попросила совета, стоит ли ей приехать в Москву, чтобы хлопотать о реабилитации и восстановлении в партии. Г. И. Петровский ответил: «К нам, старикам, теперь отношение изменилось — приезжайте».

Вскоре вдова Томского приехала в Москву и обратилась в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Там она была тепло принята, ей обещали восстановление в партии, квартиру в Москве, а также предоставили путевку в санаторий, куда посоветовали отправиться тотчас же, а затем оформить восстановление в партии. Вернувшись, она пошла в ЦК, чтобы оформить уже решенный вопрос. Однако ей было заявлено, что В. М. Молотов воспрепятствовал восстановлению ее в партии, и приказано возвратиться в ссылку.

Кто-то из доброжелателей сообщил о случившемся Н. С. Хрущеву, и через несколько дней по его указанию М. И. Ефремовой была послана телеграмма о том, что первоначальное решение остается в силе и что она может вернуться в Москву. Телеграмма эта вдову Томского в живых не застала. Сердце не вынесло последнего удара. В Москву возвратился лишь сын Томского — Юрий, который и рассказал мне эту драматическую историю.

этом случае дать оценку такому поступку сложно). Бухарин и Рыков же на первых порах надеялись доказать свою непричастность к преступлениям. Но если Бухарин делал бессмысленную ставку только на Сталина, то Рыков возлагал надежды, увы, тоже напрасные, на некоторых членов Политбюро и членов ЦК ВКП(б), что мне стало известно от Н. И. после его короткого разговора с Рыковым во время декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1936 г.

Небезынтересная деталь: когда в 1961 г. при Н. С. Хрущеве пересматривались процессы и я была вызвана в связи с этим в Комитет партийного контроля, то сотрудник КПК сообщил мне, что в архиве Сталина обнаружено несколько писем Бухарина, опровергающих клеветнические показания против него, а вот писем от Рыкова обнаружено не было. Предполагаю, что Рыков Сталину не писал.

Бухарин был легковерен, и Сталин, пользуясь этой чертой его характера, играл в любовь к нему, а за спиной готовил гибель. Я приводила многочисленные примеры этой игры. Могу добавить: незадолго до того, как бухаринская теория затухания классовой борьбы была подвергнута критике, — по рассказу Н. И., — Сталин в личной беседе с ним соглашался, что в перспективе классовая борьба не может обостряться, а будет приобретать все менее острые формы, поскольку развитие социализма идет по пути к бесклассовому обществу, что отнюдь не исключает обострения классовой борьбы в отдельные периоды, «но кулак не Колчак» (дословное выражение Бухарина), и кривая пойдет по затухающей. Но когда на апрельском Пленуме 1929 года Бухарин сказал: «Эта странная теория возводит самый факт теперешнего обострения классовой борьбы в какой-то неизбежный закон нашего развития. По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну или подохнуть с голоду и лечь костями», — то Сталин метал громы и молнии.

История рассудит, кто был прав!

Я уже отмечала, что, используя Бухарина как блестящего полемиста и агитатора — искреннего противника оппозиций, «новой», затем «объединенной», — Сталин облегчил себе задачу убрать с политической арены виднейших политических деятелей, а затем, повернув на 180° против Рыкова, Бухарина, Томского, заложил прочный фундамент своего единовластия. Кроме того, была еще причина, заставлявшая Сталина до определенного времени показывать, что к Н. И. он относится исключительно тепло. Он делал это в подражание Ленину — искренне любившему Бухарина, что было хорошо известно.

Отношение Ленина к Бухарину стояло мощным препятствием на пути Сталина. Именно поэтому, чтобы физически уничтожить Бухарина, на процессе требовалось изобразить его организатором покушения на Ленина.

Наряду с этим я осмеливаюсь высказать предположение, как ни парадоксально оно будет выглядеть, что Сталин какой-то частью своего жестокого сердца любил Бухарина, если это чудовище вообще способно было на такое чувство. Мог же он по-своему любить жену Надежду Сергеевну и одновременно издеваться над ней, загубить ее, мог любить и дочь Светлану и в то же время мучить ее, что свойственно деспоту, обречь ее на страдания до конца жизни (хотя так далеко он не заглядывал), мог Коба любить и Николая — любить его и убить его, ибо чувство любви боролось с чувством ненависти, — ненависти из зависти к его яркой личности.

Однако в чем же, с моей точки зрения, проявлялась любовь Сталина к Бухарину, если все сказанное выше и все то, о чем мне еще предстоит рассказать, я расцениваю как политиканство, изощренную хитрость иезуита? Это объяснить довольно трудно. Я бы сказала, наряду с политическими соображениями чувствовалась некоторая интимность в отношении Сталина к Бухарину, — интимность, которая вовсе не обязательна была в целях политического расчета. Разумеется, эта тонкость есть капля в море в сравнении с вероломной игрой, которую Сталин затеял против слишком доверчивого Бухарина.

С середины 1924 г. до конца 1927 г., когда я часто заставляла Сталина у Бухарина, я была девочкой и мои впечатления могли быть ошибочны. Многие рас-

сказывал мне сам Н. И. Он был вхож в дом Сталина, несмотря на то, что не любил застолия, не пил, не курил, но с Н. И. и без вина было весело. Коба делился с Николаем похождениями своей молодости, рассказывал (в вульгарной форме) о своем бешеном темпераменте в ту пору.

Надежда Сергеевна относилась к Н. И. с особенным теплом, всегда радовалась его приходу. Жаловалась Н. И. в присутствии Сталина на деспотический и грубый характер своего супруга; в его отсутствие — в то время, когда отношения между Сталиным и Бухариным стали портиться, как-то разоткровенничалась и выразила солидарность взглядам Н. И. Маленькая Светлана не чаяла души в Н. И. и бурно выражала свою радость: «Ура! Николай Иванович пришел!»¹.

Характер Сталина никогда не импонировал Н. И. Но так или иначе в недалеком прошлом Н. И. был близким человеком Сталину и любимцем его семьи. Это подспудно жило в сознании погибающего Бухарина, потому и вселяло надежду на спасение, несмотря на то, что впоследствии из-за разногласий они прошли через полосу острых личных конфликтов.

В пору, когда я уже была женой Н. И., в 1934 г. мы встретились со Сталиным в правительственной ложе театра. Заметив Бухарина, Сталин устремился к нему. Позади ложи была комната, где члены правительства проводили антракт. Беседа Сталина с Бухариным длилась настолько долго, что они пропустили целое действие спектакля. Вскоре после этого разговора Н. И. был назначен ответственным редактором газеты «Известия». Дома Н. И. рассказал мне, что Коба вспоминал Надю, жаловался, что тоскует по ней, с горечью говорил, как ему ее не хватает. Вряд ли с кем-нибудь иным, кроме Н. И., Сталин в театре, более чем через год после гибели Надежды Сергеевны затеял бы такой разговор. Очевидно, дружба с Н. И. при жизни Надежды Сергеевны оставила след и в его душе. Хотя ничто ему не было дорого! Но все же...

Свои соображения я решила высказать в объяснение — до некоторой степени — психологии палача по отношению к своей жертве и психологии самого Бухарина. В противоборстве двух сил — любви и ненависти, живших, как я предполагаю, в душе Сталина, родилось то неслыханное вероломство, которое он проявлял всегда и продолжал проявлять в период следствия над Н. И. до его ареста и, видимо, после его ареста.

Первые дни после приезда из Ташкента Н. И. проводил значительную часть времени в своем кремлевском кабинете, боясь пропустить телефонный звонок. Ах, как ждал он звонка от своего «благодетеля»! Наконец, смолкнувший аппарат зазвонил. Н. И. ринулся к телефону. Это был К. Радек, в то время член редколлегии «Известий», тоже находившийся под следствием. Радек, узнавший, что Н. И. прервал свой отпуск и прибыл в Москву, поинтересовался причиной его отсутствия в редакции, на что Н. И. ответил:

— Пока в печати не будет опубликовано опровержение гнусной клеветы, моей ноги в редакции не будет!

Радек сообщил, что в ближайшие дни ожидается партийное собрание редакции и что партбюро просит его обязательно явиться. Но Н. И. и на партийное собрание прийти отказался, мотивируя свой отказ тем, что на уровне редакции ничего решено быть не может и его появление там — только излишняя трепка

¹ Как-то в период размолвки между Сталиным и Бухариным Н. И. встретил в Кремле няню Светланы, та, не понимая изменившихся взаимоотношений, спросила Н. И., почему он перестал бывать у них, и сказала, что Светланочка скучает и ждет его. «Плохо приглашаете», — ответил Н. И. няне.

По рассказам Н. И., грубость и низкая культура Сталина давали себя знать и в семье. В присутствии Г. И. курящий трубку Сталин пускал дым в лицо маленькому сыну Васе и смеялся, когда ребенок плакал, задыхался и кашлял от табачного дыма. Однажды над детской кроваткой Васи Н. И. увидел плакат: «Если ты окажешься трусом, я тебя уничтожу!»

Н. И. был свидетелем тяжелейшего эпизода, связанного со старшим сыном Сталина от первого брака, Яшей, которого отец без всякого на то основания невзлюбил. Позвонили на квартиру Сталина и сообщили, что Яша находится в больнице Склифосовского из-за ранения, полученного при попытке покончить жизнь самоубийством. Надежда Сергеевна сказала об этом Сталину и предложила тотчас же поехать в больницу, но он ответил: «Ехать не собираюсь. Жить или кончать с собой — личное дело Яши!» «Отец народов» не поехал к родному сыну в больницу, хотя именно его отношение к Яше послужило причиной попытки самоубийства. Надежда Сергеевна, любившая своего пасынка, помчалась в больницу одна.

нервов; наконец, Радек выразил желание встретиться с Н. И. В этом ему Н. И. отказал, чтобы не осложнять следствие (он еще надеялся на добросовестное следствие), сказав, что даже Алексею (Рыкову), которого ему так хотелось бы по-видать, из тех же соображений он не звонит и не стремится встретиться. А. И. Рыков тоже не звонил.

— С вами ничего плохого не будет, — сказал Радек.

— Это мы еще посмотрим, — ответил Бухарин.

Так в напряжении прошли первые дни сентября.

Однажды я совершила невероятную глупость: я тихо спросила Н. И. — тихо, на случай, если стены нас слушают: неужто он думает, что Зиновьев и Каменев могли быть причастны к убийству Кирова? Н. И. изменился в лице, — побледнел и посмотрел на меня глазами, полными отчаяния. Я поняла, что такого вопроса в тот момент Н. И. задавать не следовало. Он прятал в глубину сознания подозрение, быть может, даже уверенность, что без направляющей руки Сталина не свершилось бы преступление. Своим вопросом я напомнила Н. И. о его собственной дальнейшей судьбе. Если можно было добиться самоговора, клеветы на товарищей по партии от Каменева и Зиновьева, следовательно, этого же можно будет добиться от Бухарина, Радека и др. Однако осознать это сразу же для Н. И. было слишком тяжело. И то, что можно было легко понять, в особенности Бухарину, познавшему Сталина и в политической жизни, и в личной, знавшему потенциальные возможности его коварства, оказалось в тот момент за пределами его сознания, ибо сознание было шоковое. И на мой вопрос он ответил:

— Но меня же и Алексея (Рыкова) эти мерзавцы, эти подлецы-клеветники убивают! Томского уже убили, следовательно, они на все способны!.. НКВД не ЧК. НКВД превратился в безыдейную организацию чиновников, они зарабатывают себе ордена, играют на болезненной подозрительности Сталина — гнать их всех оттуда надо — первого Ягоду!

Можно заподозрить, что Н. И. не хотел раскрывать передо мной карты — берег меня. Нет, это не так. Н. И. был слишком эмоционален, чтобы в страшную минуту не раскрыться. Считанные дни потребовались, чтобы оправиться от нанесенного удара, начать мыслить и откровенно сказать мне, что разложение в НКВД происходит не без давления Сталина. Однако это не было устойчивым мнением. И наиболее часто повторяемой фразой была такая: «Ничего не понимаю, окончательно ничего не могу понять, что же происходит?»

Через несколько дней после разговора с Радеком вновь зазвонил телефон, сообщили, по поручению Кагановича, что Н. И. надо явиться в ЦК для разговора с ним. Н. И. недоумевал, почему он вызван именно к Кагановичу, и решил вновь позвонить Сталину. Последовал тот же ответ: «Иосиф Виссарионович в Сочи». Н. И. отправился к Кагановичу. Я ждала его в большом волнении, хотя в тот момент почему-то у меня не было опасения, что Н. И. не вернется. Предчувствие меня не обмануло. Н. И. появился дома довольно скоро. Я заметила, что он крайне возбужден. Войдя в комнату, Н. И. сказал:

— Ты не представляешь себе, что я пережил, это невообразимо, наконец, это необъяснимо!

Н. И. рассказал мне, что в присутствии Кагановича в здании ЦК у него была очная ставка с арестованным Григорием Яковлевичем Сокольниковым. Гриша, друг его юности, с которым они вместе начинали свой революционный путь, показывал против него и лгал. Он выдумывал, будто бы существовал параллельный троцкистский центр (параллельный уже «разоблаченному» и судимому открытым процессом объединенному — троцкистско-зиновьевскому с главными обвиняемыми Зиновьевым и Каменевым). Центр этот, в который входил якобы и Сокольников, давал установку на вредительство, диверсии, террор против членов правительства, организацию покушения на Сталина, «правые» будто бы разделяли взгляды троцкистского центра на свержение правительства и восстановление капитализма в СССР. Сокольников якобы лично разговаривал по этому поводу с Бухариным, и тот предупреждал его, что действовать надо как можно

скорее. Он описывал вымышленную обстановку, называл даты, где и в чьем присутствии происходили эти переговоры. До ареста с Н. И. провели не одну очную ставку, но эта была, если можно так выразиться, «боевым крещением».

Нормальный человек не в состоянии все это воспринять. Очевидно, предварительно надо было произвести невозможную операцию — трансплантацию разума, что успешно достигалось методами «следствия» лишь в стенах НКВД.

Я спросила Н. И., как же он опровергал показания Сокольникова.

— Да разве такой бред, — ответил он мне, — можно опровергать? Я смотрел на него как баран на новые ворота и сказал ему: «Гриша! Ты, может, рассудка лишился и не отвечаешь за свои слова!». «Нет, — спокойно ответил Сокольников, — я за них отвечаю, и ты скоро ответишь за свои...» (Очевидно, намекая на то, что с Бухариным произойдет то же самое, что и с ним.)

Н. И. терялся в догадках, он не мог объяснить происходящего. На него смотрели знакомые глаза друга, лицо его было бледно, но не измучено¹. Очевидно, он сдался сразу, ведь только перед отъездом на Памир Н. И. рассказали об аресте Сокольникова, а такие сенсационные слухи распространяются мгновенно. Вот чем обернулось предположение Н. И., что Сокольников не мог быть арестован по политическим мотивам.

Они находились в кабинете втроем: Каганович, Бухарин и Сокольников. Конвой оставался в другой комнате, ответственного представителя НКВД при Сокольникове не было. Очевидно, Л. М. Кагановича было вполне достаточно, чтобы заменить его и обеспечить необходимое поведение арестованного, а впрочем, я в этом не уверена. Каганович выглядел равнодушным наблюдателем, он не давил на Сокольникова, но при нем и не поддерживал Бухарина. Наконец, пришло время, явился конвоир и Сокольникова увели.

И тут-то произошло нечто совсем неожиданное. Каганович, по словам Н. И., сказал в адрес Сокольникова:

— Все врет, б..., от начала до конца! Идите, Н. И., в редакцию и спокойно работайте.

— Но почему он врет, Лазарь Моисеевич, ведь этот вопрос надо выяснить.

— Будем выяснять, обязательно будем выяснять, Николай Иванович, — ответил Каганович.

Не могу сказать, касался ли Н. И. при разговоре с Кагановичем клеветы на процессе, точно этого я не помню. Не исключено, что Н. И. был под сильным впечатлением от очной ставки с Сокольниковым и этот момент опустил.

А по поводу работы Бухарин заявил Кагановичу:

— Пока в печати не будет опубликовано заявление прокуратуры, опровергающее клевету и о прекращении следствия за отсутствием состава преступления, к работе я не приступлю.

Каганович обещал, что это будет сделано обязательно.

10 сентября 1936 г. в газетах появилось заявление Прокуратуры СССР, но несколько иного содержания, чем хотел Н. И. В нем говорилось, что следствие по делу Бухарина и Рыкова прекращено не за отсутствием состава преступления, а за неимением юридических данных для привлечения к уголовной ответственности, что в понимании Бухарина означало: не пойман, не вор! Но, так или иначе, поскольку сообщалось, что дело производством прекращено, стало дышаться легче. Безусловно, такой исход очной ставки с Сокольниковым был продиктован Сталиным. Дальнейшее развитие событий показало, что то был тактический шаг «Хозяина», дабы показать «объективность» следствия.

Н. И. позвонил в редакцию и через С. А. Ляндреса (который его от души поздравил с реабилитацией) предупредил, что он появится там через несколько дней, хотел доиспользовать свой отпуск и немного отдохнуть. Очная ставка с Сокольниковым произвела на Н. И. такое удручающее впечатление, что у Н. И.

¹ Жена заместителя Ягоды Софья Евсеевна Прокофьева, с которой я одновременно была в Томском лагере, а затем в ссылке и имела возможность многое от нее узнать, рассказала мне со слов своего мужа, что когда Сокольникову после ареста предъявили ужасающие обвинения, он сдался без боя, заявив при этом: «Коль скоро вы требуете от меня неслыханных признаний, я согласен их подтвердить. Чем большее число людей будет вовлечено в инсценированный вами спектакль, тем скорее опомнятся в ЦК и тем скорее вы сядете на мое место». Полагаю, что сведения эти вполне достоверны.

были наивные намерения поговорить о ней со Сталиным, но он не был убежден, что это удастся.

А пока мы решили провести несколько дней на даче. Перед отъездом Н. И. получил телеграмму от Р. Роллана с поздравлением в связи с реабилитацией и такого же характера письмо от Бориса Леонидовича Пастернака¹, чем был глубоко взволнован. Пробыв на даче несколько дней, Н. И. отправился в редакцию. Я же с ребенком оставалась на Сходне. Обычно после окончания работы в редакции Н. И. приезжал на дачу за полночь. На этот раз он возвратился неожиданно скоро. Н. И. рассказал, что в редакции его тепло встретили сотрудники, но, когда он вошел в кабинет, за своим письменным столом застал зав. отделом печати ЦК ВКП(б) Бориса Талю, исполняющего обязанности главного редактора газеты. Н. И. заявил Талю (впоследствии разделившему судьбу Н. И.), что при политкомиссаре он работать не намерен. Хлопнул дверью и вышел из кабинета. Это был единственный раз, когда Н. И. после возвращения из отпуска посетил редакцию и, не приступая к работе, покинул ее, хотя газету подписывали его именем еще несколько месяцев.

Из редакции Н. И. привез с собой иностранные газеты. В одной из них, не помню в какой, он прочел, что в ближайшее время будет арестован Радек, а затем Бухарин и Рыков. В какой-то из газет было сообщено, что признания обвиняемых на процессе достигаются гипнозом и пытками.

Обстановка в редакции и сообщения в иностранных газетах привели Н. И. в полное отчаянье. Ночью он бредил и повторял во сне: «Сами вы предатели, сами вы предатели!» Побывав в редакции, он понял, что не только «спокойно работать», но и вообще работать в «Известиях» — исключается.

Обманул ли Каганович Бухарина или же ему самому неизвестны были дальнейшие планы Сталина, Н. И. понять не мог. Но уже там, на даче, он снова к концу первой половины сентября 1936 г. откровенно говорил мне о преступной роли Сталина в организации террора. Однако, опять-таки в тот же самый день или на следующий, он мог отдать предпочтение мысли о болезненной подозрительности Сталина, оберегая себя от осознания безвыходности своего положения.

Классический пример психологии обреченных, хватавшихся за соломинку в надежде на жизнь, показал Карл Радек. Несмотря на вполне обоснованное нежелание Бухарина встретиться с ним, он дня за два-три до своего ареста явился к нам на дачу. Попросил прощения за свой визит, объясняя его тем, что хочет проститься с Бухариным. Поскольку заявления Прокуратуры СССР по поводу прекращения следствия по делу Радека не было, он предполагал, что в ближайшие дни его ждет тюрьма (Радек был арестован числа 17—20 сентября). В отношении Н. И. Радек был настроен оптимистически и выразил мнение, что Сталин не допустит его ареста. Думая, что видит Н. И. в последний раз (в чем Радек ошибся, об их свидании после ареста Радека я расскажу в дальнейшем), он хотел, чтобы Н. И. услышал его последние слова и поверил ему. Радек заверял Бухарина, что давным-давно порвал с Троцким, к разоблачению тайной троцкистской организации (так точно он выразился) отношения не имел. (Будто в то время существовала тайная конспиративная организация, разделявшая взгляды Троцкого.) Ни с Каменевым, ни с Зиновьевым, как утверждал Радек, он контакта не имел. Но сказал: «Жалко мне Григория!», т. е. Зиновьева. (Разговор этот я слышала из смежной комнаты при открытых дверях, о чем я рассказывала Берии.)

Больше всего поразила меня и в то время, а в еще большей степени много позже, когда я вполне осознала ужас происходящего, — просьба, с которой обратился К. Радек к Н. И.: в случае своего ареста написать о нем Сталину и просить, чтобы дело прошло через его руки. Радек просил напомнить Сталину и о

¹ Позже, во второй половине января 1937 г., когда снята была подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий» и когда по ходу процесса Радека — Пятакова и др. стало ясно, что дела Н. И. плохи, Борис Леонидович вновь прислал Н. И. коротенькое письмо, как ни странно, — не задержанное. Он написал: «Никакие силы не заставят меня поверить в ваше предательство». Он также выражал недоумение по поводу происходящих в стране событий. Получив такое письмо, Н. И. был потрясен мужеством Б. Л. Пастернака, но чрезвычайно озабочен его дальнейшей судьбой.

тсм, что единственное письмо, которое он получил от Троцкого в 1929 г. через бывшего левого эсера Блюмкина¹, он, не вскрывая, отправил в ГПУ.

— Почему вы, Карл Бернгардович, — спросил Н. И. Радека, — не можете написать об этом Сталину сами теперь, до своего ареста? Неужто вы нуждаетесь в моей помощи?

— Потому, Николай Иванович, — ответил Радек, — что мое письмо к Сталину не попадет, а будет направлено в НКВД, я — подследственный. Ваше же будет передано непосредственно Сталину.

— Подумаю, — ответил Н. И.

Перед уходом Радек вновь повторил:

— Николай! Верь мне, — верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен!

Карл Бернгардович говорил взволнованно, подошел ближе к Н. И., простился, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты.

Возможно ли представить, чтобы Радек, человек блестящего ума, политик до мозга костей, каким-то особым, радековским чутьем проникающий в политическую ситуацию, внутреннюю и международную, искал спасения в Сталине! Неужто и он не понимал, что дело, которое он стремился передать в сталинские руки, его же руками и состряпано; не сознавал, что его, Радека, без указания «Хозяина» пальцем бы никто не тронул? Наконец, к кому обратился он со своей нелепой просьбой — к человеку, который сам жил в тревожном ожидании завтрашнего дня.

Так что же, понимал или же не понимал Карл Радек сложившуюся ситуацию? И понимал, и прятал от себя это понимание. В минуты, когда понимал, — жалел Григория (Зиновьева), когда не хотел понимать, клялся, что не имеет отношения к его тайной организации. Вот психология обреченного человека, на которого обрушились невероятные, фантастические обвинения.

Если бы я сама не была свидетелем этого разговора, а услышала бы о нем из чужих уст, я сочла бы рассказчика безумцем или глупым фантазером. Однако просьба Радека была настоятельной. Мы еще находились на даче, когда приехала взволнованная жена Карла Бернгардовича — Роза Маврикиевна и вновь повторила просьбу арестованного мужа.

После некоторых колебаний Н. И. решил выполнить желание Радека. В письме он написал, что Радек просил Сталина самого заняться его делом; напомнил о письме от Троцкого, полученном через Блюмкина и отправленном Радеком в ГПУ. (Надо думать, Радек заподозрил, что письмо, переданное ему Блюмкиным от Троцкого, носило провокационный характер, неужто иначе он не заинтересовался бы его содержанием и в том случае, если в то время не разделял взгляды Троцкого.) Н. И. написал и о собственном впечатлении, исключая связь Радека с Троцким. Но последняя фраза: «А, впрочем, кто его знает!» обесценила все письмо. И хотя письмо и без нее для Радека никакой ценности не представляло, она меня потрясла.

Такая атмосфера недоверия друг к другу господствовала в ту пору, и сбрасывать со счетов это обстоятельство никак не приходится.

Радек был арестован на городской квартире, но обыск был произведен и на даче. После обыска к нам прибежала молодая девушка — Дуся, уборщица на даче «Известий», и рассказала, будто бы во время обыска на даче у Радека обнаружены были в полом стержне круглой вешалки тайные преступные документы. «Вот изверги! — сказала Дуся, — и вас ведь, Николай Иванович, туда же хотели затянуть!»

Сообщение это Н. И. воспринял чрезвычайно взволнованно. Если бы у Радека и были документы, которые он не хотел предать огласке, рассуждал Н. И., то за месяц после объявления в печати о начале следствия он успел бы их уничто-

¹ Бывший левый эсер Блюмкин, убивший германского посла Мирбаха, один из организаторов левоэсеровского мятежа, перешел на сторону большевиков, работал в ЧК-ГПУ. Был поклонником Троцкого. Будучи в командировке за границей, имел свидание с ним в 1929 г., после чего был расстрелян.

жить. Следовательно, или эти слухи были вымышлены, или документы были подложены в отсутствие Радека.

— Так и у меня могут обнаружить все, что угодно! — произнес в полном замешательстве Н. И.

К вечеру мы распростились со Сходней и возвратились в Москву. Из редакции не звонили и на работу Н. И. не приглашали. До 7 ноября Н. И. из квартиры не выходил. Перед праздником, получив из редакции гостевой билет, он решился вместе со мной встретить девятнадцатую годовщину Октября. Место на трибуне оказалось ближайшим к Мавзолею, и Сталин заметил Бухарина. Вдруг я увидела, как по направлению к Н. И. пробирается часовой, и заволновалась. Сейчас, решила я, он предложит нам уйти с этого места, или же — еще хуже — идет арестовать Н. И. Но часовой отдал честь и сказал: «Товарищ Бухарин, товарищ Сталин просил передать, что вы не на месте стоите. Поднимитесь на Мавзолей». Так Н. И. оказался на трибуне Мавзолея. Поговорить со Сталиным ему не удалось. Сталин стоял вдалеке от него и покинул трибуну первым.

Недалеко от нас я увидела Анну Сергеевну Реденс (Аллилуеву), старшую сестру Надежды Сергеевны, жены Сталина¹. Заметив меня, она сказала: «Ах, как мы, Надя и я, любили Н. И.» Почему-то и о себе в прошедшем времени. В самом деле, все уже было в прошлом. Появление часового встревожило и Анну Сергеевну, что она откровенно высказала мне. Но, обрадовавшись поступку Сталина, демонстративно показавшему, как она подумала, свое искреннее расположение к Бухарину, и, учитывая заявление Прокуратуры СССР о прекращении следствия, Анна Сергеевна решила, что неприятности для Н. И. позади.

Около месяца после Октябрьских торжеств прошло относительно тихо. Н. И. не исключал даже, что ему вновь предложат «спокойно работать» в редакции. Но о работе ни из редакции, ни из ЦК ничего не сообщали. Н. И. пытался заниматься. Читал и делал выписки из немецких книг, приобретенных в Берлине по пути в Париж, авторами которых были фашистские теоретики; он мечтал написать большую работу против идеологов фашизма. Но чем больше времени проходило с того примечательного дня 7 ноября, тем большее волнение его охватывало. К концу ноября нервное напряжение было столь велико, что работать он совсем не мог. Метался, как зверь, загнанный в клетку, не выходил из дому. Ежедневно заглядывал в «Известия», не подписывают ли газету фамилией другого редактора, но на последней странице неизменно мог прочесть: ответственный редактор Н. Бухарин. Н. И. в недоумении пожимал плечами: он с конца сентября, когда в своем кабинете застал Б. Таля, и порога редакции не переступал.

Наконец оповестили по телефону из Секретариата ЦК о созыве декабрьского Пленума ЦК ВКП(б). Повестка дня Н. И. известна не была. Было ли сообщение в печати о заседании этого Пленума — не помню, но кажется мне, что об этом не информировали. Пленум заседал один вечер.

Придя домой, Н. И. взволнованно сказал:

— Познакомься! Твой покорнейший слуга — предатель-террорист-заговорщик!

На Пленуме выступил новый нарком НКВД Ежов, на которого Бухарин, как ни прискорбно об этом вспоминать, после снятия Ягоды возлагал надежды. Со страшной силой, как рассказывал мне Н. И., обрушился новый всемогущий нарком на своего предшественника Ягodu. Дважды повторил он, что Ягода устроил для Каменева и Зиновьева из тюрьмы санаторий, опоздал с их разоблачением на несколько лет, действовал под давлением, что потребовалось два суда (для Каменева три), чтобы уничтожить предателей.

Слушая Ежова, жалкий, низвергнутый Ягода, пока еще член ЦК, по словам Н. И., сидевшего неподалеку от него, неуверенным голосом, как бы для себя самого, негромко произнес:

— Как жаль, что я не арестовал вас, когда еще мог!

¹ Муж Анны Сергеевны — Станислав Реденс в начале 30-х годов занимал пост начальника Московской ЧК. Как я слышала, пытался обуздать давление Сталина на НКВД, пользуясь своими родственными связями с ним. С приходом Берии был переведен на работу в Казахстан, затем арестован. Позже репрессирована и Анна Сергеевна. По рассказам очевидцев, она вернулась из ссылки полубезумной.

Следующими объектами нападок Ежова стали Рыков и Бухарин. Их он обвинял в связи с контрреволюционными троцкистами, в организации заговора, уже прозвучал лейтмотив всех процессов: причастность к убийству Кирова.

— Молчать! — крикнул гневным тоном возмущенный Бухарин, когда вспомнили Кирова. — Молчать! Молчать!

Все обернулись в сторону Бухарина, но не произнесли ни единого слова.

После выступления Ежова было несколько минут перерыва, которыми воспользовался Рыков и подошел к Н. И.

— Надо мобилизовать все силы для борьбы с клеветой. Отягчающим обстоятельством является самоубийство Томского, — сказал Алексей Иванович.

— Одна надежда — переубедить Сталина, иначе ничего не получится, — ответил Бухарин.

— Николай! Ты ошибаешься, надо, чтобы нам поверили члены Политбюро и члены ЦК — против Кобы, — тихо шепнул ему Рыков.

После перерыва коротко, но злобно выступил Каганович. Он «передумал» и стал верить «б...» Сокольникову, показаниям Зиновьева и Каменева и не верить Бухарину. Молотов соревновался с Кагановичем в нападках на Рыкова и Бухарина.

В защиту Бухарина и Рыкова на Пленуме не выступил никто. Лишь Серго Орджоникидзе прерывал речь Ежова вопросами, пытаясь разобраться в происходящем кошмаре, и тем самым проявлял некоторое недоверие новому наркому. Поведение остальных можно выразить словами Пушкина: «Народ безмолвствует».

Наконец, слово взял Сталин (передаю по памяти со слов Бухарина):

«Не надо торопиться с решением, товарищи. Вот против Тухачевского у следственных органов тоже имелся материал, но мы разобрались, и товарищ Тухачевский может теперь спокойно работать!..

Я думаю, Рыков, быть может, знал что-нибудь о контрреволюционной деятельности троцкистов и не сообщил партии. В отношении Бухарина я пока и в этом сомневаюсь (умышленно отделил Бухарина от Рыкова. — А. Л.). Очень тяжело для партии говорить о преступлениях в прошлом таких авторитетных товарищей, какими были Бухарин и Рыков. Потому не будем торопиться с решением, товарищи, а следствие продолжим».

Все было заранее спланировано у вождя. И тонко же умел обманывать Иосиф Виссарионович! Товарищу Тухачевскому, присутствующему на Пленуме, он был кандидатом в члены ЦК ВКП(б), вместо спокойной работы через несколько месяцев он обеспечил «вечный покой». Что касается Бухарина — вместо обещанной работы в редакции дал команду о возобновлении следствия, которое, надо думать, ни на один день и после заявления Прокуратуры 10 сентября 1936 г. не прекращалось. В НКВД лихорадочными темпами фабриковались клеветнические материалы против Бухарина и Рыкова. Вот что значила, казалось бы, самая умеренная в сравнении с предыдущими выступлениями речь вождя.

После короткой, но многообещающей речи Сталина Н. И. решился подойти к нему. Их разговор передаю с максимальной точностью, как рассказывал мне Бухарин.

— Коба! — сказал он. — Надо проверить работу НКВД, создать комиссию и расследовать, что там творится. До революции, во время революции и в тяжкие годы после ее совершения мы служили только революции. А теперь, когда трудности уже позади, ты веришь клеветническим показаниям? Хочешь выкинуть нас на грязную свалку истории? Опомнись, Коба!

— Ты что, хочешь сказать о своих прошлых заслугах, никто их у тебя не отнимает, — ответил Сталин безразличным тоном, — но они же и у Троцкого были. Мало у кого было столько заслуг перед революцией, сколько было у Троцкого, между нами говоря, между нами говоря (он делал акцент на «и» — «мижду нами говоря»), — дважды повторил Сталин, погрозив указательным пальцем, очевидно, предостерегая Бухарина, чтобы не разболтал он сказанное им о Троцком на том свете (разболтал-таки на этом, мне-то успел рассказать). Затем Коба отошел в сторону, не желая продолжать разговор.

Прошло около трех мучительных месяцев с декабрьского 1936 г. до февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. Бухарин провел их главным образом в небольшой комнатке, бывшей спальне Сталина: после гибели Надежды Сергеевны Сталин попросил Бухарина поменяться с ним квартирами.

Обстановка нашей комнаты была более чем скромной: две кровати, между ними тумбочка, дряхлая кушетка с грязной обивкой, сквозь дыры которой торчали пружины, маленький столик. На стенке висела тарелка темно-серого репродуктора. Для Н. И. эта комната удобна была тем, что в ней была раковина и кран с водой, а также дверь в небольшой туалет. Так что Н. И. обосновался в той комнате прочно, почти не выходя из нее.

5 декабря 1936 г. по радио он слушал речь Сталина на Восьмом чрезвычайном съезде Советов о новой, так называемой сталинской Конституции, в обсуждении и написании которой Н. И. принимал непосредственное участие, поэтому свое отсутствие на съезде отверженный Бухарин переживал особенно тяжело. Но в еще большей степени угнетала его атмосфера на декабрьском пленуме¹. Ведь только он и, очевидно, Рыков просили Сталина создать комиссию для расследования деятельности НКВД. Все присутствующие на пленуме молчали. «Может, придет время, — сказал Н. И., — когда они все окажутся неугодными свидетелями преступлений и тоже будут уничтожены!» Хотя сам он считал, что при абсолютной диктатуре Сталина каждого, выступившего в защиту его и Рыкова, кара постигла бы немедленно. Тем не менее пережить молчание товарищей было невероятно тяжело. Ему вспомнилась древняя египетская сказка: хоронили фараона, на похороны его собрались не только друзья, но и враги. Враги пришли, чтобы выразить свою ненависть к умершему, и забросали мертвого фараона камнями. Покойник оставался лежать неподвижно. Затем один из тех, кого фараон считал своим другом, тоже бросил в него камень. И вдруг умерший повернул голову в его сторону и громко застонал. «Вот и у меня душа стонет, стонет так, что невозможно вытерпеть». Н. И. сказал это с такой болью и взгляд его был столь трагическим, что показалось мне в тот миг, что я услышала душевный стон.

Через некоторое время, ближе к концу декабря стали поступать явно добытые пытками показания против него, Рыкова и Томского. Показания эти рассылались всем членам и кандидатам в члены ЦК ВКП(б) как материалы к предстоящему февральско-мартовскому пленуму 1937 г. для создания соответствующего настроения. Показания были хорошо срежиссированы: не противоречили одно другому. Назывались одни и те же даты конспиративных собраний, места сборищ «заговорщиков». Некоторые тайные собрания проходили при Бухарине, иные — в его отсутствие, но кто-нибудь из присутствующих обязательно передавал директиву Бухарина или Рыкова (Томского упоминали тоже, но реже, он ушел из жизни сам, зачем же было тратить время на вымогательства показаний против него), что со свержением правительства, убийством Сталина, «дворцовым переворотом», с целью восстановления капитализма в СССР (иная формулировка не устраивала диктатора) надо торопиться!

— Здорово состряпано! — сказал Н. И. — Если бы я был не я, а человек незнакомый, я бы всему поверил.

Большинство мучеников, давших к этому времени клеветнические показания, были лицами неизвестными или же малоизвестными не только мне, но и Н. И., партийными работниками из провинции и к оппозиции отношения не имели.

На процессе А. И. Рыков по этому поводу заявил: контрреволюционные группы в 1928—1930 гг. создавались и на территории Союза: «точного перечисления, где и какие группы создавались, в каком количестве — этого сказать не могу». Или же, когда Вышинский спросил у Рыкова, какую часть право-троцкистского блока представлял Енукидзе, он ответил: «Должно быть, представлял правую часть». Этим явно стремился подчеркнуть, что процесс есть чудовищная инсинуация.

Прочтя присланные показания, Н. И. снова произнес знакомую фразу:

¹ Возможно, декабрьский пленум 1936 г. заседал после VIII съезда Советов, точной даты я не помню.

— Ничего не понимаю! — И тихо шепнул мне на ухо: — Быть может, Коба сошел с ума?

Я не смогла его успокоить, наоборот, еще больше взволновала, сказав:

— Теперь жди показаний от Радека, ты же писал и просил за него...

— Ну, не может быть! — произнес Н. И. И тут же передумал: — Нет-нет, ты права, все может быть!

Становилось все более очевидным, какие цели преследует так называемое следствие и по чьему указанию оно действует. Тем не менее Н. И. направил несколько писем Сталину, обращаясь к нему «дорогой Коба», опровергая оговоры, доказывая свое алиби и т. д. Объясняется это лишь тем, что минутами брала верх убежденность в том, что Сталина мучает болезненная подозрительность и что Н. И. сможет его переубедить. Все первоначально присланные показания ничем друг от друга не отличались, пересказывать их нет смысла. Связь с троцкистским параллельным центром предполагала и вредительство, в показаниях об этом, хотя и упоминалось, но внимание не акцентировалось. Говорилось главным образом о терроре — организации покушений на Сталина, но Молотова и Кагановича тоже не забывали. Словом, «дворцовый переворот». Немыслимыми обвинениями окружили Бухарина и Рыкова, словно блокадным кольцом.

— Пахнет грандиозным кровопролитием, — сказал Н. И. — Будут сажать тех, кто и рядом со мной и Алексеем (Рыковым) не стоял!

Я постоянно находилась возле Н. И. за исключением тех минут, когда забегала к ребенку. И вот как-то, придя от Юры, я не застала в нашей комнате Н. И., что меня насторожило. Я заглянула в кабинет и увидела: сидит он перед письменным столом, в правой руке револьвер, левым кулаком поддерживает голову. Я вскрикнула, Н. И. вздрогнул, обернулся и стал меня успокаивать.

— Не волнуйся, не волнуйся, я уже не смог! Как подумал, что ты увидишь меня бездыханного... и кровь из виска, как подумал... лучше пусть это произойдет не у тебя на глазах.

Мое состояние в этот момент невозможно передать. А теперь я думаю, легче было бы для Н. И., если бы в тот миг оборвалась его жизнь.

Обессиленный от нервного напряжения и бессонных ночей, Н. И. лег и прочел мне стихотворение Эмиля Верхарна «Человечество»:

То кровь от смертных мук распятых вечеров
Пурпурностью зари с небес сочится дальних...
Сочится в топь болот кровь вечеров печальных,
Кровь тихих вечеров, и в глади вод зеркальных
Везде алеет кровь распятых вечеров...
Вы новые Христы, вы пастыри сердец,
Спасающие мир страданьем и любовью.
К кристальным берегам ведущие овец!
Распятые на небе и, истекая кровью,
Вещают вечера всему, всему конец,
Голгофу черную и их шипов венец!
Голгофа траура... В ней вечеров распятых
Сочится тихо кровь из облачных одежд...
Прошла, прошла пора сверкающих надежд,
И в топь сырых болот, зияющих, заклятых,
Сочится тихо кровь, кровь вечеров распятых!

— Вот она, кровавая история человечества! — произнес Н. И. слабым голосом.

Но самое поразительное — несмотря ни на что, для Н. И. не прошла пора сверкающих надежд. За эти надежды заплатил он своей головой. Во всяком случае, одна из причин его неслыханных признаний, — признаний не во всем, но признаний достаточно чудовищных, была именно эта — надежда на торжество той идеи, которой он посвятил свою жизнь. В то время я не могла в полной мере вникнуть в смысл прочитанных мне строк. Передо мной маячил револьвер, который Н. И. только-только держал в руке и снова положил в ящик письменного стола. Меня одолевала навязчивая идея от него избавиться: не уследишь ведь, решила я. Как все противоречиво было в душе моей, ведь я хорошо понимала перспективу и все-таки думала: а вдруг тиран не посмеет поднять руку на Н. И. Это «вдруг» и

заставляло меня быть настороже. Прятать револьвер у нас дома я сочла опасным из-за возможного обыска и не нашла ничего лучшего, как отнести его матери. Н. И. пояснила, что хочу навестить мать, принесла ему Юру, чтобы отвлечь. Юра к тому времени стал уже ползать и осознанно произносить свое первое слово: «Папа». Зашла в кабинет, взяла из письменного стола револьвер, положила в свой портфель и побежала к матери в «Метрополь». В последний раз я ее видела в конце августа 1936 г., когда, встречая Н. И., по пути в аэропорт завезла ей ребенка. Ради ее благополучия, по обоюдному согласию, мы решили не встречаться.

Мать сочла мой поступок безрассудным.

— Что же ты делаешь, — сказала она мне, — в такое тревожное время ты носишься с заряженным револьвером. Хорошо, что тебя не задержали в Кремле. Я не исключаю и того, что ко мне завтра явятся, а в отличие от Н. И. права на хранение оружия я не имею.

Я поняла свою оплошность, и мы решили, что лучше отнести револьвер в НКВД и рассказать об обстоятельствах, при которых он оказался у матери. Так мать и поступила¹.

Я торопилась и как можно скорее возвратилась от матери домой. Ребенок спал и сладко посапывал, пригревшись возле отца.

В конце декабря 1936 г. раздался звонок в дверь. Квартира наша к тому времени превратилась в мертвый дом. В течение полугода, с конца августа до конца февраля, кроме Августы Петровны Коротковой, «Пеночки», секретарши Н. И., которая зашла проститься с ним, у нас никто не бывал. Звонок в дверь — плохое предзнаменование: пакет с показаниями или арест. Я шла открывать дверь с замиранием сердца. Фельдъегерь подал пакет за пятью сургучными печатями. На этот раз поступили показания Радека. Н. И. вскрыл пакет, заглянул в них, произнес одно слово: «Ужас!», — предложил мне читать вслух, а сам спрятал голову под подушку, как ребенок, слушающий страшную сказку.

Расскажу о том, что запомнилось.

С л е д о в а т е л ь: До сих пор вы говорили о контрреволюционной деятельности троцкистов, но еще ничего не рассказали о контрреволюционной деятельности правых.

Р а д е к: Если я откровенно рассказал о контрреволюционной деятельности троцкистов, то, **тем более** (выделено мною. — А. Л.), я не намерен скрывать контрреволюционную террористическую деятельность правых.

Так как показания Радека поступили в конце декабря 1936 г., т. е., через три месяца после его ареста, а на процессе он заявил, что три месяца «запирался» и показаний не давал, то можно сделать вывод, что Радек дал показания против Бухарина сразу же после того, как оговорил самого себя. Однако же на процессе в своем последнем слове Радек сказал:

«Я признаю за собой еще одну вину. Я, уже признав свою вину и раскрыв организацию, упорно отказывался давать показания о Бухарине. Я знал: положение Бухарина такое же безнадежное, как мое, потому что вина у нас, если не юридически, то по существу была та же самая. Но мы с ним близкие приятели, а интеллектуальная дружба сильнее, чем другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же состоянии потрясения, что и я, и я был убежден, что он даст честные показания Советской власти. Я поэтому не хотел приводить его связанного в наркомвнудел. Когда я увидел, что суд на носу, понял, что не могу явиться на суд, скрыв существование другой террористической организации».

Так как Радека на предварительном следствии и на процессе от начала до конца заставили лгать, то трудно сказать, что есть правда. Возможно, к нему были применены такие меры, что он был сломлен сразу же; в том же случае, если он три месяца держался, то показания против Н. И. он дал сразу же, как оговорил самого себя.

¹ Когда во внутренней тюрьме на Лубянке я оказалась в одной камере с секретаршей Н. И. Ежова — Рыжовой, она вспомнила этот эпизод и рассказала, что револьвер был, хотя и заряженный, но испорченный. Застрелиться из такого револьвера было невозможно.

В показаниях Радека было зафиксировано, что правая организация действовала сообща с троцкистской; в целях подрыва Советского государства они использовали вредительство и террор. Его показания по поводу решения об убийстве Кирова особенно врезались в память: они изобиловали деталями, подробностями. О том, что троцкистский центр принял решение убить Кирова, Радек якобы сообщил Бухарину в кабинете редакции «Известий», горела лампа под зеленым абажуром; прежде чем согласиться на такую акцию, Бухарин будто бы колебался, волновался, нервно ходил по кабинету, наконец, санкционировал убийство от имени правой террористической организации.

Когда я прочла все это, Н. И. сбросил подушку с головы, лицо его покрылось холодным потом.

— Решительно не понимаю, что же происходит! Только-только Радек просил меня написать о нем Сталину, а теперь несет такой бред!

К тому времени Н. И., безусловно, понимал, что показания добываются незаконными средствами, возможно, пытками, и тем не менее фантастическое превращение большевиков в предателей, уголовных преступников казалось ему необъяснимым колдовством.

После ареста Н. И. понял все. На процессе Вышинский спросил Бухарина, может ли тот объяснить, почему все против него показывают. «Не можете объяснить?» — обрадовался прокурор, очевидно, потому, что Бухарин задержался с ответом. «Не не могу, а просто отказываюсь объяснять», — ответил Бухарин.

Предчувствуя скорый конец, Н. И. рассказал мне интересный эпизод, происшедший летом 1918 г. в Берлине, куда он был командирован как член комиссии, которой предстояло составить дополнительные соглашения к мирному Брестскому договору. Там, в Берлине, он услышал, что на окраине города живет удивительная хиромантка, точно предсказывающая судьбу по линиям руки. Любопытства ради он вместе с Г. Я. Сокольниковым решил поехать к ней. Не могу припомнить, что хиромантка предсказала Сокольникову. Н. И. она сказала:

— Будете казнены в своей стране.

— Что же, вы считаете, что Советская власть погибнет? — спросил Н. И., решивший узнать у хиромантки и политический прогноз.

— При какой власти вы погибнете — сказать не могу, но обязательно в России, там будет рана в шею и смерть через повешение!

Н. И., потрясенный ее прогнозом, воскликнул:

— Как же так? Человек может только по одной причине умереть: или от раны в шею или от виселицы!

Но хиромантка повторила:

— Будет и то, и другое.

— Так вот, — сказал Н. И., — меня душит ужас от предвидения террора грандиозного размаха. На языке хиромантки, по-видимому, это означает рана в шею, в дальнейшем будет смерть через повешение, — неважно, что от пули.

А материалы следствия все поступали и поступали.

Я уже подробно рассказывала о содержании показаний В. Г. Яковенко (организация кулацких восстаний в Сибири) и о том, как на них реагировал Н. И.: до ареста расценивал как чудовищные измышления, на процессе же подтвердил. От видных деятелей партии, таких, как бывший руководитель Московской партийной организации Н. А. Угланов и бывший нарком труда В. В. Шмидт, разделявших взгляды Н. И. в период оппозиции 28—30-х годов, от учеников школы Бухарина Д. Марецкого, И. Краваля и А. Слепкова до ареста Н. И. показаний не поступало. Но показания других учеников — А. Айхенвальда, А. Зайцева и Сапожникова о «дворцовом перевороте» Н. И. получил.

Хорошо запомнились показания Ефима Цетлина. Если Д. Марецкий, А. Слепков и многие другие бывшие ученики Н. И. еще до 1932 г. были направлены на работу вне Москвы, а постановлением ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. «за содействие контрреволюционной группе Рютина, распространение платформы» были исключены из партии, а затем арестованы, то Ефим Цетлин продолжал работать с Н. И. в Наркомтяжпроме в НИСе в качестве его ученого секретаря и

был в тесном контакте с Н. И. В конце 1933 г. или в 1934 г. (точно не помню) Е. Цетлин был арестован. Н. И. был убежден, что Е. Цетлин не мог быть причастен к антисталинской деятельности, и написал Сталину, прося о его освобождении. Сталин долго раздумывал, но когда Е. Цетлин был осужден и направлен к месту заключения, то по распоряжению Сталина он был снят с этапа и возвратился в Москву. Не зная, что Н. И. ходатайствовал перед Сталиным, Цетлин написал Бухарину резкое письмо, заявив, что Н. И. и пальцем не пошевелил в его защиту, поэтому он работать с ним отказывается — рвет отношения и уезжает на Урал. Там, на Урале, Е. Цетлин был арестован вторично, очевидно, не позже 1936 г. В его вынужденных признаниях мы прочли, что Бухарин поручил ему совершить террористический акт против Сталина. Для этой цели он дал ему револьвер, сообщил, что Сталин в определенное время будет проезжать по улице Герцена, где Е. Цетлин будто бы караулил машину Сталина, чтобы совершить покушение на него. Но, увы, машина по улице Герцена не проехала...

Н. И. после прочтения показаний Цетлина написал Сталину, убеждая его, что и у него самого не было террористических намерений, и снова просил расследовать причину неслыханной клеветы и самооговора арестованных. Просьба эта, естественно, ни к чему не привела.

Н. И. как-то сказал:

— И в самом деле остается только один выход — кончить жизнь самоубийством, чтобы избавиться от этого чудовищного чтения.

— Нет уж, не удастся, — ответила я и рассказала Н. И., что сделала с его револьвером.

Н. И. даже не в силах был на меня разозлиться, только посмотрел изумленно и сказал, что не все потеряно, у него есть еще один револьвер. Он притащил из своего кабинета большой револьвер. На нем было выгравировано: «Вождю пролетарской революции от Клима Ворошилова». Оружие Н. И. положил в ящик тумбочки возле кровати и сказал:

— Если только за мной придут, я им в руки не дамся.

Отношения с Ворошиловым у Н. И. были довольно теплые. Бывало, что и доклады Ворошилова Н. И. по его просьбе писал за него. Слова на револьвере напомнили о прошлом, и в эти страшные минуты Н. И. решил написать Ворошилову на прощанье несколько слов. Он ни о чем не просил Ворошилова, понимая, что тот и при желании бессилён был бы помочь ему. Написал только: «Знай, Клим, что я ни к каким преступлениям не причастен. Н. Бухарин».

Письмо это я отправила одновременно с письмом Сталину по поводу показаний Е. Цетлина через фельдъегеря.

От Ворошилова пришел ответ на следующий день: «Прошу ко мне больше не обращаться, виновны Вы или нет (обычно он обращался к Н. И. на «ты». — А.Л.), покажет следствие. Ворошилов».

Трудно описать степень нравственного потрясения Н. И. от всего, что приходилось пережить в те дни.

Казалось бы, человек наделен высшим благом в мире — разумом, но в те дни хотелось от этого блага избавиться. Не быть человеком! Превратиться в безмозглую простейшую, какую-нибудь амебу, что ли?! Фактически мы были заточены вдвоем в тюремную камеру внутри Кремля. Н. И. изолировался даже в семье. Он не хотел, чтобы заходил к нему в комнату отец, видел его страдания. «Уходи, уходи, папищик!» — слышался слабый голос Н. И. Однажды буквально приползла Надежда Михайловна, чтобы ознакомиться с вновь поступившими показаниями, а потом с моей помощью еле добралась до своей постели.

Н. И. похудел, постарел, его рыжая бородка поседела (кстати, обязанность парикмахера лежала на мне, за полгода Н. И. мог бы обрасти огромной бородой).

За это время — с августа 1936 по февраль 1937, до своего ареста, кроме двух коротких писем от Бориса Леонидовича Пастернака, Н. И. получил еще одно письмо, как мне представляется теперь, учитывая обстоятельства, довольно странного характера. Это было письмо старого большевика, известного журналиста Льва Семеновича Сосновского, длительное время примыкавшего к троцкистской

оппозиции, в 1927 г. исключенного из партии. До исключения Сосновский был постоянным сотрудником «Правды» и славился талантливymi фельетонами. После восстановления в партии, если не ошибаюсь, в 1935 г. по распоряжению Сталина он был направлен в «Известия». В письме Сосновский сообщил, что его уволили из редакции и материальное положение его крайне затруднительно — семья голодает. Непонятно, что побудило Сосновского обратиться именно к Бухарину, несмотря на то, что ответственным редактором «Известий» тот числился лишь номинально. Помочь Сосновскому восстановлением его на работе в редакции Н. И. не имел возможности, он сам-то был фактически уволен. Оставалось одно: помочь ему материально, но и это было нелегко. Н. И. и ранее зарплату в «Известиях» регулярно не получал — отказался. Деньги ему обычно переводили из Академии наук СССР. Первые месяцы следствия Академия наук продолжала присылать Н. И. деньги, а затем эти поступления прекратились. Тем не менее с помощью Ивана Гавриловича Сосновскому была переведена небольшая сумма денег.

Незадолго до процесса так называемого троцкистского параллельного центра, начавшегося 23 января 1937 г., Н. И. пригласили в ЦК. Там в присутствии всех членов Политбюро с участием Ежова были проведены очные ставки.

Первым перед Бухариным предстал Л. С. Сосновский. Лексика на очных ставках ничем не отличалась от лексики в присланных показаниях: предатели, реставраторы капитализма, вредители, террористы и т. д. Так сами себя называли обвиняемые. Одно показание отличалось от другого лишь деталями. У Сосновского этой деталью было посланное якобы из конспиративных соображений письмо, о котором он будто бы договорился с Бухариным заранее, еще тогда, когда встречал его в редакции. Оно, это письмо, как показывал Сосновский, означало, что троцкисты решили активно развязывать террор, а посланные Бухариным деньги были знаком, что правая террористическая организация разделяет взгляды троцкистов и будет действовать так же.

— Вы перевели Сосновскому деньги? — спросил Ежов.

— Да, перевел, — ответил Бухарин и рассказал, чем это было вызвано.

— Все ясно, — заметил Сталин, и Сосновского увели.

Придя домой, Н. И. высказал предположение, что письмо было послано от уже арестованного Сосновского, чтобы инсценировать этот эпизод.

Следующим на очную ставку с Бухариным привели Пятакова. Юрий Леонидович Пятаков за принадлежность к троцкистской оппозиции был исключен из партии, но вскоре восстановлен. На XVI и XVII съездах ВКП(б) избирался в члены ЦК, в котором и состоял вплоть до ареста. В последние годы работал заместителем Серго Орджоникидзе в Наркомтяжпроме. Наркомтяжпром занимался вопросами индустриализации. Исходя из профиля работы, основная тема показаний Пятакова была вредительство. Внешний вид Пятакова ошеломил Н. И. еще в большей степени, чем его вздорные наветы. Это были живые мощи, как выразился Н. И., «не Пятаков, а его тень, скелет с выбитыми зубами». Ленин в «Письме к съезду» характеризовал Пятакова как человека не только выдающихся способностей, но и выдающейся воли. Очевидно, выдающаяся воля и привела его в такое состояние: потребовалось много усилий, чтобы сломить Пятакова. Во время очной ставки рядом с Пятаковым сидел Ежов как живое напоминание о том, что с ним проделали, опасаясь, как бы Пятаков не сорвался и не отказался от своих показаний. Но он не отказывался. Он признавал себя членом контрреволюционного центра, связанного с Бухариным. Эту связь Пятакову якобы облегчала совместная работа в Наркомтяжпроме.

Пятаков говорил, опустив голову, стараясь ладонью прикрыть глаза. В его тоне чувствовалось озлобление, озлобление, как считал Н. И., против тех, кто его слушал, не прерывая абсурдный спектакль, не останавливая неслыханный произвол.

— Юрий Леонидович, объясните, — спросил Бухарин, — что вас заставляет оговаривать самого себя?

Наступила пауза. В это время Серго Орджоникидзе, сосредоточенно и изумленно смотревший на Пятакова, потрясенный измученным видом и показаниями своего деятельного помощника, приложив ладонь к уху (Серго был глуховат), спросил:

— Неужто ваши показания добровольны?

— Мои показания добровольны, — ответил Пятаков.

— Абсолютно добровольны? — еще с большим удивлением спросил Орджоникидзе, но на повторный вопрос ответа не последовало. Только лишь на процессе в своем последнем слове Пятаков сумел сказать: «Всякое наказание, какое вы вынесете, будет легче, чем самый факт признания», — чем и дал понять, что его показания вынужденные.

Почему же в ту минуту, перед всеми членами Политбюро, Пятаков не решился сказать правду и рассказать, что с ним проделывали, чем довели его до такого состояния, что он едва держался на ногах? До конца этого постичь невозможно. Но, очевидно, Пятаков понимал, что после очной ставки ему придется вернуться не к себе домой и снова начнутся адские муки в застенках НКВД.

Следующим на то же заседание Политбюро привели на очную ставку с Бухариным Карла Радека. Он не имел такого плачевного вида, как Пятаков. Он, как рассказывал Н. И., был лишь необычно бледен и в отличие от предыдущих обвиняемых, представших перед Бухариным на очных ставках, заметно волновался. Он повторял все то же: подпольная троцкистская контрреволюционная организация через Бухарина была связана с такой же контрреволюционной правдой. Радек подтверждал свои показания на предварительном следствии: разговор в редакции «Известий» по поводу убийства Кирова, к этому добавилась еще одна подробность — согласование с Бухариным покушения на тов. Сталина (на тов. Сталина, так он выразился. — А. Л.). Без убийства Сталина реставрация капитализма, сказал К. Радек, была бы невозможна. Никто из членов Политбюро не пытался задать Радеку вопрос, выразить недоверие его признаниям. Все сидели безучастно. Показания Радека Сталина вполне устраивали. Он делал вид, что принимает все за истину. Серго Орджоникидзе после неудачной попытки услышать правду от Пятакова, на что он, очевидно, надеялся, тоже молчал, но вид у него был крайне возбужденный и глаза выражали смятение и недоумение...

Наконец заговорил Бухарин:

— Скажите, Карл Бернгардович, когда вы лжете — теперь, в своих фантастических показаниях, или лгали тогда, когда на даче вы просили меня написать Сталину о вашей невинности? Я выполнил вашу просьбу.

Радек молчал.

— Я прошу ответить мне на вопрос: вы просили меня написать о вашей невинности Сталину?

— Да, просил, — подтвердил Радек и разрыдался. — Воды! — попросил он. — Мне дурно.

Сталин налил из графина воды и поднес Радеку. Рука у Радека дрожала так сильно, что вода выплескивалась из стакана.

На этом очная ставка закончилась. Когда Радека увели, Сталин спросил Бухарина, чем он объясняет, что все на него показывают.

— Это вы лучше меня можете объяснить, — ответил Н. И. и снова потребовал комиссии по расследованию работы НКВД. Но никто не внял его просьбе.

Придя домой и подробно рассказав все мне, Н. И. сказал:

— Я возвратился из ада, ада временного, но нет сомнения, что я попаду в него прочно, меня сегодня же могут арестовать. Очевидно, только в таком случае я до конца смогу объяснить себе происходящее...

Я повторяю: самое ошеломляющее впечатление на Н. И. произвела первая очная ставка с Г. Я. Сокольниковым, несмотря на ее видимый благоприятный исход. За полгода следствия от постепенного психологического изнурения Н. И. в какой-то степени адаптировался, стал спокойнее относиться к эпитетам «террорист», «вредитель», «заговорщик». Временами, отупевая от ужаса, он становился равнодушным, безразличным, затем снова приходил в неопределимую ярость.

Все это происходило в то время, когда наступил перелом к лучшему в сельском хозяйстве, была отменена карточная система, гигантски выросла промышленность и, с какими бы трудностями это ни было сопряжено, в стране были соз-

даны новые производительные силы. Н. И. не оглядывался назад, он смотрел вперед. Советский Союз стал оплотом мира перед лицом наступающего фашизма. Престиж нашей страны к 1936 году на международной арене как никогда был высок. В середине 1935 г. VII конгресс Коминтерна призывал к единому фронту против фашизма все коммунистические и социалистические партии, и для того чтобы добиться успеха, надо было сохранить с трудом завоеванный авторитет страны; в январе 1936 г. в обращении «Моим советским друзьям» Ромен Роллан писал: «Да покорит человечество идея, которой вы служите, вера, которая воплощена в вас!» А буквально через считанные месяцы величайшая несправедливость истории — Большой Террор, — не знающий прецедента абсурд, как выражался Н. И., душил партию, ее светлые идеалы, рушил его великую надежду на гуманизацию общества. «Чего мы хотим, это социалистического гуманизма», — сказал в своем последнем докладе, произнесенном в Париже в апреле 1936 г., Бухарин. Но адово пламя террора разгоралось. Н. И. и понимал, и отказывался понимать, не мог разобраться в том, что происходит, ибо человеческое мышление значительно консервативней, чем быстротекущее время.

Через несколько дней после очных ставок начался процесс так называемого параллельного троцкистского центра. Перед судом предстали 17 человек, среди них К. Радек, Ю. Пятаков, Г. Сокольников, Л. Серебряков, Н. Муралов... Бухарин газет, освещающих процесс, даже не смотрел, отбрасывал в сторону.

— Не могу читать этот бред — с меня хватило их показаний на очных ставках, — в полном отчаянии говорил он. Когда я прочла ему приговор и он узнал, что Сокольников и Радек получили не расстрел, а по 10 лет, Н. И. предположил, что они заработали себе жизнь клеветой против него. Хотя для него было ясно, что они клеветали вынужденно и на самих себя. Я же думаю, что их временно оставили жить как приманку для Н. И., Рыкова и других обвиняемых, чтобы показать, что самооговором и клеветой на товарищей можно сохранить себе жизнь. В этом, я думаю, был тайный расчет Сталина, тем более что такой тактический ход ему ничего не стоил, так как в дальнейшем и Радек, и Сокольников были уничтожены, чего Н. И. знать уже не мог.

— Кто же такое мог предвидеть! Разве только Нострадамус! — в полном замешательстве воскликнул Н. И.

Процесс над вымышленным параллельным троцкистским центром продолжался с 23 по 30 января 1937 г. До ареста Н. И. оставалось немногим меньше месяца.

Этот последний месяц был самым тяжелым. Впрочем, у Н. И. были мгновения относительного просветления, когда он надеялся на жизнь. Слишком затянулось их (Бухарина и Рыкова) «дело», с арестом все медлили.

— А что, если вышлют меня к чертям на рога, ты поедешь со мной, Анютка? — с детской наивностью спрашивал он. — Неужто перед всем миром Куба устроит третье средневековое судилище? Мне только исключение из партии невыносимо, трудно будет пережить, а дело я найду себе всюду: займусь естественными науками, поэзией, напишу повесть о пережитом; рядом жена любимая, сын будет подрастать... О чем еще можно мечтать при сложившихся обстоятельствах!

— К чертям на рога я с тобой поеду, но боюсь, что это лишь радужные мечты, — я не могла успокаивать Н. И.

Проблески оптимизма длились недолго, перспектива была предельно ясна. Н. И. сидел в своей комнате, как в западне. В последнее время даже в ванную помыться я с трудом заставляла его выйти. Он опасался столкнуться с отцом не только потому, что не хотел огорчать его своим видом, еще больше боялся вопроса: «Николай! Что происходит?» Н. И. приносило облегчение, что умершая в 1915 г. мать не видит его страданий. Любовь Ивановна, зная, что сын с детства был увлечен естественными науками, мечтала, чтобы он стал биологом (судьба биологов в ту мрачную пору оказалась не лучше, чем старых большевиков), и

огорчалась, что Николай занялся революционной деятельностью, волновалась, когда к ним на квартиру до революции приходили с обыском. «Что бы было с ней теперь — трудно себе вообразить!» — часто говорил Н. И.

Февраль 1937 года уже отсчитывал последние дни нашей совместной жизни, как вдруг зазвонил долго молчавший телефон. Иван Гаврилович слегка приоткрыл дверь и попросил меня взять трубку. К моему удивлению, звонил Коля Созыкин, мой бывший однокурсник и комсорг. Тот самый Коля, которого я не хотела раскрыть Берии, а он мне раскрыл его. Коля пригласил меня в гости в гостиницу «Москва». И хотя Н. И. заподозрил, что мой Коля — подставное лицо, в конце концов решил, что ничего страшного не случится, если я забегу к нему.

— Только лишнего не говори, — предупредил Н. И., — вдохнешь струю свежего воздуха — пойдешь, пойдешь, отвлечешься немного.

У Созыкина я пробыла недолго, но все «лишнее», что только можно было ему рассказать, я рассказать успела: о подробностях декабрьского пленума ЦК ВКП(б), об очных ставках, о том, что Н. И. решительно отрицает причастность к преступлениям. Я проявила осторожность лишь в том, что имени Сталина не упоминала, хотя к тому времени оценивала эту зловещую фигуру резко отрицательно. На вопрос Созыкина, как Сталин относится к происходящему и персонально к Н. И., я пустила в ход рассуждение, которым любили пользоваться наши глупые обыватели, и ответила: «НКВД Сталина обманывает».

Так я излила душу Созыкину, «вдохнула струю свежего воздуха» и заторопилась назад. Подойдя к дому, я увидела, что из соседнего с нашим подъезда, ближе к Троицким воротам, вышел Серго Орджоникидзе и направился к машине. Заметив меня, он остановился. Но что я могла сказать ему в тот момент? Несколько мгновений мы стояли молча. Серго смотрел на меня такими скорбными глазами, что по сей день я не могу забыть его взгляда. Затем он пожал мне руку и сказал два слова: «Крепитесь надо!». Сел в машину и уехал. В тот миг невозможно было предположить, что Орджоникидзе осталось жить считанные дни.

Дома я рассказала Н. И. о встрече с Серго. И хотя «крепиться» трудно было, он был растроган. Как мало надо было в те дни, как радовало благожелательное слово! Тут же Н. И. написал письмо Орджоникидзе в надежде, что тот не ответит ему так, как ответил Ворошилов. Письмо к Орджоникидзе я наизусть не учила, как то, о котором мне еще предстоит рассказать, поэтому могу лишь кратко изложить его содержание. Н. И. писал Серго, что поскольку тот достаточно хорошо знаком со сфабрикованными клеветническими показаниями против него, присутствовал и на чудовищных и необъяснимых очных ставках, он может понять состояние Н. И. и знает, чего он ждет. Все, что происходит, заставляет его думать, что в НКВД действует такая мощная сила, которой ни Серго, ни он сам, пока не находится в тюремных застенках, до конца понять не может. Но для него (Бухарина. — А. Л.) становится все яснее, что эта сила действует уверенно, не опасаясь провала, если заставляет всех тех, кто посвятил свою жизнь народу, революции, оговаривать самих себя и клеветать на товарищей по партии. И далее дословно: «Начинаю опасаться, что и я в случае ареста могу оказаться в положении Пятакова, Радека, Сокольников, Муралова и др. Прощай, дорогой Серго. Верь, что я честен всеми своими помыслами. Честен, что бы со мной в дальнейшем ни случилось». (Заключительная фраза письма напомнила мне последние слова Радека при его разговоре с Н. И. на даче: «Николай! Верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен».) Свое письмо Н. И. закончил просьбой к Орджоникидзе: в случае его ареста позаботиться о семье. Просил, чтобы Серго хотя бы на первое время, пока я не окрепну, не приду в себя, не устроюсь работать, взял к себе ребенка. Но просьба о ребенке тормозила мои действия, я все медлила с отправкой. И хотя я плохо представляла себе возможность Орджоникидзе в то страшное время взять к себе, даже ненадолго, нашего ребенка, мое материнское чувство заставило меня опасаться этого. Мне казалось, что поначалу с помощью матери, а затем и самостоятельно я смогу его вырастить. Но вопрос решился сам собой. Через короткое время передать письмо было некому...

Серго Орджоникидзе не смог стать не только соучастником, но и пассивным наблюдателем неслыханного произвола. Оставался один выход — уйти навсегда. Вопрос: кто его избрал?.. Слухи разноречивы.

Сейчас, после всего пережитого, обращение к Серго с просьбой помочь семье кажется наивным и в том случае, если бы он остался жить. Но разве мог Н. И. предвидеть, что через три с половиной месяца после его ареста меня разлучат с ребенком и мне не придется думать о куске хлеба для него?..

Расставшись с сыном, когда ему был год, я увидела его через 19 лет двадцатилетним юношей, летом 1956-го, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области — последнее место моей ссылки.

Да простит меня мой читатель, если таковой когда-нибудь у меня будет, за то, что я ненадолго отвлекусь от воспоминаний о страшных днях и перенесусь почти на два десятилетия вперед. В Кремль я еще вернусь, чтобы проститься с Н. И. История нашего расставания не канет в Лету, раз она живет в душе моей, в моей памяти.

Но хочется немного радости, а разве долгожданная встреча с сыном после такой долгой разлуки не радость? Радость, если даже окрашена драматизмом. И если не Серго Орджоникидзе спас нашего ребенка, то, так или иначе, поочередно родственники спасали, а затем и в детском доме не погиб. Спасибо за это людям. О своей встрече с сыном, встрече, о которой я столько лет мечтала, я и хочу рассказать.

К этому времени у меня сложилась новая семья. Пожалуй, будет огромным преувеличением сказать, что она у меня сложилась. С моим вторым мужем, Федором Дмитриевичем Фадеевым, я познакомилась в лагере. До своего ареста он возглавлял агропроизводственный отдел наркомата совхозов Казахской ССР. После освобождения и реабилитации ссыльным он не был и остался в Сибири из-за меня. Но под разными предлогами за связь со мной его трижды арестовывали. И большую часть нашей жизни он то находился в тюрьме, то работал вдали от меня, приезжая лишь в отпуск. А я моталась по различным ссылкам с двумя маленькими детьми. Он всегда старался найти работу по месту моей ссылки, и это было возможно, так как он получил образование в Сельскохозяйственной академии на двух факультетах: агрономическом и зоотехническом и много лет работал в сельском хозяйстве. Кругом были совхозы, устроиться нетрудно. Но как только он приступал к работе, следовал арест или же меня ссылали в другое место.

Это особая глава моей жизни, тоже драматичная, но в настоящих воспоминаниях я не считаю возможным уделить ей достаточно внимания. К 1956 г. наступило потепление и, казалось, мы могли бы воссоединиться прочно, но этому помешала преждевременная смерть Федора Дмитриевича. Измученный восьмилетним заключением, следствием с применением пыток, приведшим к самооговору, дальнейшими жизненными передрыгами, связанными со мной, он не выдержал. Повторяю: эта тема требует особого рассказа. Сейчас я коснулась ее лишь мимоходом, в связи с тем, что нам всей семьей предстояло встретить Юру.

Поселок Тисуль отстоял от ближайшей железнодорожной станции Тяжин приблизительно километров на 40—45. Регулярный транспорт из Тяжина в Тисуль не ходил. Мы тронулись в путь на мотоцикле с коляской. Детей — Надю, которой не было еще десяти лет, и шестилетнего Мишу — мы не могли оставить дома, так они стремились поскорее увидеть своего братика. Для них это событие было лишь радостным приключением. Пришлось тесниться в мотоцикле. По дороге отказали тормоза, произошла авария и мы едва не погибли. Но в конце концов добрались до Тяжина.

Трудно передать мое состояние. Я ехала к сыну и в то же время к незнакомому юноше. Что он собой представляет, воспитанник детского дома? Найдем ли мы общий язык? Сможет ли он понять меня? Не упрекнет ли за то, что у меня есть еще дети, не расценит ли это как измену ему? Наконец, он же меня спросит, кто был его отец. И это — главное. Надо ли раскрыть тайну, не будет ли это слишком обременительно для юной души? Мы встретились после XX съезда партии. Я запаслась вырезками из газет на тему «культ личности Сталина». Несмот-

ря на то, что такая формулировка, как казалось мне раньше и кажется теперь, не отражает содеянных Сталиным преступлений и для новых поколений не характеризует эпоху, не объясняет ужаса, пережитого нашей страной, тем не менее это был уже шаг в будущее, шаг к правде, и задача моя облегчилась. Незадолго до приезда Юры мне удалось купить в газетном ларьке «Письмо к съезду» — завещание Ленина, изданное отдельной брошюрой. Словом, я старалась быть во всеоружии. В моей голове возникали десятки вопросов, на которые я не могла ответить, пока не познакомлюсь с сыном.

Мы шли уже по платформе железнодорожной станции, когда издали я увидела приближающийся поезд. Я была настолько возбуждена, что почувствовала — вот-вот упаду, свернула в привокзальный палисадник и свалилась в обмороке. Поезд оказался не тот, а к следующему, которым приехал Юра, я уже «отошла». Я старалась охватить взглядом весь состав, боясь пропустить сына. Не представляла себе, как он выглядит. Я видела только его детские фотографии. И вдруг я почувствовала объятия и поцелуй. Юра подбежал ко мне сбоку, а я в это время сосредоточенно смотрела на последние вагоны. Узнать его можно было только по глазам, — такие же лучистые, как в детстве, а вот как он меня угадал — не знаю. В детстве видел мою фотографию, да и мой взволнованный вид, очевидно, подсказал ему. Худющий он был такой, что описать трудно, брюки еле держались на костлявых бедрах, на груди каждое ребрышко можно было пересчитать. Прямотаки Махатма Ганди. Я вглядывалась в его лицо, искала знакомые родные черты. Как только он заговорил, у меня сердце защемило: тембр голоса, жестикация, выражение глаз — точно отцовские, а цветом глаза скорее мои, брюнет в меня, а ребенком был совсем светленький.

— Вот как бывает, Юрочка!.. Вот как бывает!.. — в первое мгновение иных слов я не могла найти, а он...

— Теперь я понимаю, в кого я такой худой...

Я была немногим полней Юры.

К вечеру мы, основательно утомленные тряской в мотоцикле, добрались до своего Тисуля.

Следующий день прошел спокойно, Юра был веселый. Пел песенки, бегал с детьми в огород за гороховыми стручками. А утром, когда мы на завтрак ели манную кашу с малиновым вареньем, Юра спросил у Миши: «А ну-ка, скажи, кто ел манную кашу с малиновым вареньем?» Миша подумал и неуверенным тоном ответил: «Наверное, Ленин». Мы посмеялись. А Юра рассказал маленькому Мише, что это Буратино ел манную кашу с малиновым вареньем.

Так прошел первый день нашей совместной жизни, счастливый, удивительно легкий, светлый день. Будто камень с души свалился.

Я знакомилась с сыном, расспрашивала, чем он интересуется, почему пошел учиться именно в этот институт (Юра был студентом Новочеркасского гидромелиоративного института). Хотелось знать, не интересуется ли он естественными науками или математикой. Рассказала, что дед его, Иван Гаврилович, был математиком и когда-то преподавал в женской гимназии. Об увлечении отца естественными науками я умолчала, не хотела напоминать о нем. Меня интересовали увлечения сына, которые могли бы быть переданы по наследству.

Юра рассказал мне, что в гидромелиоративный институт он поступил случайно. Поехали ребята из детского дома, и он с ними, выдержал экзамен и поступил, но интереса к этому делу у него не было. Экзамен пошел сдавать босиком.

— Как босиком, разве тебе в детском доме ботинок не дали? — с удивлением спросила я.

— Ботинки дали, но свободнее было без обуви...

Ни естественные науки, ни математика его не интересовали. Увлекался рисованием и мечтал стать художником. В конце концов этого он добился. Но тогда я опасалась темы, связанной с отцом, и только про себя подумала, что это увлечение передалось сыну от отца.

На следующий день я не избежала большого вопроса, хотя хотела отложить

тяжкий для меня разговор. Ведь мне предстояло сказать сыну не только, кто его отец, но, как я думала, и где он, но Юра настаивал и все спрашивал:

— Мама, скажи, кто мой отец.

— Ну, а как ты думаешь, Юрочка, кто твой отец?

— Должно быть, профессор какой-нибудь, — почему-то так подумал Юра. Его ответ меня рассмешил.

— Не профессор, а академик.

— Даже академик! Отец академик, а я вот дурак, — сказал Юра.

Юра был далеко не дурак, напротив, учитывая условия, в которых он вырос, он поразил меня своим развитием.

— Но главное, — сказала я, — не то, что он был академик (что Н. И. был академик, я бы и не вспомнила, если бы не высказанное Юрой предположение — «должно быть, профессор какой-нибудь»). Главное то, что он был известный политический деятель.

— Назови его фамилию.

— А фамилию я назову тебе завтра. — Подумала: назову фамилию, а Юра мне скажет: «Так это тот самый Бухарин — враг народа?» — и мне стало страшно.

— Если ты мне не хочешь сказать сейчас, то сделаем так: я попробую сам назвать фамилию, а ты, если я назову ее правильно, подтвердишь.

Я согласилась, предполагая, что угадать фамилию отца он не сможет, рассматривала Юрино предложение как своеобразную игру, а для себя — как оттяжку перед неизбежным. Но неожиданно Юра произнес:

— Предполагаю, что мой отец — Бухарин.

Я в изумлении посмотрела на сына.

— Если ты знал, то зачем ты меня спрашиваешь?

— Нет, я не знал, я честно говорю, не знал.

— Как же ты мог догадаться?

— Я действовал методом исключения. Ты мне сказала, что мой дед Иван Гаврилович, что мой отец был видным политическим деятелем. И я стал думать, кто из видных политических деятелей «Иванович», и пришел к выводу, что это Бухарин Николай Иванович.

Меня поразило, что Юра знал имена и отчества крупных политических деятелей, соратников Ленина, и назвал их всех, кроме Рыкова Алексея Ивановича. То, что Бухарин был самым молодым из них, он не знал. И это не стало дополнительным козырем для разгадки. О нашей возрастной разнице он не думал. Трудно поверить, но тем не менее все было именно так, как я об этом рассказала. Я и по сей день не исключаю того, что, быть может, его детская память запечатлела фамилию отца, когда кто-нибудь из родственников упомянул ее, а сейчас, в момент нервного напряжения, это звуковое восприятие фамилии отца всплыло в сознании.

Я показала Юре газетные вырезки, «Завещание Ленина». Немного рассказала об отце, хотя старалась внимание на нем не фиксировать, берегла сына. Перед отъездом просила его не разглашать своей настоящей фамилии, опасаясь, что это приведет к дополнительным трудностям в его и без того нелегкой жизни.

В детском доме сыну выдали паспорт, в котором указали фамилию моих родственников, от которых он был взят в детский дом. Так он стал Гусман Юрий Борисович, хотя формального усыновления не было. Однако тайну своего происхождения хранить ему было трудно. Незадолго до окончания института, перед присвоением ему офицерского звания, Юре предстояло заполнить подробнейшую анкету. Умолчание о своем отце он рассматривал как умышленное укрывательство, и это его угнетало. В письме ко мне он просил разрешения открыть правду, просил сообщить год рождения отца и мой, чего он действительно не знал. Анкету нужно было заполнить не позже, чем через две недели. Письмо ко мне шло долго, и, чтобы Юра успел получить ответ вовремя, я отправила ему телеграмму. Назвала фамилию, имя и отчество, год рождения отца и свой год рождения, дав этим согласие на разглашение его биографии.

Об остальном, надеюсь, расскажет сам Юра, а мне предстоит вернуться снова в Кремль, к своему в то время десятимесячному ребенку, к погибающему Н. И. и расстаться с ним навсегда.

Письмо, адресованное С. Орджоникидзе, лежало в нашей комнате на столе. В течение нескольких дней Н. И. напоминал мне, чтобы я его отправила, — лучше самой отнести на квартиру, что для меня было еще труднее, чем отправить с фельдъегерем. Ребенок последние дни до ареста Н. И. проводил больше времени с нами. За неимением игрушек (кроме погремушек, которые Н. И. успел притащить на дачу до отъезда на Памир, других игрушек не было), Юра таскал по полу и подбрасывал вверх чучело сизоворонка, когда-то подстреленного Н. И. Он ползал и вставал, держась за кровать отца, переступал неуверенным шагом, чтобы приблизиться к нему и поцеловать. Ах, как он кричал пронзительным голосом, краснея от напряжения: «Папа, папа, папа!..» Перед расставанием с отцом он неосознанно, интуитивно проявлял к нему особую нежность.

Неожиданно раздался звонок в дверь. Как всегда встревоженная, я пошла открывать ее. На этот раз доставили извещение о созыве пленума ЦК ВКП(б), вошедшего в историю как февральско-мартовский. Поскольку ко всем присылавшимся показаниям была приложена бумажка «Материалы к пленуму», Н. И. пленума ждал. Однако он не исключал и того, что арест может произойти до его созыва. Сообщение о пленуме было получено за несколько дней до его открытия, первоначально назначенного на 18—19 февраля (точно не помню).

В повестке дня значились два вопроса:

1. Вопрос о Н. И. Бухарине и А. И. Рыкове.
2. Организационные вопросы.

Прочитав извещение, Н. И. сказал категоричным тоном:

— Не пойду я на этот пленум, со мной можно там и в мое отсутствие расправиться.

Он решил объявить голодовку. Тут же написал заявление в Политбюро для оглашения на пленуме: «В протест против неслыханных обвинений в измене, предательстве и т. д. объявляю смертельную голодовку и не сниму ее до тех пор, пока не буду оправдан. В противном случае последняя просьба — не трогать меня с места и дать возможность умереть». (Цитирую по памяти. За точность содержания ручаюсь.)

Перед началом голодовки Н. И. попросил меня помочь ему разыскать в его письменном столе маленькую записочку, написанную Сталиным, чтобы уничтожить ее перед возможным обыском. Записочка эта была найдена при самых безобидных обстоятельствах: однажды, после окончания заседания Политбюро в начале 1929 или в конце 1928 года, Н. И. обнаружил, что выронил из кармана маленький карандашик, которым любил делать необходимые записи. Он вернулся в пустую комнату, где заседало Политбюро, заметил на полу карандаш, нагнулся, чтобы поднять его, а рядом лежала небольшая бумажонка, которую Н. И. также поднял. На ней рукой Сталина было написано: «Надо уничтожить бухаринских учеников!» Так Сталин изложил свои мысли на бумаге, затем случайно уронил записку на пол и забыл про нее. Таким образом, этот документ, говорящий о зловещих планах Сталина, оказался у Н. И. и пролежал в его письменном столе много лет. Н. И. решил избавиться от этой бумажонки, чтобы не быть обвиненным в чем угодно: в краже, подделке документа и т. д. Записка эта стала единственным документом, уничтоженным перед обыском.

Известно ли было о ней ученикам Н. И.? Не уверена, что всем. Точно могу сказать, что знали о ней Д. П. Марецкий и Ефим Цетлин. Записка, которую я своими руками уничтожила, взволновала меня, и я в письменной форме (понятно почему) спросила Н. И.:

— Следовательно, ты знал о планах Сталина?

— То, что Сталин мог расстрелять моих бывших учеников, я в то время не подозревал, думал, что он решил уничтожить мою школу путем изоляции их от меня (Сталин действительно первоначально отправил бывших учеников Н. И. на

периферию. — А. Л.), теперь я не исключаю, что он может их уничтожить физически, — получила я письменный ответ.

Кабинет Н. И. был в полном запустении. Птицы — два попугайчика-неразлучника — подошли и валялись в вольере. Посаженный Н. И. плющ завял; чучела птиц и картины, висящие на стене, покрылись пылью. Войдя в кабинет, я особенно остро почувствовала, что на пороге смерть. Мы сели на диван. Над ним по-прежнему висела моя любимая акварель «Эльбрус в закате». Я не выдержала и тряпкой смахнула пыль со стекла. Сразу же приоткрылась двуглавая ледяная, голубоватая вершина Эльбруса, сверкающая румяным отблеском заката.

— Анютка, — сказал Н. И., — в этой квартире погибла несчастная Надя (он имел в виду Надежду Сергеевну Аллилуеву. — А. Л.), в этой же квартире уйду из жизни и я.

Н. И. в то время верил своим намерениям, на пленум он не пойдет, а, на худой конец, умрет на своей постели от смертельной голодовки. Если пленум не прислушается к его протесту, то, во всяком случае, Коба даст ему умереть у себя дома.

Я, пишушая эти строки десятилетия спустя, имею то преимущество перед Н. И., что знаю шаг за шагом дальнейшее развитие событий, чего Н. И. в тот момент твердо знать никак не мог. Он мог только предполагать, а предположения определялись во многом его неистовым жизнелюбием. Он знал цену Сталину, но надежда на жизнь минутами заставляла Н. И. верить ему.

Мы еще оставались в кабинете, как неожиданно вошли трое мужчин. Звонка в дверь мы не слышали, открыл им Иван Гаврилович. Эти трое сообщили товарищу Бухарину — так они его называли, — что ему предстоит выселение из Кремля. Н. И. и прореагировать не успел — зазвонил телефон. У аппарата был Сталин.

— Что там у тебя, Николай? — спросил Коба.

— Вот пришли из Кремля выселять, я в Кремле вовсе не заинтересован, прошу только, чтобы было такое помещение, куда вместились бы моя библиотека.

— А ты пошли их к чертовой матери! — сказал Сталин и повесил трубку.

Трое неизвестных стояли около телефона, услышали слова Сталина и разбежались к «чертовой матери».

Поразителен не только звонок Сталина за несколько дней до февральско-мартовского пленума, очевидно не случайное совпадение звонка с сообщением о выселении из квартиры. И без звонка можно было представить себе, как живет Н. И. в своей кремлевской «тюрьме». Но Коба все продолжал свою зловещую игру и остановиться не мог. Однако еще больше я была потрясена тем, что в такой страшный для Н. И. момент, когда на столе лежало пока еще не отправленное заявление пленуму о голодовке, он подумал о квартире, в которой разместилась бы его огромная библиотека. Следовательно, были у него проблески надежды на жизнь? Думаю, нет. Скорее, таким образом он рассчитывал прояснить ситуацию, вызвать Сталина на разговор, но тот разговаривать не пожелал.

Переселять Н. И. из Кремля было действительно бессмысленно, через считанные дни «Хозяин» обеспечил его квартирой в тюремной камере, хотя А. И. Рыкова все же переселить из Кремля успел.

Пережив очередную малообъяснимую выходку Сталина, мы отправились в нашу комнату. Но по пути вдруг Н. И. завернул в соседнюю — маленькую, пыльную, захламленную старыми вещами, скорее каморку, а не комнату, со сводчатыми потолками, с окном, закрытым старинной ромбообразной, с утолщениями на переплетениях решеткой. Он рухнул на пол, положил голову на старые пыльные сапоги, воскликнул:

— Вандалы! Варвары! — и разрыдался.

— Что ты делаешь, Николаша! Зачем тебе валяться в такой грязи, вставай скорей! Пойдем в нашу комнату!

— Нет, я хочу привыкнуть к камере, меня ждет тюрьма! Нет, я не уйду отсюда! Я не выдерживаю, Анютка! Не выдержи-ваю! Кроме всего прочего, я страдаю из-за того, что и тебе приходится вместе со мной все это переживать. Если б я только знал, если б я мог такое предвидеть!.. Как бы я тебя ни любил, если бы и не смог подавить в себе этого чувства, я бы удрал от тебя за тридевять земель! А я еще стремился иметь ребенка накануне такой беды...

Мне еле удалось уговорить Н. И. вернуться в нашу обитель.

К вечеру я отправила в Политбюро заявление Н. И. пленуму ЦК ВКП(б) о голодовке.

На следующее утро Н. И. простился с отцом, Надеждой Михайловной, ребенком и начал голодовку. Хотел проститься и с дочерью — Светланой — он называл ее Козечкой. Девочке в то время шел только тринадцатый год. Н. И. намеревался позвонить ей, но был до такой степени подавлен, что, опасаясь ее травмировать, сделать этого не смог. Голодовка легла на истощенный полугодовым «следствием», точнее, полугодовым позорным издевательством организм. Н. И. терял силы катастрофически быстро.

Через двое суток после начала голодовки Н. И. почувствовал себя особенно плохо: побледнел, осунулся, щеки ввалились, огромные синяки под глазами. Наконец он не выдержал и попросил глоток воды, что было для него моральным потрясением — смертельная голодовка предусматривала отказ не только от пищи, но и от воды — сухая голодовка. Состояние Н. И. меня настолько пугало, что тайком я выжала в воду апельсин, чтобы поддержать его силы. Н. И. взял из моих рук стакан, почувствовал запах апельсина и рассвирепел. В то же мгновение стакан с живительной влагой полетел в угол комнаты и разбился.

— Ты вынуждаешь меня обманывать пленум, я партию обманывать не стану! — злобно крикнул он так, как со мной еще никогда не разговаривал.

Я налила второй стакан воды, уже без сока, но Н. И. и от него решительно отказался:

— Хочу умереть! Дай умереть здесь, возле тебя! — добавил он слабым голосом.

Я почувствовала, что меня покидают силы, и прилегла рядом с Н. И. В тот момент у меня было ощущение, что мы умираем одновременно, падаем в бездонную пропасть. Я стойко держалась все эти страшные месяцы, но на этот раз разрыдалась. И слезы мои привели Н. И. в еще большее отчаяние. Он решил успокоить меня песней.

— Споем-ка с тобой, Анютка, песню, ту, что мы вместе с Клыковым любили петь. — И Н. И. тихо запел:

Чудный месяц плывет над рекою,
Все объято ночной тишиной.
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой!..

Пение Н. И. меня рассмешило и на мгновение отвлекло от мрачных дум.

— Бедный Клычини, — Н. И. вспомнил своего шофера, — что-то он теперь обо мне думает, хоть бы и его не загребли (о дальнейшей судьбе Николая Николаевича Клыкова мне ничего не известно).

После 16 января, когда была снята подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий», и во время и после процесса Радека, Сокольников, Пятакова, Н. И. заглядывал в газеты крайне редко. Радио почти не включали, в особенности после того, как Н. И. услышал чью-то речь, в которой было сказано, что он продан врагам Советского государства за тридцать сребреников. Даже Юрина няня, белоруска, с возмущением сказала:

— Что яны, гады, брешут! Это Николай Иванович, голоштанный, продан за тридцать сребреников?! Яны ему не нужны!

Но, кажется, 19 февраля, в тот самый день, когда должен был начаться пленум, Н. И. попросил включить радио. Захотел услышать, есть ли информационное сообщение о пленуме, на котором он не собирался присутствовать. Но как только включили радио, зазвучала траурная музыка. Мы насторожились: кто же умер? И через мгновение узнали: 18 февраля 1937 года скончался Серго Орджоникидзе, как было сообщено, от паралича сердца. Диагноз мы не подвергали сомнению.

Невозможно передать состояние Н. И. Исторгнутый из жизни, точно прокаженный, Бухарин не имел даже возможности зайти в соседнюю квартиру, чтобы проститься с Серго, которого глубоко уважал.

— Не выдержал, бедный Серго. Не выдержал этого ужаса, — в полном отчаянии говорил Н. И.

Ах, если бы он знал, что Орджоникидзе скончался совсем не от паралича сердца... Хорошо, что не знал! Бухарин к этому времени понимал, что при абсолютной власти Сталина Орджоникидзе изменить положение был не в силах. Но одно его присутствие в зале пленума (декабрьского), возбужденный, взволнованный вид, одно слово недоверия, обращенное к ораторам-обвинителям, одна фраза, произнесенная им на Политбюро во время очной ставки с Пятаковым: «Ваши показания добровольны?» — уже согревали Н. И. Он был до такой степени травмирован смертью Орджоникидзе, что минутами, казалось, пребывал в состоянии протрации. Н. И. не исключал, что его голодовка, его отчаянный протест против фантастических обвинений, о котором С. Орджоникидзе, как думал Н. И., должно было быть известно, если только от него это не скрыли, и в то же время невозможность что-либо изменить ускорили роковой конец.

Н. И. знал, что Орджоникидзе относился к нему с любовью и уважением. Он ярко проявил свое отношение к Бухарину, когда его можно было проявить открыто. Еще в 1925 г. на XIV съезде ВКП(б), на котором Н. И. оказался главной мишенью нападков новой оппозиции, Орджоникидзе говорил:

«...Бухарина, товарищи, мы все знаем, а Владимир Ильич лучше всех знал его. Он Бухарина ценил очень высоко и считал его самым крупным теоретиком нашей партии... Я думаю, мы должны в этом вопросе остаться опять-таки на позиции Ильича. Бухарин один из лучших теоретиков, наш дорогой Бухарчик, мы все его любим и будем поддерживать. Товарищи, если бы у других наших вождей была та великолепная черта, которая имеется у Бухарина, когда он не только имеет смелость высказывать свои мысли, даже тогда, когда это идет вразрез всей партии, но он имеет смелость открыто заявить о своих ошибках, когда он в этом убеждается, если бы у других наших вождей было это прекрасное качество, нам было бы куда легче ликвидировать наши спорные вопросы...»

В 1929 г. возможности Орджоникидзе были весьма ограничены, но, несмотря на это, он, по словам Н. И., как председатель ЦКК всеми силами старался погасить разногласия. После того как Н. И. был выведен из Политбюро, снят с работы ответственного редактора «Правды» и секретаря ИККИ и с 1930 по начало 1934 года работал в Наркомтяжпроме, Серго сохранил к нему прежнее уважение, был подчеркнуто внимателен. Семен Александрович Ляндрес рассказал мне, что ему не раз приходилось видеть, когда он заходил вместе с Н. И. в кабинет Серго, как тот всегда, даже если в кабинете находился народ, встречал Н. И. стоя и без дружеского рукопожатия разговор не начинал. Серго внимательно прислушивался к мнению Н. И. и во многом помогал ему. Он поддержал инициативу Н. И. в организации планирования научно-исследовательской работы, что позволило мобилизовать силы крупнейших ученых страны и подняло работу научно-исследовательских институтов. Словом, Н. И. и Серго связывали глубокая взаимная симпатия и уважение. Смерть Орджоникидзе поразила Н. И., точно ударом. Он лежал, не поднимаясь с постели, как мне казалось, в забытии. Это кажущееся забвение в действительности было концентрированной сосредоточенностью: Н. И. сочинял поэму, посвященную памяти С. Орджоникидзе, в которой выразил свое потрясение и скорбь по поводу тяжелой утраты. Ослабевший от голодовки, он писал полулежа. Затем я перепечатала поэму на машинке в трех экземплярах. Первый был отслан жене Орджоникидзе Зинаиде Гавриловне, второй, как ни прискорбно об этом сообщить, виновнику гибели Серго. Третий экземпляр остался у меня.

К сожалению, стихи я не старалась запомнить, никак не могла предположить, что их заберут при обыске, несмотря на мою настоятельную просьбу оставить их мне. Запомнились только две заключительные строки:

Он был точно гранит среди пламенного моря
И рухнул в пену волн, как молния, гроза!

В связи со смертью С. Орджоникидзе и торжественными похоронами очередной жертвы Сталина пленум был отложен на несколько дней и назначен на 23 февраля. Было получено второе извещение о созыве пленума, повестка дня которого — в отличие от первой — состояла не из двух, а из трех пунктов:

1. Вопрос об антипартийном поведении Н. Бухарина, в связи с объявленной голодовкой Пленуму.

2. Вопрос о Н. Бухарине и А. Рыкове.

3. Организационные вопросы.

Дополнительный пункт, внесенный в повестку дня, возмутил Н. И. О каком антипартийном поведении по отношению к пленуму могла идти речь, когда обвинения против него носили характер не антипартийных, а уголовных и могли быть предъявлены не политическому деятелю, а скорее бандиту с большой дороги. «В общественной жизни такого не бывает», — даже на процессе Бухарин сумел ввернуть такую фразу.

Но как ни был возмущен Н. И. отношением к его отчаянному протесту-голодовке, в то же самое время он был несколько озадачен дополнительным пунктом повестки дня пленума. Возможно, дела его не так уж и плохи, решил он, и Коба снова поразит неожиданностью, разыграет из себя человека, относящегося к позорному следствию с недоверием и пощадит их обоих — он имел в виду и Рыкова. Ах, какими наивными кажутся теперь его рассуждения! Хотя, может быть, учитывая момент — психологию погибающего Бухарина в сочетании с характером Сталина, — в этом его рассуждении были элементы здравого смысла.

Так или иначе в связи с дополнительным вопросом повестки дня Н. И. принял новое решение: на пленум все-таки пойти, не прекращая голодовку.

Бухарин голодал седьмые сутки, и был настолько слаб, что тренировался в ходьбе по комнате, чтобы дойти на заседание. Хотя идти было недалеко (пленум собрался в Кремле), я решила проводить Н. И. Дождаться, пока кончится заседание пленума или прийти примерно к его окончанию, чтобы встретить Н. И., сил у меня не было. Да и не было уверенности, что Н. И. не арестуют после первого заседания. Я поплелась домой и в волнении ждала. На этот раз Н. И. возвратился и рассказал мне следующее.

В вестибюле, у вешалки, Н. И. встретил Рыкова. Изможденный и истрадавший сам, Алексей Иванович с болью смотрел на своего друга, до такой степени изменился Н. И. Затем Рыков сказал: «Самым дальновидным из нас оказался Томский». Напоминаю, если раньше, на декабрьском пленуме, Рыков рассматривал самоубийство Томского как отягчающее следствие обстоятельство и осуждал его поступок, то теперь, к февральско-мартовскому пленуму, понял, что следствие лишь называется следствием, в действительности, как выразился Алексей Иванович, «это расправа!»

При входе в зал заседания в присутствии уже пришедшего Сталина Бухарину сочувственно пожали руку лишь двое: Иероним Петрович Уборевич и Иван Алексеевич Акулов, в то время секретарь ЦИКа (оба они, как известно, были расстреляны). Акулов даже сказал: «Мужайтесь, Николай Иванович». Остальные, столкнувшись с Бухариным, его как бы не замечали.

Войдя в зал, Н. И. не удержался на ногах, он упал от головокружения и сидел на полу в проходе, ведущем в президиум. К нему подошел Сталин и сказал:

— Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии? Посмотри, на кого ты стал похож, совсем истощал. Проси прощения у пленума за свою голодовку.

— Зачем это надо, — спросил Бухарин Сталина, — если вы собираетесь меня из партии исключать?

Исключение из партии Н. И. рассматривал как наихудшую кару, хотя временами готов был отправиться к «чертям на рога», лишь бы жить.

— Никто тебя из партии исключать не будет, — ответил Сталин. Так продолжал он лгать, не стесняясь сидящих вблизи членов ЦК, до которых наверняка дошли слова Сталина. Очевидно, и они Сталину поверили. — Иди, иди, Николай, проси прощения у пленума, нехорошо поступил.

Как любил иезуит, чтобы все подчинялись его воле! А ведь слова эти произнесены были за четыре дня до ареста Бухарина, в то время, когда без сомнения, для «Хозяина» предreshен был не только его арест, но и расстрел.

Но Николай снова поверил Кобе. Трудно было вообразить, что можно лгать так бессмысленно. Н. И. еле поднялся на трибуну и попросил прощения за голо-

довку, вызванную состоянием крайнего возбуждения в связи с необоснованными обвинениями, которые он решительно отвергает. Он заявил, что отказывается от голодовки в надежде на то, что чудовищные обвинения с него будут сняты. Бухарин вновь потребовал создания комиссии по расследованию работы НКВД. Произносить длинные речи не было ни сил, ни смысла. Он спустился с трибуны и снова сел на пол, на этот раз не потому, что упал от слабости, а скорее потому, что чувствовал себя отверженным.

Никто из присутствующих на пленуме, кроме тех, кто оказался невдалеке и слышал диалог между Бухариным и Сталиным, не подозревал, что за прекращением голодовки и извинением за нее, кроется обещание Сталина не исключать Н. И. из партии, следовательно, как предполагал Н. И., и обвинения против него будут сняты.

Но вслед за Бухариным выступил Ежов и произнес обвинительную речь: блок правых с троцкистско-зиновьевским центром, блок правых с параллельным троцкистским центром, осужденным месяц назад. Следовательно, обвинения во вредительстве, организации кулацких восстаний, расчленении СССР, терроре, «дворцовом перевороте», в многочисленных неудавшихся покушениях на Сталина, в причастности к убийству Кирова оставались в силе.

Тем не менее Н. И. после «обещания» Сталина все еще допускал, что Коба радостно удивит пленум и выразит недоверие клеветническим показаниям, что в этом тайный смысл его «обещания». Зачем же в другом случае оно ему понадобилось? И в самом деле — зачем?.. Да и какая цель в его таинственном телефонном звонке?..

Н. И. впервые за неделю поел «из уважения к пленуму...» и, казалось, в какой-то степени стал спокойнее, но ночью спал тревожно, все чудилось ему, что кто-то стучит, выдалбливает стенку, смежную с квартирой Орджоникидзе (которого уже не было в живых) и подкладывает в нее контрреволюционные документы, чтобы обнаружить их во время обыска, как это сделано было на даче у Радека, если верить уборщице Дусе.

На следующий день Н. И. вернулся в безнадежном состоянии. Вновь, как и на декабрьском пленуме, яростно обвиняя Бухарина, выступили Молотов и Каганович. Во время речи Молотова Н. И. крикнул:

— Я не Зиновьев и не Каменев! Я лгать на себя не буду!

— Арестуем, сознаетесь, — ответил Молотов. — Фашистская пресса сообщает, что наши процессы провокационные. Отрицая свою вину, и докажете, что вы фашистский наймит!

«Вот где мышеловка!» — заметил Н. И., рассказывая мне об этом.

Не помню, кто из ораторов рассказал о проведенных очных ставках с Радеком, Пятаковым и Сосновским, о том, что те подтвердили блок троцкистов с правыми, так что понятно, чем занимались Бухарин и Рыков. Сталин добавил:

— Бухарин мне письмо прислал, решил взять Радека под защиту, вот какой хитрый конспиративный шаг был сделан! (Передаю в пересказе Н. И.)

Всплыло обвинение в причастности Бухарина, Рыкова, Томского к платформе Рютина. Бухарин и Рыков решительно отвергали осведомленность о платформе, — большую, чем об этом информировали в печати. Бухарин заявил, что если бы он имел особую точку зрения, то писал бы сам, для этого ему не нужен Рютин.

Но больше всего Н. И. был потрясен выступлением Калинина, нравственные качества которого ценил несравненно выше, чем Молотова и Кагановича. Выступление Калинина особенно ярко дало понять силу давления Сталина на членов Политбюро. Калинин говорил вяло, выжимая из себя каждое слово, как выразился Н. И., «зад чесал...». Безвластный «Всесоюзный староста» говорил с такой душевной болью, что Н. И. не смог испытать чувства ненависти, он искренне пожалел его. Напоминаю, это он, Калинин, при личном разговоре с Бухариным, сказал ему: «Вы, Н. И., правы на все двести, но власть мы упустили, а полезней единства партии ничего нет».

Члены ЦК, по рассказам Н. И., были растерянны и подавлены. М. И. Ульянова, которую связывали с Бухариным дружеские отношения, платком утирала слезы.

Пленум обсуждал вопрос о Бухарине и Рыкове 23, 24 и, возможно, на утреннем заседании 25 февраля (точно не помню, но это не суть важно). Для того, чтобы избежать общего голосования членов ЦК, Сталин предложил избрать комиссию, которой предстояло вынести окончательное решение по делу Рыкова и Бухарина. В комиссию вошли все члены Политбюро, от военных — И. Э. Якир, а также Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская, с целью косвенно прикрыть неслыханный произвол именем Ленина. Они уже испытывали на себе власть Сталина, когда во время процесса Каменева и Зиновьева пытались их защитить и еле живыми вышли из кабинета «Хозяина». Безусловно, итог работы комиссии был предрешен Сталиным.

Февральско-мартовский пленум 1937 года (который для Бухарина и Рыкова был только февральским) продолжал свою работу. Но до оглашения постановления комиссии Бухарин, очевидно, и Рыков на заседаниях пленума не присутствовали и оставались около трех суток дома. Психологически Н. И. был готов к тому, что будет арестован и с жизнью придется расстаться. Тем не менее он, как никогда за эти мучительные месяцы «следствия», был собран. Надежду на оправдание при жизни он потерял и принял решение обратиться к потомкам: написать письмо будущему поколению руководителей партии — заявить о своей непричастности к преступлениям и просить о посмертном восстановлении в партии.

Мне было 23 года, и Н. И. был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу передать это письмо в ЦК. Но, будучи уверен, что письмо его будет изъято при обыске, и опасаясь, что в случае обнаружения его я буду подвергнута репрессиям (что я буду репрессирована независимо от письма, Н. И. не предвидел), он просил меня выучить письмо наизусть, чтобы иметь возможность рукописный текст уничтожить. Бухарин много раз шепотом читал мне свое письмо, а я должна была вслед за ним повторять, затем сама перечитывать и тихо повторять вслух. Ах, как он негодовал, когда я допускала неточность. Наконец, убедившись, что письмо я запомнила твердо, рукописный текст уничтожил. Бухарин писал свое последнее обращение к партии, последнее обращение к людям на небольшом столике в нашей комнате. На этом же столе лежала папка с письмами Ленина, адресованными Бухарину, которые он с большим волнением перечитывал перед арестом.

Наступил роковой день 27 февраля 1937 года. Вечером позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил Н. И., что ему надо явиться на пленум.

Стали прощаться.

Трудно описать состояние Ивана Гавриловича. Обессиленный страданиями за сына, старик больше лежал. В минуты прощания у него начались судороги. Ноги то непроизвольно поднимались высоко вверх, то падали на кровать, руки дрожали, лицо посинело. Казалось, жизнь его вот-вот оборвется. Но стало легче, и Иван Гаврилович слабым голосом спросил сына:

— Что происходит, Николай, что происходит? Объясни!

Н. И. ничего не успел ответить, как вновь зазвонил телефон.

— Вы задерживаете пленум, вас ждут, — напомнил Поскребышев, выполняя поручение своего хозяина.

Не могу сказать, что Н. И. особенно торопился. Он успел еще проститься с Надеждой Михайловной. Затем наступил и мой черед.

Непередаваем трагический момент страшного расставания, не описать ту боль, что и по сей день живет в моей душе. Н. И. упал передо мной на колени и со слезами на глазах просил прощения за мою загубленную жизнь; сына просил воспитать большевиком, «обязательно большевиком!», дважды повторил он свою просьбу, просил бороться за его оправдание и не забыть ни единой строки его письма. Передать текст его письма в ЦК, когда ситуация изменится, «а она обязательно изменится, — сказал Н. И., — ты молода и ты доживешь. Клянись, что ты это сделаешь!» И я поклялась.

Затем он поднялся с пола, обнял, поцеловал меня и произнес взволнованно:

— Смотри, не обозлись, Анютка, в истории бывают досадные опечатки, но правда восторжествует!

От волнения меня охватил внутренний озноб, и я почувствовала, что губы мои дрожат. Мы понимали, что расстаемся навсегда.

Н. И. надел свою кожаную куртку, шапку-ушанку и направился к двери.

— Смотри, не налги на себя, Николай! — только это смогла я сказать ему на прощание.

Проводив Н. И. в «адово чистилище», я едва успела прилечь, как явились с обыском. Сомнений не было — Н. И. арестован.

Пришел целый отряд, человек 12—13, один из них врач в форме НКВД и в белом халате. Обыск с врачом... Небывалый случай! Вот как гуманно...

Обыском руководил Борис Берман, в то время начальник следственного отдела НКВД, позже он был расстрелян. Берман пришел точно на банкет, в шикарном черном костюме, белой рубашке, кольцо на руке с длинным ногтем на мизинце. Его самодовольный вид внушал отвращение. Он вошел ко мне в комнату и первое, что спросил:

— Оружие есть?

— Есть, — ответила я и протянула руку к ящику ночного столика, стоящего возле кровати, чтобы достать револьвер, тот самый, с надписью: «Вождю пролетарской Революции от Клим Ворошилова».

Вдруг Берман властно схватил меня за руку, не иначе, как из опасения, что я выстрелю в него, сам взял револьвер из ящика, прочел надпись и ухмыльнулся, очевидно, потому, что обнаружил неожиданный трофей, о котором, надо думать, «Хозяину» будет доложено.

— Еще оружие есть?

— Есть. — Было еще немецкое охотничье ружье, привезенное в 20-е годы А. И. Рыковым из Берлина в подарок Н. И.

Затем Берман попросил показать, где хранится архив Бухарина. Я решила уточнить, что он подразумевает под архивом. Оказалось, абсолютно все. Я направились вместе с ним в кабинет, прошла через комнату Ивана Гавриловича, возле него сидел врач. В кабинете застала толпу мужчин и двух женщин. Все принялись за работу. Из сейфа вытащили протоколы заседаний Политбюро, стенограммы пленумов ЦК, опустошили все ящики письменного стола, шкафы с документами, связанными с многолетней работой Бухарина в «Правде», Коминтерне, НИСе, «Известиях». Забраны были книги, брошюры, написанные Бухариным, его опубликованные речи. Из комнаты, где мы провели вместе последние мучительные месяцы, взяли папку с письмами Ленина, черновой набросок программы партии — проект ее был принят на VIII съезде РКП(б) в 1919 г. Обнаружили в ящике стола и несколько писем Н. И., адресованных мне, с интересными описаниями явлений природы, которые я получила еще в детстве... Изъят был рукописный текст и перепечатанный на машинке экземпляр поэмы, посвященной памяти Серго Орджоникидзе. Как я ни просила Бермана оставить принадлежащие мне письма и рукописный текст поэмы, — «документы, к следствию отношения не имеющие», — так я мотивировала (а, впрочем, что имело отношение к тому позорному «следствию?»), — мне было в этом отказано. Так было забрано все, все до клочка. Сваливали в огромную кучу, которая называлась «архив» и горой возвышалась в кабинете. Варварски уничтожались следы честной и бурной деятельности Н. И., чтобы стереть с лица земли образ действительного Бухарина и заменить его тем оболганным, что предстал на процессе, да и то не таким, как хотелось бы Сталину и его угодливым слугам. Затем подогнали к черному ходу грузовую машину, наполнили ее доверху (я видела это из окна кухни) и увезли, очевидно, в НКВД.

Берман, две женщины и несколько мужчин остались. Началась унижительная процедура: личный обыск.

Подняли Ивана Гавриловича с постели, он стоял подавленный и потрясенный. Дрожал от волнения, когда шарили в его карманах, перевернули все в кровати. Не видела, как обыскивали Надежду Михайловну. Зашли в комнату, где находился ребенок с няней. Няня Паша была настроена воинственно, не давала себя обыскивать, толкнула сотрудницу НКВД и крикнула: «Шукайте! Шукайте! Ничего здесь не найдете, бесстыдники!» Ребенок безмятежно спал. Пытались по-

дойти к его кровати, но я решительно воспрепятствовала. Коляску, впрочем, обыскали.

Меня личный обыск миновал, я как была в ночной рубашке, так и оставалась в ней до конца. Но кровати — и мою, и Н. И. — тщательно проверили.

Ближе к двенадцати ночи я услышала шум, доносившийся из кухни, и пошла посмотреть, что там происходит. Картина, представшая перед моими глазами, ошеломила меня. Оказывается, «сотрудники» проголодались и устроили пир. Расположились на полу, мест за кухонным столом всем не хватило. На расстеленной вместо скатерти газетной бумаге я увидела огромный окорок, колбасу. На плите жарили яичницу. Раздавался веселый смех. От ужаса я поскорей удалилась в свою комнату и сразу же пришли на память только-только заученные слова из письма Н. И.: «В настоящее время в своем большинстве так называемые органы НКВД — это переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников»... Эти-то исполнители, но кто их растлил?

Вслед за мной в комнату вошел Берман и пригласил поужинать с ними.

— Вы же ничего не ели, Анна Михайловна, может, и вы решили объявить голодовку по примеру Бухарина? — спросил Берман.

Я ответила дерзко:

— Голодовку объявлять я не собираюсь, но с вами ни за один стол, ни на один пол не сяду.

Берман иронически улыбнулся и сообщил мне, что он нас покидает, остаются только «ребята-сотрудники».

Я спросила, у кого я могу узнать о Н. И. «У меня и узнаете...» — легко согласился Берман, назвал свою фамилию, дал телефон, так я узнала, что он Берман.

Хорошо закусив, «сотрудники» запели. Комната Ивана Гавриловича была ближе к кухне. Каково ему было все это слушать? Опасаясь, что веселая компания разбудит ребенка, я зашла в кухню, чтобы их уговорить. «Сотрудники» и не подумали извиниться, но, к радости моей, сообщили, что уходят. В квартире воцарилась тишина. Однако ушли не все — женщины остались. Им было поручено перелистать все книги в библиотеке Бухарина в надежде, что, возможно, в книгах обнаружат что-либо порочащее его. Перелистывание страниц длилось сутки. Я не раз забегала в кабинет и в огромную мрачную комнату со сводчатыми потолками, где стояли стеллажи с книгами. Утомленные женщины не переставая листали, листали и листали книги. Сомневаюсь, чтобы они могли перелистать их все. Уходя, шкафы с книгами они опечатали.

Я несколько дней лежала, как мертвая. Наступила реакция после длительного нервного напряжения. Еще долго мучил меня воображаемый шелест перелистываемых страниц.

Надежда Михайловна, надев медицинский корсет (иначе передвигаться она не могла), буквально приползла ко мне в комнату. Нам нечем было утешить друг друга. Делились впечатлением об обыске, мрачными прогнозами о дальнейшей судьбе Н. И. и Рыкова и с болью наблюдали за ребенком. Юра ползал по комнате, искал и звал отца.

Через несколько дней, ослабевшая и подавленная многомесячной пыткой, я постаралась мобилизовать себя. Надо было заняться ребенком, который в течение полугода был лишен должной материнской заботы. Наконец, я торопилась получить сведения о Н. И., пока не выключат телефон-«вертушку». По номеру, который дал мне Берман, я могла соединиться с ним только с этого аппарата. Через неделю после ареста Н. И. я решила позвонить, чтобы узнать о нем. Ответил мужской голос, я узнала Бермана. Но, осведомившись, кто его спрашивает, сам же и ответил: «Бермана нет на работе». Звонила я ежедневно, Берман тоже стал узнавать мой голос и продолжал отвечать, что его нет, уже не интересуясь, кто его спрашивает. В конце концов я не выдержала и крикнула: «Зачем вы лжете! Я же узнаю ваш голос!» Берман мгновенно повесил трубку. Но в тот же день позвонил сам, очевидно, с разрешения Ежова. Продиктовал мне список книг, составленный Н. И. Это были немецкие книги, купленные в Берлине в 1936 г., по которым Н. И. работал еще дома. Мне было разрешено вскрыть опечатанный шкаф.

— Книги доставите следователю Когану, пропуск будет заказан, — сказал Берман.

Коля Созыкин позвонил как раз перед моим уходом, предложил проводить меня и по пути купил для Н. И. апельсины, возможно, на средства, отпущенные для этого НКВД. У подъезда здания на Лубянской площади мы расстались.

Коган сидел в небольшом, узком и длинном кабинете, похожем на гроб. Встретил меня подчеркнуто приветливо.

— Вот, Анна Михайловна, только вчера вечером в этой комнате я беседовал с Николаем Ивановичем — пили чай. Он у вас большой сластена, я кладу ему в стакан шесть кусков сахара.

— Удивительно, дома такого не бывало. Очевидно, тяга к сладкому от горькой жизни. — Я передала апельсины и книги.

— Почему же от горькой? Мы к Николаю Ивановичу относимся хорошо, и апельсины вы напрасно принесли, у него все есть, лучше ребенку отнесите.

Но я не взяла.

Затем Коган протянул мне небольшую записочку, написанную рукой Н. И.: «Обо мне не беспокойся. Меня здесь всячески обхаживают и за мной ухаживают. Напиши, как вы там? Как ребенок? Сфотографируйся с Юрой и передай мне фотографию. Твой Николай».

— Не иначе, как Н. И. здесь в санатории, — робко произнесла я; так поразило меня содержание записки — «ухаживают и обхаживают».

— Он имеет возможность даже работать. — И Коган протянул мне рукописный лист из главы его работы над книгой «Деградация культуры при фашизме».

Прочитав заглавие, я заметила:

— Не кажется ли вам парадоксальным, что фашистский наймит Бухарин работает над антифашистской книгой?

Коган покраснел:

— Это не вашего ума дело! Если вы будете касаться следственной темы, то сегодня мы видимся в последний раз. В противном случае я разрешу вам изредка звонить мне, приходить и узнавать о самочувствии Н. И.

Коган напомнил мне, что на записку Н. И. надо ответить. Я коротко написала о нашем «неплохом» самочувствии, больше о Юре. Фотографии обещала принести. Коган настаивал, чтобы я написала, что мы живем по-прежнему в Кремле. Не могла понять, какой был в том тайный смысл. Об этом я написать отказалась и заявила следователю, что жду того дня, когда смогу из Кремля выбраться.

Мы простились, следователь крепко пожал мне руку, я взглянула на него и неожиданно увидела в его глазах неопишемую скорбь.

Я поднялась, чтобы уйти.

— Телефон мой, телефон, Анна Михайловна, запишите!

Он записал его сам на маленькой бумажке и просил не злоупотреблять звонками, позвонить не ранее, чем через две недели, и принести фотографии.

Через две недели фотографии были готовы, я попыталась связаться с Коганом. После моих многократных звонков преемник Когана сообщил:

— Следователь Коган в длительной командировке, звонить ему не имеет смысла.

Кто пережил то время, помнит, что означала «длительная командировка». Звонить и узнавать о Н. И., передать фотографии мне разрешено не было.

Возвращаясь снова к февральско-мартовскому пленуму. Информация, которую я получала непосредственно от Н. И., оборвалась 27 февраля, в день, когда Бухарин с пленума не вернулся и был арестован одновременно с Рыковым.

Дальнейшие подробности мне стали известны от жен, мужа которых присутствовали на пленуме и были арестованы после Бухарина, но расстреляны до него. Сведения я получила главным образом от Сарры Лазаревны Якир, Нины Владимировны Уборевич и жены Чудова, Людмилы Кузьминичны Шапошниковой. Все трое рассказали мне одно и то же. Поэтому считаю информацию точной.

Решение комиссии было оглашено в присутствии Бухарина и Рыкова, после чего они были арестованы и уведены с пленума под конвоем. Решение гласило:

«Из ЦК вывести, из партии исключить, арестовать, следствие продолжить». Оно носило приказной характер: не было обсуждено и проголосовано пленумом.

Вряд ли обвиненные в предательстве Бухарин и Рыков смогли сказать свое последнее слово. Сомневаюсь, чтобы им была предоставлена трибуна. Слышала, что, уходя в тюрьму, они ограничились лишь репликами о своей невинности.

Многие интересовались, были ли на февральско-мартовском пленуме выступления в защиту Бухарина и Рыкова. Могу с уверенностью сказать, что в присутствии Бухарина таких выступлений не было, об этом мне рассказывал сам Н. И.

Как вели себя члены ЦК, когда и Бухарин, и Рыков ждали решения комиссии и на пленуме отсутствовали, как вели себя после их ареста, мне знать не дано.

После моего возвращения в Москву просочились слухи из различных источников, будто бы в защиту Бухарина и Рыкова на февральско-мартовском пленуме выступили П. П. Постышев, в то время секретарь ЦК КП(б) У и Г. Н. Каминский, наркомздрав РСФСР. Они требовали доставить на пленум осужденных, но оставшихся в живых после недавно прошедшего процесса Г. Я. Сокольникова и К. Б. Радека и устроить им перекрестный допрос — очные ставки в присутствии собравшегося пленума. Однако Сталин счел излишним вызывать на пленум осужденных «врагов народа», заявив при этом, что очные ставки Бухарина с Сокольниковым и Радеком были проведены в присутствии многих членов Политбюро (Сокольников не вызывался на очную ставку в Политбюро. С кем и где проходили очные ставки А. И. Рыкова, мне неизвестно. — А. Л.) и что Сокольников и Радек подтвердили свои показания против Бухарина. И если члены ЦК доверяют своему Политбюро, повторные очные ставки не нужны. Так Сталин отверг предложение. Насколько эта информация точна, не решаюсь сказать. Момент был упущен, большинство членов ЦК было обречено. Постышеву и Каминскому оставалось жить недолго.

О мужественном поведении И. Э. Якира, входившего в комиссию по решению судьбы Бухарина и Рыкова и воздержавшегося от голосования, я узнала от жен Якира, Уборевича (Иерониму Петровичу сообщил об этом сам Якир), наконец, то же говорила мне жена Чудова. Учитывая ситуацию, поступок Якира можно приравнять к выступлению в защиту Бухарина и Рыкова.

Как вели себя в комиссии М. И. Ульянова и Н. К. Крупская, узнать от жен военных мне не удалось. В это они посвящены не были. Но Л. К. Шапошникова рассказала мне, со слов Чудова, что на комиссию они не явились. Иных подтверждений у меня нет. Но, похоже, так оно и было. Они-то хорошо понимали (уже знали), что изменить решение Сталина не в состоянии...

Однако я убеждена, что если документ голосования в комиссии (оно, как рассказали мне те же жены, было поименное) и сохранен для истории, он сохранен лишь в том виде, как того пожелал Сталин¹.

Решение комиссии — в действительности решение Сталина, — приравненное к решению пленума (за которое пленум даже не голосовал. — А. Л.), не соответствует тому, что сообщено было в печати:

«Пленум рассмотрел также (в числе других вопросов. — А. Л.) вопросы об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б)».

Это сообщение не согласуется с обвинениями, ранее предъявленными Бухарину и Рыкову в связи с показаниями на двух прошедших процессах; наконец, формулировка «антипартийная деятельность» не отражает той чудовищной клеветы, с которой обрушился на них Сталин:

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц.

¹ Именно поэтому документы о составе комиссии и ходе обсуждения резолюции, на которых основываются Г. Бордюгов и В. Козлов в статье «Николай Бухарин. Эпизоды политической биографии» (журнал «Коммунист», 1988 г., № 13, стр. 108), не вызывают у меня доверия.

Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений».

Так, в «двух словах», как бы между прочим Сталин разгромил и выкорчевал большевистскую ленинскую гвардию.

Полагаю, что приведенные выше «два слова» из речи Сталина были произнесены на февральско-мартовском пленуме 1937 г. уже после ареста Бухарина, чтобы не потерять возможность дальнейшего воздействия на него.

Долгие годы хранила я в памяти письмо-завещание Н. И. Будучи в ссылке, я несколько раз записывала письмо, но, опасаясь, что оно будет обнаружено, вновь уничтожала. Лишь в 1956 году после XX съезда КПСС в очередной раз записанный текст уничтожен не был. Он хранится у меня до сих пор на уже пожелтевших от времени листах.

Привожу полный текст письма Н. И. Бухарина:

БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ

Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно.

Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК, когда революционная идея руководила всеми ее действиями, оправдывала жестокость к врагам, охраняла государство от всяческой контрреволюции. Поэтому органы ЧК заслужили особое доверие, особый почет, авторитет и уважение. В настоящее время в своем большинстве так называемые органы НКВД — это переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь бывшим авторитетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Сталина, боюсь сказать больше, в погоне за орденами и славой творят свои гнусные дела, кстати, не понимая, что одновременно уничтожают самих себя, — история не терпит свидетелей грязных дел!

Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные» органы могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, диверсанта, шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно.

Грозовые тучи нависли над партией. Одна моя ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невинных. Ведь нужно же создать организацию, «бухаринскую организацию», в действительности не существующую не только теперь, когда вот уже седьмой год у меня нет и тени разногласий с партией, но и не существовавшую тогда, в годы правой оппозиции. О тайных организациях Рютина и Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым и Томским открыто.

С восемнадцатилетнего возраста я в партии, и всегда целью моей жизни была борьба за интересы рабочего класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым названием «Правда» печатает гнуснейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. Это неслыханная наглость. Это — ложь, адекватна которой по наглости, по безответственности перед народом была бы только такая: обнаружилось, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции.

Если в методах построения социализма я не раз ошибался, пусть потомки не судят меня строже, чем это делал Владимир Ильич. Мы шли к единой цели впервые, еще непроторенным путем. Другое было время, другие нравы. В «Правде» печатался дискуссионный листок, все спорили, искали пути, ссорились и мирились и шли дальше вперед вместе.

Обращаюсь к вам, будущее поколение руководителей партии, на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступ-

лений, который в эти страшные дни становится все грандиознее, разгорается как пламя и душит партию.

Ко всем членам партии обращаюсь!

В эти, быть может, последние дни моей жизни, я уверен, что фильтр истории, рано или поздно, неизбежно смоем грязь с моей головы.

Никогда я не был предателем, за жизнь Ленина без колебания заплатил бы собственной. Любил Кирова, ничего не затевал против Сталина¹.

Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии.

Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови!

В 1961 году письмо впервые было передано в ЦК КПСС. В тот период, когда в Комитете Партийного Контроля пересматривались большевистские процессы, меня не один раз туда вызывали. Мне было сказано, что вопрос о реабилитации Н. И. Бухарина будет решен в ближайшем будущем. По неизвестной мне причине этого тогда не произошло.

С просьбой о реабилитации Н. И. Бухарина я обращалась многократно к ответственным партийным руководителям и в высшую партийную инстанцию — Президиумы съездов КПСС. Но безрезультатно.

В письме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в адрес Президиума XXVII съезда я писала: «На ваших партийных билетах написаны слова Ленина: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Действуйте соответственно этим качествам!

Думаю, что вы, как руководители партии, имеете лишь одну возможность ответа на мое заявление — ответить положительно.

Мне стоило огромных усилий пронести в своей памяти сквозь долгие годы тюрем, ссылок и лагерей текст письма Н. И. Бухарина «Будущему поколению руководителей партии». Хочется верить, что этим поколением будете вы».

* * *

Полувековая дистанция отделяет меня от описанных драматических событий. Я заканчиваю писать эти строки, когда Николай Иванович, наконец, по-смертно восстановлен в партии. Справедливость восторжествовала. Но ничто не померкло в моей памяти, живут в душе слова Бухарина, обращенные в будущее: «Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови!»

¹ Эта фраза не означает, что Бухарин не оспаривал взгляды Сталина; он опровергает обвинение в стремлении организовать покушение на Сталина. (А. Л.)

Владимир Виноградов

ЕГИПЕТ: СМУТНАЯ ПОРА

ЗАПИСКИ ПОСЛА СССР

В жизни государств, которые относительно недавно обрели независимость, случаются времена подъема и спада, быстрого продвижения по пути к намеченной цели и остановки, или даже повороты с этого пути, а то и возвращения вспять. Многое зависит от внутривластической крепости режима, степени влияния внешних сил, а иногда и от тех, кто стоит во главе государства.

В отношениях Советского Союза с Египтом были различные периоды, связанные с внутренними изменениями в этой крупнейшей стране арабского Востока. Мне довелось почти четыре года (1970—1974) работать советским послом в Египте, быть в 1973—1974 годах сопредседателем Женевской мирной конференции по Ближнему Востоку. Именно в те годы особенно наглядно проявилась роль американской политики, использовавшей сложное внутреннее положение страны после смерти Насера для проникновения на Ближний Восток, прежде всего в Египет. Поведение американских политиков в то время показало, какими методами они пользуются, насколько легко идут на нарушение обязательств и договоренностей. Большую помощь американцам в их политике на Ближнем Востоке оказал Анвар Садат, ставший президентом Египта после неожиданной смерти Гамалы Абделя Насера.

Ближний Восток по-прежнему остается одной из «горячих точек» планеты. Урегулирование ближневосточного конфликта, так сказать, «разблокирование» мирными политическими средствами, обеспечение всем людям региона мирной и безопасной жизни представляется одной из важнейших политических задач международной жизни.

Идея о решении конфликта сепаратными методами с целью навязать арабским государствам неравноправные условия (а для этого нужно устранить от участия в урегулировании Советский Союз) уже давно как нереалистичная отвергнута мировым сообществом, поскольку не ведет к подлинному миру. Общеизвестно и вновь подтверждено Генеральной Ассамблеей ООН, что средством решения ближневосточного конфликта должна быть международная мирная конференция по Ближнему Востоку, в которой, помимо Египта и Израиля, должны принять участие заинтересованные государства региона, Советский Союз, США, другие члены Совета Безопасности ООН.

I

Холодным слякотным вечером 29 сентября 1970 года приехал домой из МИДа. Жена говорит: только что звонили оттуда, просили немедленно позвонить. Звоню. Оказывается, нужно срочно вернуться, а почему — неизвестно. В то время я курировал работу отдела Ближнего Востока и отдела Среднего Востока.

В кабинете первого заместителя министра Василия Васильевича Кузнецова узнал: получено сообщение от временного поверенного в делах СССР в Египте (тогда страна носила название Объединенной Арабской Республики) Владимира Порфирьевича Полякова, что внезапно скончался Насер, президент и премьер-министр Египта, вождь египетской нации, прогрессивный лидер араб-

ского мира, большой друг Советского Союза. Полякова пригласили срочно приехать в резиденцию президента. Там, в обстановке всеобщей суеты, на него сначала не обратили внимания, а затем сказали, что «надобность отпала». Вернувшись в посольство, он узнал, что умер Насер. В тот день президент провожал глав арабских государств после успешно проведенной им в Каире конференции, прекратившей братоубийственный конфликт между палестинцами и сирийцами с одной стороны, и Иорданией — с другой. На аэродроме почувствовал себя плохо...

Не хочется верить.

Вспомнились встречи с Насером в Москве и Каире. От него веяло силой и уверенностью. И дружелюбием. Насер стремился расположить к себе — был и гостеприимен, и шутливо задирист в деловом разговоре. Он дважды принимал меня в своем доме. Обсуждались различные аспекты арабо-израильского конфликта. В то время Египет вел так называемую «войну на истощение» — обстреливал из артиллерийских орудий позиции израильтян, занятые ими на оккупированном египетском Синайском полуострове, а точнее, по восточному берегу Суэцкого канала. Кроме того, египтяне совершали рейды небольшими группами коммандос на оккупированную территорию. В ответ израильская авиация безжалостно бомбила густонаселенные жилые кварталы городов и поселков — у египтян тогда противовоздушная оборона была слабой, ее только начали спешно создавать с помощью Советского Союза. Военные действия Египта, хотя и беспокоили израильтян, значительных результатов не приносили, они скорее были рассчитаны на то, чтобы постоянно напоминать миру о жестокой несправедливости, которую арабы были не в силах побороть, — о захвате Израилем арабских земель в ходе «шестидневной войны» 1967 года. Израильтяне в ответ проводили тактику устрашения, от которой страдало мирное население.

Насер, несмотря на элементы революционного романтизма, присущего почти каждому вождю прогрессивной победоносной революции, был реалистом, когда дело касалось ее судеб. Да, говорил он, перестрелки через канал успеха не имеют, и мы прекратим их, если израильтяне прекратят воздушные налеты, но наш народ готов пойти на жертвы, если это потребуется для победы.

Не сразу пришел Насер к мысли о мире с Израилем, если тот освободит оккупированные земли. Общеарабская идея о необходимости вооруженным путем устранить присутствие израильского государства в Палестине владела Насером так же, как и лидерами других арабских государств, упорно не признававшими решение Объединенных Наций 1947 года о разделе Палестины на два государства — еврейское и арабское. Поэтому, начиная разговор с Насером, я, откровенно говоря, мало надеялся на его согласие с тем, что после ухода израильских войск с оккупированных территорий между арабами и израильтянами должен будет наступить мир (а иной итог разговора был бы безрезультатным). Беседа с Насером в феврале 1970 года была оживленной, каждый приводил множество аргументов. Насер пытался даже несколько провокационно прощупать прочность наших позиций. «Ведь суть того, что называется арабо-израильским конфликтом, — сказал он, — всего лишь отражение советско-американского глобального противоборства». «Нет, — отвечал я, — это не наш конфликт, и вы хорошо это знаете. Это конфликт между прогрессивным арабским национализмом, арабским народом, борющимся за свою национальную независимость, и международным империализмом, верным служителем которого в данной ситуации является нынешнее правительство Израиля. Поэтому, естественно, мы на стороне правого арабского дела, а за спиной Израиля — США».

Насер рассмеялся: «Вы смелый, со мной ведь еще никто не пытался спорить. Но если серьезно, то египетский народ миролюбив, и мы будем готовы говорить о мире с Израилем, если он уйдет с оккупированных территорий. Напрасно изображают нас враги людьми, жадными до крови. Мы готовы применять все политические средства для достижения нашей справедливой цели».

Последний раз в Москве Насер был летом 1970 года, лечился. Тогда поразило его вид — высокий, широкоплечий, хорошо сложенный человек, а лицо какое-то болезненно серое и в глазах затаенная боль.

В Москве, когда мне поручалось сопровождать Насера на переговоры в Кремле, он любил в машине поговорить на отвлеченные темы. Так, рассказал, что ранее увлекался баскетболом, любительским кино, а вот сейчас, увы, разводил он руками, ни на что времени нет. В самых официальных переговорах всегда подкупали его искренность, открытость, бесхитростность. Мол, смотрите, я высказал все, ничего у меня за пазухой нет. О человеке, пытающемся хитрить, он говорил презрительно: «Дипломат в полосатых брюках». Во время последнего приезда Насера на лечение завершился рекордный космический полет А. Николаева и В. Севастьянова. Насер, несмотря на недуг, был на торжественном приеме в честь космонавтов в Кремле, наградил их высшей наградой Египта — орденом «Ожерелье Нила». Вообще к советским людям Насер относился не только с уважением, но и с теплотой. Он знал, каково приходится нашим специалистам в непривычных условиях Египта — в армии, в промышленности, на стройках. Тяжело переживал он сообщения о потерях среди советских военных советников, мне говорил с горечью: «Ведь я их почти всех знал...»

Но это личные впечатления. Их тогда при сообщении о кончине Насера невольно заслонили соображения политические. Ушел из жизни руководитель крупнейшей арабской нации. Возглавив революцию, он повел свой народ по независимому пути развития. С его именем связаны прогрессивные преобразования в интересах трудящихся. Он создал массовую политическую организацию — Арабский Социалистический Союз, подумывал о создании партии, которую хотел назвать «Авангард социалистов». Логика борьбы за интересы своего народа, прежде всего за национальную независимость, привела его к убеждению в необходимости крепкой, братской дружбы с советским народом, прочных, искренних отношений между Египтом и нашей страной. Под влиянием прогрессивного Египта американский империализм был изгнан из района Ближнего Востока. Пробудившийся к независимости арабский мир преисполнился решимости самостоятельно, без советчиков извне, привыкших хозяйничать на Ближнем Востоке, определять свою судьбу. Насер был одним из основателей так называемого «движения неприсоединения», обладал высоким международным авторитетом.

...30 сентября в Каир на похороны Насера вылетел спецсамолет ИЛ-86 с советской делегацией, возглавляемой членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным. В состав делегаций входили начальник Генерального штаба СССР Маршал Советского Союза М. В. Захаров, я — в качестве заместителя министра иностранных дел СССР, только что назначенный главный советский военный советник генерал-полковник В. В. Окунев и находившийся в Каире временный поверенный в делах СССР в ОАР В. П. Поляков. Утром было принято решение запросить у правительства ОАР агреман на мое назначение послом СССР в ОАР. Более месяца в связи с кончиной нашего посла в ОАР, опытного дипломата С. А. Виноградова, посольство в Каире возглавлял временный поверенный в делах.

В Каире приземлились, когда сиреневые сумерки начали быстро густеть. Самолет окружила большая толпа. Спускаемся по трапу наугад — в темноту. Мелькают лишь лучики осветительных приборов — на аэродроме много операторов кино- и телехроники, — тогда видны возбужденные лица. Беспокойство и нервозность атмосферы ночного Каира передались и нам. С трапа удалось разглядеть, что советскую делегацию встречали Садат (он тогда был вице-президентом), военный министр Фавзи, Али Сабри... Алексей Николаевич потонул в объятиях плачущих египтян. Охранники решительно направились куда-то вперед. Идем за ними. В темноте натыкаемся на большую автомашину с номером за стеклом, садимся. Втискивается еще кто-то. «Куда?» «За всеми. Куда все». Машины выбирают одна за другой через толпу. Кажется, весь Каир на вечерних улицах. Люди облепили трамваи и автобусы, что-то кричат, жестикулируют, многие плачут, вздымая к небу руки.

В этот же вечер А. Н. Косыгин встретился с Садатом, затем выразил соболезнование вдове Насера. Вернувшись, Алексей Николаевич спросил наше

мнение: что она имела в виду, когда настойчиво повторяла: «Не покидайте нас». Кого «нас» — семью покойного, или государство, народ египетский?

Я поехал к министру иностранных дел Махмуду Риаду, затем к главному редактору газеты «Аль-Ахрам» (в то время и министру национальной ориентации) Моххамеду Хейкалу — известному журналисту, с которым был давно знаком. Риад плачет. Что останется после Насера? Учение, партия, товарищи-единсмышленники? Нужно ожидать активизации противников Насера и его политического курса во внутренних и внешних делах, выдержат ли настоящие насеристы? Хейкал говорит сквозь слезы: «Не верится, не верится, что вы, верные друзья Насера, уже здесь, — ведь он только что умер. Хорошо, что лучшие друзья прибыли первыми. Еще недавно Насер вспоминал о встрече с вами, даже высказывал пожелание, чтобы вас назначили послом в Каире». Пришлось рассказать о моем назначении.

...На похороны прибывают главы государств, премьер-министры, видные государственные деятели. Большинство обращается с просьбой о встрече с главой советской делегации. Алексей Николаевич сообщил мне, что Садат ответил согласием на мое назначение послом, просил передать, что встречи между нами будут регулярными — в каждый понедельник. Так что мне фактически в качестве нового советского посла приходится присутствовать при беседах А. Н. Косыгина с главами иностранных делегаций. Всех их волнует одно и то же, они говорят: Египет не должен потерять своей руководящей роли, кто бы ни стал во главе его, Египет должен оставаться лидером арабского мира, поэтому египтянам нужно избрать в качестве главы государства такого человека, который смог бы продолжать дело Насера, только при этом условии общеарабское знамя не выпадет из рук Египта. Меня поразило, что никто не называл имени Садата — его явно сбрасывали со счета.

На пост президента претендуют в первую очередь Садат, а также Хусейн Шафеи, один из нынешних лидеров с большим уклоном в ислам, и Али Сабри, который считается «левым»; называют д-ра Фавзи, старого и опытного дипломата, Закария Мохи-эд Дина, буржуазного деятеля правого крыла, а также других.

Незадолго до своей смерти Насер провел очередную перестановку руководящих кадров; говорят, он не любил, когда человек засиживался на одном месте и, следовательно, обретал чрезмерно большое влияние. Находившийся одно время «в опале» Садат получил пост вице-президента. Он не принадлежал к числу политиков с широким кругозором, выходцев из организации «свободных офицеров», которую возглавил Насер при совершении в 1952 году переворота, покончившего с прогнившей монархией. Переворот этот, поддержанный египетскими трудящимися, называют революцией. Хорошо знающие Садата египтяне говорили, что он служил предметом насмешек среди офицеров, так как свою недостаточную образованность пытался компенсировать позой, актерством, показным увлечением исламом.

Выбор кандидатуры президента — самое ответственное сейчас дело, особенно в условиях Египта, где авторитет вождя играет неизмеримо большую роль, чем, например, в западных странах, да и прав у президента здесь по традиции много. Ясно одно: равноценной замены Насеру нет. Поэтому долго совещаются египетские политические деятели в поисках решения, которое устраивало бы всех. Как нам сообщили, согласились на том, что решение, во всяком случае, сейчас, должно быть наименее болезненным и наиболее логичным: отбросить споры о кандидатурах на пост постоянного президента, пусть президентом — хотя бы временно — станет вице-президент Анвар Садат. Потом разберемся.

Садат подтвердил нам, что действительно таково согласованное решение руководства: президент — Анвар Садат, но пост премьер-министра, который также занимал Насер, он отдает д-ру Фавзи (удовлетворяются интересы буржуазной части общества), вице-президентами будут Али Сабри («левая» группировка) и Хусейн Шафеи (исламская группировка). И волки сыты, и овцы целы — все претенденты удовлетворены.

...Ярчайшее солнце нещадно палит с вечно голубого египетского неба. Жара начинает уже с утра набирать силу. 1 октября — день похорон. Гроб с телом Насера будет доставлен вертолетом на остров Замалек на Ниле, где размещался в свое время штаб революционного командования, совершившего революцию под руководством Насера. Это символично. Процессия, в которой будут участвовать и иностранные делегации, проследует через мост на правый берег Нила и направится в восточную часть города — к месту захоронения в новой мечети, неподалеку от дома, где жил Насер.

Тревожная атмосфера Каира предыдущих дней, казалось, еще более накалилась. Толпы, толпы людей на улицах, над городом неумолчный шум от миллионов возбужденных голосов. Каир и сам-то город почти с восьмимиллионным населением, а тут переполненные поезда (люди на крышах вагонов, на подножках, на локомотивных площадках) доставили еще несколько миллионов человек из провинции.

По периметру территории нашего посольства снаружи перед оградой расставлены солдаты с деревянными щитами и палками на случай нападения толпы. Подумалось: зачем, кто будет нападать?

Мост с нашего берега на остров Замалек должен был быть расчищен и открыт только для проезда иностранных гостей. Но он уже буквально битком набит людьми, многие даже свисают с перил. Не помогают ни крики полицейских, ни взмахи палок. Не видно: то ли бьют, то ли устрашают. А Замалек-то рядом, через протоку Нила шириной не более 40—50 метров.

К советской делегации приехал Хейкал — ему поручено сопровождать нас. Но мы отрезаны, мост от нас в Замалек, оказывается, даже развели, чтобы отсечь толпу с левого берега. Хейкал и другие сопровождающие нас египтяне непрерывно звонят по телефонам. Наконец, за нами прислали катер, и вот мы у здания, откуда должно начаться траурное шествие.

Нам отвели отдельную комнату, Садат и Али Сабри практически неотлучно были с нами. Время от времени приходили поздороваться с А. Н. Косыгиным главы иностранных делегаций: тогдашние президенты Сирии — Атаси, Кипра — Макариос, Судана — Нимейри, Алжира — Бумедьен, премьер-министры Турции — Демирель, Ирана — Ховейда, Афганистана — Эттемади, король Иордании Хусейн, министр здравоохранения США Ричардсон, председатель исполкома ООП Арафат, представитель КНР Го Мо-жо и многие другие.

Послышался свистящий шум лопастей вертолета. Нас пригласили во внутренний дворик, посреди которого уже стоял простой, из грубо обструганных досок, прямоугольный закрытый гроб, обернутый египетским государственным флагом. Гроб обнимают, рыдая, какие-то люди, их оттаскивают военные, но тщетно. Кто-то пытается распоряжаться, кто-то командует...

Но вот иностранные делегации пригласили выйти на улицу и встать в некую то ли шеренгу, то ли колонну. Здесь порядок уже никто не устанавливает, каждая делегация пытается занять хоть какое-нибудь место. Наша делегация впереди. Слева от нас начинается шествие. Небольшая группа солдат с венками, шестерка лошадей везет орудийный лафет с гробом. Ездовые солдаты и те, что у стремян, рыдают. Атмосфера становится еще более встревоженной, взвинченной, кажется, вот-вот разразится что-то неожиданное. Отчаянно палит, буквально обжигает солнце, все мокрые, к небу поднимаются клубы пыли:

За лафетом с гробом должны идти иностранные делегации. Но куда там! Не подступиться. Раздумывать не приходится, мы силой вливаемся в процессию. Вскоре образуется невообразимая давка, упади — наверняка раздавят. А. Н. Косыгина унесло куда-то вперед, а вокруг меня образуется нечто вроде водоворота. Вижу испуганные лица Демиреля, Ховеиды и Эттемади — их совсем затолкали. Останавливаюсь, раздвигаю локти, упираюсь в землю ногами. Сзади нажимают, бьют по спине, но передо мной небольшое сравнительно свободное пространство, в нем как бы под защитой турецкий, иранский и афганский премьеры.

Процессия движется хаотично: то одной стороной, то другой, то устремится вперед, то остановится. Крики, вопли. Вот опять остановка. Крики сильнее. Какие-то люди идут против течения, просят расступиться. За ними еще одна груп-

па — на поднятых руках несут плетеное кресло, в нем, безжизненно откинувшись, с закрытыми глазами Садат! Что случилось с новым президентом? Стою — дальше идти бесполезно, спутников унесла рыдающая толпа. За мостом в нее вольется еще миллион человек.

Иностранным гостям рекомендуют далее не идти — опасно. Доложил А. Н. Косыгину о Садате. Он удивился, просил зав. протокольным отделом МИДа Б. Л. Колоколова, который был с делегацией, выяснить в чем дело. Египтяне «по секрету» сообщили, что Али Сабри стало дурно, как только прибыл гроб с телом Насера. Когда Садат обнаружил отсутствие своего вице-президента, ему тоже стало плохо.

Настойчивость, с которой нас пытаются убедить поскорее покинуть остров и направиться в резиденцию, откровенно говоря, настораживает. После долгих препирательств египтяне неохотно разрешили только одному А. Н. Косыгину навестить Садата и Али Сабри. Они лежали в одной комнате, постанывая и поглядывая друг на друга. Поблагодарили за внимание.

На следующий день, 2 октября, египетское руководство устроило деловые встречи с советской делегацией. Отмечу лишь несколько моментов. С советской стороны было вновь подтверждено, что наша линия на развитие всестороннего сотрудничества с Египтом остается неизменной. Мы хотели бы, чтобы наши отношения, как и при Насере, были крепкими, честными, и они могут быть такими, — разумеется, при условии взаимности. А. Н. Косыгин выразил убеждение в том, что новое руководство сумеет развеять подбрасываемую врагами Египта мысль: после Насера в стране-де создан вакуум власти, решительности и идей.

Садат, отвечая А. Н. Косыгину, несколько раз подчеркивал, что Насер — это друг, брат, учитель; египетское руководство не допустит внутренней борьбы; дружба с Советским Союзом — наследие Насера — еще более укрепитя. Были затронуты и некоторые практические вопросы наших отношений с Египтом — оказание ему содействия в решении ряда проблем.

Через день советская делегация вылетела в Москву. Перед отлетом, когда вещи уже были собраны и мы в ожидании назначенного времени сидели на веранде, А. Н. Косыгин, нагнувшись ко мне, сказал: «Нелегко вам придется сейчас в этой стране, да и будущее не совсем ясно. Изучайте глубже, информируйте, сейчас здесь будет явно переходный период. Ну, желаю вам успеха» — и протянул мне руку. Я пожал ее и спросил: «А разве я с вами не вылетаю сейчас в Москву?» «В Москву? — переспросил А. Н. Косыгин. — А зачем? — И шутя добавил: — Мне было дано поручение привезти вас в Каир и представить новому руководству, которое дало немедленно согласие на ваше назначение. Так что обратно везти вас нет смысла...». Я возразил: «Но я ведь прибыл сюда совсем налегке, да и не по дипломатическим это будет правилам, политически не совсем хорошо...». «Политически? — снова переспросил А. Н. Косыгин. — А что нехорошо политически?» «Получится, что вы как бы сбросили нового посла на шею египтянам. Это может быть сочтено невежливостью. Вы получили агреман на мое назначение, я возвращаюсь с вами в Москву, а через четыре-пять дней прибуду в Каир по всем дипломатическим правилам — в качестве посла с верительными грамотами. Египтяне — народ восточный, они привыкли к заведенному церемониалу, да и других послов удивит появление нового советского посла таким образом...» «Хорошо, — сказал А. Н. Косыгин, — я вас понял и согласен с вами, но мне нужно получить согласие от нашего высшего руководства. Я сейчас переговорю по телефону, сообщу ваши соображения, скажу, что я их разделяю...» Вот не думал, что возникнет такое осложнение. А. Н. Косыгин после телефонного разговора сказал: «Ну, пляшите, едем вместе в Москву...»

Поездка в Каир на похороны Насера оставила какое-то тревожное впечатление: египетские руководители неуверенно говорили о будущем своей страны, ее политике, планах, намерениях, да и к новому президенту, чувствовалось, не было у них должного уважения...

13 октября я вернулся в Каир с супругой. Теперь в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Объединенной Арабской Республике. Встречали уже знакомые сотрудники посольства: советник-посланник Владимир Поля-

ков, советники Вадим Кирпиченко, Александр Тетерин, Николай Раевский, Вадим Синельников, Александр Орлов, Павел Акопов, военный атташе контр-адмирал Николай Ивлиев. Я намеренно называю этих верных товарищей, отличных специалистов. Вместе с такими, тогда молодыми способными дипломатами, как Юрий Капралов, Вафа Гулизаде, Роберт Турдиев, они составили тот костяк посольства, который принял на себя основную тяжесть сложной работы в последовавшие годы, когда все яснее вырисовывалась линия президента Садата, направленная на отход от насеровского курса и во внутренней, и во внешней политике.

II

Президент Садат начал тянуть с церемонией вручения мною верительных грамот. По неписаным правилам дипломатического протокола: чем скорее после прибытия нового посла состоится эта церемония, тем яснее, что со страной посла отношения самые хорошие. Садат подавал другой знак. Вице-президент и министр иностранных дел пытались убеждать, чтобы я не придавал этому значения: «Действуйте в полную силу как Чрезвычайный и Полномочный Посол», — но интуиция подсказывала мне, что надо все поставить на место. Встретившись случайно в аэропорту с вице-президентом Али Сабри, я прямо сказал, что не могу приступить к своим обязанностям, пока у меня не примут верительные грамоты, подписанные Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Через день сообщили, что президент готов принять мои верительные грамоты. Церемония тогда была простая, даже не предусматривался традиционный обмен речами, однако приемная зала во дворце Кубба — официальной резиденции президента Египта — была набита фото-, кино- и телерепортерами. Я использовал эту возможность — произнес речь о братском отношении Советского Союза к дружественному Египту, сказал о наших глубоких симпатиях к египетскому народу, выразил уверенность в том, что отношения и сотрудничество между обеими странами будут продолжать так же плодотворно развиваться, как и при покойном президенте Насере; подтвердил готовность нашей страны оказывать Египту и его руководству разностороннюю дружественную поддержку. Ответная речь, которую пришлось произнести президенту Садату, также была выдержана в весьма дружественных тонах.

Затем в той же парадной форме я направился к гробнице Насера. Там уже собрался весь дипломатический состав нашего посольства. Возложение советским послом венка с лентой, на которой была надпись на арабском и русском языках: «Гамалю Абделю Насеру от посольства СССР в ОАР», — привлекло большое внимание печати и телевидения, да и много жителей собралось. Хотелось сделать возложение советским послом венка на могилу Насера после вручения верительных грамот традицией, подчеркнуть связь времен.

Поражают достижения древнейшей цивилизации Египта, памятники которой так хорошо сохранились. Об этом чуде истории написано множество книг, а можно написать еще больше. Поэтому, хотя и хочется поделиться своими восторгами, делать этого не буду. Отмечу лишь то, что удивило меня больше всего: современные египтяне не чувствуют себя наследниками этого великого прошлого. Многие гордятся лишь тем, что живут в стране, где когда-то существовало нечто необычное, привлекающее людей со всего мира. Да ведь и то сказать, арабы в Египте — иноземные пришельцы.

Вместе с тем поразило и другое: явственное ощущение, что египтяне — даже самые простые люди — чувствуют себя хозяевами своей страны. Это проявлялось в большом и малом, особенно в манере держаться, разговаривать, в искреннем дружелюбии и бесхитростном гостеприимстве, оптимизме, гордости, умении переживать невзгоды, даже в веселом характере — недаром бытует шутка: Наполеон потерпел поражение в Египте от анекдотов о нем, сочиненных египтянами. Впрочем, вскоре после вступления Садата на пост президента анекдоты стали распространяться и о нем. Например, такой. Президент ехал в машине по-

койного Насера, у развилки дорог шофер спросил, куда повернуть: направо или налево? Садат поинтересовался: «А куда ездил Насер?» Шофер ответил: «Влево». «Хорошо, — сказал Садат, — включи сигнал левого поворота и... поезжай направо».

Разумеется, приятно было, что египтяне так дружелюбны к советским людям, особенно к специалистам, трудившимся вместе с ними на гигантской стройке Асуанской плотины и ГЭС, реконструкции Хелуанского металлургического комбината неподалеку от Каира, на других заводах, в сельском хозяйстве и, конечно, в армии.

...С самолета Асуанская плотина кажется маленьким полукруглым гребешком, воткнутым в желтое бесконечное пространство жаркой пустыни. С выпуклой части серо-стального гребешка разлилась удивительно голубая ширь гигантского водохранилища — «озера Насера», с другой стороны извивается узенькая темная полоска Нила. Официальное торжество по случаю завершения работ на плотине и электростанции, дававшей тогда половину электроэнергии всей Африки, состоялось в феврале 1971 года. Были развешаны флаги, плакаты и транспаранты, играли оркестры, состоялись митинги. Гигантский проект, который пытались сорвать и США, и ФРГ, был завершен с бескорыстной помощью Советского Союза. Насер пошел на тесное сотрудничество с нами, Асуан — вершина этого сотрудничества, торжество не только экономической мудрости и решительности Насера, но и его политической концепции.

Открыть плотину и ГЭС выпало Садату. На памятных досках, укрепленных на плотине и на электростанции в честь этого события, о Советском Союзе не упоминалось: «По воле аллаха и с помощью наших друзей мы построили плотину и открыли ее в присутствии президента Садата», — а кто эти друзья — пусть потомки доискиваются. Но надо было видеть, с каким энтузиазмом приветствовали египетские строители советских людей во время торжеств. Они хорошо знали, что Советский Союз дал им громадный источник энергии, свет в дома, безопасность от засухи и разливов, гарантированное рыболовство, трудовые профессии. Так же горячо встречали советских людей на церемонии спуска морского судна, впервые построенного в Египте на верфи в Александрии, созданной при помощи Советского Союза. Люди облепили перекладины высотных башенных кранов, сидели на болтающихся крюках. Перед площадкой, где состоялась церемония, по старинному народному обычаю был заколот бычок, рабочие омывали руки свежей кровью, празднуя большое событие.

...Одна из первых забот любого нового посла — установление контактов, знакомство с местными деятелями и главами дипломатических миссий. Значит, визиты, визиты, да еще принимай визиты ответные. Нагрузка невероятная, а ведь дело не терпит, вопросы и проблемы возникают каждый день.

Поскольку в Египте трудились многие тысячи наших людей самых разнообразных специальностей, советская колония здесь была, пожалуй, больше других советских колоний за рубежом — помимо дипломатов, внешнеторговые работники, строители, хлопководы, военные, балетмейстеры, геологи, студенты, изучающие ислам в университете «Аль-Азхар», врачи, учителя, судостроители, металлурги, нефтяники, портовики, моряки, преподаватели в университетах, журналисты, артисты цирка, спортивные тренеры и т. д. У всех свои проблемы, большие и малые, всем требовались совет и помощь.

Почти со всеми руководящими деятелями Египта — вице-президентами Али Сабри и Хусейном Шафеи, премьер-министром д-ром Фавзи (одним из старейших политиков еще с фараоновских времен), министром иностранных дел Махмудом Риадом, военным министром Моххамедом Фавзи, председателем Народного собрания Лябибом Шукейром, секретарем ЦК Арабского Социалистического Союза и министром внутренних дел Шарави Гомоа, министром по делам президентства (фактически координатором разведывательной и контрразведывательной деятельности) Сами Шарафом и многими другими я познакомился прежде всего и довольно быстро. Они составляли ближайшее окружение Насера в его последние годы, он не раз посылал их в Москву для переговоров. Контакты с ними, притом хорошие, деловые, установились быстро, однако для полного осознания обста-

новки в Египте этого было мало. Многое зависело от президента. Впрочем, Садат уверял А. Н. Косыгина и меня, что ничего в отношениях между нашими странами не изменится, более того, они будут еще больше укрепляться.

Уже вскоре и как-то сразу новый президент изменился. Не стало искренности и доверительности, свойственных Насеру. Появилась подозрительность, президент выражал, причем явно нарочито, недовольство по самым надуманным поводам. Это было странно и некоторое время необъяснимо: ведь с советской стороны никаких изменений в доброжелательной, дружественной политике, в конкретных делах в отношении Египта не произошло. Значит ли это, что изменилась политика нового президента? Не так легко было сразу дать ответ. Трудность состояла и в том, что большинство государственных и политических деятелей, остававшихся на своих постах после смерти Насера, по-прежнему проявляло дружелюбие к Советскому Союзу.

Однако через два-три месяца некоторые из этих деятелей, правда, их было немного, стали иногда повторять придирчивые и необоснованные замечания Садата в адрес Советского Союза, главным образом по военным вопросам. Вдруг в какой-то газете или журнале появится то сообщение о «недостаточных» советских поставках, то заметка со ссылкой на мнение неизвестного «специалиста» о якобы невысоком техническом уровне поставок, то даже о выводе, к которому пришли... компьютеры: состояние «ни мира, ни войны» с Израилем выгодно лишь Советскому Союзу. Все это демобилизовало египтян, сеяло пораженческие настроения, неверие в собственные силы, бросало тень на друзей. А ведь не только египтяне, но и их враги — пожалуй, особенно они — прекрасно знали об огромной помощи нашей страны в укреплении обороноспособности Египта и решающем вкладе в поддержании ее на высоком уровне.

Стали заметны и расхождения между президентом и большей частью тех, кто занимал видные посты в правительстве и в Арабском Социалистическом Союзе — единственной тогда в Египте массовой политической организации прогрессивного идеологического характера. Президент стремился резко свернуть ее деятельность, принизить значение. Если Насер мечтал, что из АСС вырастет политическая партия — «Авангард социалистов», то Садат повел дело к его роспуску. Он понял, что не может единолично командовать в Высшем исполнительном комитете АСС, где при Насере сложилось нечто вроде коллективного политического руководства. Так, например, было с идеей Садата объединить Египет, Сирию и Ливию в Федерацию арабских республик (ФАР), разумеется, под руководством Египта, и практическими шагами в этом направлении. Непродуманная идея, к тому же выдвинутая без консультации с другими членами высшего руководства страны, была фактически осмеяна на заседании ЦИК АСС.

Весьма разнились два конгресса АСС, на которых мне довелось присутствовать. Первый раз — в ноябре 1970 года, когда в ЦИК АСС были те, кто избран еще при жизни Насера. Зал Каирского университета, где проходил конгресс, был заполнен преимущественно людьми в простой одежде, вели они себя весьма свободно, непринужденно, дым от сигарет стоял столбом, сквозь него живописно — графически — пробивались лучи прожекторов кинохроники, выхватывая фигуры, лица, позы. Вся обстановка создавала ощущение присутствия на собрании представителей народа, обретшего независимость, может быть, еще четко и не представляющего, что и как нужно делать, но уверенного, что уж раз он стал хозяином своей страны, то путь правилен.

В июле 1971 года аудитория национального конгресса АСС была уже другой — тот же зал заполнили хорошо одетые, явно довольные собой люди; лишь изредка попадался кое-кто в национальной одежде и «простецкого вида». Речи были почти одинаковые — сглаженные, славословившие антинасеровский курс Садата и, конечно, малосодержательные, хотя конгресс должен был принять программу национальных действий, хорошо разработанную Азизом Сидки и Зайятом, тогдашними руководителями АСС.

Садат делал основной доклад. Оратор он искусный, и общую часть произнес выразительно, артистично, отодвинув в сторону все бумажки. Но с программой фантазировать было трудно. Садат стал замолкать, тупо рассматривал листки,

которые падали с трибуны на пол, а оставшиеся вертел в руках так и сяк, демонстративно издеваясь над программой. Известно было, что она ему не по душе, так как предусматривала усиление государственного сектора в экономике и другие прогрессивные преобразования. Наконец Садат промямлил, что, поскольку у делегатов проект программы на руках, он о ней говорить не будет (!). Впрочем, принятую тогда программу вскоре заменили другой, которую президент и его новые помощники усиленно рекламировали как панацею от всех бед — это была программа «открытых дверей» («инфитах») для иностранного и своего частного капитала.

Но вернемся к событиям конца 1970 — начала 1971 года. Политику делают конкретные люди, они же проводят ее в жизнь. На первых порах Садату, видимо, противостояли те, кто занимал руководящие посты во времена Насера, секретари организации АСС в Каире и других крупных городах. Группа эта, хотя неоднородная и организационно не спаянная, служила естественным препятствием тщательно скрывавшимся единоличным устремлениям президента, о которых многие из его окружения тогда и не подозревали.

Видимо, наибольшую опасность для Садата представлял Али Сабри, поскольку намного превосходил его образованием и политическим кругозором. 28 марта 1971 года Садат президентским декретом без всяких объяснений снял Али Сабри с поста вице-президента. За несколько дней до того он сообщил мне об этом, интересуясь реакцией. Я заметил, что трудно комментировать новость, услышанную от президента. Единственное, чего бы я хотел, — напомнить дружеские пожелания, высказанные полгода назад А. Н. Косыгиным. Он говорил египетским руководителям о необходимости сплоченности, предотвращения раскола. Садат резко ответил, что сообщает мне об уже принятом им решении.

Внутренними делами — развитием промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры, улучшением благосостояния — президент практически не занимался. Он взялся за вопросы внешней политики, прежде всего — конфликт с Израилем. Считал Садат себя и военным специалистом, но часто пользовался искаженной информацией своих генералов. Характерно, что он ни разу, несмотря на мои неоднократные предложения, не принял для доклада главного советского военного советника.

Разногласия между Садатом и другими руководящими деятелями обострились не только и не столько по вопросам внутренней политики, сколько внешней. Вскоре после вступления на свой пост Садат единолично, без консультаций с другими руководителями выбросил лозунг: «Сделать 1971-й год решающим!» Решающим в возврате Египту оккупированных Израилем в результате агрессии 1967 года территорий. Фактически Садат вроде бы заранее объявлял, что в 1971 году Египет начнет войну против Израиля. Лозунгом этим он пытался шантажировать и нас: «Я выдвинул лозунг, Советский Союз должен мне помочь его осуществить». Ему говорили: Советский Союз — друг Египта, и потому хотелось бы знать конкретные планы в отношении «решающего года», все ли взвешено, каков уровень боеспособности египетских вооруженных сил и т. д. Садат отвечал недовольно и кратко: лозунг политический, все остальное — дело профессионалов-военных. Хейкал в те дни говорил мне: «Еще никогда не было такого в истории, чтобы одно государство заявляло другому, что в таком-то году начнет против него войну; или это несерьезно, или — преступление». Однако в Египте с лозунгом смирились или... пропустили его мимо ушей — мало ли выдвигается лозунгов!

Особо сильные разногласия среди руководства возникли в вопросе об отношении к США. Во времена Насера американский империализм был практически изгнан из района Ближнего Востока. Теперь стало известно о контактах Садата с американцами без ведома других руководителей страны. Осуществлялись эти контакты с помощью агентов ЦРУ, укрывавшихся под вывеской «Отдела защиты интересов США» при испанском посольстве. После разрыва дипломатических отношений интересы США представляло посольство Испании. На здании американского посольства висел испанский флаг, там продолжала работать группа американцев, формально числящихся как бы в штате посольства Испании.

Однако шила в мешке не утаишь. Египетские руководители во время деловых встреч с тревогой говорили мне о возможном появлении американцев на Ближнем Востоке. Особенно их встревожило сообщение о предстоящем прибытии в Каир госсекретаря США Роджерса, так как эта «инициатива», видимо, была связана с каким-то поворотом в политике Садата.

При встречах с президентом я, разумеется, упоминал о своих беседах с другими руководителями Египта. Садат всегда поспешно говорил: «Я знаю, знаю, они об этом мне докладывали». Поскольку я ощущал нелады в высшем руководстве страны, приходилось проявлять осторожность: в конце беседы с Садатом 3 марта — апреле 1971 года как бы невзначай спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, кто ваши лучшие друзья, с кем можно говорить вполне откровенно?» Садат отмечал: «Моххамед Фавзи, Шарави Гомоа, Сами Шараф» (ранее он называл также и Али Сабри). И, в свою очередь, интересовался: «А почему, посол, вы об этом спрашиваете?» «Просто хочу быть уверенным». Впрочем, Садат в это время посылал в Москву Али Сабри, Моххамеда Фавзи, Шарави Гомоа и Сами Шарафа для важных переговоров, каждый раз представляя их советскому руководству как своих верных друзей.

...Когда в Каир прибыл Роджерс, Садат демонстративно принимал его наедине. Тогдашний министр иностранных дел Риад вынужден был около двух часов сидеть в соседней комнате. Из Каира Роджерс срочно вылетел в Тель-Авив, а оттуда прибыли зам. госсекретаря США Сиско и чиновник госдепартамента Стернер. Их Садат также принимал наедине. Стало известно восклицание Роджерса после того, как Садат изложил свою позицию в ближневосточных вопросах: «Я не могу ничего большего требовать от Египта!» Уже тогда это звучало двусмысленно. Понимая, что заигрывание с американцами не может остаться незамеченным, Садат в разговорах со мной несколько раз просил передать в Москву его предложение о заключении с Советским Союзом Договора о дружбе и сотрудничестве. (Кстати говоря, эта мысль впервые зародилась еще у Насера.) По тону президента, однако, чувствовалось, что он никак не предполагает, что в складывавшейся в то время обстановке его предложение будет принято — явно рассчитывал на отказ. Это ему было для чего-то нужно.

Поздно вечером 11 мая 1971 года я был у Садата в его резиденции в Гизе на берегу Нила, неподалеку от нашего посольства. Беседовали в саду, вокруг бегали любимые собаки президента, прыгали на диванчик, где мы сидели, хватили за ноги. Садат лениво отгонял их, жаловался на трудности, усталость, говорил, как он любит размышлять ночью в одиночестве у воды. Обсудили очередные дела. Под конец я опять спросил, кто его ближайшие друзья. Садат усмехнулся и сказал: «Вы можете так же, как и я, полностью доверять Шарави Гомоа, Фавзи и Сами Шарафу — это самые близкие мне люди». Было это, повторю, 11 мая.

13 мая по договоренности с послом ГДР Мартином Бирбахом был устроен вечер дружбы двух посольств. Состоялся он на территории посольства ГДР. Немецкие товарищи позаботились о веселой программе, однако мне не удавалось отвлечься от забот, ведь чувствовалось (а кое о чем и было известно), что в Египте происходят важные события, еще до конца не понятные.

В середине вечера Бирбах отлучился по вызову на некоторое время, а когда вернулся, тихонько сказал мне: «Мой шофер слушал радио, передали сообщение об отставке секретаря ЦИК АСС, министра внутренних дел Шарави Гомоа!» «Отставке? — переспросил я. — С какой стати?» «Ничего неизвестно — больше ничего не передавали. То ли он сам подал в отставку, то ли ему предложили уйти. Возможно, шофер и ошибся». Конечно, это была новость большого значения. Пришлось уехать с вечера, тем более что еще предстояло побывать в Каирском театре оперы и балета на премьере балета «Дон Кихот», поставленного советскими балетмейстерами и педагогами. Там меня ждали, и если бы я не приехал, это могло быть неверно истолковано, особенно в тот вечер.

На дипломатической работе, как я не раз убеждался, очень важна интуиция — отражение накопившегося опыта. Чувствовалось, что вот-вот должно что-то произойти, и, воспользовавшись темнотой на сцене, я покинул театр... Мои това-

рищи, несмотря на поздний час, ждали меня в посольстве: они слышали сообщение по радио об отставке Гомоа. Теперь по радио передавали лишь марши и браваурную музыку — верный признак какого-то важного события.

Но вот новое сообщение: после того как президент принял отставку Гомоа, в отставку подали военный министр Фавзи, председатель Народного собрания Лябиб Шукейр, министр по делам президентства Сами Шараф, министр информации Фаек, секретари ЦИК АСС Абу Нур, Дауд и другие. Президент принял их отставку и сразу же назначил военным министром начальника генерального штаба генерала Садека и министром внутренних дел губернатора Александрии Мамдуха Салема.

Положение начало проясняться. Коллективная отставка, видимо, была попыткой оказать нажим на Садата, чтобы он считался с другими руководителями. Последствий, похоже, никто не продумывал: «заговорщики», как их окрестили позднее, подав в отставку, разошлись по домам и легли спать. Это не была, конечно, попытка переворота, перевороты так не совершают.

Удивил Садат. Отправив в отставку главную политическую фигуру — Шарави Гомоа, он как бы преднамеренно спровоцировал массовую отставку недовольных его линией, и ведь как быстро нашел замену руководителям двух ключевых сил — армии и полиции! Значит, эти кандидатуры у него уже были заранее подготовлены. Вспомнилось, что он сказал мне менее двух суток назад: «Вы можете так же, как и я, полностью доверять Шарави Гомоа, Фавзи и Сами Шарафу — это самые близкие мне люди». Зачем он так говорил мне, не был ли в его словах какой-то скрытый смысл?

Через день после ареста «заговорщиков» (а их, по примеру Садата, теперь иначе не именовали) президент принял меня во дворце Тахра. В отличие от Насера он обычно принимал послов в самых различных местах. Казалось даже, что он нигде не жил более одного дня. Так, меня он принимал в своем личном доме в Каире, во дворце Тахра, в официальной резиденции через улицу от своего дома (под эту резиденцию Садат приказал переделать музейное здание), в резиденциях в Гелиополисе, Хелуане, Александрии, Маамуре, Бург эл-Арабе, в своем доме в деревне, где он родился, в АСС, в резиденции на «Барражах». У Насера не было своего дома, он с семьей скромно жил в одной из воинских частей. Садат, используя свое положение, дешево купил дом на берегу Нила, роскошно, но безвкусно обставил, закрыл большую часть набережной для публики.

Выглядел Садат плохо: какой-то серый, осунувшийся, под глазами большие мешки, по лицу течет пот, который он не успевает вытирать бумажными салфетками. «Объяснения» его были весьма неубедительны, скорее саморазоблачительны: Али Сабри и другие руководители «подрывали» власть президента, вмешивались в его права. В качестве примера Садат назвал провал в АСС затеи с созданием Федерации арабских государств (Египет, Сирия, Ливия). И все. Далее он привел малоправдоподобную версию, которую усердно распространяла официальная печать. Однажды ему домой «неизвестный молодой человек» принес магнитофонные пленки с записью его, Садата, разговоров, а также разговоров Гомоа с Сабри, Фавзи и другими. Из этих записей он понял о «враждебных настроениях». «Когда, приняв отставку группы этих людей, я хотел обратиться к народу, — говорил он, — меня не пустили на радио и телевизионную станцию». Садат уверял, что события в руководстве Египта не должны отрицательно сказаться на отношениях с Советским Союзом. Он стремился успокоить, представить дело так, что эти отношения идут гладко. Ту же цель преследовали крупные публикации в вышедших на следующий день газетах о беседе Садата с советским послом.

Для того, чтобы привлечь широкие народные симпатии, была пущена в ход версия о том, что одним из главных преступлений «заговорщиков» была организация прослушивания телефонов «многих тысяч» египтян. По телевидению показали такую сцену: во дворе МВД Садат и новый министр внутренних дел Мамдух Салем с торжественными лицами бросают в большой костер коробки с магнитофонными лентами. Египтяне смеялись: зачем уничтожать дорогие импортные

магнитофонные ленты, ведь запись легко стирается, а кроме того, эти пленки — вещественные доказательства «преступлений».

Месяца через два я случайно встретил на пляже в Александрии Хейкала. Естественно, говорили и о недавних событиях. Хейкал не сочувствовал «заговорщикам», он тогда считал, что Садат в какой-то степени ему доверяет. Вспомнил, что Садат говорил ему о моих контактах с «заговорщиками». Мне почудилось, что он о чем-то не договаривает. Я сказал, что мне, естественно, приходилось с ними встречаться по делу, ведь они занимали высокие государственные посты, президент сам просил меня переговорить с ними по тому или иному вопросу, направлял их в Москву со своими поручениями. К тому же в общих чертах я всегда информировал президента о своих деловых встречах, и он неизменно и поспешно замечал, что знает о них. Между прочим, сказал я Хейкалу, несколько раз в марте-апреле, а последний раз — за два дня до событий, я спрашивал президента, кто его самые доверенные лица, с тем чтобы разговоры с ними могли быть откровенными, и каждый раз он называл тех, кого обвинил в заговоре и посадил за решетку; почему он мне давал именно такие рекомендации?

Хейкал прямо не ответил, но сказал, что Садат дал ему прослушать магнитофонную пленку с записью разговора советского посла и Сами Шарафа 9 мая. Я усомнился, и Хейкал предложил тут же поехать к нему в кабинет с тем, чтобы он мог продемонстрировать пленку. Я, разумеется, отказался — не хотел втягиваться во всю эту историю, даже проявлять интерес, хотя и твердо знал, что в этих разговорах не было ничего такого, что можно было бы инкриминировать советскому послу. Все же решил проверить Хейкала: «О чем же шел разговор?» «Сами Шараф утверждал, что действия Садата непредсказуемы, что он идет на сговор с американцами, неизвестно, что президент предпримет через час-два, а в конце спросил посла: что нам делать с президентом?»

Отметив про себя, что Хейкал довольно точно передал слова Сами Шарафа, я спросил: «Ну и что же ответил посол?» «Посол ответил, — улыбнулся Хейкал, — что это не его вопрос, Садат — ваш президент, вы должны сплотиться вокруг президента с тем, чтобы была единая воля в руководстве. Вот на этом месте Садат, который внимательно слушал пленку, с досадой хлопнул по арабскому обычаю руку об руку и воскликнул: «Яасалям! Не сорвался посол, а ведь по оstriю ходил!» «Что значит «сорвался», «не сорвался»? Как же иначе я мог ответить на такой вопрос?» «Не знаю, может, президент рассчитывал услышать что-то другое...» Иными словами, Садат хотел бы связать «заговор» с Советским Союзом.

Популярности Насера, широкой поддержки в стране Садат, судя по всему, не обрел. Революция 1952 года, возглавляемая Насером, многое дала трудящимся: земельную реформу, доступ к образованию, социальное страхование, законы о труде и т. д., — но социальное неравенство не ликвидировала. Подавляющее большинство населения Египта неграмотно, а неграмотный, по ленинскому определению, стоит вне политики. Массы не принимали активного участия в преобразованиях и, следовательно, были пассивны в политике, а это значило, что незаконченная революция 1952 года не будет закончена, и власть перейдет тем или иным способом к тому, кто сильнее, а сильнее как была, так и осталась буржуазия, и президент Садат выражал ее интересы.

Народ не протестовал против осуждения соратников Насера. На суде прокурор требовал смертной казни для них, однако большинство было приговорено к каторге и длительным срокам заключения. Многие египтяне не знали существа противоречий Садата с прежними руководителями, свои намерения идти на сотрудничество с США, тайные контакты с американцами он тщательно скрывал. Внутри страны к нему спешно стали прибаваться правые, видимо, усилили давление американцы. Обе эти силы стремились добиться быстрого отхода Египта от дружбы и сотрудничества с Советским Союзом. Начались попытки исподволь искусственно создавать антисоветскую атмосферу, стали распространяться злонамеренные слухи и выдумки о нашей стране. Этому, разумеется, следовало воспрепятствовать.

В египетском народе, смею утверждать, глубоко укоренилось доброе отношение к Советскому Союзу, советским людям. Недружественные нам выступления Садата и некоторых египетских газет не находили поддержки в широких массах. Египетскому народу, хоть приходится ему нелегко, свойственны трудолюбие и жизнелюбие, скептическое, насмешливое отношение к вбиваемым сверху догмам, он не любит прописных истин, ему дай посомневаться. Большинство народа неграмотно, но он хорошо знает, что советские люди, Советское государство, вставшее рядом с Египтом в трудную минуту, — его друзья. Для простого египтянина пример нагляден. Он помнил высокомерного англичанина, хозяйничавшего в стране, а теперь видел скромного советского технического специалиста на заводе, стройке или военного советника, товарища, делящего с египетскими солдатами тяготы службы. С этим объективным обстоятельством — настроением народа — был вынужден считаться и Садат: произносил иногда и добрые слова о Советском Союзе, демонстративно обращался с просьбами заключить советско-египетский договор о дружбе и сотрудничестве, о приезде в Каир высоких советских руководителей.

Заключение такого договора объективно отвечало интересам укрепления отношений между народами обеих стран, сдерживало тех, кто стремился нанести по ним удар. На предложение Садата заключить с Советским Союзом договор о дружбе и сотрудничестве было дано согласие. Во время переговоров, которые велись в Каире, были приняты все предложения египетской стороны по тексту договора. (Позже, однако, Садат несколько раз говорил, что договор был якобы ему «навязан» советской стороной, что в нем не были учтены египетские замечания и т. д.) 27 мая 1971 года он был подписан. Это вызвало большой переполох в США. В Каир спешно прилетел эмиссар из Вашингтона Стернер. Пришлось Садату заверять этого мелкого чиновника, что известные госсекретарю намерения нисколько не изменились. Тем не менее в налаживавшихся египетско-американских отношениях возник холодок, и Садату нужен был повод, чтобы доказать США свою лояльность. Таким поводом стало присутствие в стране, по просьбе Насера и египетского руководства (и самого Садата в том числе), некоторого количества советского военного персонала — советников и технических специалистов, обучавших египтян.

Мне часто приходилось бывать и на советских военных кораблях, заходивших в Александрию.

Помню, какой ажиотаж вызвал дружественный визит в Александрию отряда советских военных кораблей — ракетного крейсера «Варяг», громадных противолодочных кораблей «Парижская коммуна» и «Червонная Украина» и мощной атомной подводной лодки. Они были пришвартованы к пассажирскому причалу порта, и со стоявших рядом иностранных судов, полных туристов, их без конца фотографировали, киноаппараты стрекотали как пулеметы.

Визит этот состоялся по просьбе Садата, однако в последний момент он отказался вылететь в Александрию, послал вместо себя военного министра. Отказ свой мотивировал «протокольными соображениями»: глава государства не может вступить на борт военного корабля другого государства, если на нем не находится глава этого государства. А все дело было в том, что посещение Садатом советских военных кораблей, конечно, не понравилось бы американцам, с которыми он в то время усиленно искал контакты. Он считал, что и так уже совершил ошибку, присутствовав накануне на военном аэродроме, где демонстрировали свои возможности военно-воздушные силы. Он убедился, что египетские ВВС сильнее израильских, а это нарушало его расчеты в торге с американцами.

И вот Садат решился еще сильнее компрометировать военное сотрудничество с Советским Союзом. Началась серия недружественных действий с целью бросить тень на советских военных, честно, в нелегких и непривычных условиях выполнявших свой долг.

В сентябре 1971 года американская разведка, видимо, перестаралась, ее агенты стали слишком открыто действовать против египетских вооруженных сил,

в результате чего возникло так называемое «дело Рандополо» — завербованного американцами египетского гражданина, подрядчика на строительстве оборонных объектов. С ним, как пишет Хейкал в своей книге «Дорога к Рамадану», поддерживала контакт американская шпионка Свейн, работавшая в американской миссии. Египетская контрразведка арестовала Рандополо и Свейн. И тут нам было заявлено, что советские военспецы недостаточно бдительны и тем пособничают израильтянам, поскольку Рандополо осуществлял шпионаж в пользу Израиля! Мы отвели эти смехотворные утверждения и резонно заметили, что за контрразведывательную деятельность в Египте несет ответственность только сам Египет. Позднее я с интересом прочел в книге Хейкала о том, что, когда все это вскрылось, резидент ЦРУ в Египте Юджин Троне откровенно написал тогдашнему начальнику египетской разведывательной и контрразведывательной службы генералу Ахмеду Исмаилу: «Я хочу заверить Вас, что какая-либо информация, которую мы получили через эту девицу, не попала в Израиль. Она была полезна лишь для Соединенных Штатов. Кстати говоря, она была тем самым полезна также и Египту, поскольку предоставила возможность американскому правительству отвечать правительству Израиля, что оно преувеличивает, когда ссылается на поставки оружия Советским Союзом Египту как на причину своих новых запросов оружия у США. Я хочу, чтобы Вы поняли, что не Египет является целью в этом шпионском деле. Как Вы знаете, США и Советский Союз вовлечены в глобальную конфронтацию... Мы шпионили за ними, а не за Вами».

Садат решил отпустить американскую шпионку, отмечает Хейкал, чтобы поддерживать именно этот канал связи, который становился для него все более важным: Садат — египетская разведка — ЦРУ — Американский совет национальной безопасности и Киссинджер.

В начале 1972 года большая группа советских офицеров, возвращавшихся на Родину, была подвергнута унизительному досмотру в Каирском аэропорту. Сделано это было, как открыто говорили египетские таможенники, чтобы подтвердить распускавшиеся слухи о том, будто русские вывозят золото из Египта. Конечно, никакого золота найдено не было. Против провокации пришлось принять решительные меры, вплоть до обращения к президенту. Вечером того же дня меня разыскал Садат — я беседовал с премьер-министром Азизом Сидки у него дома. По телефону Садат сказал, что ему стыдно, что кое-кто в Египте решил вознаградить таким неподобающим образом советских военных за их искренний труд, просил считать инцидент исчерпанным, то есть фактически извинился.

В интервью американскому журналу «Ньюсуик» Садат жаловался, что ему приходится платить Советскому Союзу большие суммы в твердой валюте за содержание советских военных в египетской армии. Поскольку ни то, ни другое не соответствовало действительности, во время одной из встреч с ним я, сославшись на это интервью, в шутку заметил, что советские военные удивляются, почему они не получают твердой валюты. Садат поморщился и наигранно обиженным тоном сказал: «Это все газетчики перевирают». Однако дать опровержение не согласился. Новый заместитель министра иностранных дел Фахми заявил в печати, что Советский Союз ненадежный союзник, он не пойдет с Египтом «до конца» (какого?). Министр иностранных дел Галеб, бывший посол Египта в Москве, был настолько возмущен этим, что добился отставки Фахми (позднее сам Галеб был снят с поста, а министром иностранных дел стал Фахми).

В июне 1972 года в Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с Р. Никсоном. Садат в связи с этим проявлял большую нервозность. Ему очень не хотелось, чтобы была достигнута какая-либо советско-американская договоренность по Ближнему Востоку. Свое будущее он уже связывал только

с американцами, и договоренность могла нарушить какие-то его планы. Ощущая эту нервозность, мы предложили, чтобы после завершения встречи из Москвы приехал кто-нибудь из ее участников для информирования египетского руководства. Это было крайне необходимо, ибо краткая передача содержания переговоров не дает «эффекта присутствия»; кроме того, у египтян могут возникнуть вопросы. Приезд послужил бы и жестом расположения к Садату.

Визит Никсона между тем закончился. В коммюнике ничего не было сказано о существовании решения ближневосточного конфликта, зато содержалась двусмысленная фраза относительно переговоров о необходимости сокращения поставок вооружения на Ближний Восток. Можно себе представить, какое впечатление произвела эта фраза! Ведь Садат внушал себе и другим, что Советский Союз якобы не удовлетворяет просьбы Египта, а США снабжают Израиль (и будут снабжать, несмотря на любые договоренности, как он утверждал) всем, в чем тот нуждается.

Из канцелярии президента время от времени интересовались, нет ли информации из Москвы, мы отвечали, что вот-вот ожидаем ее. Стало известно, что Никсон направил Садату личное письмо с изложением итогов московских переговоров. В нем пространно и явно неискренне сообщалось о возможности легко достигнуть договоренности с русскими по вопросам международной политики. (Дескать, смотри, Садат, с русскими мы можем поладить!) О ближневосточных делах, больше всего интересовавших Садата, не было ни слова. Искусственно создавалось впечатление, что либо СССР и США не считают этот вопрос важным, либо они договорились, но не хотят сообщать об этом Садату. Надо сказать, то был тонкий и умный ход психологического воздействия на Садата, и не в нашу пользу. Наконец мы получили из Москвы указание, о чем следует информировать Садата. Невольно вспомнился анекдот: «Телеграфный столб — это хорошо отредактированная сосна». Вот с этим-то, предчувствуя недоброе, пришлось идти к Садату. Он мрачно выслушал расцвеченное мною сообщение с добавлением другой интересующей его информации. Судя по всему, его уже до встречи задела запоздание информации и невнимание к нему, а может, подвернулся наконец удобный предлог «поговорить строго с Советами». Внезапно с большим раздражением он попросил передать в Москву без всякой мотивировки, что отказывается от услуг советских военных в Египте. Ни слова благодарности, ни слова о причинах этого даже формально необъяснимого решения, которое, несомненно, приведет к значительным политическим последствиям. Лишь язвительные замечания о советских военных. Сколько я ни пытался, президент не хотел говорить по существу. Пришлось напомнить, что советские военные прибыли в Египет в связи с настоятельными и многочисленными просьбами президента Насера, а затем и самого Садата, с единственной целью — помочь Египту стать сильным. Они не заслуживают тех слов, которые сказал о них президент, эти слова я им передавать не буду. Поскольку он стал вновь порочить наших военных, ничего иного не оставалось, как сказать, что, если у президента нет других сообщений, я передам его слова в Москву. С этим и ушел, кивнув головой на прощание.

Как рассказал позднее Хейкал, после моего ухода Садат вызвал его, премьер-министра Азиза Сидки, военного министра Садека и сообщил им о своем решении. «Что ты наделал?! — вскричал Хейкал. — Думаешь ли ты о последствиях для армии, для страны?» Он почувствовал себя уязвленным, поскольку именно в его присутствии Насер настойчиво просил советское руководство прислать военных, а теперь Садат единолично отменяет то, чего Насер так упорно добивался. Мы тогда, конечно, не знали, что, как свидетельствует Хейкал в своей книге «Дорога к Рамадану», в секретном послании президента США Никсона Садату говорилось, что тот может чувствовать себя спокойно и делать все, что хочет, но при этом помнить: ключом к решению ближневосточной проблемы владеют США. Недаром Киссинджер в своих воспоминаниях пишет относительно удаления советского военного персонала, что получил от Садата все, не дав ничего.

Конечно, советские военные советники и специалисты покинули Египет. В египетской армии трогательно прощались с ними, многие офицеры и солдаты плакали, говорили, что ощущают стыд за действия своего президента.

Мы много размышляли над решением Садата, ослаблявшим Египет и в политическом, и в военном плане. Несомненно, оно было продумано заранее. На что же он рассчитывал? Наличие советских военных не только укрепляло египетскую армию на срок, пока ее подготовка достигнет необходимого уровня, но и удерживало Израиль от крупных военных акций против Египта. Достаточно упомянуть о полном прекращении воздушных налетов израильтян на египетские населенные пункты.

Английский посол с необычной откровенностью говорил мне через несколько дней после того, как было опубликовано решение Садата: «Если раньше, когда в Египте присутствовали советские военные, мы еще как-то стремились к ближневосточному урегулированию, поскольку в этом случае советские военные ушли бы, то теперь у нас нет побудительных стимулов заниматься урегулированием». Таким образом, Садат, кроме всего прочего, отказался от сильного рычага в руках арабов, который мог содействовать урегулированию ближневосточного конфликта. Значит, у него были какие-то планы в отношении США, он как бы подавал знак: «Я с вами!» Но сближение Египта с США, всячески поддерживаемыми Израилем, необходимо как-то обосновать, оправдать. Это было возможно только в том случае, если бы США явились в необычном для них облике миротворца на Ближнем Востоке.

В 1973 году на Ближнем Востоке произошло событие мирового значения, проливающее свет на пути появления здесь Соединенных Штатов: разразился военный конфликт, в котором непосредственно участвовали Египет, Сирия и Израиль, — так называемая «октябрьская война», или «война Рамадана».

III

Разрешение арабо-израильского конфликта, а точнее, возвращение оккупированных Израилем арабских, в том числе египетских, земель и обеспечение прав арабского народа Палестины, было для Египта не только главной внешней политической проблемой, но и в значительной степени проблемой внутриполитической. И потому понятно стремление патриотически настроенных кругов поскорее добиться восстановления справедливости. Для этого Насер укреплял экономику страны, восстанавливал с помощью Советского Союза вооруженные силы, предпринимал крупные политические шаги на международной арене, где Египет обрел много искренних друзей.

Нельзя было не видеть, что после смерти Насера вопрос о ликвидации последствий израильской агрессии все чаще становился предметом политической спекуляции во внутриполитической борьбе Садата со своими противниками, а во внешней политике — средством в попытках оказать давление либо на Советский Союз (чтобы переложить на него ответственность за сложившееся положение, а заодно выдвинуть просьбы о получении особой помощи), либо на США (чтобы привлечь внимание к намерениям изменить политический курс страны и получить себе в этом деле союзника).

Новый президент Египта, так же, как и Насер, хорошо понимал, что решить ближневосточный конфликт без участия Египта — самой крупной и развитой арабской страны с наиболее мощными вооруженными силами — невозможно. Поскольку Израиль, имея за плечами безоговорочную поддержку США, занимал непреклонную позицию в отношении захваченных им территорий, решение конфликта мирными путями для многих арабских стран представлялось малореальным. Оставалось надеяться только на силу, ее применение было законным, ведь речь шла о возврате захваченного в результате агрессии. Без Египта меряться силами с Израилем другие арабские государства вряд ли решились бы.

Несомненно, Садат понимал: Израилю проще пойти на договоренность о возврате собственно египетских земель — пустынного Синайского полуострова — в обмен на мир, чем восстановить права палестинцев, освободить Западный берег реки Иордан, возвратить Сирии Голанские высоты, или уйти с ливанской территории. Ценой сепаратного мира с Израилем Египет всегда мог получить обратно свою территорию, но это означало бы предательство общеарабских интересов, в первую очередь интересов палестинцев, Сирии, Иордании и Ливана. Насеру и в голову не приходила такая возможность. Садат же решил ее использовать. Именно на этом пути он мог рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Надо было лишь найти средства для «логичного» появления США на Ближнем Востоке. Укреплению связей с США мешали развитые отношения Египта с Советским Союзом. Садат пошел, как мы знаем, на их ухудшение, несмотря на то, что это ослабляло Египет и общеарабский фронт.

...После такого вызывающего жеста, как удаление советского военного персонала из Египта, меня часто спрашивали: разве не было сразу видно истинное лицо, не был понятен истинный курс Садата? Конечно, многие детали, и важные в том числе, тщательно скрывались, они стали известны позже, но общее наше представление о новой линии египетского руководства оказалось правильным. Однако наша политика строится в расчете не на те или иные личности.

Генеральной линией на Ближнем Востоке было и остается достижение справедливого мира для всех государств региона. А это немыслимо без возврата оккупированных Израилем арабских земель, обеспечения неотъемлемых прав палестинцев, вплоть до создания их собственного государства, обеспечения безопасного существования всех народов, включая народ Израиля.

...В самом начале своего правления, как уже говорилось, президент Садат провозгласил: «1971 год станет решающим в арабо-израильском конфликте!» Как, когда, какими средствами, на каких основах — не пояснялось, «решающий» — и все тут. Позднее новому окружению Садата пришлось все же давать разъяснения: 1971-й год «решающий» в том смысле, что должно быть принято решение, что следует предпринять для решения проблемы. Это была уже увертка. Затем «решающим» был назван 1972 год. Причину того, что в тот год тоже ничего не было «решено», Садат свалил на Советский Союз, который, дескать, был отвлечен оказанием помощи... Индии! Наступил 1973 год. Усилились закулисные контакты Садата с американцами.

Линия американцев в давлении на Египет, главным образом на его президента, состояла в постоянном внушении ему мысли о том, что только США могут сдвинуть дело ближневосточного урегулирования, то есть «оказать влияние» на Израиль. Но не «бесплатно»; цена — уменьшение, а затем и полная ликвидация так называемого «советского присутствия» на Ближнем Востоке, в первую очередь в Египте. Если не будет «советского военного присутствия», Израиль заключит мир на приемлемых для Египта условиях. Это была, конечно, спекуляция чистейшей воды, что и подтвердилось позднее, однако кое-кто в Египте поддавался ей, прежде всего Садат.

В конце лета 1973 года в США был направлен помощник президента по вопросам национальной безопасности Хафез Исмаил, который, как оказалось, имел секретные встречи с Никсоном и Киссинджером. Для маскировки Хафез Исмаил посетил также Лондон и Москву. Что-то готовилось. Еще до этого, к маю 1973 года, Садат сконцентрировал в своих руках всю власть, какая только возможна. Он был и президентом с широчайшими полномочиями, и премьер-министром, и верховным главнокомандующим, и председателем Арабского Социалистического Союза. Мало того, он стал еще номинальным президентом Федерации арабских республик и обладателем уж совершенно невероятного титула — верховного военного правителя.

Контакты с нами египтяне поддерживали, хотя и не весьма интенсивно. Искренности в них, во всяком случае, было все меньше. 22 сентября после возвращения из отпуска я посетил Садата. На этот раз передали, что он примет меня в Бург-эл-Арабе — местечке западнее Александрии посреди пустыни.

На площадке у небольшого домика стояло несколько больших легковых машин, по номерным знакам можно было судить, что они из тех, которые выделяются для иностранных государственных гостей. Оказалось, Садат принимал Нельсона Рокфеллера и еще каких-то американцев. Нас провели в одну из приемных, где пришлось ждать. Прошло более двадцати минут после назначенного времени, и мы сказали дежурному офицеру, что если президент так занят сегодня, то пусть он назначит нам другое время. Офицер куда-то ушел, а вернувшись, сказал, что президент сейчас освободится. Действительно, американцы вскоре уехали, их провели через другие двери, чтобы мы с ними не встретились.

Президент, видимо, находился под впечатлением только что законченного разговора, глядел куда-то мимо меня, долго не мог сосредоточиться. Наконец начал, тщательно подбирая слова: «Обстановка с ближневосточным урегулированием становится невыносимой. Что случится, если взорвать обстановку? Что могут подумать об этом другие?» Неужели Садат решил начать военные действия? А как же его заверения, что, находясь в тесных отношениях с Советским Союзом, он будет обмениваться мнениями, консультироваться, ведь военные действия — крайнее средство в политике, и в большинстве случаев результаты их непредсказуемы. Каждая сторона верит, что победит она, а побеждает лишь одна — другая проигрывает, и чаще всего та, что начинает войну.

3 октября я был у Садата в его частном доме неподалеку от нашего посольства. Он говорил о постоянных провокациях Израиля, о возможности вооруженного ответа Египта на «большую провокацию», а дальше «будь, что будет». На мой вопрос, есть ли какие-либо соображения о времени и масштабах ответных действий, Садат ответил, что, если понадобится, он обязательно все сообщит «в свое время». Опять ничего конкретного он не сказал, однако попросил меня не выезжать из Каира, быть в пределах досягаемости по телефону. На следующий день я сообщил президенту о принятом Москвой решении отправить из Египта членов семей советских работников, попросил содействия в этом.

В очень короткие сроки мы вывезли более 2700 советских детей и женщин, а также около тысячи членов семей сотрудников посольств и специалистов других социалистических стран. Отправляли, как правило, в Александрию на советские суда или по ночам, пока не был закрыт аэропорт, спецрейсами самолетов из Каира. В посольстве работал штаб по эвакуации. Эвакуация была произведена так, что не привлекла к себе ненужного внимания. Нам же пришлось спать по два-три часа в сутки. Не могу не отметить работу в те дни экономического советника Н. А. Лопатина, торгового представителя А. И. Лобачева, советника П. С. Акопова, первого секретаря В. Н. Юдина.

6 октября Садат, пригласив к себе во дворец Тахра, сообщил, что «ситуация находится в постоянном развитии». Израильские провокации усиливаются, и «можно ожидать событий» через... четыре часа. Он хотел бы, чтобы советский посол был рядом с ним, однако это невозможно, так как посол должен поддерживать связь с Москвой. И хотя Садат вновь уклонился от какой-либо конкретной информации, как мы ни пытались ее услышать, стало ясно: сегодня начнутся военные действия. Вот каким образом «в свое время» сообщил президент об этом важнейшем событии — менее чем за четыре часа до начала военных действий. Вот вам и обещание консультироваться! ¹.

Я поспешил вернуться в посольство. Было около полудня. Примерно в 14 часов в резиденции зазвонил городской телефон. Я попросил секретаря Вафу Гулизаде взять трубку. Оказалось, со мной хочет говорить президент. Я усомнился: президент, и звонит по простому городскому телефону? Взял трубку — слышу ликующий голос Садата: «Сафир! Мы на восточном берегу канала! Египетский флаг на восточном берегу! Мы пересекли канал!» Так началась «октябрьская война», оказавшая столь большое влияние на развитие всей обстановки на Ближнем Востоке...

¹ В своей книге «Дорога к Рамадану» Хейкал свидетельствует, что вопрос о том, информировать или нет советского посла о начале боевых действий, вызвал большую дискуссию.

В октябре — начале ноября с президентом приходилось встречаться практически ежедневно, иногда и по несколько раз. Часто велись телефонные переговоры — по его указанию у меня был установлен аппарат закрытой правительственной связи «Би-би-экс».

Непрерывно работала радио- и телефонная связь с Москвой. В посольстве была введена строгая светомаскировка, оборудованы бомбоубежища, созданы аварийные запасы продуктов, питьевой воды, аккумуляторных фонарей, свечей, спичек, медикаментов. С помощью оставшихся женщин организовали общественное питание в помещении школы. Одним словом, перешли на казарменное положение. Спали не больше трех-четырех часов в сутки.

Военные действия вначале развивались успешно для египтян. За несколько часов они форсировали Суэцкий канал практически на всем протяжении и закрепились на его восточном берегу. Ранее на эту часть операции планировалось не менее суток. По расчетам, потери египетских войск, непосредственно участвовавших в форсировании канала, могли составить до одной трети, фактически они были порядка 10—15 процентов. Контратаки израильтян успеха не имели, да и сила их сопротивления была незначительна. Зенитно-ракетные комплексы египтян поставили непроницаемый барьер израильским самолетам, создали зенитный «зонтик» над своими войсками. А на земле с необычайно высокой точностью действовали противотанковые ракетные средства — «малютки»; израильтяне сразу же понесли громадные потери в танках. Отлично показали себя в жестких условиях раскаленной пустыни находившиеся на вооружении египетской армии стрелковое оружие и самоходная техника.

Садат был в восторге от вооружения, постоянно в беседах со мной в самых выпренных выражениях благодарил Советский Союз, восклицал: «Настанет время, и я расскажу о великой помощи советских братьев!» Но дело было не только в высоких качествах советской военной техники, показавшей свое превосходство над находившейся на вооружении у израильтян. Сказалась долголетняя кропотливая работа советских военных советников и технических специалистов, которые помогли сначала поднять на ноги разбитую и деморализованную в 1967 году египетскую армию, а затем хорошенько ее обучить.

Египтяне начали войну успешно, но кое-что смущало. Почему же хорошо работавшая разведка израильтян не заметила концентрации египетских войск у канала? (Не говоря уже об американской разведке с ее техническим оснащением.) Оказались ли военные действия египтян и сирийцев столь уж неожиданными для Израиля? Почему основные силы израильтян были сосредоточены на севере — у границы с Сирией, в то время как главные силы арабов, египетские, на юге? Почему Садат не разрешил королю Иордании Хусейну присоединиться к военным действиям, ведь его войска могли перерезать пути израильским частям, направлявшимся с севера, с сирийского фронта, на юг — на египетский фронт? Почему израильские войска на Суэцком канале не оказали решительного сопротивления и через короткое время даже получили приказ отходить по собственному усмотрению? Как можно объяснить, например, публикацию египетского агентства новостей МЕН 2 октября о приведении в боевую готовность II-й и III-й египетских армий? Разве израильские средства информации не обратили на это внимание, как и на крупную эвакуацию жен и детей иностранцев из Египта? Остается еще много неясных вопросов об «октябрьской войне» 1973 года. Недаром многие авторы исследований задумывались: а не были ли «спланированы» с обеих сторон боевые действия? Если это так, то стали бы понятнее конечные политические итоги войны и то, что произошло позже, — срыв Женевской мирной конференции, «Кэмп-Дэвид» и т. д.

...Одновременно с египетской перешла в наступление сирийская армия и отбросила израильские войска с оккупированных ими Голанских высот. Египтяне продвинулись еще вперед, а затем... встали. Израильтяне сконцентрировали все свои усилия на сирийском фронте и вскоре вновь захватили то, что недавно оставили, пошли на Дамаск, начали жестокие воздушные бомбардировки городов и портов. Египетская же армия бездействовала, хотя суть стратегического маневра израильтян была ясна — по частям разбить своих противников, сначала Сирию,

а затем Египет. Логически напрашивались активные действия египтян: войну на два фронта, я уверен, Израиль не выдержал бы...

В ответ на мой вопрос об общих планах действий Садат весьма раздраженно отвечал, что «не собирается бегать по Синаю», что его цель нанести как можно больше военного урона израильтянам, а не «захват» территории. Он будет ждать подхода главных (!) вооруженных сил израильтян, чтобы перемолоть их. Странная военная логика и тактика, ведь до перевалов Гидди и Миттла на Синае египтянам оставалось совсем немного, путь к ним был фактически открыт. А тот, кто владеет этими перевалами, владеет всем Синаем.

9—10 октября сирийцы начали откатываться. Египетские войска не двигались. Это была уже политика. Невольно создавалось впечатление, что они как бы «перевыполнили» назначенное, а на дальнейшее планов не оказалось. Военных планов, возможно, и не было. Планы существовали политические.

С возникновением конфликта развернулась бурная политическая активность в ООН и столицах большинства государств. В Совет Безопасности был предложен проект американской резолюции, требовавший немедленно прекратить огонь и отвести войска на позиции, которые они занимали до 6 октября. Однако, видимо, и сами США понимали политическую неправомерность этого требования, ведь его выполнение арабами означало бы согласие с «законностью» оккупации их земель израильтянами. Арабы освобождали свои земли, чужих они не захватывали. Разумеется, проект этот был отвергнут. Да, видимо, и внесен он был, чтобы выиграть время, нужное Соединенным Штатам для развертывания массовых военных поставок Израилю. Позднее об этой тактике затяжек писал в своих мемуарах Киссинджер.

Выдвигалась в ООН и резолюция, требовавшая прекращения огня с оставлением войск на занимаемых позициях; одновременно предусматривалось выполнение предыдущих решений ООН об уходе Израиля с оккупированных арабских земель. Сейчас представляется, что принять такую резолюцию в тот момент, когда Сирия вернула практически все свои захваченные Израилем территории, а египетские войска продвинулись на двенадцать — пятнадцать километров по всему восточному берегу канала, было бы выгодно арабам. Тем более что прекращение военных действий в таком положении дало бы хороший шанс для урегулирования на справедливых принципах всего арабо-израильского конфликта. Однако принятию этой резолюции энергично противились США и... Египет! Такое «совпадение» казалось странным, поскольку египетские войска перестали вести военные действия. Если бы они продолжали освобождать свои земли, тогда позиция Египта была бы понятной¹. А США, видимо, ожидали крупного наступления израильских войск и в преддверии этого усиленно снабжали их.

Израиль, получая по воздушному мосту из США и американских баз в Европе военные поставки, навалился на Сирию. Садат раздраженно говорил: если Сирия не может наступать, пусть обороняется (как будто бы оборона — легкое дело), пусть перейдет к партизанской войне — у нее большая территория и т. д. Положение на сирийском фронте его мало трогало. Он тянул время, чего-то ждал. Чего? А израильтяне уже начали бомбить египетские переправы через канал.

16 октября поступило неожиданное сообщение: пять-шесть израильских танков просочились на западный берег Суэцкого канала! Еще примерно за неделю до этого, когда вырисовалась линия фронта на восточном берегу, мы обратили внимание на то, что между флангами армий, высадившихся за каналом, существовал большой разрыв. Это означало, что фланги открыты для атак израильтян и те могут попытаться отрезать их от канала. Советских военных советников в египетской армии уже не было. Египетские военные на наши вопросы отвечали кратко: «Такова утвержденная диспозиция». Израильские танки под покровом ночи переправились на африканский (египетский) берег именно в месте этого разры-

¹ Позднее из мемуаров, в частности Киссинджера и Садата, стало ясно, что в это время шли интенсивные закулисные американо-египетские переговоры.

ва. Садат объяснил нам, что эти танки — «диверсионная группа», они «обречены», даже почему-то сказал, что это «политический» (?) маневр израильтян.

Вечером 16 октября для консультаций с Садатом в Каир прибыл А. Н. Косыгин. В аэропорту, когда ждали его, я спросил советника президента по вопросам национальной безопасности Хафеза Исмаила о прорвавшихся танках. Он ответил, что этой «неприятной историей» занимаются военные и беспокоиться не следует. На самом деле, как выяснилось позднее, военные, ссылаясь на указания «сверху», не принимали никаких мер к ликвидации прорыва. Таким образом, положение теперь уже на обоих фронтах складывалось отнюдь не в пользу арабов. Египет, если бы даже и хотел, не мог помочь сирийскому фронту, где наступление израильтян с трудом было остановлено неподалеку от Дамаска.

Визит А. Н. Косыгина считался секретным, однако для входа в международный аэропорт, который стал базой ВВС, были розданы особые пропуска с надписью «По случаю визита премьер-министра СССР», на предназначенной для него машине укрепили два флага — советский и египетский, машину сопровождали мотоциклисты. По дороге А. Н. Косыгин смотрел на ночной, так сказать, военный Каир. Замечал и небрежную светомаскировку, и множество слоняющейся молодежи — полное отсутствие всего, что в нашем представлении связано с военной обстановкой. Война для рядовых египтян была где-то там, далеко на канале, ее вели военные, а в каких целях, об этом мало что было известно. Фамилии героев не упоминались (а их было много), о позиции Советского Союза не сообщалось (Садат говорил мне, что все это «из соображений безопасности»). Странная война.

...Косыгин и Садат обменивались мнениями и наедине, и в присутствии советского посла и помощника президента. Садат держался внешне дружелюбно, но упрямо отрицал какие-либо неблагоприятные изменения в военной обстановке, требовал каких-то «гарантий», касающихся дальнейших действий израильтян, их прорыв на западный берег канала вновь назвал событием незначительным, «политическим маневром».

После долгого и обстоятельного обсуждения политической позиции Египта Садат сообщил, что мог бы согласиться с прекращением огня, если Израиль, в свою очередь, согласится выполнить резолюцию 242 Совета Безопасности ООН от 23 ноября 1967 года о выводе израильских войск с оккупированных арабских территорий. На время вывода израильских войск между ними и египетскими войсками Садат просит для гарантии сделать «прокладку» из советских и американских войск.

После отъезда А. Н. Косыгина стали поступать еще более тревожные сведения: израильтяне переправили на западный берег Суэцкого канала уже 30—40 танков, затем число их дошло до 150; захватили полевой военный аэродром, спешно расширяли свой плацдарм, особенно к югу, выбили важный пункт из сети египетской ПВО, прикрывавшей Каир и армии на восточном берегу канала. Большого сопротивления они не встречали.

В беседах с Садатом 19 и 20 октября мы настойчиво спрашивали его об этом прорыве. Ведь израильтяне уже начали строить насыпной мост через канал; на запад беспрепятственно шли все новые их воинские части. Об этом свидетельствовали аэрофотоснимки. Что думает предпринять президент? Садат с досадой отмахивался. Прорыв израильтян, говорил он, ничего не стоит с военной точки зрения, он имеет лишь политическое значение (опять!), советским друзьям не следует беспокоиться. Становилось все яснее, что президент скрывает свои намерения, а намерения эти весьма серьезны, коли ради них он жертвует жизнью тысяч египетских солдат и офицеров.

...Примерно в 1 час 45 минут ночи на 21 октября меня поднял с постели телефонный звонок. Президент просил срочно прибыть во дворец Тахра. Мчались с В. Гулизаде по ночному Каиру, гадая, что на этот раз нас ждет. На-

встречу попало несколько автоколонн, фары замазаны синей краской. Санитарные фургоны везли с фронта искалеченных людей. Многие из них умрут. За что?

Вошли в затемненный дворец. Нас проводили не в одну из гостиных, как обычно, а на террасу первого этажа. Электричество не было зажжено, луна освещала только ту часть веранды, которая выходила в небольшой сад. Садат сидел у мраморной балюстрады за небольшим столиком, сбоку примостился Абдала Фаттах, министр военного снабжения, как всегда, с большой тетрадью, готовый записать беседу. Здесь же стоял Хафез Исмаил, нервно курил.

Вид у президента был неважный: помятый военный мундир с распахнутым воротом, лицо отражает усилия держаться спокойно, даже уверенно. Начал он по-английски: «В полночь военные пригласили меня на командный пункт. Доложили обстановку. После этого я принял решение немедленно пригласить вас. — Он сделал паузу, пыхнул трубкой, продолжал: — Я могу сражаться с Израилем, но не с Соединенными Штатами Америки. Египет не может противостоять США».

Как всегда, говоря по-английски, он четко произносил слова и правильно употреблял несложные конструкции. Сперва голос звучал ровно, а затем стали прорываться эмоции: «Я не могу справиться с этими потоками американских танков и самолетов. Сколько мы ни уничтожаем, их поток не иссякает. Только вчера мы подбили двести танков, но появляются все новые и новые. Я не могу противостоять Соединенным Штатам... — Снова затянулся трубкой. — Я прошу вас срочно передать в Москву мою просьбу как можно скорее установить прекращение огня. У вас ведь есть контакты с американцами. Я прошу вас действовать как можно скорее».

«Я понял вас, — сказал я, насколько мог спокойно. — Хотел бы повторить: вы просите, чтобы как можно скорее было установлено прекращение огня с оставлением войск на занимаемых позициях». «Да», — кивнул Садат. «Хотел бы уточнить: как следует рассматривать израильскую группировку на западном берегу канала, останется ли она там?» «Да, — ответил Садат, — хотя ее можно считать «просочившейся», ничего другого не остается».

Мы поспешили в посольство. Часа через два вновь помчались к президенту, чтобы уточнить некоторые вопросы о дальнейшей позиции египтян. Президент уже спал (!). Наша настоятельная просьба разбудить его привела адъютанта в ужас, но просьбу он выполнил. Садат принял нас в комнате рядом со спальней. Он был в халате, накинутом поверх пижамы. Сел, поджав ноги, на диван. Лицо его было уже здорового цвета, глаза блестели, улыбка не сходила с губ. Всем своим видом он как бы говорил, что для него война окончилась...

После сложных советско-американских переговоров, которые американцы пытались преднамеренно тянуть, чтобы дать возможность израильским войскам глубже вклиниться в египетскую территорию и тем самым поставить Египет в еще более тяжелое положение, 22 октября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 338 о прекращении огня не позднее чем через 12 часов. (Киссинджер настаивал на прекращении огня не позднее чем через 48 часов; встретившись с нашей твердой позицией, снизил время до 24 часов, затем согласился на 12.) Во время переговоров мы поддерживали непрерывный контакт с Садатом. Их результатом он был вполне удовлетворен.

Обо всем этом пишу потому, что позднее Садат и некоторые его приближенные распространяли ложь о позиции Советского Союза во время «октябрьской войны». Утверждалось, что Советский Союз не оказывал Египту помощи, «давил» на него, заставлял пойти на прекращение «успешных» боевых действий и «лишил победы», «навязав» прекращение огня.

Утверждения, повторяю, лживые. Египет не консультировался с Советским Союзом по поводу открытия военных действий и не информировал заранее хотя бы о времени их начала. Однако Советский Союз поддержал Египет,

поскольку он осуществлял права на освобождение от оккупации своей территории. Египту немедленно была оказана разнообразная помощь (каирцы хорошо помнят, что после того, как был закрыт Каирский аэропорт, в воздухе через каждые полчаса гудели советские грузовые «Антей») ¹; с президентом постоянно велись консультации по политическим вопросам, касающимся конфликта; когда президент срочно попросил добиться прекращения огня, Советский Союз сумел этого добиться, используя все свои возможности и авторитет.

Вернемся, однако, к резолюции 338, требовавшей прекращения огня. Израильтяне, опираясь, видимо, на советы США, решили не считаться с ней, продолжали наступать на западном берегу, особенно на юге — отрезали примерно сорокатысячную III-ю египетскую армию на восточном берегу. Обстановка и в военном, и в политическом плане становилась необычайно сложной. Израиль бросал вызов всему миру.

Последовавшие за 22 октября дни были заполнены взволнованными телефонными разговорами, встречами с Садатом, перепиской. Уже 23 октября Садат дважды обращался ко мне по телефону с официальной просьбой о срочном «советском военном вмешательстве», чтобы заставить Израиль выполнить решение Совета Безопасности.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном привели к тому, что 24 октября была принята еще одна резолюция Совета Безопасности ООН — № 339, вновь требующая немедленного прекращения огня и возврата сторон на позиции, существовавшие 22 октября. Израильтяне игнорировали и эту резолюцию. Их передовые части ворвались на окраины Суэца. Садат позвонил мне и сказал, что вновь официально обращается с самой настоятельной просьбой: сегодня же ночью прислать советские войска или наблюдателей, с такой же просьбой он обращается и к Никсону. Это обращение к СССР и США было продублировано по каирскому радио.

Как известно из позднее опубликованных материалов, американцы под всяческими предлогами уходили от ясных ответов в интенсивных переговорах, которые велись между Москвой и Вашингтоном. Садат же проявлял все большее нетерпение, называл американцев лжецами. Чувствовалось, что они в чем-то его переиграли или «наказывали» Египет за слишком успешные боевые действия. Когда израильские войска полностью отрезали Суэц и вышли на позиции значительно южнее этого важного города-порта, Садат опять обратился к Советскому Союзу с просьбой срочно прислать совместно с США воинские контингенты, чтобы обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. В случае, если США вновь уклонятся, президент просил Советский Союз действовать отдельно.

Положение было критическим. Советская сторона недвусмысленно и твердо заявила американской администрации о своей готовности немедленно выполнить просьбу Египта. В Вашингтоне и Тель-Авиве, видимо, поняли, что с Советским Союзом шутить нельзя, и израильтяне, как бы споткнувшись, мгновенно прекратили наступление... Так Советский Союз вновь оказал неоценимую помощь Египту. Война была окончена.

Соединенные Штаты, желая скрыть провал, объявили... тревогу на своих заморских военных базах, не спросив согласия и даже не информировав об этом правительства тех стран, где расположены базы. Садат, надо отдать ему должное, в разговоре со мной 25 октября с усмешкой назвал эти меры шантажом. А вообще в Египте, да и в других странах, мало кто обратил внимание на колокольный звон американцев. В свете фактов бледно выглядят утверждения Киссинджера, что именно эта (колокольная) решимость США принудила Советы «отступить». Позднее, во время одного из приездов Киссинджера в Каир, я спросил, с какой стати была объявлена тревога на американских военных базах за границей, ведь никто не угрожал Соединенным Штатам. Киссинджер нехотя ответил: «Это у Никсона нервы не выдержали».

¹ Между тем президент позднее с серьезным видом утверждал, что из Советского Союза во все время военных действий поступил лишь... один чемодан с запчастями!

27 октября Хафез Исмаил сообщил мне, что получил послание Киссинджера: госсекретарь приглашает и далее обращаться к США. Таким образом, США уже открыто начали навязывать Египту свою посредническую роль. Информация, несомненно, была передана мне в расчете узнать о нашей реакции. Я сказал: если Египет не будет в дальнейшем опираться на советско-американскую договоренность об обеспечении прекращения огня, то его позиции окажутся значительно слабее, ведь США связаны обязательствами перед СССР, а не перед Египтом. Хафез Исмаил почему-то стал горячо говорить о необходимости предотвратить попытки американцев стать посредником между Египтом и Израилем.

Садат тем временем срочно послал в Вашингтон Фахми, быстро назначенного и. о. министра иностранных дел, в то время как никем не смещенный министр иностранных дел Египта Зайят еще находился в США! Видимо, «двойная дипломатия» Садата в это время усилилась. Тут уж было не до таких «деталей», как наличие двух министров иностранных дел.

...На консультации в Каир по вопросу созыва международной конференции в первых числах ноября прибыл В. В. Кузнецов, тогда первый заместитель министра иностранных дел СССР. Садат несколько раз подчеркивал, что Египту, как никогда, нужно быть вместе с Советским Союзом, действовать согласованно и координированно и что Египет желает участия представителей обеих великих держав — СССР и США — на всех уровнях предстоящих переговоров. Итак, на словах — с Советским Союзом. На деле... О переговорах Фахми в Вашингтоне ничего не было известно. И вдруг сообщение: 7 ноября в Каир прибывает Киссинджер! В тот же день он дважды беседовал наедине с Садатом, а вечером каирское радио объявило: достигнуто соглашение о восстановлении египетско-американских дипломатических отношений! И это — итог войны?!

В тот же вечер Фахми дал обед в честь Киссинджера, на котором присутствовало практически все египетское правительство. Были приглашены также послы СССР, Испании (представляющей США), Англии и Франции, Хейкал. Откровенно говоря, желания идти не было никакого, хотя американцы передали, что Киссинджер хотел бы поговорить со мной, — уж очень бесцеремонно, недружески вели себя последние дни египтяне, включая самого Фахми.

На обед я приехал последним. Когда вошел в небольшой зал, увидел рассевшихся по стенам гостей со скучающими лицами и теплыми стаканами виски в руках. Посреди зальца стоял Киссинджер, вяло говорил с испанским послом. Меня представили, Киссинджер оживился и после нескольких любезных фраз поинтересовался общей оценкой обстановки в районе Ближнего Востока. Я ответил, что, несмотря на прекращение огня, обстановка сложная и взрывоопасная. Поэтому надо принять меры и краткосрочного, и долгосрочного характера. Сейчас необходимо, чтобы Израиль перестал валять дурака, заявляя, что «никто не знает, где находятся линии, существовавшие на 22 октября с. г.», то есть куда должны быть отведены его войска в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН №№ 338 и 339. Эти линии можно показать на карте. Когда израильтяне отведут свои войска, автоматически отпадут проблемы снабжения III-й египетской армии и Суэца. Это — немедленные действия. В долгосрочном плане сейчас самое удобное время предпринять усилия для подлинного всеобщего урегулирования всей ближневосточной проблемы.

Киссинджер заинтересовался: «Почему вы считаете, что именно сейчас наиболее благоприятные условия для всеобщего урегулирования?» Я перечислил эти условия.

1) Израиль понял, что непобедимость израильской армии — миф, что он может быть побит.

2) Арабы осознали, что обладают силой, это дает им сейчас возможность идти на политические переговоры.

3) Создалось не существовавшее прежде общеарабское единство, важный показатель которого — эмбарго на поставку нефти США и их союзникам.

4) Мировое общественное мнение сейчас практически на стороне арабов, никто не обвиняет их в «агрессии» против Израиля.

5) Нынешний характер советско-американских отношений позволяет, несмотря на известные разногласия, обсуждать любые вопросы и сотрудничать.

Все эти благоприятные факторы, закончил я, имеют, однако, временный характер — ведь вполне вероятно, что в будущем один или несколько из них исчезнут, поэтому важно не терять времени.

Киссинджер внимательно слушал, сказал, что со многим согласен, кроме вопроса об эмбарго. А что касается возможности возникновения новой войны, то ее может не быть, если Советский Союз не будет в этом районе искать для себя выгод и заниматься подстрекательством (monkey business). Пришлось резко ответить, что поиски выгод и подстрекательство не наша специальность.

Прощаясь после обеда, Киссинджер сказал: он и ранее слышал, что советский посол в Каире «tough boy» («твердый парень»), но все равно просит сотрудничать с только что назначенным послом США в Египте Германом Эйлтсом (он переводится в Египет с поста посла США в Саудовской Аравии, арабист). «Ну, что ж, — так же в шутку ответил я, — можно и сотрудничать с американским Лоуренсом Аравийским, если только не возникнет проблема с «monkey business» с американской стороны».

На следующий же день печать сообщила о некоторых элементах договоренности между Садатом и Киссинджером, в частности, относительно отвода израильских войск на позиции 22 октября в рамках «общего соглашения» о разъединении египетских и израильских войск. Это уже было нечто новое. Вместо безусловного выполнения решений об отводе войск — переговоры, да еще и в рамках какого-то нового соглашения «о разъединении». Переговоры и, следовательно, урегулирование явно вводили с логической прямой на извилистую дорогу, в хляби. О существовании этого соглашения египтяне нас так и не информировали. Через четыре дня Фахми, пригласив меня, передал бумагу, содержащую то, что было опубликовано в газетах. Прочитав, я небрежно сказал, что уже давно знаю все это. Реплика взбесила Фахми.

В связи с практической организацией международной мирной конференции начались сложные переговоры между Москвой, Вашингтоном, Нью-Йорком, Каиром, Дамаском и Тель-Авивом. Теперь нам приходилось держать постоянные рабочие контакты не только с Фахми, но и со срочно прибывшим в Каир американским послом Эйлтсом. Однажды в декабре Эйлтс позвонил мне и сказал: «В Каир вновь прилетает Киссинджер, он хотел бы с вами встретиться». Я ответил согласием. Эйлтс замялся: «Киссинджер сообщил, что хотел бы встретиться с советским послом в аэропорту при прилете или отлете». Уловка была ясна: госсекретарь намеревался показать, что его встречает или провожает советский посол! Я ответил, что такая «возможность» встречи с госсекретарем меня не устраивает ни по существу, ни по форме. Разве в аэропорту говоришь серьезно, по-деловому? Киссинджер ведь прибывает к египетскому правительству, какое может иметь отношение советский посол к его встрече или проходам? Эйлтс смутился, ответил, что понимает, какая получилась неловкость, и что попробует вновь связаться с Киссинджером и придумать что-либо другое. Через несколько часов он позвонил снова, сказал, что Киссинджер предлагает встретиться в отведенной для него резиденции в Каире — отеле «Хилтон» — после беседы с Садатом, но это будет около полуночи. Ответил согласием — для дипломатов время суток не имеет значения.

К этой поре Киссинджера повсюду превозносили за «успехи» в его посредничестве, сравнивали с Меттернихом. Видимо, ему это нравилось, и встреча с советским послом была задумана лишь для вида, для того, чтобы о ней появилось сообщение и создилось впечатление «совместных действий».

...Киссинджер ничего не сказал мне о своих переговорах с египтянами. «Современный Меттерних», совсем не дипломатично ковыряя пальцем в зубах, пустился в общие рассуждения о необходимости советско-американского сотрудничества на Ближнем Востоке, согласованности в соответствии с договоренностями и т. д.

В следующие дни пришлось много работать в связи с созывом международной конференции по Ближнему Востоку в Женеве, на которой будут сопредседатели от СССР и США. Меня назначили советским сопредседателем.

Созыв мирной конференции по Ближнему Востоку был нелегким делом. Каждый вопрос — о предмете переговоров, об участниках, порядке, времени — приобрел вполне определенное и важное политическое звучание. Положения о конференции разрабатывались в переговорах между Москвой и Вашингтоном с участием генерального секретаря ООН, затем о достигнутой договоренности сообщалось в Каир для согласования с египтянами. Здесь советский и американский послы должны были представить совместную позицию министру иностранных дел Фахми и, разумеется, отстаивать ее, хотя часто она была результатом советско-американского компромисса. Иногда американская сторона информировала египтян не о согласованном в результате переговоров советско-американском мнении, а о своем первоначальном, не принятом нами. Египтяне соглашались с американцами, и тогда те, ссылаясь уже якобы на «требования» египтян, ставили перед нами вопрос о пересмотре согласованной позиции. Эти уловки приходилось разоблачать. Неприятно было, что новый министр иностранных дел Фахми в вопросах подготовки конференции явно сотрудничал с американцами, а не с нами. У себя дома он повесил большую фотографию, запечатлевшую его с Никсоном в Белом доме. И всячески угождал перед американцами. А ведь недавно, во время военных действий, все было иначе...

Наиболее разительно изменилось поведение египтян, когда речь пошла об участии в конференции палестинцев. Сердцевина ближневосточного конфликта, как известно, — судьба арабского народа Палестины, насильственно лишенного родины. На Ближнем Востоке я не раз слышал поговорку: «Арабам невозможно вести успешную войну без Египта, но мир нельзя установить без палестинцев». Советский Союз всегда исходил из того, что палестинцы непременно должны участвовать в конференции. Израиль, который делал вид, что арабского народа Палестины вообще не существует, конечно, возражал против этого, и его были склонны поддержать США. Тогда арабские государства еще не приняли решения (к которому закономерно пришли впоследствии) о том, что Организация Освобождения Палестины является единственным представителем палестинского народа. Поэтому в согласованном в результате переговоров документе о конференции было указано, что представители палестинского народа примут в ней участие в соответствующее время. Египтяне согласились с этим, но затем под давлением США начали требовать другой формулировки, которая, как они говорили, была согласована с американцами: «Вопрос о времени участия палестинцев в конференции будет обсужден на первой стадии ее работы».

Однажды меня пригласил Фахми. Когда я пришел, у него сидел американский посол Эйлтс. Было не совсем вежливо со стороны Фахми не предупредить об этом, а главное, не спросить, согласен ли я на тройственную встречу. Фахми передал мне бумагу с текстом, напечатанным, как я заметил, в посольстве США, сказав, что это новая египетская формулировка, с которой США согласны. Я прочел: «Вопрос об участии палестинцев будет обсужден на первой стадии работы конференции». Это уже было нечто новое. Прежде участие палестинцев не ставилось под сомнение. (Позже появилась еще менее определенная формулировка, в которой палестинцы вообще не упоминались: «Вопрос об участии других представителей стран района будет обсужден на первой стадии работы конференции».) Я сказал, что новая формулировка меняет суть дела и с ней я согласиться не могу. Прежде всего, подчеркнул я, мне важно знать, как к этому относятся сами палестинцы. Фахми стал горячо убеждать, что формулировку он лично согласовал с палестинцами и со всеми другими участниками конференции. Это был последний вопрос, из-за которого задерживались официальные приглашения странам для участия

в конференции. (Позднее палестинцы говорили мне, что никакого согласования с ними египтяне не проводили.)

...Открытие конференции назначено на 21 декабря 1973 года. Проводится она в Женеве, во Дворце Наций.

Накануне моего отлета из Каира поступило известие о том, что Сирия отказывается участвовать в конференции — заявила она об этом сразу же после посещения Киссинджером Дамаска. Фахми отнесся к неожиданному известию на удивление безразлично. Раздумывая, как могло такое случиться, я почему-то часто вспоминаю, что Киссинджер несколько раз (одним и тем же людям) рассказывал юмористически, как президент Сирии Асад заявил ему, не объясняя якобы причин, что Сирия не будет участвовать в конференции. Своего отношения к этому заявлению Киссинджер не выражал, но, во всяком случае, не порицал сирийцев.

19 декабря египетская делегация, возглавлявшаяся Фахми, который пригласил в самолет и меня, а также множество иностранных корреспондентов вылетели в Женеву. Когда самолет египетской авиакомпания приземлился, бросились в глаза необычайно строгие меры безопасности: военные патрули, сотни полицейских, бронетранспортеры, пулеметы, оцепления, особые пропуска. В тот же день в Женеву прилетели министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, генеральный секретарь ООН К. Вальдхайм, госсекретарь США Г. Киссинджер, министр иностранных дел Израиля Абба Эбан, премьер-министр Иордании З. Рифаи.

На следующий вечер встретились с Киссинджером. Он изложил свой план. В Израиле 31 декабря выборы в парламент, и до формирования нового правительства израильтянам будет «трудно» вести переговоры. Поэтому конференцию можно было бы открыть 21 декабря, а на следующий день, 22 декабря, всем разъехаться. Сопредседатели — послы Виноградов и американец Банкер — вернутся в Женеву 7 января; конференция возобновит работу 15 января. А. А. Громыко возразил: мы собрались сюда не для церемонии, а для работы, конференция должна продолжаться, если не на пленарных заседаниях, то в рабочих группах. Киссинджер нехотя согласился.

Наступило 21 декабря — день исторический: впервые собралась столь представительная международная конференция. Очень хотелось, чтобы она привела к миру на Ближнем Востоке, ведь обстановка, как никогда, благоприятствовала: арабы и израильтяне встретились, наконец, за столом переговоров, хотя устремления их и разнились. Но все ли хотят прийти в результате конференции к справедливому миру? Кое-что настораживает.

Перед открытием заседаний мы с Вальдхаймом договорились о том, как рассадить участников конференции. Сидеть они должны были по кругу. Приняли два варианта. Первый — алфавитный: в середине генеральный секретарь ООН, по правую руку от него — СССР, по левую — США, далее по часовой стрелке от США — Сирия, Израиль, Иордания, Египет. Второй вариант — скорее политический: по часовой стрелке от США — Израиль, Иордания, Сирия, Египет.

Охрана с автоматами повсюду — даже на крышах Дворца Наций. В залах уже гудят журналисты, отсюда передачи пойдут по телевидению на весь мир.

Внезапно в комнату, отведенную советской делегации, входит Вальдхайм. У него проблема: иорданцы отказываются сидеть рядом с израильтянами, так как с другой стороны будут пустые места, отведенные сирийцам. При другом варианте израильтяне не соглашались на пустые места справа от них... «Есть еще предложение, — мнется Вальдхайм, — от генерального секретаря ООН по часовой стрелке: Израиль, СССР, Сирия, Иордания, США, Египет». Это пожелание американцев. А. А. Громыко отвечает: «Мы не малые дети, согласны, — и уже с улыбкой: — Только поменяем местами сопредседателей». Тогда порядок будет такой: генсек ООН, Израиль, США, Сирия, Иордания, СССР, Египет. Вальдхайм радостно соглашается. Через несколько минут влетает бледный и взволнованный Киссинджер, за ним Вальдхайм. Киссинджер каким-то дрожа-

щим басом обращается к А. А. Громыко: США очень, очень просят советскую делегацию поменяться с их делегацией местами, иначе получается одна сторона вроде бы чисто израильская (Израиль, США); в глазах у госсекретаря такая мольба, будто речь о невесте каком важном деле. А. А. Громыко так, чтобы все слышали, шутит: «Прошу генерального секретаря ООН официально констатировать факт, что США отказываются сидеть рядом с Израилем». Взрыв смеха. «А нам все равно, мы приехали сюда не в игрушки играть», — добавляет А. А. Громыко под аплодисменты. Вальдхайм вытирает пот со лба.

Направляемся в зал заседаний. Вальдхайму, кстати говоря, сегодня исполняется 55 лет. «Какое совпадение, — говорит он, — неужели это будет исторический день, который положит начало строительству мира на Ближнем Востоке!» В зале на нас направлены лучи прожекторов и объективы теле-, кино- и фотокамер. Рассаживаемся.

Конференцию открыл кратким приветственным словом Вальдхайм. Затем выступил А. А. Громыко. Речь советского министра иностранных дел содержала объективную оценку положения на Ближнем Востоке, призывала к справедливому решению накопившихся проблем, создавала уверенное впечатление о готовности Советского Союза самым деловым образом сотрудничать на конференции со всеми, чтобы вывести, наконец, народы и страны Ближнего Востока из полосы военных конфликтов к прочному миру.

Последовавшее выступление Киссинджера мало кого удовлетворило: общие слова и поговорки на еврейском и арабском языках... А произношение!

Речи общего характера произнесли Фахми и Эбан, после чего возникла небольшая перепалка — Фахми резко, явно играя на публику, ответил Эбану.

На следующий день состоялось закрытое заседание конференции; было решено создать Военную рабочую группу (ВРГ), которая немедленно займется вопросом разъединения войск на египетско-израильском фронте. Вальдхайм объявляет перерыв в работе конференции. К нашей делегации подходит Киссинджер с посланцем Банкером — американским сопредседателем конференции. Банкер высокий, худощавый, подтянутый, ему за 80. «Знаете, почему мы назначили посла Банкера американским сопредседателем? — обращается Киссинджер к Громыко и сам отвечает: — Потому что Банкер ни одни переговоры не проводит быстрее, чем за восемь лет!» — И, довольный собой, смеется. (Банкер был формально руководителем американской делегации на многолетних американо-панамских переговорах о статусе Панамского канала и, следовательно, правах американцев в этом государстве.) Мне почудился намек в словах Киссинджера. Он спросил: «Итак, Виноградов остается в Женеве?» А. А. Громыко ответил, что да, остается, поскольку, как договорились, конференция продолжается. Киссинджер сделал плаксивое лицо и сказал, что у Элсворта (Банкера) есть дети и внуки, с которыми он хотел бы встретить рождество, поэтому он вылетит в США «на пару дней», а 26-го, самое позднее 27 декабря, вернется в Женеву. Обещание выглядело деловым. До сих пор мне не приходилось встречать американца, нарушившего слово в том, что касается сроков.

Утром следующего дня Банкер пригласил нас на завтрак, во время которого чиновник госдепартамента Стернер начал осторожно развивать «оригинальную» концепцию возможного хода конференции. Египтяне, утверждал он, не хотят, чтобы сопредседатели или их представители участвовали в работе Военной рабочей группы, поэтому нужно «работать за кулисами». Банкер осторожно предложил: а не были бы целесообразными большие перерывы в переговорах «для охлаждения страстей» сторон? Иначе говоря, не согласимся ли мы вести дело годами к частичным, не всеобъемлющего характера, решениям путем двусторонних переговоров арабских стран в Женеве без участия сопредседателей, вернее, Советского Союза, поскольку США всегда будут за кулисами Израиля и, как мы уже видели, египетской делегации. Вся идея международной конференции, таким образом, фактически начисто искажалась.

Вечером А. А. Громыко встретился с Фахми и на основе нашей информации о беседе с Банкером и Стернером прямо спросил его мнение относитель-

но дальнейшей работы конференции, в частности о роли сопредседателей. Ответы Фахми напоминали детскую игру: «да» и «нет» не говорите, черное и белое не упоминайте. Полчаса он извивался, не сказал ничего определенного, бранил переводчиков за якобы неточную передачу его слов. А мы укрепились в мысли о сговоре египтян с американцами. Еще более ясно это стало через день после отлета А. А. Громыко из Женевы. Ко мне пришел Стернер, показал свою записную книжку, где якобы записана формулировка египтян: «Н е п р о т и в участия Советского Союза». Вот, видите, горячился Стернер, здесь ведь не записано: «За участие Советского Союза». Пришлось дать ему хорошую отповедь.

Спросил у заместителя египетского министра иностранных дел Риада, правду ли говорит Стернер. Тот взорвался: «Американцы — обманщики, а Стернер — провокатор!» Вечером меня пригласил на ужин Фахми. Угощая с напускным радушием, он постепенно все более открыто излагал свои идеи: Советскому Союзу не следует настаивать на участии в переговорах; никаких вопросов без его, Фахми, согласия поднимать не следует и т. д. Вот так. А в разговоре с А. А. Громыко он утверждал совсем другое! Я ответил, что у меня есть свои руководители, у нас есть свои мысли и концепции. Жаль только, что египтяне запутали многие вопросы, по которым ранее была ясность, к хорошему для интересов Египта, палестинцев и всех арабов это не приведет.

Так оно и было. Переговоры в ВРГ не двигались с места, а затем египтяне, американцы и израильтяне вообще перенесли их из Женевы — там осталась только наша делегация. Перед отлетом ко мне зашли попрощаться и делегаты Израиля во главе с Эврон. Рассказали, что поначалу интерес к конференции был в Израиле громадный — все сидели у телевизоров. У многих раскрылись глаза, когда они узнали позицию советского министра иностранных дел, справедливую антивоенную позицию. Непринужденная беседа была продолжительной. Мы пытались убедить израильтян, что надо стремиться к подлинному миру, пока условия для этого благоприятны. Они говорили, что без участия и помощи Советского Союза установить мир на Ближнем Востоке невозможно. Прощаясь, Эврон доверительно спросил: понимают ли египтяне, что именно Советский Союз спас их от поражения в последние дни «октябрьской войны»? Я внутренне вздрогнул: значит, израильтяне правильно оценивали ситуацию и роль нашей страны, ее решительную позицию!

...Банкер, увы, прилетел в Женеву не 26 декабря, а почти через месяц — 21 января; спустя несколько дней снова улетел, сообщив, что прибудет не ранее второй половины февраля (!). Вот и верь слову делового американца! А затем Египет и Израиль подписали — но не на конференции, а вне ее — известное соглашение о «разъединении войск». Начало сепаратным сделкам Египта с США и Израилем было положено.

Общеарабское дело Египет забыл, как и недавнего своего союзника Сирию, на интересы палестинцев вообще махнул рукой. Помню встретившееся в печати заявление палестинцев: египтяне помогают США пробраться на Ближний Восток.

...Шло время. Женеву покинули все делегации, прибывшие на конференцию. Сенсаций особых не было. Рутинно заседали во Дворце Наций многочисленные «комитеты», «комиссии», «рабочие группы» с названиями длинными или непонятными, обозначенными лишь аббревиатурами. Заседания шли по разным вопросам, только не по ближневосточному. Создавалось впечатление нелепости. Мотался из Иерусалима в Каир, затем в Вашингтон, снова в Иерусалим, Каир, иногда в Дамаск и Амман Генри Киссинджер — «челнок» американской дипломатии. Он спешил добиться уступок и у Египта, и у Израиля, чтобы любой ценой доказать возможность сепаратного мира между ними при условии, что оккупированные палестинские земли не будут возвращены.

А мы сидели в Женеве. Банкер прилетал раз в месяц, а то и реже для ничего не значащей беседы; никогда не высказывал своего мнения, но говорил:

«Ваши соображения очень интересны, я доложу о них госдепартаменту», — и все. На просьбы разрешить нам уехать из Женевы, дать возможность заняться делом Москва отвечала отказом, а то и просто не отвечала. Приезжавшие оттуда говорили: «Не нервнируйте...» Мы продолжали изучать обстановку вокруг ближневосточного урегулирования, как говорится, с «женевского угла», беседовали с постоянно аккредитованными в Женеве дипломатами арабских и западноевропейских стран. С американцами контакта не было — их делегация покинула Женеву, часть ее моталась вместе с Киссинджером по Ближнему Востоку. В постоянном представительстве США нам отвечали, что сейчас в Женеве у них нет компетентных лиц по ближневосточному вопросу. Нам же предписывалось продолжать вести работу с американской делегацией.

Поскольку поступило сообщение, что в связи с назначением главой советской делегации на мирной конференции по Ближнему Востоку и сопредседателем конференции меня освобождают от обязанностей советского посла в Каире (наконец-то!), я получил разрешение съездить туда, чтобы, как полагается, попрощаться и тем самым завершить свою миссию в Египте.

...Особо близкие Садату люди разговаривали со мной тепло, но уже прощальствовало отчуждение. Они бездумно и беспрекословно равнялись на президента — никаких международных конференций, все, что надо, будет сделано с помощью американцев, благослови их Аллах. Конференция отзвука у них не находила. Значительно большая часть думающих и, следовательно, авторитетных политиков не скрывала возмущения деятельностью президента, министра иностранных дел Фахми и всех тех, кто отдавал судьбу страны на милость американцев и израильтян: им уже мерещилось новое блестящее положение Египта в арабском мире, пусть ценой отхода от Советского Союза и даже разрыва с ним. Каирские друзья, из тех, кто хорошо информирован, откровенно говорили мне, что американцы заверили Садата: как только будут приняты их условия и заключен сепаратный мир с Израилем (то есть когда страна выйдет из общеарабских рядов и забудет об арабском народе Палестины), Египет в ближневосточной политике США займет роль Израиля (!). Садат, по всей вероятности, поверил. Еще бы: Египет — самая крупная и влиятельная страна в регионе, на кого же еще опираться американцам? Значит, туда потекут многие миллионы, а может, и миллиарды долларов американской «помощи».

Наша информация о Египте не всем пришлась по душе. Кое-кто не хотел и мысли допускать об изменившемся положении — особенно те, кто и раньше не особо прислушивался к нашим тревожным сообщениям. Нам резкий поворот в политике Египта был, конечно, не менее неприятен, но такова была реальность, и приходилось думать, как противодействовать ей, хотя мы и помнили древний обычай рубить головы гонцам, которые приносят правителям дурные вести.

Внезапно в разгар прощальных визитов поступило указание вернуться в Женеву, так как через несколько дней там обещал появиться Банкер. Спешно устроил большой прием. Удивило, что пришли самые крупные политические деятели. Чувствовалось, что им как-то неловко, они как бы выражали извинения за действия президента в отношении Советского Союза и его посла; мы, мол, не причастны ко всему этому, но что мы можем поделать...

Наспех собравшись, поспешил через Москву в Женеву. Конечно, Банкер появился не в назначенный им срок, а дней на двадцать позже. И опять встреча с ним не дала никаких результатов. Ни одной мысли дельной, ни предложения — только вежливость и даже некое смущение тем, что ему, человеку уже за восемьдесят, выпало играть такую незавидную роль. По-человечески он симпатизировал нам. Понимая, что история с ближневосточной конференцией идет к концу (или зная об этом), Банкер дал нашей делегации как бы прощальный обед в одном из самых дорогих ресторанов на берегу Женевского озера. Слова во время обеда произносились добрые, но дипломатически выдержанные: оба мы понимали, что видимся в последний раз — и как участники конференции, и как частные лица. Позднее я прочел в мемуарах Киссинджера, как

в разгар своей «челночной дипломатии» он явился по поводу продолжавшегося бездеятельного сидения советской делегации в Женеве.

Однако я был свидетелем того, как при встречах нашего министра иностранных дел в Женеве с Киссинджером тот обещал, клялся, чуть не божился, что вот-вот — дайте ему только совершить еще один прыжок — делегация США вернется и конференция возобновится.

Ясно, что «октябрьская война» 1973 года была задумана не как шаг к освобождению оккупированных территорий и справедливому миру на Ближнем Востоке. Это был способ проникновения США на Ближний Восток, теперь уже под маской миротворцев, «честных брокеров». Высокое качество вооружения, хорошая подготовка египетских войск и их моральный дух, неожиданные даже для Садата, угрожали Израилю поражением, во всяком случае, не в «запланированных» масштабах. Небольшое, так сказать, «контролируемое» поражение Израиля нужно было американцам, чтобы выглядеть его «спасителями». Но им нужна была и тяжелая ситуация для Египта, чтобы сыграть и тут аналогичную роль. Этой двойной цели послужил казавшийся тогда странным прорыв израильских войск через Суэцкий канал на африканскую территорию Египта в ста километрах от Каира. Он был и своего рода наказанием Египту за излишнюю активность его вооруженных сил. Так жертвовали жизнями в политической игре.

Созыв международной мирной конференции по Ближнему Востоку поэтому был большой победой миролюбивых сил, в первую очередь советской дипломатии. Международный авторитет Советского Союза значительно вырос.

В результате «октябрьской войны» 1973 года объективно сложились наиболее благоприятные условия и существовали вполне реальные шансы, чтобы установить на Ближнем Востоке подлинный, справедливый для всех государств и гарантированный мир. Тогда бы этот регион перестал быть для империалистических сил объектом военной и политической эксплуатации. Такой мир, конечно, не устраивал США.

Американская дипломатия с помощью Садата — а без Египта всеобъемлющее ближневосточное урегулирование, естественно, невозможно — в нарушение взятых Соединенными Штатами обязательств пыталась повернуть Женевскую конференцию на путь прикрытия своих замыслов на Ближнем Востоке. Эти попытки были сорваны Советским Союзом. Раскрылись двурушнические приемы американской дипломатии. Заключение позднее так называемых «кэмп-дэвидских» соглашений — венца сепаратистской проамериканской политики Садата — повело к событиям, погубившим его самого.

Конец любого старого явления означает начало нового. Египетский народ в полной мере ощутил пагубные результаты политики следования проамериканским курсом как в области внутренней экономики, так и в отношениях с другими государствами, особенно арабскими. Этот не унывающий при любых обстоятельствах, добрый народ найдет в себе силы выйти на правильную дорогу независимого существования, ведущую к прогрессу. В это верят все искренние друзья Египта. В обновленный, умудренный недавним горьким опытом Египет.

Здесь автору записок следовало бы поставить точку. Но вот в декабре 1987 года мне довелось снова поехать в Египет — уже в качестве председателя Центрального правления Общества советско-египетской дружбы. А пригласил меня председатель правления Общества египетско-советской дружбы — государственный министр по иностранным делам Арабской Республики Египет Бутрос Гали.

Не скрою, очень хотелось побывать в Египте. Это как своего рода ностальгия — тянет туда, где столько сил, нервов, здоровья отдано, чтобы наши отношения с этой страной, ее народом были добрыми, основанными по-настоящему на взаимном доверии. Сколько там пережито радостного и сколько огорчительного, когда на нашу страну, ее политику обрушивались потоки грязи и клеветы. После Кэмп-Дэвида египетские власти закрыли советские культур-

ные центры в Каире и Александрии. Были удалены все наши технические специалисты с Асуанской ГЭС, других промышленных объектов, построенных с помощью Советского Союза, запрещено продолжать строительство жилого дома для советских сотрудников, закрыты генконсульство СССР в Александрии и консульство СССР в Порт-Саиде, резко сокращен штат посольства и даже — нечто неслыханное — власти потребовали отъезда советского посла. Конечно, запрещено было и Общество египетско-советской дружбы. Печать заполнила обильно поставлявшаяся американскими и другими западными источниками клевета на нашу страну. Египет как бы покрыла тень антисоветизма... Но солнце всегда рассеивает мрак. После трагической смерти Садата постепенно стало проявляться, я бы сказал, нормальное желание вернуться к естественным отношениям между Египтом и Советским Союзом.

В Каире я пробыл всего неделю, за этот короткий срок встретился со многими египетскими деятелями, преимущественно незнакомыми, но также с некоторыми старыми друзьями и почувствовал, что страна, осматриваясь — что же произошло? — раздумывает, куда и как идти дальше, сопоставляет нынешнее с недавним прошлым — тем прошлым, свидетелем которого мне довелось быть.

...В разгар дружбы между правителями Египта и США в Александрию прибыли американские авианосцы, в голубом небе кувыркались, демонстрируя свои возможности, хищные «Фантомы», на улицы высыпали в белоснежной форме тысячи американских моряков. Простодушные египтяне радостно хлопали в ладоши, восклицая: «Доллары прилетели, доллары прилетели!» — будущее казалось обеспеченным.

Когда президент Садат принимал президента Никсона, не было предела ликованию: «США с нами!» Улыбался на фотоснимках довольный Киссинджер. Вместе с президентами США и Египта и их женами он любовался «танцем живота», который исполняла лучшая танцовщица Зухер Заки. Все впереди представлялось радостным и светлым: «США с нами!» Проблема израильской оккупации арабских земель, бедствующие палестинцы — это отодвинулось куда-то в сторону. Да и при чем тут Израиль? Египет — вот что сейчас главное для США на ближневосточной шахматной доске...

Но прошло время ликований. Трагически погиб Садат. Что ж с Египтом? Арабские государства порвали с ним отношения, государственный долг достиг невиданных размеров. На прежде уютных, романтических берегах Нила в Каире торчат небоскребы — гостиницы для интуристов и бизнесменов, построенные на иностранный капитал. Кое-где проложены на уровне второго-третьего этажей дороги-эстакады. На стенах лозунги исламских экстремистов.

Здания красивейшей архитектуры в Александрии на приморской набережной всегда были гордостью горожан. Сейчас они донельзя обшарпаны, отваливаются целые куски лепнины, кое-где и сами здания разрушились, создавая новые руины по соседству с древнеримскими. Грустная картина запустения. В лавках товаров достаточно — покупателей мало. Продавец восторжен: «Русские? Снова? Как хорошо!» На окраине Александрии настоящие трущобы. «Жить людям негде, население города за десять лет увеличилось втрое», — вздыхает вице-губернатор Александрии.

Тяжелейшие проблемы достались в наследство новому президенту Египта Хосни Мубараку — бывшему офицеру ВВС. Он, не скрывая, говорит о них при встрече, вспоминая прежние наши с ним разговоры. Надо развивать свою собственную промышленность, сотрудничать с Советским Союзом. Нужна мирная конференция по Ближнему Востоку с непременно участием Советского Союза. Держится Хосни Мубарак приветливо, непринужденно.

Возобновило деятельность Общество египетско-советской дружбы, налаживается советско-египетская торговля, прикидываются возможности новых форм экономического сотрудничества с Советским Союзом. Арабские государства уже восстанавливают дипломатические отношения с Египтом.

Участвуя в конференции «круглого стола» в «Институте стратегических исследований» при крупнейшем арабском издательстве «Аль-Ахрам», я почув-

ствовал, какой проявляется громадный интерес к перестройке в Советском Союзе, к нашим мирным инициативам. Та же благожелательность, то же внимание к Советскому Союзу и во время других встреч, которых было множество. Египтяне хотят понять Советский Союз, хотят сотрудничества. Может быть, и потому, что имя Насера вновь стало очень популярно в стране. Все, даже самые простые люди, помнят, понимают, что дало Египту сотрудничество с Советским Союзом. Асуанская плотина несколько раз спасала страну от засухи и мощных наводнений, не говоря уже о дешевой электроэнергии, на которой работает построенный с помощью Советского Союза алюминиевый завод в Наг-Хаммади, вертятся сотни тысяч электромоторов, по вечерам горит свет в городах и деревнях; дает продукцию Хеллуанский металлургический завод — также объект советско-египетского сотрудничества, в стране есть база собственного машиностроения. С благодарностью приводили египтяне и многие другие примеры плодов сотрудничества с Советским Союзом. И уж, конечно, все мои собеседники — от главы государства до официанта в кафе — на первом месте с восторгом упоминали о том, как Советский Союз решающим образом помог Египту фактически выиграть освободительную «октябрьскую войну» 1973 года.

А что же США? Как-то стесняются говорить о «сотрудничестве» с ними мои собеседники. Да я и не настаиваю: и так ясно, что к чему. Если теперь многие осознали суть бескорыстной советской помощи — помощи для укрепления независимости Египта, то американскую они воспринимают как направленную на создание зависимого положения страны. Понимают они и что выбраться из прочной сетки, наброшенной на Египет в семидесятые годы, конечно, нелегко.

Радостным было посещение Каира в декабре 1987 года. Радостно было от сознания, что добрые дела нашей страны и тех советских людей, которые работали в Египте, не только не забыты, но и весьма популярны в народе. Значит, у советско-египетских отношений может быть хорошее будущее.

В. Оскоцкий

И ДЕНЬ, И ВЕК

ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Как ни много лет минуло, воды утекло, а все помнится случай на одном из писательских собраний.

— Дожили! — недоумевал, возмущался оратор. — Для иных прозаиков, видите ли, узок и недостаточен четкий классовый взгляд на современный мир, им по сердцу всечеловеческие позиции абстрактного гуманизма. Уже до того дошло, что изобрели словесное новообразование: дескать, все мы, люди, населяющие планету, земляне, и всяк человек человеку, землянин землянину друг и брат.

— Дорогие товарищи, друзья, дорогие земляне! — таким намеренно полемическим, в пику предшественнику, обращением к залу начал выступление следующий оратор. И в знак понимания, согласия был встречен аплодисментами...

Дело происходило в самом начале 80-х, и нетрудно было догадаться, что отвергнутое одним и принятое другим оратором слово — из лексики романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день...» Помните «Послание землянам», которое, отбывая на планету Лесная Грудь, американский и советский паритет-космонавты оставляют в вахтенном журнале орбитальной станции?

В жарких спорах, которые вызвал роман, критике чаще и больше всего подвергалась как раз эта космическая фантазия. И в сюжет-то она не вписывается, и подана на уровне не художественном, а публицистическом, и политически не совсем точна. По меньшей мере сомнительной объявляли тогда ведущую идею паритетности, едва ли не демонстративно противопоставленную и популярному лозунгу обострения идеологической борьбы, и ходульному образу врага.

Повторить сегодня такое — прозвучит замшелым анахронизмом. И десяти лет не прошло, а понятие паритетности — равноправного диалога, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов как в далях космоса, так еще в большей степени и на земной тверди — активно вошло в политический словарь современности, стало важнейшим ориентиром нового мышления. И первым условием такого международного климата на планете, в основание которого были бы положены

принципы взаимного уважения и доверия. Это ли не наглядное выражение уникальной способности неконъюнктурной художественной мысли, проникшейся глобальными проблемами современного мира, воспринявшей их в неразрывном единстве и дня, и века, предвидеть, прозревать и ближайшее, и — нередко — отдаленное будущее? Невелика беда, если ее прозрения и предвидения обретают подчас нескрываяемо публицистическую направленность. Что же до фантастики, в которую облакает их писатель, то генезис ее Чингиз Айтматов обосновал убежденно и убедительно: «Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями — экономическими, политическими, идеологическими, расовыми».

К такому крупномасштабному — под стать глобальности самих проблем — миропониманию Чингиз Айтматов шел путем исканий, отмеченных обострявшимся видением как наших дней, так и минувших лет и десятилетий. В нынешнем сопоставлении с трагедийными мотивами повести «Белый пароход», романов «И дольше века длится день...», «Плаха» лиризм ранних повестей «Джамиля» или «Тополек мой в красной косынке» вспоминаешь, конечно же, с добрым, благодарным чувством, но, пожалуй, как давнюю, первую любовь. По-юношески трепетную, трогательно-незащищенную и в то же время воздушно-зыбкую, чуть воспарившую над грешной землей, вознесенную над ее горестями и печалью, неизбывными бедами и кровоточащими ранами. Разумеется, и те первые повести вовсе не были бесконфликтными, но их конфликты принадлежали скорее быту, чем бытию, и чаще являли собой психологические драмы человеческой судьбы, нежели социальные драмы судьбы народной, развернутые в пространстве отечественной и мировой истории. Однако по мере того, как социальный драматизм характеров и обстоятельств обрел под

пером Чингиза Айтматова все более полное выражение, трагедийность сюжетных коллизий становилась органичным качеством видения человека во времени и времени в человеке.

Так было в повести «Первый учитель». «Яркое воплощение новой судьбы освобожденной, раскрепощенной киргизской женщины» — шаблонно и несколько фанфарно говорится сейчас о ней. Это и в самом деле так, если иметь в виду героиню повести, академика Алтынай Сулайманову, от лица которой ведется рассказ-воспоминание о «школе Дюйшена». Но почему он горчит, этот рассказ, хотя все вроде бы в конце концов складывается в нем к лучшему? От краснорезого, рыжебородого бая-насильника, в младшие жены которому Алтынай отдана по обычаю, ее пусть с трудом, но вызволяют и, помогая начать «новую жизнь... на новом месте», посылают учиться сначала во Фрунзе, а потом и в Москву. Куда как щедро возмещает судьба обиды и унижения детства, ничем, кажется, не обделяет — ни счастьем в доме как жену и мать, ни уважением и почетом как ученого. А она, прибыв в родной аил на шумное и, чего греха таить, помпезное торжество по случаю открытия новой школы, невеста почему томится какой-то невысказанной виной: не ей бы принимать «всяческие почести», восседать в президиуме дорогим, знатным гостем. «Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен». Но о Дюйшене, который первым в аиле, как мог и умел, обучал детей тому немногому, что знал сам, попросту забыли, и это «не единственный случай» казенного равнодушия, черствой непамяти.

Не менее важен мотив, несколько приглушенно намеченный поначалу в повести «Первый учитель» и продолженный затем в сценарии фильма с тем же названием. Насилие над малолетней Алтынай освящено жизнестойкой традицией национального быта. Спасая свою ученицу, бесстрашный Дюйшен восставал против стародавних обычаев, которые лишь немногими осознавались как варварские, сокрушал вековые устои феодально-байской морали, которая вовсе не повсеместно воспринималась как чужеродная, враждебная народу.

Сюжетное заострение такой житейской коллизии вызвало двойные нарекания на повесть и фильм. Одни полагали, будто непомерно суров писательский суд над обычаями и традициями старины, и, называя их исконно национальными, усматривали в этом высокомерное неуважение к предкам. Другие, напротив, находили внимание к национальной архаике излишне форсированным, избыточным, а в откровенном, беспощадном живописании ее усматривали чуть ли не поэтизацию, хитроумно камуфлирующую — увы, и до такого подчас доходило! — троцкистскую идею невозможности построения социализма в одной стране...

Начиная с «Джамили» все ранние повести Чингиза Айтматова, кроме повести «Тополек мой в красной косынке», печатались в «Новом мире» А. Твардовского. Как писатель, он, следовательно, складывался и формировался в «новомировском» кругу, откуда вышло немало ведущих мастеров современной прозы. Стало быть, искания Чингиза Айтматова в 50-е—60-е годы отвечали творческой платформе, позициям и устремлениям журнала, который полнее и неуклоннее других изданий проводил в жизнь судьбоносные идеи XX и XXII съездов партии, продолжал и обогащал последовательно демократические традиции отечественной журналистики и литературы, неизменно ориентировался на классический и современный опыт социально-аналитического реализма и самобытное писательское мастерство, высокое художественное качество, неподвластные никаким преходящим окололитературным конъюнктурам, будь то злободневная тема произведения, вчерашний престиж или сегодняшняя «некритикабельность» автора. Не будет преувеличением признать, что столь авторитетную марку по-своему держала каждая повесть Чингиза Айтматова, но в ряду их «Прощай, Гульсары!» заняла авангардное место.

Нелишне напомнить: время поворачивалось — вернее, его исподволь поворачивали — вспять, к застою, и публикации «Нового мира» почти из номера в номер подвергались разносной, сокрушительной, рассчитанной на изничтожение критике только потому, что они «новомировские». Так случилось с повестями Василя Быкова «Мертвым не больно», «Атака с ходу», «Круглянский мост», романами Федора Абрамова «Две зимы и три лета» и Николая Воронова «Юность в Железнодорожье», рядом других произведений, которые охотно признаются сегодня лучшей прозой 60-х годов, но в те самые 60-е угодливо третировались официозной критикой как идейно ущербные.

Повесть Чингиза Айтматова счастливо избежала суда скорого, да неправого и даже была обласкана Государственной премией СССР. Ума не приложить, — с чего вдруг «повезло» ей? Неужто потому только, что финал, в котором появляется новый, достойный и принципиальный секретарь райкома, сменивший прежнего, увертливо-беспринципного, внушает надежду на благотворные перемены к лучшему как в колхозной жизни вообще, так и в судьбе Танабая Бакасова в частности? Если и впрямь так, то, право же, неисповедимы бывали пути проработок и поощрений, и соображения эстетические не в пример вульгарно-социологическим не предрекали их никоим образом. Мало того, что обнадеживающий финал не разработан художественно, — не так уж и оптимистичен на деле его дежурный оптимизм. Ну, восстановит справедливый секретарь Танабая Бакасова в партии, по заслугам взыщет с его гонителей и хулителей, новоявленных «манапов в кожаных паль-

то». Но ведь не снимет тяжести прожитых лет, что без остатка отданы в невозмещенный «залог будущего» — так и не сбывшейся счастливой жизни, «к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне». И не облегчит беспокойную, взыскующую совесть, то и дело погружающую в мучительные сомнения: «надо ли было» так ретиво раскулачивать соседей и родню, зная, что никто из них, умелых, крепких хозяев, кулаком не был, ради зыбких миражей колхозного рая, где все теперь «лезет по швам»? А может, ошиблись, не туда пошли, не той дорогой?

«...Нарисовать картину современной национальной жизни, киргизский национальный характер... воспроизвести не национальный «орнамент», а поставить существенные вопросы национального бытия, проникнуть в социальные конфликты и противоречия», — так раскрывал писатель замысел повести, задачи, которые ставил и решил в ней. В этом и видится ее главный творческий урок: благодаря основательной социальной оснастке повествования многотрудная история Та-набая Бакасова, не утрачивая самобытных национальных черт, обрела масштабы общенародные.

Так же органично приложима формула единства национального и интернационального к повести «Белый пароход (После сказки)» с той, однако, существенной оговоркой, что ее мифологическая образность несет на себе еще более броскую, выразительную печать национальной специфики, так как трансформирует эстетику и поэтику народного творчества. Но крушение, гибель мифа о Рогатой матери-оленихе подается в контексте не специфически национальных, а общезначимых философских, социальных, духовных проблем, катастрофического разлада идеала и действительности, драматического несоответствия в повседневной реальности человеческой жизни сущего и должного.

Разумеется, не легендой, не сказкой снимать разлад, устранять несоответствие, но они дороги как порыв и прорыв к прекрасному, которому не находится места в обыденной текучке бесцветных дней и лет, что так трудно, нескладно, запутанно проживают обитатели глухого лесного кордона в Сан-Ташской пади. Да и этот лучик света, ненадолго блеснувший сквозь густую, плотную тьму, угасает и исчезает с гулким эхом воровского выстрела в красавца марала — душевным сломом старого Момуна, раздавленного злой волей Орозкула, гибелью мальчика, уплывшего «рыбой по реке» в голубой простор Иссык-Куля, навстречу белому пароходу. Такой ценой оплачен кризис не столько древнего мифологического сознания, отступившего перед напором современной цивилизации, как истолковывали повесть некоторые критики, спрямляя и упрощая ее звучание, не календарно временное, но и не безвременно отвлеченное, сколько соци-

альных и нравственных идеалов народного благоденствия на обетованной земле правды и добра. Нахраписто теснит их, осиливает и изничтожает неотлучный, извечный спутник любых застойных времен — поощряемое торжество сытой плоти. Писатель мастерски передает его хаосом звуков «вальпургиевой ночи», в которую свершается не просто убийство сказки, свершается циничное и глумливое надругательство над естеством жизни, потребительски загнанной в тупиковое — бездуховное, безыдеальное — русло.

Так пришло трагическое завершение повести. Критика рецептурная, если и признающая трагедию, так только оптимистическую, не преминула встретить такой финал в штыки. Отвечая ей, Чингиз Айтматов вынужденно разъяснял вроде бы азы эстетической грамоты, но как быть, если они-то и отвергаются зачастую неусыпными стражами канонов социалистического реализма, которым нестерпимей всего в искусстве именно реализм, как, сдается, и реальный, а не идеальный (развитой, зрелый и т. п.) социализм — в жизни. «Показывая гибель мальчика в «Белом пароходе», — настаивал писатель, — я отнюдь не возвышаю зло над добром, а преследую цель жизнеутверждающую — через неприятие зла в его самой непримиримой форме, через смерть героя... Такова логика художественного замысла, имеющего свои, неподвластные автору принципы... У меня был только один выбор — писать или не писать повесть. А если писать, то только так».

И еще. Потому, по свидетельству писателя, не получился, перерос в повесть задуманный небольшой элегический рассказ-воспоминание, что замкнутый мир лесного кордона, где правил самодур Орозкул, тупое, мстительное ничтожество, настраивал не на элегию. Драма сломленного старика Момуна, трагедия обреченного мальчика вобрали в себя столько бытийных проблем, что воплощение их требовало больших повествовательных плацдармов.

В романе «И дольше века длится день...» Чингиз Айтматов еще шире раздвинул их, сопрягая быстротекущий нынешний день с веком, а переломный исход нашего XX века — со временами минувшими и грядущими. В соответствии с этим железнодорожный разъезд Боранлы — Буранный, затерянный в Сары-Озках, Серединных землях желтых степей, оказывается не малой точкой на карте мира, а его средоточием, едва ли меньшим по своему глобальному значению, чем «авианосец «Конвенция» — научно-стратегический штаб» паритетных космических исследований, дрейфующий в тихоокеанском просторе возле Алеутов на «строого одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско».

Глухой разъезд — не тихая обитель, отгороженная, отъединенная от мира вок-

руг. Бурный век гулко врывается в его обыденно примелькавшийся, размеренный, ничем внешне не выделяющийся, но исполненный скрытого драматизма день и неумолчным грохотом поездов, что мчатся мимо «с востока на запад и с запада на восток», и слепящим «огненным смерчем» ракетных стартов, чьи трепещущие сполохи света, «озаряя округу», устремлены «в темную, звездную высь». Этим «бушующим напряженным пламенем» высвечена фигура главного героя романа, в прошлом, как все любимые герои Чингиза Айтматова, фронтовика, а ныне железнодорожного рабочего Едигея Жангельдина, прозванного Едигеем Буранным. Через его «неприметную судьбу и скромное миросозерцание» писателю хотелось «поведать о масштабах нашей современности». Отсюда стремление «написать своего героя в многосторонних связях со всей нашей страной, со всем миром, более того — с космосом».

Верно замечено: не знай роман «И дольше века длится день...» художественной условности, в ключе которой выдержана космическая фантазия, мы, скорее всего, получили бы пусть добротный, но все-таки еще один вариант повести «Прощай, Гульсары!», благо что духовная родословная Едигея восходит преемственно к таким предшествующим героям, как Данияр из «Джамили», «первый учитель» Дюйшен, но особенно чабан Танабай Бакасов. Однако Чингиз Айтматов не из тех писателей, которым привычно довольствоваться самоповторами, без конца эксплуатировать однажды найденное. Размыкая действие сюжетно во времени и пространстве, космос придает повествованию новое философское качество, обретаемое в результате глубокого погружения художественной мысли в глобальнейшую из всех глобальных проблем современности — выживания человечества, спасения земной цивилизации, самой планеты от угрожающей им самоубийственной гибели. «Приходится думать и об этом. Человек должен думать обо всем, даже о конце света...» — программно заявил Чингиз Айтматов, комментируя свою гипотетически сконструированную, предельно заостренную «в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле». Представим себе, размышлял он далее, что с нашим миром произошло нечто неожиданное, непредвиденное, вплоть до встречи с внеземным разумом, контакта с иными мирами, и это стало «залогом благоденствия для человечества». Где гарантия, что оно, разъятое на враждующие лагеря, раздираемое социальными и идеологическими противоречиями, национальными и расовыми конфликтами, разделенное вековыми барьерами взаимного недоверия и непонимания, не совершит неправильного выбора, прагматически предпочтя вечности всего один миг — утилитарные «соображения предвыборной кампании или сиюминутного политического выигрыша»?

Космической фантазией писателя подсказано смысловое и образное завершение сквозной метафоры, многоступенчато развернутой по ходу действия. Ее начальное звено, исходный плацдарм — легенда о манкуртах, людях, у которых отнята память, которые лишены «понимания собственного «я», не знают ни своего рода-племени, ни даже имен отца и матери. Но оказывается, чтобы превратить человека в такое беспамятливое, нерассуждающее существо, совсем не обязательно прибегать к варварскому обычаю жестоких кочевников — жуаньжуанов. Чем не современный манкурт понаслышке эрудированный пустобрех Сабитжан, не иначе как в «высших интересах» государства грезящий о массовой манкуртизации общества — радиоуправляемых людях, низведенных до послушных роботов?.. А «кречетоглазый» следователь, обосновывающий противозаконный арест Абуталипа Куттыбаева философией и моралью манкуртизма: «В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было! Важно вспомнить, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать»? (Как ни пародийно звучит это в романе, а, по свидетельству историка В. М. Кулиша, почти так же, как персонаж Чингиза Айтматова, всерьез рассуждал в 60-е годы начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал А. А. Епишев: «Там, в «Новом мире», говорят, подавай им черный хлеб правды, а на кой черт она нам нужна, если она не выгодна»)... Или однофамилец этого прилежного выученика сталинско-бериевской школы — лейтенант Тансыкбаев, слепо повинующийся букве бесчеловечного «приказа свыше» и не дающий себе труда самостоятельно поразмыслить, что в нем «правильно, что нет»? Сопоставим: на отчужденный «приказ свыше» ссылается и подросток, воспитанный на доносительском комплексе Павлика Морозова: «с холодной ясностью жестких глаз» обвиняет он в предательстве школьного учителя, который бежал в войну из фашистского концлагеря и воевал в отряде югославских партизан. «Недопустимо сдаваться во вражеский плен», — повторяет он со слов невоевавшего отца: советский воин обязан был застрелиться. (Снова невольная аналогия: недалеко от вымышленного подростка ушли доподлинные полковники в отставке, от чьих судов-пересудов миллионные жертвы фашистского геноцида приходится защищать и по сей день...) Такова вторая ступень метафоры, ее последующее звено, представляющее разномастные типы манкуртов, родовой чертой которых выступают безмыслие и бесчувствие.

И, наконец, последняя ступень, третье, замыкающее звено. В плотном окружении «боевых ракет-роботов» сама Земля

добровольно уподобляется легендарному манкурту, чей череп сдавлен сыромятной верблюжьей кожей. Операция «Обруч», осуществленная в рамках «нашего земного стереотипа мышления», обрекает планету на глобальную самоизоляцию, необратимо приведет «к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуются тысячелетия...»

С публикацией романа «И дольше века длится день...» слово «манкурт» прочно вошло и в литературный, и в повседневный обиход как знак, символ беспамятства. Неудивительно: писателем, помимо всего, проницательно предугадано, распознано и такое социальное явление наших дней, как охранительство, пропитанное психологией и моралью сталинизма. В комментариях к роману Чингиз Айтматов назвал тему «культ личности» не новой для себя. Действительно, он не раз обращался к ней прежде наперекор негласным ограничениям и прямым запретам, возраставшим год от года. Поэтому если в повести «Прощай, Гульсары!» она давалась еще открытым текстом, хотя несколько отретушированным, то в «Белом пароходе» не случайно упрятывалась в подтекст, лишь опосредованно указывающий на исторические корни и социальную природу зла, которое персонифицировал Орозкул, мечтая дорваться до большой власти и сыграть, «как сытый конь на овсе». (Как показал пример Т. Усубалиева, занимавшего в пору действия повести пост первого секретаря республиканского ЦК, мечта не такая уж беспочвенная и желание не из несбыточных). Отсюда его тоска по «времечку», когда «головы летели — и никто ни звука»...

Вновь открытым текстом, прямым названием античеловечных и антинародных явлений тема сталинских преступлений зазвучала в романе «Плаха». Действующий в нем Обер-Кандалов не в пример предшественнику Орозкулу — оба одного поля ягоды — в намекающем подтексте уже не нуждается и породившую его эпоху славословит без каких бы то ни было околичностей. «Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется?» — угрожает он Авдию Каллистратову, чье праведничество ему, как кость в горле. Не что иное, как психология безнаказанного насилия, агрессивная мораль вседозволенности выплескиваются его неутраченной готовностью перевешать «всех, кто против нас, и одной вереницей весь земной шар, как обручем», обхватить, дабы «никто ни единому нашему слову не сопротивился, и все ходили бы по струнке». Такую агрессию сталинизма заново провоцировали и стимулировали условия застоя, апогей которых дан в ужасающих картинах варварского надругательства, кощунственного глумления над природой. Земной шар потрошат, «как тыкву», и каждый усердствует во что горазд. Так обнаруживаются стыки

между отдельными частями романа, которые лишь на первый взгляд кажутся сюжетно разрозненными...

Сопрягая «антикультовские» мотивы обоих романов Чингиза Айтматова, можно определить сталинизм как намеренную манкуртизацию общества, из самосознания которого усиленно вытравлялись память истории, ее знание и чувство. Это не могло пройти и не прошло бесследно для наших дней, оставив реликты или самоуспокоенного беспамятства, или комфортного нежелания помнить. Не воспринять иначе сетований авторитетного критика на «усталость» от прозы, слишком якобы увлеченной обличением сталинизма. Разве все «белые пятна» народной истории уже восполнены? Все ее драмы высказаны?

Нет нужды возвращаться к недавним спорам о романе «Плаха», дозиметрически выверять соотношение его очевидных обретений и досадных потерь. Это уведет в сторону от разговора о главных вехах творческого пути писателя, к которым романы «И дольше века длится день...», «Плаха» принадлежат так же бесспорно, как раньше принадлежали повести «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход». И обречет на невольное повторение многого из того, о чем уже доводилось рассуждать на посвященном «Плахе» дискуссионном «круглом столе» журнала «Вопросы литературы» (1987, № 3). Во избежание того и другого остановлюсь всего на одном моменте, который представляется важнее других, так как указывает на органичную сращенность в творчестве Чингиза Айтматова прозы и публицистики, связанной, в частности, с общественной деятельностью инициатора международного Иссык-Кульского форума. Особо примечательна в этом отношении памятная статья «Разум в ядерной осаде» («Правда», 1985, 4 февраля): она проросла из романа «И дольше века длится день...» и, в свою очередь, предвосхитила «Плаху». Одним из первых Чингиз Айтматов отстаивал в ней новое мышление — политическое, историческое, художественное, восставал против идеологических стереотипов, в силу которых таким понятиям, как пацифизм, абстрактный гуманизм, всечеловечность, придавался неизменно бранный смысл. Кто не с нами, тот против нас? По-иному рассудила, откорректировала, повернула история: кто не против нас, тот с нами. Каждый с нами, кто, как и мы, за жизнь на планете. И нет ныне более неотложного веления времени, как «переход от «корпоративного», блокового сознания человечества к глобальному восприятию единства жизни на Земле, к планетарному мышлению, ориентированному на общечеловеческие нравственные, вечные духовные ценности бытия.

Необходимый прорыв к ним современной литературы и знаменует творчество Чингиза Айтматова.

ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ...

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Прочитав подзаголовок, легко обвинить автора в заимствовании: под такой рубрикой, как известно, в «Литературной газете» подчас публикуются статьи о писателях.

Однако при всем уважении к собратьям, смею думать, что применительно к литераторам, часто уже не раз служившим предметом критического анализа, название рубрики не лишено оттенка то ли искусственности, то ли претенциозности, то ли восторженного придыхания: дескать, так велик имярек, столь многообразен, что дай бог хоть какие-то черточки его облика запечатлеть, а не посягать на целый портрет!

Применительно же к читателю эти слова как бы сигнализируют о «положении дел» — о неизученности, приблизительности наших представлений об этом многоликом «адресате» художественной литературы.

Сто с лишним лет назад, в разгар реакции Салтыков-Щедрин предложил в «Мелочах жизни» свою невеселую классификацию читателей: читатель-ненавистник, солидный (слово это как бы заключено в незримые кавычки) читатель, читатель-простец и читатель-друг.

Конечно, ныне руки так и чешутся вывести на бумаге, что, дескать, эта «табель о рангах» безнадежно устарела и все заполонил читатель-друг, решительно потеснив даже наивного простеца... Этакий давний зуд, сохранившийся еще с тех времен, когда, если верить тогдашним статьям, читатели больно уж дружно восторгались одними произведениями и столь же стройными рядами отворачивались от других!

Впрочем, если вспомнить, то и в оные времена находившийся отнюдь не в чести Есенин читался и слушался с упоением, да и более скромный «опальный» автор в самый разгар гремевших над

Ежели в стране уже образовалась восприимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться к трепетаниям человеческой мысли, но и свободно выражать свою восприимчивость, — писатель чувствует себя бодрым и сильным.

М. Е. Салтыков-Щедрин

его головой критических гроз мог получить драгоценную читательскую поддержку, как то очевидно из недавней публикации в «Литературной газете» писем И. Ефимова и М. Зверева к Василию Гроссману.

Гулкий словесный монолит: «наш многомиллионный читатель», который то ликующе, то грозно звучал со всяких критических колоколен, постепенно как-то озадаченно примолк, словно смущенный прямым неллицеприятным словом поэта, ставшего в годы войны поистине народным любимцем:

Я так обязан той подмоге
Великой — что там ни толкуй, —
Но и тебя не прочу в боги,
Лепить не буду новый культ.

Читатель, снизу или сверху
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже — всякий на поверку,
Бываешь — мало ли какой.

Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец.
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец.

И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор.
И сам начетчик
И цитатчик,
И не судья,
А прокурор.

Почти тридцать лет минуло с тех пор, как это написано Твардовским, и странным было бы, если бы все пережитое нами за это время не сказалось на читательском облике — или обликах. Признаемся: всякое случалось, от чего он мог и взыграть духом, и упасть оным же. Перепадали ему и величайшие духовные богатства, но нередко предписывалась и непонятная суровая диета («Ах, то-то

нужно, то-то можно, а то-то вредно для тебя!» — насмешливо передразнивал Твардовский заботливую в этом отношении «маменьку-печать»). И снова в одних случаях от читателя требовалось восторженными толпами высыпать на литературную улицу, а в других — «стихийно» негодовать на книги... которых не читал.

...Ах, как опять привычно тянет разлететься пером: «И только после Апрельского пленума...», не стыдясь так же заболтать этот оборот речи, как заштамповали в десятках и сотнях статей и монографий другой: «Только после Великого Октября...», применяя его где надо и где не надо!

Что, родился три года назад другой, совсем новый читатель? Нет, разумеется, если не считать естественного возрастного прироста — прихода в ряды читателей вчерашних «несмышлennyшей».

Но, право же, читатель, который был «в наличии» и до означенного рубежа, с особым чувством мог бы повторить нынче пушкинские слова:

...Много

переменилось в жизни для меня.

Вам уже хочется на свой лад продолжить цитату: «И сам... переменялся я...» Но задумаемся: стоит ли так торопиться?

Как взглянуть в лица сегодняшних читателей? Провести соответственный опрос? Делается и это. Но вот буквально на днях один из социологов предупреждал: «Опросы эти принимаются за форму истинной демократии. А на самом деле — именно в силу низкого уровня профессионализма (производящих его. — А. Т.) — сплошь и рядом оказываются формой манипуляции общественным мнением» («Советская культура», 1988, 30 августа).

И вот по старинке «грудю писем разбираешь», но только совсем не такую, какую можно уподобить остывшей золе, а пышущую всем жаром наших сегодняшних проблем, забот, споров, пусть в данном случае — на первый взгляд — чисто литературных: журнальную почту.

У отдела критики «Знамени» она своя, у других журналов, наверное, существенно иная, у самих писателей — третья, но похоже, что есть и общие черты, которые я определил бы словами Алеся Адамовича: это «красноречивая, неожиданная и спорящая» почта.

С. Гайко (г. Серов Свердловской обл.) пишет, что «рад, что дожил до резких перемен в журнальной литературе». «Какое счастье, — вторит ему И. Сахарова, — что мы живем в такие годы, когда можно читать произведения, содержащие идеи, мысли, факты, столь долго бывшие под запретом». «...Настолько все интересно, смело, информационно, совпадает со своим выстраданным», — словно бы продолжает ее мысль учитель Б. А. Дехтяр (г. Горький), в прошлом трижды раненный пехотинец.

Некоторые читатели (М. А. Чернова из Уфы, ведущий инженер НИИ моск-

вич И. М. Каримов) пишут в редакцию впервые в жизни. Раньше такой потребности не возникало, а вот теперь... «Присоединяюсь к т. А. Нуйкину, — говорится в письме москвички Н. В. Черниковой, — в том, что сейчас такое время, что отмолчаться просто невозможно...»

Говоря о почте только одного, критического отдела журнала, сразу же надо отметить ее важную особенность. Содержание множества писем далеко выходит «за рамки» этого рода литературы. И оценки статей, вызвавших читательские отклики, прямо пропорциональны степени соотнесенности критических суждений с проблемами самой жизни, волнующими пишущих.

«Весьма отрадно, — делится своими размышлениями Н. Ф. Андрияшин из г. Чернь Тульской области, — что с появлением произведений, некогда «отсроченных» к публикации, стали появляться и критические материалы, читаемые с не меньшим интересом, чем сами романы, повести, поэмы... Эти высказывания захватывают своей неотразимой логикой и вызывают у читателя свои «размышления по поводу»...»

Значительный интерес вызвали обзоры и статьи Игоря Дедкова, Игоря Золотуского, Натальи Ивановой, Аллы Латыниной, Светланы Семеновой, Сергея Чупринина.

Но особенно характерна в этом смысле читательская реакция на статью Юрия Карякина «Стоит ли наступать на грабли?» (1987, № 9), на которую откликнулось более двухсот человек.

Преподаватели МЭИ О. В. Зимина и А. И. Кириллов называют статью «долгожданным образцом настоящей публицистики», похожие оценки есть и во многих других письмах. «Она из тех, — считает москвич И. Борисов, — что пробуждают от спячки и заставляют душу работать... учат самостоятельно мыслить».

Помню, как весной этого года в колхозе под Ростовом-на-Дону обсуждали роман Бориса Можаева «Мужики и бабы», страстная полемика из-за которого с неким Инкогнито вызвала к жизни карякинскую статью. Подобных мероприятий на нашей памяти было много, и не секрет, что часто они проходили — да и проходят еще — скучно и вымученно. На сей раз роман явно задел людей за живое. Были, правда, и выступления прежнего толка, но тон задавали иные, причем ораторы делились на два разряда.

Нет, вы не угадали — не на сторонников и противников (последние то ли не пришли, то ли предпочитали отмалчиваться), а на тех, старших, которые подтверждали истинность изображенного писателем, порой вдаваясь в собственные воспоминания, и молодежь, благодарившую его за то, что рассказал, как оно все было.

Думается, что это не только «местные» разновидности читателей. Те «уроки правды», о которых страстно говорится с са-

мых высоких трибун и которые, скажем без ложной скромности, дает наша литература, как возвращенная читателю, так и родившаяся в самое недавнее время; раскрепощают и сознание людей, и их память, «легализуют» то, что до сей поры таилось под спудом и только растравляло душу.

И статья Ю. Карякина вызвала отклики людей самых разных поколений — начиная с современников изображенного в можаевской книге (москвичка Л. И. Серебряная и др.) до двадцатилетней студентки из Подольска М. С. Ныровой (в этом смысле, кажется, оказалась неправа Н. В. Пушкина из Евпатории, которая в своем подробном и взволнованном письме считала, что «совсем юные» статью не прочтут).

Участник Великой Отечественной войны Б. Б. Медовой (Московская область) радуется тому, что карякинская статья «беспощадно взламывает коросту фальши». «Большое спасибо Вам за мужество, за то, что вышли на открытый бой...» — пишет М. А. Кытманова, рассказывающая о трагических судьбах «мужиков и баб» из числа ее собственной родни.

Иные из подобных писем даже невозможно назвать отзывами на прочитанное. Это целая исповедь, вызванная им и достигающая огромного драматизма.

«Решила написать и о своей судьбе, — пишет Юрию Карякину Н. К. Мочалова из Кургана. — ...Восемь человек семья, еще в 1930 году. Но высокие налоги выгнали нашего отца из дома... Отец уехал работать в Сред. Азию. Нас раскулачили и выгнали из дома зимой... Садиться на подводу не разрешали — шли мы пешком до станции Курган, 15 км. Мама несла на руках маленьких... Подошел состав из телячьих вагонов, нас погрузили в вагоны, заперли... По дороге люди умирали, трупы на остановках в степи (в городах не останавливались!) выбрасывали!..»

На Урале после смерти родителей детей увезли в детский дом, где рассказчица потеряла еще и брата с сестрой.

«Через эту память о прошлом мне проходить страшно!» — признается Н. К. Мочалова и, обращаясь к адресату, заканчивает фразой, от которой сжимается сердце: «Простите, Ю. Ф., что отняла время!»

«Хочется выговориться. Уж извините меня. Вот навязалась... — «вторит» и М. С. Сапкова из Мариуполя, рассказывая о погибшем отце. — ...Ну, теперь уже все. Сколько времени у Вас отняла!»

«Понимаю, что об этом писать не стоит, — прерывает себя и И. Г. Гентош (г. Советск Калининградской обл.). — Таких искалеченных судеб миллионы... Просто накипело... Простите за длинное письмо».

И, не удержавшись, добавляет в постскрипуме: «Я все думаю, что, может быть, станут составлять списки безвинно погибших, так вот имена моих:

1. Отец — Подшивалин Георгий Васильевич.

2. Бабушка — Тюфекчиева Маргарита Михайловна.

3. Дядя — Изумрудов Константин Александрович (его журналистский псевдоним — Рудов)».

Карякин-то, да, надеюсь, и большинство из нас на это «отнятое время» никак не посетует, однако за всех, увы, поручиться нельзя. На днях в очереди случилось услышать, как женщина жаловалась: «Огонек» за весь год прочла и так тяжело сделалось, так тяжело! — и в интонации звучало осуждение: зачем об этом столько писать?!

Не знаю, кто она, какова ее биография. Но вот знакомая портниха: «Мне лично и моим близким Сталин ничего плохого не сделал!» Доктор экономических наук, упрямо сжав губы, тоже возмущается прессой, которую-де теперь и читать-то не хочется.

Вот З. В. Ярцева (г. Воскресенск Московской области) негодует: «...запоганили литературу, чего Вы лезете со своими жертвами... и голову морочите молодежи». Ленинградцу Г. Ф. Григорьеву тоже не по сердцу «слезоточивая духовная пища». А Е. В. Копнов из Луцка клеймит «фашистским преступником» героя повести Даниила Гранина «Зубр», возмущается реабилитацией Чаянова, фамилию которого по неведению так же искажает («Чуянов!»), как и идеи этого ученого, и облик солженицынского Ивана Денисовича, приписывая последнему... хитрость и злобу.

«И сам... переменялся я»? Или, скорее, отчетливее проявился?

Проявился, когда исповедуется, выкладывая, «как на духу», все наблевшее за десятки лет.

Проявился, когда от него начинают ускользать — не власть даже («То ли еще будет! Ой-ой-ой»), не положение или достояние, а «всего-навсего» душевное равновесие и давно привычные представления. Они, было, и раньше заметно пошатнулись, но потом, в эпоху застоя, снова устоялись. И вдруг — на тебе, перестройка! И целый поток обнаружившихся, беспокоящих фактов и заново пересмотренных репутаций!

Молодым, пожалуй, проще, даже если они, как вспоминает М. А. Чернова, «в 16—17 лет с опухшими от горя глазами дежурили у портретов Сталина в мартовские дни и ночи».

Впрочем, многие из них тоже ведь росли в семьях, где, по выражению Г. Л. Цесарской, родившейся в год его смерти, «призрак пережитого стоял рядом»: «Мать всегда повторяла: «Промолчи, я прошу тебя...» Это самое «промолчи» так и стоит в моих ушах по сей день», — горько пишет она.

Да уже и на собственном пути тем, кто не жил в сталинскую эпоху, приходилось болезненно сталкиваться с ее «продуктами» вроде карякинского Ин-

когнито, по-прежнему выступавшими, по выражению В. Ш. Кривоноса из Ельца, «во всеоружии демагогии, лжи и вседозволенности». Конкретные примеры подобных столкновений приводят в своих письмах и москвич, инженер лесного хозяйства Д. Д. Соколов, доктор экономических наук, профессор В. Шаститко, писатель Михаил Чванов (Уфа).

«Вы-то объявили его реликтом, — обращается к Ю. Карякину москвич О. И. Горбанов, — а он, как видите, прекрасно размножается в любых условиях». А двадцатисемилетний Владимир Онищенко предупреждает и против «молодого инкогнитенка, который сейчас, здесь, рядом только постигает азы своей будущей «работы».

«Думаю, что нас ждет долгая и очень трудная дорога на пути к подлинной демократии, справедливости и процветанию», — сказано в письме из Молдавии, и, увы, горькой иллюстрацией этой мысли является уже то, что сам автор письма поостерегся поставить под ним свою подлинную фамилию, равно как и ростовский студент, признающийся: «у меня слишком мало сил, чтобы бороться с разными Инкогнито, которые меня учат».

Каково же приходится нынче тому, кого молитвенное затверживание «Краткого курса» сопровождало чуть ли не всю долгую жизнь, кто с полнейшей искренностью распевал с многомиллионным хором: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет»? И вот теперь ему предлагается осознать, что слава — сама по себе, а Сталин — сам по себе, что «нашей юности полет» именно по его, сталинской, или возвращенной им системы, вине слишком часто трагически обрывался в тюрьме, как у комсомольского вожака Александра Косарева и его сподвижников, или в колымских лагерях, как у романтических воронежских ребят, начавших в послевоенные годы прозревать истину («Черные камни» Анатолия Жигулина)...

Не надо истошно клеймить людей, которые с известным недоверием смотрят на тех, кто незамедлительно и лихо выполняет поворот кругом. «Слова о перестройке и новом мышлении, — иронически замечает по сему поводу и москвич В. Чеботарев, которого никак не упрекнешь в «консерватизме», — так же легко слетают сегодня с уст иных литераторов, как несколько лет назад — речи о развитии социализма и небывалых успехах». Известный артист З. Гердт также упоминает о «персонах», наподобие Инкогнито, которые не столь прямолинейны и «сегодня славно пристраиваются и к Перестройке, и к Гласности, и к Демократии с таким выражением лица, будто только этого-то они и ждали!..»

Думается, что и здесь надо отдать предпочтение людям, которых советовал особенно ценить Ленин за то, что ничего не сделают против совести и ничего не примут на веру.

Можно даже в чем-то понять москвича

П. А. Павлова, который решил сличить, что писал такой-то в одну пору и что — в другую, тем более, что это на наших глазах проделывают и профессиональные критики, попрекая позднего Юрия Трифонова написанными в конце «сороковых, роковых» годов «Студентами», а автора «Детей Арбата» — «Кортиком» и «Бронзовой птицей», тоже несшими на себе отчетливую печать времени с его предрассудками и заблуждениями.

Итак, и наш читатель обнаружил поэта-«перерожденца», который, «когда можно было, прославлял И(осифа) В(иссарионовича)» и сочинял «послушные стихи», а «когда ему разрешили, стал клеймить» его.

Поэта, чье творчество, следовательно, надо «определять... как хамелеонство», поскольку там «во всей красе отразились приспособленчество и беспринципность» автора, чья «используемая лишь для торжественных песнопений лира, не выдержав триумфального брэнчания, развалилась, но очень быстро, по приказу восстановилась и зазвучала в полную мощь вплоть до особого распоряжения».

Ставлю голову об заклад, что вам не догадаться, о ком это все написано! Об авторе «Василия Теркина» и «Дома у дороги», а поводом для письма послужила поэма «По праву памяти», для компрометации которой П. А. Павлов и цитирует стихи Твардовского 30—40-х годов, где фигурирует имя Сталина.

Что ж, разные слышал поэт на своем веку упреки, начиная с «подкулачника»! Хранилась в его архиве даже копия статьи одного, тоже ныне покойного поэта (к счастью для репутации последнего, не напечатанной), где Твардовскому, в частности, вменялось в вину то, что в «Василии Теркине» Сталин был ни разу не упомянут. Вспоминается и оскорбительная надпись поперек газетного листа со знаменитой главой «Так это было» (из книги «За далью — даль»), в которой Твардовский мучительно пробивался к осознанию, как же все это случилось, и с себя самого вины отнюдь не снимал, с горячностью и горечью восклицая:

И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой!

...Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

Можно было бы задать П. А. Павлову тот же вопрос, который читатели из Томска Н. В. Кашеев и Л. И. Уханов в аналогичном случае задают критику Владимиру Бондаренко по поводу Анатолия Рыбакова: «Приспособленец ли тот, кто расстался с заблуждениями, когда ознакомился с ранее недоступными данными?» — с той естественной оговоркой, что выражение «ознакомился с... данными» лишь в очень приблизительной мере отвечает тому, что доводилось испытывать людям по мере драматического

познания многих обстоятельств минувших десятилетий.

Вот уж поистине:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.

Позвольте, позвольте, — могут заступиться за моего «оппонента», — почему же, однако, писатель не был потрясен много ранее, еще тогда, когда на «океане» гудела буря коллективизации?! И разве не ее восславлял он в «Стране Муравии»?

Не так-то все однозначно и просто... Это уж мы, критики, литературоведы, преподаватели, по большей части трактовали поэму Твардовского как развеселую байку об эдаком недотепе, бегающем по всей стране от своего счастья, уготованного ему колхозной жизнью. Однако этот сюжет, подсказанный поэту А. Фадеевым, привлечшим его внимание к одной фабульной линии панферовских «Брусков», во многом впитал у Твардовского и драматизм происходившего, сквозящий в «Стране Муравии» то тут, то там, начиная с первой же картины переправы, которая в чем-то выглядит чуть ли не символически:

Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком,
Уполномоченный спешит,
И баба с сундучком.
Паром идет, как карусель,
Кружась от быстрины.

Перечитайте и сказку, слышанную Никитой Моргуновым в пути, — о том, как жили дед и баба и вдруг «подняла волна избушку, как кораблик понесла» да и вынесла на колхозную усадьбу: «Тут и стой...»

Сказка ложь, да в ней намек... И вряд ли вправе мы всерьез пенять на то, что лишь в черновиках поэмы остались другие варианты участи подобных избушек:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Тот сам сбежал, того свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.

Увы, то же самое «половодье», которое, как и семью Н. К. Мочаловой, далеко унесло близких поэта, несравненно мягче, но достаточно настойчиво влекло его поэму к вполне благополучному финалу. «Тут и стой...»!

И ныне только намеренно можно не различить в последней, предсмертной поэме Твардовского сдержанных, но горьких покаянных нот — и в портрете отца-«кулака» с его наработавшимися руками, и в описании своего тогдашнего самоощущения, когда «ту боль, что скрытно временами... теснила нам сердца», «глушили мы громами рукоплесканий в честь отца» — творца коллективизации.

...А все его подлинно великие создания, и поэмы — от «Теркина» до ныне напечатанной, и стихи — от «Я убит подо Ржевом» до «Я знаю, никакой моей вины...», о которых и помину нет в этом читательском письме, — разве это не многолетнее противоборство с парадностью, бездушием, казенщиной, беспамятством, глухотой к народным жертвам, болям, нуждам?

Так почему же мишенью для обвинений избран именно Александр Твардовский? Не потому ли, что «кровоточащие строки» (выражение ветерана войны, одессита А. М. Баренбойма) его поэмы подают пример того безоглядного искреннего покаяния за ранее не понятое, пример труднейшей и в то же время очистительной внутренней духовной работы, которой следовать боязно и непросто, которая требует полной открытости и немалой отваги?

Так не проще ли «взять под подозрение» того, кто к ней призывает? («...Извините, но вещи надо называть своими именами», — как говорит, конечно, по иному поводу, сам П. А. Павлов).

Не стоит, наверное, примеривать к читателям этого рода какое-либо из давних щедринских определений. Я скорее рискнул бы назвать их сердито-растерянными и вымещающими это свое состояние на его «виновниках», на тех, чьи мнения, высказывания, произведения особенно сильно затронули, взбудоражили, лишили «психологического комфорта».

При всей полярности подобных писем и письма Н. К. Мочаловой это лишь разные отголоски одних и тех же огромных сдвигов в общественной жизни. Только в одном случае это чистейший голос потрясенной возможностью высказаться вслух человеческой души. А в другом...

Думаю, что там к понятной растерянности, вполне естественной, когда пошатнулось столь многое, чему прежде слепо верил, присоединяется и досаднейший звук некоего идеологического «органчика», прижившегося за десятилетия «культы» и «застоя».

Помните этот сюжет из щедринской «Истории одного города»? В голове у градоначальника оказалось устройство, исполнявшее лишь две «музыкальные пьесы»: «Раззорю!» и «Не потерплю!», но вот однажды оно испортилось, и градоначальник, так сказать, потерял дар речи, «...внутри у него зашипело и зажужжало... «П...п...плю!» — наконец вырвалось из его уст...»

И новейшие органчики были в свое время отменно отлажены и, не затрудняя своих обладателей, знай себе наигрывали вошедшие в моду мелодии, но в «оттепель» как-то отсырели и заржавели, и хотя потом их снова старались отремонтировать, теперь они и вовсе постоянно сбиваются на «П...п...плю!».

Я подозреваю, что именно органчик, а не кто иной принялся за старое

устами кандидата философских наук В. А. Юдина (г. Калинин) и москвича В. П. Панова, в одном случае заученно твердя по адресу статьи В. Кардина «На войне как на войне», что она «безоговорочно перечеркивает все и всяческие наши достижения» и «возводит клевету на лучших представителей чекистской школы Дзержинского», а в другом — после аналогичных обвинений повести «Пирамида» — не удерживаясь и от воздыханий о добрых, старых «оргвыводах»: «...хорошо бы сегодня Ю. Аракчеева посадить хотя бы на год в тюрьму за эту полную клеветы... повесть».

(Бывают, надо заметить, и такие находчивые или оригинальные органчики, которые клянутся и божатся, что, выговорив: «П...п...плю!», имели в виду не что иное, как «плюрализм», и ничего более!)

Чрезвычайно разноголосый «шторм» вызвала статья Е. В. Анисимова «Феномен Пикуля» — глазами историка» («Знамя», 1987, № 11). Ее в ряде писем решительно поддержали коллеги, дополняя даже собственными развернутыми отзывами о тех книгах писателя, анализ которых в статье отсутствует (москвич, доктор исторических наук, профессор Е. Д. Черменский прислал разбор романа «У последней черты»). Ленинградец А. Л. Качурин, скромно оговариваясь, что он — «типичный дилетант», в свободное время занимающийся историей второй мировой войны, высказал несогласие с более «снисходительным» взглядом Е. В. Анисимова на роман «Реквием каравану PQ-17». Некоторые из замечаний «дилетанта» достаточно остры, — к примеру, о том, что Уинстон Черчилль «гораздо более сложная фигура, чем Карabas-Барabas из детской сказки».

Любопытно, что немалое число писем от «простых» читателей начинается сходным образом: «Наконец-то!» (З. И. Муратова из Московской обл., Г. К. Цверева из Бокситогорска, москвич Б. А. Алексюткин, А. Е. Лимановский из Сызрани, С. А. Гайко). Похоже, что безапелляционное утверждение Сергея Воронина в июльском номере журнала «Молодая гвардия» за 1988 год, что «наш многомиллионный читатель (старый знакомый оборот... — А. Т.) — неизменный поклонник его (В. Пикуля. — А. Т.) творчества», — есть юбилейное преувеличение.

Однако если Е. Д. Черменский довольно наивно полагает, что статья Е. В. Анисимова уже сыграла определенную роль в том, что недавний «бесспорный лидер читательских предпочтений», судя по данным, опубликованным в журнале «Литературное обозрение» (1988, № 1), переместился в конец первой десятки, то более трезвые читатели (например, семья Кубриных из Зеленогорска, для которой статья стала «лучшим подарком») как раз сожалеют о том, что она вряд ли даже дошла до массы читателей В. Пикуля.

Многие читатели весьма поддерживают мысль о необходимости заполнить тот «вакуум» в литературе об истории нашей родины, которым в известной мере и вызван означенный «феномен», когда романы В. Пикуля, «как мороженое в жаркий день — нарасхват», по меткому выражению Т. А. Якимкиной (Куйбышев). (Утверждает же волгоградец И. Г. Митрофанов, что «познавать историю по Пикулю — и то хлеб!»)

«Дайте интересующемуся читателю прочитать Ключевского, Соловьева и других историков... — пишет радиоинженер Н. Пронин (Москва). — 16—20 томов, пожалуйста, — я заплачу вперед, хотя и не имею огромных денег (220 р. и двое детей). Что я могу ответить на вопросы сына 14 лет и дочери 13 лет по истории России, если сам знаю чуть больше школьной программы?»

Но, разумеется, читатели, для многих из которых В. С. Пикуль сыграл роль просветителя, вступаются за него, причем нередко в самых решительных выражениях.

«Уж кто-кто, а наши историки должны помалкивать до тех пор, пока не напишут что-либо вразумительное об истории России, об истории СССР», — воинственно заявляет москвич А. Н. Соколов.

Ох, уж эта привычка к «суммарным» оценкам! Так и тянет осведомиться, читал ли автор письма хотя бы труды С. Б. Веселовского или А. А. Зимина, не говоря о «присутствующих» — ныне здравствующих? Или эта размахистость все от того же, о чем демонстративно пишет И. Г. Митрофанов: «из плеяды историков знаю только Пимена (по Пушкину)»? Иначе трудно было бы так легко отмахнуться даже от сочинений Соловьева и Ключевского: «...ведь эти истории написаны когда и в угоду кому?» (А. Н. Соколов).

Что касается В. И. Макарова (г. Красноармейск Московской обл.), то он заявляет: «редакция вместе с автором (статья. — А. Т.) нанесла мне и десяткам миллионов (так! — А. Т.) читателей произведений В. Пикуля оскорбление, назвав нас обывателями».

В самом деле, в недалеком прошлом причины тех или иных читательских или зрительских пристрастий слишком часто прямо сводились к обывательским вкусам и потребностям. (Помнится, как при очередном таком авторитетном устном разъяснении Алексей Сурков не выдержал и подал реплику: «Что-то больно уж много обывателей развелось!»)

Впрочем, В. И. Макаров приводит и совсем свежий пример — слова из нашуевшей статьи В. Горбачева в «Молодой гвардии» (1987, № 7) о том, что журнал «Огонек» «как бы сменил прежнего серьезного читателя на бесшабашного, немного бездумного... увлеченного не размахом перестройки, а лишь ее «разоблачительной» стороной, увлеченного модой, «развлекаловкой»...»

Припомнишь время, когда «Огонек»

кипами лежал чуть не по всем киоскам, и подивисься: да неужто тогда была нехватка «серьезных» читателей? Или все же дело в другом — в том, что тогдашний журнал был совершенно под стать недавнему застою времени, откровенно обслуживал интересы писательской «верхушки» и самого главного редактора — А. В. Софронова, а если с кем и воевал, то с «Новым миром» Твардовского, с Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом, да и с любым возмутителем болотного спокойствия и показного благолепия?

Резкая перемена, происшедшая с журналом, привлекла к нему внимание самых разных читательских слоев, а в том числе, вполне возможно, и тех, кто способен воспринимать любое острое критическое выступление исключительно как скандал. Что ж, ведь и в читательской семье не без уroda...

Вот и Е. В. Анисимов писал о читателях В. Пикуля, что «среди них немало обывателей». Отсюда, ей-же-ей, бесконечно далеко до причисления всех их скопом к этой категории, а тем более, как то выходит у В. И. Макарова, к «лицам с низменными страстями, представляющими общественную опасность».

«Я вовсе не призываю громы и молнии на голову В. С. Пикуля», — пишет резко отрицательно относящаяся к его творчеству Анита Рябчун (г. Волжский), но считает, что оно «нуждается в серьезной критике и анализе».

Четко выразил подобное же настроение москвич С. А. Красносельский:

«Надо бороться не с Пикулем, а с «феноменом Пикуля», с историческим бескультурьем... Ведь мы при этом не Пикуля побиваем, а историческое мышление (и художественное, добавил бы я. — А. Т.) формируем, заставляем людей сравнивать и думать».

На этой «ноте», по-моему, и должен бы спор о Пикуле идти в дальнейшем.

Крайне бурной была реакция и на выступления Юлии Друниной и Л. Лазарева («Знамя», 1988, № 2), критиковавших статью Станислава Куняева «Ради жизни на земле» в «Молодой гвардии» (1987, № 8).

Впрочем, если бы все решалось на основе «большинства голосов», то авторам статей в «Знамени» оставалось бы только принимать поздравления: изъявлений (причем весьма темпераментных) сочувствия и благодарности им было в почте намного больше, чем возражений.

Не будем, однако, торопиться, тем более что пишущий эти строки сам «лицо заинтересованное», поскольку тоже полемизировал с куняевской статьей («В «Гайд-парке», «Юность», 1987, № 12) и в недавнем ответе «пострадавшего» («Молодая гвардия», 1988, № 7) объединен со «знаменскими» авторами.

В нескольких письмах, пришедших в редакцию «Знамени», высказано подозрение, что Юлией Друниной и Л. Лазаревым «движет просто неприязнь к Ку-

няеву» (сотрудник отдела региональной экономики СО АН СССР М. Л. Беляев, Иркутск), здесь «сводятся какие-то личные счеты» (инженер Э. А. Иванова, г. Львов).

С этими мнениями в известной степени солидаризировалась и критик А. Латынина в статье «Колокольный звон — не молитва» («Новый мир», 1988, № 8).

А. Латынина усматривает причину «дружного взрыва негодования» куняевской статьей исключительно в «переводе» ее содержания «с языка критики на язык окололитературных сплетен» и игнорировании сделанной в ней «попытки разобраться в идеологии, питавшей отряд «высокоодаренных» (как замечает Куняев) поэтов, вскормленных на идеях III Интернационала и эти идеи в своем творчестве воплощавших».

Однако в чем упрекался С. Куняев, например, в моей статье? Поскольку читатель «Знамени» совсем не обязательно одновременно и читатель «Юности», позволю себе некоторые цитаты:

«Легко сегодня грустно улыбнуться над стихами, написанными в 1940 году:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчишки иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.

Или, как это делает С. Куняев по поводу стихов того же Павла Когана о «земшарной республике Советов», умудренно заметить, что «надо было быть очень большим романтиком, чтобы ставить себе столь фантастические цели, не имеющие ничего общего с ходом реальной истории».

...Да, история пошла другими путями, нежели тогда думали не одни лишь юные «книжные» романтики, но попрекать последних этим, да еще рисовать их чуть ли не любителями кровавых боев, право же, не годится».

Вот о чем шла речь, — о несогласии с тем, чтобы представлять именно «поэтов-ифлийцев» главными провозвестниками неизбежности мировой революции.

Ныне С. Куняев жалуется: «...излагаются якобы «мои» мысли словами оппонентов, произвольно, грубо доводятся, как правило, в эмоционально взвинченном тоне до абсурда», и — в опровержение «противников» — демонстрирует свои мысли в их подлинном, первоизданном виде следующим комментарием к юношеским стихам Павла Когана «А мы еще дойдем до Ганга...»:

«...Именно такого рода романтический фанатизм давал мнимые «основания» создавать образ «советского агрессора»...»

Так это, оказывается, молодые, еще и в собственной стране почти никому не известные поэты повинны в создании «мифа о советской угрозе»?!

Позволю себе решительно усомниться и в том, что даже теперь, после не столь уж частых и массовых посмертных публикаций их давних стихов, за рубежом,

как утверждает уже А. Латынина, — «с помощью этих строчек... легко объясняют своему народу, к примеру, наше присутствие в Афганистане и внушают необходимость ответить на «земшарные» притязания «земшарной» же системой противостояния им».

Сказав все это, я, правда, виновато вспомнил суровую нотацию читательницы Н. И. Лебедь из Иркутска, писавшей главному редактору «Юности», что, по ее мнению, «А. Турков... ломится в открытые двери, доказывая то, что ясно без доказательств всем».

Еще один пример не искаженного «оппонентами» суждения С. Куняева:

«А вот «интеллигентный» вариант городского Павлика Морозова:

В лице молочниц и мамаш
Мы били контру на дому.
Двенадцатилетние чекисты,
Принявши целый мир в родню».

Павлик Морозов здесь явно ни при чем и привлечен в качестве лишнего «ярлыка». Вспомните «Строгую любовь» Ярослава Смелякова, этого старшего брата «поэтов-ифлийцев», с его грустно-улыбчивыми воспоминаниями о настроениях молодежи начала 30-х годов:

В те дни строительства и битв,
вопросы все решая жестко,
мы отрицали старый быт
с категоричностью подростков.

Вспомните, как грозно (и смешно для нынешнего читателя) насторожились эти наивные подростки, обнаружив, что их подруга Зинка — о, ужас! — «докатилась» до такого мещанства, как занятие вязанием.

Равновелики ли история Павлика Морозова и самые запальчивые схватки «двенадцатилетних чекистов» с домашними или молочницами, о чем даже не весьма умудренный жизнью поэт пишет с явным (как будто предвещающим интонацию смеляковской поэмы) юмором, нарочито игнорируемым С. Куняевым?

С. Куняев с гневным пафосом пишет о единственной книжке А. Копштейна, где очень много стихов о Сталине, а я, читая эту филиппику, вспоминаю размышления читателя В. П. Петина: «Да мог ли кто в том кровавом предвоенном тумане с его непредсказуемостью разобраться в чем-либо серьезно? Тем более могли ли сделать это те мальчики...»

Не во всем можно с этим согласиться; кое-кто и сквозь «туман» истину различал. Но ведь даже честнейший Николай Заболоцкий напечатал во время московских процессов над «врагами народа» стихи, осуждавшие обвиняемых, а позже написал «Горийскую симфонию». Да и Михаил Булгаков, наверное, с еще большим внутренним сопротивлением, но приступал же все-таки к пьесе о молодом вожде...

Нет, уважаемая А. Латынина, в статье С. Куняева «на скамье подсудимых» оказывается не столько «идеология поколения», отнюдь не самими «поэтами-иф-

лийцами» выработанная, а всего лишь принятая ими на веру, сколько, говоря словами даже одного из защитников статьи С. Куняева — В. П. Петина (кстати, наиболее объективного), «те мальчики, те славные Отрады и Копштейны, которые «падали на финский снег», — а потом, как писал Борис Слуцкий, погибавшие и «в своей степи глухой».

«Где же ваша культура дискуссии?» — упрекает группа читателей из Новосибирска и Юлию Друнину, тон короткой заметки которой им не понравился, и сам журнал, ее опубликовавший.

Но ведь статья С. Куняева, послужившая началом дискуссии, и его ответ оппонентам этой культурой уж вовсе не отличаются — ни по отношению к ныне здравствующим, ни — что, естественно, особенно подлило масла в огонь споров — по отношению к тем, кто уже ничего не может возразить своему критику. И ничуть не странно, что целый ряд критических пассажей С. Куняева, для которых А. Латынина нашла столь чарующе импрессионистическое определение: «Означенный оттенок (! — А. Т.) статьи Куняева очевиден», не только у Л. Лазарева, но и у многих читателей ассоциировался с пулями, чиркающими по солдатским надгробиям.

Итак, что же мы видим, что слышим на нынешнем читательском «форуме»?! Разнобой во мнениях, стычки, взаимные, не всегда справедливые наскоки! Орёр, орёр! Ужас, ужас! — как говорили гоголевские дамы, а ныне порой возглашают с трибун и печатных страниц писатели и критики мужеска пола, видимо, незаметно для себя привыкшие к господству одного непререкаемого мнения («Кто против?.. Кто воздержался?.. Принято единогласно!»).

Так хорошо дремалось под это «робкое дыханье» почтительнейшей критики и еле заметное «колыханье сонного ручья» общественного — и читательского в частности — мнения.

А тут вдруг — разлив, половодье мнений, свежий резкий ветер, так что приходится судорожно придерживать лавровые венки, казалось, так прочно водруженные...

И — знаете? — превесело слушать этот «зеленый шум, весенний шум», в котором отчетливо слышен голос того самого читателя-друга, о котором писал Щедрин, — вернее, читателей-друзей, потому что, как мы даже и в данном случае убедились, это люди самых разных взглядов, вкусов, темпераментов, которым при этом, право же, не тесно «в пределах» нашей обильной литературы.

«Бывают... минуты, когда он, — писал Щедрин о читателе-друге, — внезапно открывается, и непосредственное общение с ним делается возможным. Такие минуты — самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем».

Не такую же ли минуту переживаем и мы?